

**Нагибин**

ЮРИЙ

**Нагибин**

ЮРИЙ

**О ЛЮБВИ**

**Слезы и жизнь...**

Наг

Юрий  
**Нагибин**

**О ЛЮБВИ**

**СЛЕЗЫ И ЖИЗНЬ...**

---

Издательский Дом «Подкова»  
Москва  
1997

ББК 84.Р 7  
Н 16

**Нагибин Ю. М.**

**Н 16** О любви. Слезы и жизнь...— Москва: Издательский  
Дом «Подкова», 1997.— 528 с.

ISBN 5-89517-002-1

*Тексты публикуются в авторской редакции*

© А. Нагибина, 1997

© Оформление Е. Селивановой, 1997

ISBN 5-89517-002-1

Синегория, берег, пустынный в послеполуденный час, девчонка, возникшая из моря... Этому без малого тридцать лет!

Я искал камешки на диком пляже. Накануне штормило, волны, шипя, переползали пляж до белых стен приморского санатория. Сейчас море стихло, ушло в свои пределы, обнажив широкую шоколадную, с синим отливом, полосу песка, отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался след, был усеян сахарными гольшами, зелено-голубыми камнями, гладкими, округлыми стекляшками, похожими на обсосанные леденцы, мертвыми крабами, гнилыми водорослями, издававшими едкий йодистый запах. Я знал, что большая волна выносит на берег ценные камешки, и терпеливо, шаг за шагом, обследовал песчаную отмель и свежий намыв гальки.

— Эй, чего на моих трусиках расселся? — раздался тоненький голос.

Я поднял глаза. Надо мной стояла голая девчонка, худая, ребрастая, с тонкими руками и ногами. Длинные, мокрые волосы облепили лицо, вода сверкала на ее бледном, почти не тронутом загаром теле, с пупырчатой проголубью от холода.

Девчонка нагнулась, вытащила из-под меня полосатые, желтые с синим, трусики, встряхнула и кинула на камни, а сама шлепнулась плашмя на косячок золотого песка и стала подгребать его к бокам.

— Оделась бы хоть... — проворчал я.

— Зачем? Так загорать лучше, — ответила девчонка.

— А тебе не стыдно?

— Мама говорит, у маленьких это не считается. Она не велит мне в трусиках купаться, от этого простужаются. А ей некогда со мной возиться...

Среди темных шершавых камней вдруг что-то нежно блеснуло: крошечная чистая слезка. Я вынул из-за пазухи папиросную коробку и присоединил слезинку к своей коллекции.

— Ну-ка, покажи!..

Девчонка убрала за уши мокрые волосы, открыв тоненькое, в темных крапинках лицо, зеленые кошачьи глаза, вздернутый нос и огромный, до ушей рот, и стала рассматривать камешки.

На тонком слое ваты лежали: маленький овальный прозрачно-розовый сердолик; и другой сердолик — покрупнее, но не обработанный морем и потому бесформенный, глухой к свету; несколько фернампиксов в фарфоровой узорчатой рубашке; две занятные окаменелости — одна в форме морской звезды, другая — с отпечатком крабика; небольшой "куриный бог" — каменное колечко; и гордость моей коллекции — дымчатый топаз, клочок тумана, растворенный в темном стекле.

— За сегодня собрал?

— Да ты что?.. За все время!..

— Не богато.

— Попробуй сама!..

— Очень надо! — Она дернула худым шелушащимся плечом. — Целый день ползать по жару из-за паршивых камешков!..

— Дура ты! — сказал я. — Голая дура!

— Сам ты дурачок! Марки небось тоже собираешь?

— Ну собираю! — ответил я с вызовом.

— И папиросные коробки?

— Собирал, когда маленьким был. Потом у меня коллекция бабочек была...

Я думал, ей это понравится, и мне почему-то хотелось, чтобы ей понравилось.

— Фу, гадость! — Она вздернула верхнюю губу, показав два белых острых клычка. — Ты раздавливал им головки и накалывал булавками?

— Вовсе нет, я усыплял их эфиром.

— Все равно гадость... Терпеть не могу, когда убивают.

— А знаешь, что я еще собирал? — сказал я, подумав. — Велосипеды разных марок!

— Ну да?

— Честное слово! Я бегал по улицам и спрашивал у всех велосипедистов: "Дядя, у вас какая фирма?" Он говорил: "Дукс", или, там, "Латвелла", или "Оппель". Так я собирал все марки, вот только "Эндфильда модели Ройяль" у меня не было... — Я говорил быстро, боясь, что девчонка прервет меня какой-нибудь насмешкой, но она смотрела серьезно, заинтересованно и даже перестала сеять песок из кулака. — Я каждый день бегал на Лубянскую площадь, раз чуть под трамвай не угодил, а все-таки нашел "Эндвильд Ройяль"! Знаешь, у него марка лиловая с большими латинским "P"...

— А ты ничего... — сказала девчонка и засмеялась своим большим ртом. — Я тебе скажу по секрету, я тоже собираю...

— Что?

— Эхо... У меня уже много собрано. Есть эхо звонкое, как стекло, есть как медная труба, есть трехголосое, а есть горохом сыплется, еще есть...

— Ладно врать-то! — сердито перебил я.

Зеленые кошачьи глаза так и впились в меня.

— Хочешь, покажу?

— Ну, хочу...

— Только тебе, больше никому. А тебя пустят? Придется на Большое седло лезть.

— Пустят!

— Так завтра с утра и пойдем. Ты где живешь?

— На Приморской, у болгар.

— А мы у Тараканихи.

— Значит, я твою маму видел! Такая высокая, с черными волосами?

— Ага. Только я свою маму совсем не вижу.

— Почему?

— Мама танцевать любит... — Девчонка тряхнула уже просохшими, какими-то сивыми волосами. — Давай купнемся напоследок!

Она вскочила, вся облепленная песком, и побежала к морю, сверкая розовыми узкими пятками...

Утро было солнечное, безветренное, но не жаркое. Море после шторма все еще дышало холодом и не давало солнцу накалить воздух. Когда же на солнце наплывало папиросным дымком тощее облачко, снимая с гравия дорожек, белых стен и черепичных крыш слепящий южный блеск, простор утрюмел, как перед долгой непогодью, а холодный ток с моря разом усиливался...

Тропинка, ведущая на Большое седло, вначале петляла среди невысоких холмов, затем прямо и сильно тянула вверх, сквозь густой пахучий ореховый лес. Ее прорезал неглубокий, усеянный камнями желоб, русло одного из тех бурных ручьев, что низвергаются с гор после дождя, рокоча и звеня на всю округу, но иссякают быстрее, чем высохнут дождевые капли на листьях орешника.

Мы отмахали уже немалую часть пути, когда я решил узнать имя моей приятельницы.

— Эй! — крикнул я желто-синим трусикам, бабочкой мелькавшим в орешнике. — А как тебя зовут?

Девчонка остановилась, я поравнялся с ней. ореховая заросль тут редела, расступалась, открывала вид на бухту и наш поселок — жалкую горсточку домишек. Огромное, серьезное море простиралось до горизонта водой, а за ним — туманными мутно-синими полосами, наложенными в небе одна над другой. А в бухте оно притворялось кротким и маленьким, играя, протягивало вдоль кромки берега белую нитку, скусывало ее и вновь протягивало...

— Не знаю даже, как тебе сказать, — задумчиво проговорила девчонка. — Имя у меня дурацкое — Викторина, а все зовут Витькой.

— Можно Викой звать.

— Тьфу, гадость! — Она знакомо обнажила острые клычки.

— Почему? Вика — это дикий горошек.

— Его еще мышинным зовут. Терпеть не могу мышей!

— Ну, Витька так Витька, а меня — Сережа. Нам еще далеко?

— Выдохся? Вот лесника пройдем, а там уже и Большое седло видно...

Но мы еще долго петляли терпко-медвяно-душистым орешником. Наконец тропинка раздалась в каменистую дорогу, бело сверкающую тонким, как сахарная пудра, песком, и вывела нас на широкий пологий уступ. Тут, в гуще абрикосовых деревьев, ютилась сложенная из ракушечника сторожка лесничего.

Едва мы подступили к уютному домику, как тишина взорвалась бешеным лаем. Гремя цепями, навешенными на длинную проволоку, на нас вынеслись два огромных лохматых, грязно-белых пса, взвились на воздух, но, удушенные ошейниками, выкатили розовые языки, захрипели и шмякнулись на землю.

— Не бойся, они не достанут! — спокойно сказала Витька.

Зубы псов клацали в полушаге от нас, я видел репьи в их загривках, клещей, раздувшихся в боб, на храпе, только глаза их тонули в шерсти. Странно, из сторожки никто не вышел, чтобы унять псов. Но как ни кидались псы, как ни натягивали проволоку, они не могли нас достать. И когда я уверился в этом, мне стало щемяще-радостно. Наш поход вел нас к скалам и пещерам, населенным таинственными голосами, не хватало лишь грозных стражей, драконов, преграждающих смельчакам доступ к тайне. И вот они, драконы — эти заросшие, безглазые, с красномясым зевом псы!

И опять мы петляем орешником по сужившейся тропе. Тут орешник не такой густой, как внизу: многие кусты посохли, на других листья изъедена в паутину мелким блестящим черным жучком.

Я устал и злился на Витьку, она знай себе вышагивала своими тонкими, прямыми как палки ногами с чуть скошенными внутрь коленками. Но впереди вдруг просветлело, я увидел склон, поросший низкой бурой травой, вдалеке тянулась кверху серая скала.

— Чертов палец! — на ходу бросила Витька.

По мере того как мы подходили, серый скалистый торчок вздымался выше и выше, — казалось, он вырастал несомерно нашему приближению. Когда же мы ступили в его темную прохладную тень, он стал чудовищно громаден. Это был уже не Чертов палец, а Чертова башня, мрачная, загадочная, неприступная. Словно отвечая на мои мысли, Витька сказала:

— Знаешь, сколько людей хотели на него забраться, ни у кого не вышло. Одни насмерть разбились, другие руки-ноги поломали. А один француз все-таки залез.

— Как же он сумел?

— Вот сумел... А назад спуститься не мог, и сошел там с ума, и после от голода умер... А все-таки молодец! — добавила она задумчиво.

Мы подошли к Чертову пальцу вплотную, и Витька, понизив голос, сказала:

— Вот тут... — Она сделала несколько шагов назад и негромко крикнула: — Сережа!..

— Сережа... — повторил мне в самое ухо насмешливо-вкрадчивый голос, будто родившийся в недрах Чертова пальца.

Я вздрогнул и невольно шагнул прочь от скалы; и тут навстречу мне, от моря, звонко плеснуло:

— Сережа!..

Я замер, и где-то вверху томительно-горько простонало:

— Сережа!..

— Вот черт!.. — сдавленным голосом произнес я.

— Вот черт!.. — прошелестело над ухом.

— Черт!.. — дохнуло с моря.

— Черт!.. — отозвалось в выси.

В каждом из этих незримых пересмешников чувствовался стойкий и жутковатый характер: шептун был злобно-вкрадчивым тихоней; морской голос принадлежал холодному весельчаку; в выси скрывался безутешный и лицемерный плакальщик.

— Ну чего ты?.. Крикни что-нибудь!.. — сказала Витька.

А в уши, перебивая ее голос, лезло шепотом: "Ну чего ты?.." — звонко, с усмешкой: "Крикни", — и, как сквозь слезы: "Что-нибудь".

С трудом пересилив себя, я крикнул:

— Синегория!..

И услышал трехголосый отклик...

Я кричал, говорил, шептал еще много всяких слов. У эха был острейший слух. Некоторые слова я произносил так тихо, что сам едва слышал их, но они неизменно находили отклик. Я уже не испытывал ужаса, но всякий раз, когда невидимый шептал мне на ухо, у меня холодел позвоночник, а от рыдающего голоса сжималось сердце.

— До свидания! — сказала Витька и пошла прочь от Чертова пальца.

Я устремился за ней, но шепот настиг меня, прошелестев ядовито-вкрадчиво слова прощания, и хохотнула морская даль, и голос сверху застонал:

— До свидания!..

Мы шли в сторону моря и вскоре оказались на каменном выступе, нависшем над пропастью. Справа и слева вздымались отроги гор, а под нами зияла бездна, в которой тонул взгляд. Если бы Чертов палец провалился сквозь землю, он оставил бы за собой такую вот огромную, страшную дыру. В глубине провала торчали острые ослизлые скалы, похожие на клыки великана, в них тараном било темное, с чернильным оттенком море. Какая-то птица, распластав недвижные, будто омертвевшие, крылья, медленно, кругами, падала в бездну.

Казалось, что-то еще не кончено здесь, не пришли в равновесие грозные силы, выраввшие из недр земли гигантский

каменный палец, расколовшие горную твердь чудовищным колодцем, изострившие его дно шипами скал и заставившие море раздирать о них свой нежный язык. Весь каменный громозд вокруг и внизу был непрочным, зыбким, в скрытом внутреннем напряжении, стремящемся к переделу... Конечно, я не умел тогда назвать то мучительно-тревожное ощущение, какое охватило меня на обрыве Большого седла..

Витька легла на живот у самого края обрыва и поманила меня. Я распластался возле нее на твердой и теплой каменной глади, и сосущая, леденящая притягательность бездны исчезла, стало совсем легко смотреть вниз. Витька наклонилась над обрывом и крикнула:

— Ого-го!..

Миг тишины, а затем густой рокошущий голос трубно прогромыхал:

— О-го-го-у!..

В голосе этом не было ничего страшного, несмотря на силу его и густоту. Видимо, в пропасти обитал добрый великан, не желавший нам зла.

Витька сказала:

— Кто была первая дева?

И великан, немного подумав, отозвался со смехом:

— Ева!..

— А знаешь, — сказала Витька, глядя вниз, — никому не удалось спуститься с Большого седла к морю. Один дядька добрался до середины и там застрял..

— И умер с голода? — спросил я насмешливо.

— Нет, ему кинули веревку и вытащили... А по-моему, спуститься можно.

— Давай попробуем?

— Давай! — живо и просто откликнулась Витька, и я понял, что это всерьез.

— В другой раз, — неловко отшутился я.

— Тогда пошли... Будь здоров! — крикнула Витька в пропасть и вскочила на ноги.

— Здоров!.. — гоготнул великан.

Мне еще хотелось поговорить с ним, но Витька потащила меня дальше.

Новое эхо — по словам Витьки, "звонкое, как стекло", — гнездилось в узком, будто надрез ножа, ущелье. У эха был тонкий, пронзительный голос, даже басом сказанное слово оно истончало до визга. И что еще противно: провизжав ответ, эхо не замолкало, а еще долго попискивало мышью в каких-то своих щелях.

Мы не стали задерживаться у расщелины и пошли дальше. (Теперь нам пришлось карабкаться вверх по крутому склону, то покрытому бурой жесткой травой и колочками, то голому, полированно-скользкому. Наконец мы оказались на уступе, заваленном огромными каменными глыбами. Каждая глыба что-нибудь напоминала: корабль, танк, быка, голову, которую победил Руслан, поверженного воина в доспехах, береговое орудие с отбитым стволом, верблюда, пасть ревущего льва, а то и части тела искромсанного гиганта: нос с горбинкой, ушную раковину, челюсть с бородой, могучий, так и не разжавшийся кулак, босую ступню, лоб с завитками кудрей...

Все эти закаменевшие существа, части существ, предметы, одетые камнем, перебрасывались, будто мячом, прозвучавшим среди них словом, с мгновенной быстротой и резкой краткостью отражая гранями звук. Тут-то и обитало "гороховое" эхо...

Но самым удивительным было эхо, о котором Витька ничего не сказала мне. Мы не шли к нему, а ползли по круче, цепляясь за выступы, за лишайник, сухие кусточки. Из-под наших ног и рук осыпались камешки, увлекали за собой более крупные камни, позади нас творился непрерывный грохот. Когда я оглянулся, то подивился малости той высоты, которая кружила нам голову на обрыве. Море уже не казалось отсюда гладью: беспредельное, неохватное, оно сливалось с небом, образуя с ним единую сферу — купол, царящий над всем зримым простором. И Чертов палец, подчеркивая нашу высоту, вновь умалился до торчка.

Витька остановилась у полукруглого темного провала, ведущего в глубь горы. Я заглянул туда и, когда глаза несколько привыкли к темноте, увидел сводчатую пещеру с длинными бородами каменных сосул. Стены источали зеленое, красное, синее мерцание, из пещеры тянуло затхлостью склепа, и я невольно отшатнулся.

— Здравствуй! — крикнула Витька, сунув голову в дыру.

И будто заухали, сталкиваясь, пустые бочки, под сводом тяжело отдавалось: "бом!", дребезжало по углам и низким охом наконец вырвалось наружу, словно сама гора испустила дух.

С почтительным изумлением глядел я на Витьку. Худая, крапчатая, с трепанными сивыми волосами, острыми клычками в глазах губ, с зелеными блестящими глазами — она сама казалась мне сейчас такой же сказочной, как и сокровенный мир, в который она ввела меня.

— А ну, крикни! — приказала Витька.

Я наклонился и "ахнул" в маленький черный рот горы. И опять там заухало, заверещало, а затем дохнуло мне в лицо нездешним гнилостным холодом. Ужасное одиночество охватило меня вдруг, одиночество и беззащитность посреди этого каменистого, отвесного, из круч и падей, мира, населенного загадочными дикими голосами.

— Пойдем, — сказал я Витьке, выдавая свое смятение. — Пойдем отсюда!..

Дальнейший наш путь я воспринимал как бесконечное падение вниз. На этом пути мимо нас снова промелькнули и каменное кладбище, и Чертов палец, и большой, источенный орешник, и взлетающие на цепях, хрипящие в удушье лесниковы псы, и другой — полный силы — орешник. Наше падение оборвалось в сухой балке, огибавшей поселок со стороны гор.

— Ну что, интересно было? — спросила Витька, когда мы ступили на нашу улицу.

Я чувствовал себя в безмятежной привычности, и Витька уже не казалась мне сказочной хозяйкой горных духов. Про-

сто карзубая, костлявая, некрасивая девчонка. И перед этой-то девчонкой я праздновал труса!

— Интересен... — сказал я лениво. — Только какая же это коллекция?

— А тебе лишь бы в коробку да за пазуху?..

— Нет, отчего же... А только эхо каждому откликается, не тебе одной.

Витька как-то странно, долго посмотрела на меня.

— Ну и что же, мне не жалко! — сказала она, потряхнув волосами, и пошла к своему дому...

Мы подружились с Витькой. Вместе облазили Темрюк-каю и гору Свадебную, и на Свадебной, в гротике, нашли квакающее эхо. А вот Темрюк-кая, с ее отрогами, мощными склонами и остро вонзающейся в небо вершиной, оказалась совсем бесплодной...

Мы почти не расставались. Я привык к тому, что Витька купается голая, она была добрым малым, товарищем, и я совсем не видел в ней девчонки. Смутно я понимал природу ее нестыдливости: Витька считала себя безнадежно уродливой. Я никогда не встречал человека, который бы так просто, открыто, с таким ясным достоинством признавался в своей некрасивости. Рассказывая мне как-то раз об одной школьной подруге, Витька бросила вскользь: "Она почти такая же уродина, как я..."

Однажды мы купались неподалеку от рыбацкой пристани, когда с высокого берега посыпала ватага мальчишек. Я немного знал их, но мои робкие попытки сблизиться с ними ни к чему не приводили. Эти ребята не первый год отдыхали в Синегории, считали себя старожилками и не допускали чужаков в свою ватагу. Коноводом у них был высокий, сильный мальчик Игорь.

Я уже вышел из моря и, стоя на берегу, вытирался полотенцем, а Витька продолжала резвиться в воде. Подкараулив волну, она высоко подпрыгивала и перекатывалась на животе через гребень. Ее маленькие ягодицы сверкали.

Ребята небрежно ответили на мое приветствие и хотели уже пройти мимо, как вдруг один из них, в красных плавках, заметил Витьку.

— Ребята, глядите, голая девчонка!

Тут пошла потеха: крики, свист, улюлюканье. Надо отдать должное Витьке, она не обращала внимания на выходы мальчишек, но это лишь подливало масла в огонь. Мальчик в красных плавках предложил "загнуть девчонке салазки". Предложение было встречено с восторгом, и мальчик в красных плавках вразвалочку направился к воде. Но тут Витька с звериной быстротой нагнулась, нашарила что-то в воде, и, когда выпрямилась, в руке у нее был увесистый камень.

— Только сунься! — сказала она, ощерив свои острые клычки. — Всю морду разобью!

Мальчик в красных плавках остановился и попробовал ногой воду.

— Холодная... — сказал он, и уши его стали краснее плавок. — Неохота лезть...

Подошел Игорь и уселся на песок у самой кромки берега. Мальчик в красных плавках без слов понял своего вожака и опустился рядом, остальные ребята последовали их примеру. Они цепочкой отрезали Витьку от берега, одежды и полотенца.

Витька долго испытывала их терпение. Она то уплывала далеко в море, то возвращалась назад, ныряла, барахталась в воде, затем сидела на подводном камне, накатывая на себя руками волны. Но холод наконец взял свое.

— Сереж! — крикнула Витька. — Дай мне трусики!

Все это время я, сам того не замечая, вытирался полотенцем. Надраенная кожа горела, словно от ожога, я все тер и тер посуху, будто хотел протереть себя до дыр. В жалкой и унижительной растерянности, владевшей мной, билось лишь одно отчетливое желание: только бы остаться непричастным к Витькиному позору.

— Сережа, подай своей даме трусики! — шутовским голосом пропищал мальчишка в красных плавках.

Повернувшись на локте, Игорь сказал мне с угрозой:

— Попробуй только!..

Напрасное предупреждение: я и так бы не двинулся с места. Витька поняла, что ей нечего ждать от меня помощи. Жалко скорчившись, всем телом запав в худенький свой живот и закрыв его руками, лиловая и пупырчатая от холода, с покривившимся лицом, вылезла она из воды и бочком побежала к своим трусикам под хохот и свист мальчишек. То, чему она в чистоте своей души не придавала значения, предстало перед ней гадким, унижительным, стыдным.

Прыгая на одной ноге и все не попадая другой в кольцо трусиков, она кое-как оделась, подхватила с земли полотенце и побежала прочь. Вдруг она обернулась и крикнул мне:

— Трус!.. Трус!.. Жалкий трус!..

Из всех слов Витька выбрала самое злое, обидное и несправедливое. Должна же она была понять, что не кулаков Игоря я испугался. Но ей, видимо, хотелось вконец опозорить меня перед ребятами.

Не знаю, был ли то каприз жоака, не желающего идти на поводу у стаи, или что-то заинтересовало Игоря в Витьке, но только он вдруг спросил меня дружелюбно и доверительно:

— Слушай, она что — чумовая?

— Конечно, чумовая! — подался я весь навстречу этой доброте.

— А чего ты с ней водишься?..

Вовсе не для того, чтобы обелить Витьку, лишь желая выгородить себя, я сказал:

— С ней интересно, она эхо собирает.

— Чего? — удивился Игорь.

В низком порыве благодарной откровенности я тут же выложил все Витькины секреты.

— Вот это да! — восхищенно сказал Игорь. — Третье лето тут живу, а ничего подобного не слышал!

— А ты не загибаешь? — спросил меня мальчишка в красных плавках.

— Хотите, покажу?

— Все! — властно сказал Игорь, вновь становясь вожаком. — Завтра поведешь нас туда!

С утра моросило, горы затянуло сизо-белыми, как бы мыльными облаками, к утрюмому шуму побуревшего, цвета горной травы моря примешивался рокот набухших ручьев и речек.

Но ватага Игоря решила не отступать. И вот снова вьется под ногой теперь уже знакомая тропа, а посреди нее, перекатывая гальку, бежит мутный желтый ручеек. Орешник пахнет уже не медово-сладким, с легкой пригорчью, духом, а гнилью палой листвы, кислотью размытой земли, в которой переглевет что-то, источая уксусно-винный запах. Идти трудно, ноги разъезжаются на мокрой земле, оскальзываются на камнях...

Возле лесникова дома встретили нас обычным истошным лаем сторожевые псы, но в волгом воздухе лай их звучит мягче, глуше, да и сами они уже на кажутся такими грозными в своей мокрой, свалявшейся шерсти. Видны их черные глаза, похожие на маслины.

А вот и больной, пораженный жучком орешник, ветер и дождь пообрывали его слабую, источенную листву, он стоит оголенный, печальный, и сквозь него виднеется утрюмая протемь моря.

Чертов палец, затянутый облаками, долго не показывался, затем в недосыгаемой выси прочернела его вершина, скрылась, на миг обнажился во весь рост его ствол и вмиг истаял в клубящемся воздухе. Странно, ветер рвал к морю, а легкие, как пар изо рта, облака тянули с моря. Они скользили по самой земле, накрывали нас влажной дымкой и вдруг исчезали, оседая росой на склонах.

Наконец из облачной мути вновь выдвинулся Чертов палец и преградил нам дорогу.

— Ну, подавай свои чудеса в решете, — без улыбки сказал Игорь.

— Слушайте! — произнес я торжественно, чувствуя, как знакомо холодеет спина, сложил ладони рупором и закричал:

— Ого-го!..

В ответ — тишина, ни зловеще-вкрадчивого шепота, ни хохочущего всплеска с моря, ни жалобы в выси.

— Ого-го! — крикнул я еще раз, подступив ближе к Чертову пальцу, и все ребята вразнобой подхватили мой возглас.

Чертов палец молчал. Мы кричали еще и еще — и хоть бы малейший отзвук! Тогда я кинулся к пропасти — ребята за мной — и что было мочи заорал в клубящуюся глубь. Но и великан не отозвался.

В растерянности я заметался от пропасти к Чертову пальцу, от Чертова пальца к ращелине, и снова к пропасти, и снова к Чертову пальцу. Но горы безмолвствовали...

Я жалко стал уговаривать ребят подняться наверх, к пещере, уж там-то мы наверняка услышим эхо. Ребята стояли передо мной, молчаливые и суровые, как горы; потом Игорь разжал губы, чтобы сказать одно только слово:

— Трепач!

И, круто повернувшись, он пошел прочь, увлекая за собой всю ватагу.

Я плелся позади, тщетно пытаюсь понять, что же произошло. Меня не заботило сейчас презрение ребят, я хотел лишь постигнуть тайну своей неудачи. Неужто горы отзываются только на Витькин голос? Но когда мы были с ней вместе, горы послушно откликались и мне. Может, она и впрямь владеет ключом, позволяющим ей запираить в каменных пещерах голоса?..

Наступили печальные дни. Витьку я потерял, и даже мама осудила меня. Когда я рассказал ей загадочную историю с эхом, мама смотрела на меня долгим, чуждым, изучающим взглядом и сказала невесело:

— Все очень просто: горы отзываются только чистым и честным...

Ее слова открыли мне многое, но не загадку горного эха.

Дожди не прекращались, море как бы поделилось на две части: в бухте оно было мутно-желтым от песка, наносимого реками и ручьями, в отдалении — блистало чис-

тым телом. Непрестанно дул ветер. Днем он размахивал серой простыней дождя, ночью — всегда ясной, в мелких белых звездах — он был сухим и черным, потому что обнаруживал себя в черном, в мятущихся сучьях, ветвях, стволах, в угольных тенях, пробегающих по освещенной земле.

Несколько раз я мельком видел Витьку. Она ходила на море в любую погоду и сумела набрать от скудного, редкого солнца густой шоколадный загар. От тоски и одиночества я каждый день сопровождал теперь маму на базар, где шла торговля местными продуктами: овощами, абрикосами, козым молоком, варенцом. Раз я повстречал на базаре Витьку. Она была одна, на руке у нее висела плетеная сумка. Я смотрел, как она ходит среди лотков и бидонов в своих желтосиних трусиках, решительно отбирает помидоры, сама шлепает на весы шматок мяса, — и с болью чувствовал, что потерял хорошего друга.

Утром, в первый солнечный день, я бродил по саду, подбирая палые, с мягкой гнильцой абрикосы, когда кто-то окликнул меня. У калитки стояла девочка в белой кофточке с синим матросским воротником и синей юбке. Это была Витька, но я не сразу ее узнал. Ее сивые волосы были гладко причесаны и назад повязаны ленточкой, на загорелой шее — ниточка коралловых бус, на ногах туфли из лосиной кожи. Я бросился к ней.

— Слушай, мы уезжаем, — сказала Витька.

— Почему?..

— Маме тут надоело... Вот что, я хочу оставить тебе свою коллекцию. Мне она все равно ни к чему, а ты покажешь ребятам и помиришься с ними.

— Никому я не покажу! — горячо воскликнул я.

— Как хочешь, но пусть она останется у тебя. Ты догадался, почему у вас ничего не вышло?

— А ты откуда знаешь, что не вышло?

— Слышала... Так догадался?

— Нет...

— Понимаешь, самое главное, это с какого места кричать. — Витька доверительно понизила голос: — У Чертова пальца — только со стороны моря. А ты, наверное, кричал с другой стороны, там никакого эха нету. В пропасти надо свеситься вниз и кричать прямо в стенку. Помнишь, я тогда тебе голову нагнула?.. В расщелине ори в самую глубину, чтобы голос дальше ушел. А вот в пещере всегда отзовется, только вы туда не дошли. И у камней тоже...

— Витька!.. — начал я покаянно.

Ее тонкое лицо скривилось.

— Я побегу, а то автобус уйдет...

— Мы увидимся в Москве?

Витька мотнула головой.

— Мы же из Харькова...

— А сюда вы еще приедете?

— Не знаю... Ну, пока!.. — Витька смущенно склонила голову к плечу и сразу побежала прочь.

У калитки стояла моя мама и долгим, пристальным взглядом глядела вслед Витьке.

— Кто это? — как-то радостно спросила мама.

— Да Витька, она у Тараканихи живет.

Мне захотелось, чтобы скорее пришел день нашего отъезда. Тогда я тоже брошу монетку, и мы снова встретимся с Витькой.

Но этому не суждено было сбыться. Когда через месяц мы уезжали из Синегории, я забыл бросить монетку.

— Какое прелестное существо! — глубоким голосом сказала мама.

— Да нет, это Витька!..

— Я не глухая... — Мама опять посмотрела в сторону, куда убежала Витька. — Ах, какая чудесная девчонка! Этот вздернутый нос, пепельные волосы, удивительные глаза, точечная фигурка, узкие ступни, ладони...

— Ну что ты, мама! — вскричал я, огорченный странным ее ослеплением, оно казалось мне чем-то обидным для Витьки. — Ты бы видела ее рот!..

— Прекрасный большой рот!.. Ты ровным счетом ничего не понимаешь!

Мама пошла к дому, я несколько секунд смотрел ей в спину, потом сорвался и кинулся к автобусной станции.

Автобус еще не ушел, последние пассажиры, нагруженные сумками и чемоданами, штурмовали двери. Я сразу увидел Витьку с той стороны, где не открывались окна. Рядом с ней сидела полная черноволосая женщина в красном платье, ее мать.

Витька тоже увидела меня и ухватилась за поручни рамы, чтобы открыть окно. Мать что-то сказала ей и тронула за плечо, верно, желая усадить Витьку на место. Резким движением Витька смахнула ее руку.

Автобус взревел мотором и медленно пополз по немощей дороге, растянув за собой золотистый хвост пыли. Я пошел рядом. Закусив губу, Витька рванула поручни, и рама со стуком упала вниз. Мне легче было считать Витьку заглазно — острые клычки и темные крапинки, раскиданные по всему лицу, портили тот пересозданный мамой образ, в который я уверовал.

— Слушай, Витька, — быстро заговорил я, — мама сказала, что ты красивая! У тебя красивые волосы, глаза, рот, нос... — Автобус прибавил скорость я побежал. — Руки, ноги! Правда же, Витька!..

Витька только улыбнулся своим большим ртом, радостно, доверчиво, преданно, открыв в этой большой улыбке всю свою хорошую душу, и тут я своими глазами увидел, что Витька, и верно, самая красивая девчонка на свете.

Тяжело оседая, автобус въехал на деревянный мосток через ручей, границу Синегории. Я остановился. Мост грохотал, ходил ходуном. В окошке снова появилась Витькина голова с трепещущими на ветру пепельными волосами и острый загорелый локоть. Витька сделала мне знак и с силой швырнула через ручей серебряную монетку. Сияющий следок в воздухе свис в пыли у моих ног. Есть такая примета: если кинешь тут монетку, когда-нибудь непременно вернешься назад...

# ЧЕЛОВЕК И ДОРОГА

Могучие рустированные шины жуют дорогу. Пятитонный грузовик с высоченным контейнером в кузове оставляет за собой на заснеженном грейдере не след, а какую-то коричневую кашу. Можно подумать, он старается, чтобы уж никто другой не повторил за ним этот путь. На прямой он злобно расшвыривает комья снега и гравий, проминая настил до мягкой глинистой основы; на подъемах с ревом отваливает от дороги целые куски — жирные комья глины оползают в кювет; на спусках, свистя и шипя пневматическими тормозами, напрочь сдирает с дороги шкуру. Он то быстро катится вперед, то еще ползет, рыча мотором, то бессильно скользит под углом, и каждая перемена в его движении отражается на многострадальном теле дороги. Но грузовику нет до этого дела. Рачьи глаза его фар устремлены в даль, подернутую ранним ноябрьским сумраком. Всему чужой, посторонний, движется он вперед: чужой лесу, чужой полю, чужой деревенькам с придавленными снегом крышами, чужой замерзшей реке и старой водяной мельнице в стеклянной бороде сосулк. Он полон своей далекой целью, своим ревом, воем и скрежетом, своей душной, горькой вонью, — даже воздух у него свой — он движется в голубоватом плотном облачке.

И до него никому нет дела: ни лесу, ни полю, ни деревне, ни реке, ни мельнице. Разве метнется иной раз под колеса захлебнувшийся лаем пес или погонится, пытаясь ухватиться за крыло, мальчишка на одном коньке да, заслышав издали надсадный гуд, не оборачиваясь, свернет к обочине розвальни колхозный возчик. Встречных и попутных машин нет — поздно, и день субботний, — не с кем грузовику перемигнуться фарами, обменяться хриплым сигналом.

Вечереет быстро. В избах зажигаются огни, на деревенских улицах — редкие фонари, в небе — луна, и рядом с грузовиком возникает огромная уродливая угольно-черная тень. Тень стелется по снегу, карабкается на деревья, скользит по стенам изб, она то обгоняет грузовик, то идет колесо в колесо, то отстает от него.

Но огромный, могучий, яростный в своей борьбе с дорогой грузовик — всего только мертвая жестянка. Чужая воля, чужая одушевленность наделяют его этой шумной, горячей жизнью, этим упорством и неутомимостью. В кабине, держа ноги в стоптанных кирзовых сапогах на педалях, а руки на крестовине руля, вглядываясь красными, воспаленными глазами в даль, сидит худощавый паренек лет двадцати четырех, с широкой плоской грудью и налипшими на измазанный автолом лоб темными колечками волос. Его армейская ушанка без звездочки сдвинута на затылок, ватник распахнут. В кабине тепло от мотора, ватные штаны немного сползли, обнажив меж поясом и рубашкой полоску смуглого юношеского тела.

Водитель первого класса Бычков смертельно устал, он работает вторую смену подряд, без сна и отдыха, проделал он на этом грузовике почти тысячу километров по скверным, разбитым дорогам с тяжелыми, неудобными грузами. Больше всего устает у него спина, потому что каждый груз чувствует он спиной, будто несет его на себе. Подъем — и его тянет за шею и лопатки назад; спуск — и будто целый дом навалился, становится нечем дышать; притормозил — и словно кто-то злобный уперся в поясницу коленом. Но от этого груза у него болела и спина, и ребра, и вся грудная клетка. В контейнере заключен трансформатор, срочно нужный на самом дальнем и отсталом четвертом участке. Это груз с боковой неустойчивостью, — он не только на повороте, но и при каждом движении руля кренит машину набок, грозя опрокинуть в кювет; и Бычков невольно выламывает тело в другую сторону, так что трещат ребра и хрускают, смещаясь, позвонки.

Черт бы побрал и трансформатор, и четвертый участок, где всегда аврал, всегда чего-то недостает и все требуется в край, в обрез. Черт бы побрал начальника автоколонны Косачева, сунувшего ему эту езду. И черт бы побрал его самого, согласившегося ехать, когда ехать должен был вовсе не он, а Панютин. С обидой и желчью Бычков в который раз вспоминал, как окрутил его Косачев. Утром этого дня немолодой, лет под сорок, шофер Панютина забрал из роддома жену, принесшую ему двойню. Очумев от своего позднего отцовства, он кое-как проволынил полсмены, а затем отпросился домой. Едва он ушел — потребовалось взять на четверку трансформатор. Косачев сразу к Бычкову: выручай! Конечно, он наотрез отказался, какое дело ему до Панютина с его двойняшками? Раз должен работать, так работай, а он свое отыщачил и сейчас пойдет пиво трескать. Но Косачев ушлый, всегда знает, чем взять человека: "Я, конечно, могу заставить его, да на этих женатиков надежда плоха. Дорога опасная, ночная, груз трудный, а у него близнята на уме. Ладно еще, коль просто застрянет, а ну-ка гробанет трансформатор?.. Нет, тут нужен человек свободный, а который в детских писках, тому доверить нельзя!" Знает начальник колонны, что недолюбливает Бычков людей женатых, устроенных, — на том и поймал. Захотелось Бычкову доказать, что Панютин, хоть и муж, и отец, и глава семьи, а он, Бычков, бобыль, ни кола ни двора, а все больше Панютина стоит, — вот и расплачивайся боками! А главное, теперь-то уж ясно, что Косачев Панютина освободил от этой проклятой поездки только из уважения к его отцовству. Да еще потому, может, что берег его: дорога-то, и верно, дрянь, особенно на подъеме у четвертого участка, а тут еще груз такой! Одно дело — гробанется Панютин, глава семьи; другое — он, Бычков, одиночка. Спишут в расход — и все. И оттого еще горше и злей становится на душе, и мысль привычно сворачивает к тому, что исковеркало его жизнь. Правда, она всегда при нем, эта мысль не покидает его ни в дороге, ни во хмелю, даже ночью, когда он спит, является она к нему снами. Но

бывает, она спокойной, привычной тяжестью дремлет на дне души, а то вдруг с непереносимой силой терзает сердце и мозг.

Алексей и сам не мог бы сказать, когда полюбил он Тосю. Когда полюбил он мать? Всегда любил, как только почувствовал в себе сердце. Всегда они были вместе, с детского лет, — на улице, на реке, на вырубке, полной сладкой, пахучей земляники, на школьных переменках. А если и оказывались врозь, то тут же начинали искать друг друга. Жених и невеста — так звали их все на деревне. Прошли годы, Алексей и Тося уже не в смех, а взаправду стали женихом и невестой. И, уходя в армию на действительную, он не просил Тосю помнить и ждать. Он просто поцеловал ее в полные прохладные губы, поглядел в глаза, пожал руку и уехал самый спокойный из всех, кому доводилось разлучаться.

Все четыре года, что Алексей прослужил в армии, он исправно получал от Тоси письма и фотокарточки.

Ее лицо с годами мало менялось, оно становилось лишь еще круглее, чище и глаже, еще прямее и открытее глядели светлые, спокойные глаза. И он сам не мог бы сказать, почему к исходу третьего года разлуки овладела им жгучая тоска. Тщетно искал он отгадку в Тосиных карточках и письмах. Все тем же невозмутимым спокойствием дышало округлившееся лицо, все та же прямизна взгляда, и письма были все так же немногословны, просты и полны поклонов от родственников, друзей и знакомых. Движимый каким-то смутным чувством, он тоже сфотографировался и на оборотной стороне карточки написал слышанные где-то стихи:

Если встретиться нам не придется,  
Если нас разлучила судьба,  
Пусть на память тебе остается  
Неподвижная личность моя.

В ответ пришло обычное, спокойное и короткое письмо, и Бычков не знал, радоваться ему или печалиться, что Тося никак не откликнулась на его тревожный призыв.

Он отслужил действительную и в новенькой, с иголки формы с погонами сержанта, значком отличника-танкиста на груди, в хромовых, собранных гармошкой сапогах, в фуражке с черным околышем, косо сидящей на вьющихся волосах, в белом целлулоидном подворотничке — сверкающий, как новый гривенник, вернулся в родную деревню. И тут узнал, что Тося год назад вышла замуж за районного агронома. Мать уговорила бывшую невесту сына скрыть от него правду, по-прежнему писать ему письма и слать карточки, будто ничего не случилось. "Иначе быть беде, — сказала ей старуха, — армейская служба строгая, а Алексей беспреренно что-нибудь такое сделает, что погубит свою головушку". Бычкова и по сию пору давила необыкновенная прозорливость матери: как угадала она в нем, тихом, скромном, немудрящем пареньке, тайную залежь разрушительных сил? Может, в слепой его преданности раз избранной подруге проглянулся ей залог скрытой в нем бури?

Что-то сломалось в Алексее. Он стал выпивать и, пьяный, пошел однажды бить агронома. Но, увидев немолодого, узкотелого человека в очках на длинном, тонком носу, с худыми, всосанными щеками, не нашел на нем места, куда б сладко было вцепить кулак. Встретилась ему как-то Тося — она жила теперь в соседней деревне, — мелькнуло: "Задаваю!" — и опять впустую потратился запал. Под скрещенными на груди, по локоть голыми, сильными и нежными Тосиными руками увидел он маленький округлившийся живот, — быть ей скоро матерью. Она тоже поглядела на него, смутло-бледного, кудрявого, с темными, блестящими, яркими от боли глазами, и сказала не то удивленно, не то о чем-то жалея:

— Вон ты какой стал!.. — и тихо прошла мимо.

Не смог он ужиться в деревне, да и не хотел губить себя на глазах матери. С год скитался он по стране. В Крыму возил курортников по извилистым горным дорогам в маленьком дребезжащем автобусе, — да не по сердцу пришлось веселые, счастливые, беззаботные люди; побывал на волжской стройке, где глушил себя работой и водкой, там

ему понравилось больше, — да попал туда поздно, кончилась стройка; заносило его и на Алтай, на целину, и даже на Дальний Восток. Где только он ни скитался, а от себя не ушел. С полгода назад попал он сюда, в суровый Ладожский край, на строительство высоковольтной линии, — и приглянулся ему угрюмый покой здешних мест, темные еловые леса, пустынные, одинокие дороги, особняком стоящие мачтовые сосны, уныло гудящие кронами, прохладная сдержанность старожил и непритязательная простота товарищей по работе.

Он уже ничем не походил теперь на того скромного, опрятного парня, каким вернулся из армии. Хоть нелегко разрушалось то, что закладывалось годами, но недаром говорят: капля камень точит. А он был не каменный, и не капля его точила. Научился Алексей часами торчать в дымной, вонючей забегаловке, где слепой баянист — глаза ему будто птица выклевала из глубоких, темных орбит — без устали и подъема играл "На сопках Маньчжурии", "Дунайские волны" и — особо для Алексея, получив трояк в сухую, цепкую лапу, — его любимый "Синий платочек". Научился пить водку без закуски, коротко сходиться и в кровь ссориться с людьми, которых видел в первый и последний раз в жизни, научился с девушками раньше слов пускать в ход руки, научился не думать ни о настоящем, ни о будущем, — вот только о прошлом не думать не научился. Его нисколько не трогало, что иные соседи по общежитию сторонились его, что девушки построже и почище не хотели иметь с ним дела, что начальник автоколонны Косачев почти не скрывал презрения к нему и держал на работе лишь потому, что он "отчаянный": всегда возьмется проехать — и проедет — там, где другие спасуют. На длинных дорогах стройки ему случалось находить дружков себе под пару, таких же, как он, отбившихся от жизни. Правда, не очень-то он в них нуждался, им не развеять было его большого одиночества, да он и не стремился к тому. Он полюбил свое сиротство, полюбил долгую, пустую дорогу с ее тяготами и усталостью. И сейчас, в злобе на Косачева, на Панютина и на себя самого, он не был

искренен до конца. Где-то в глубине души он даже радовался этой неожиданной и трудной поездке: он любил дорабатывать "до точки". Забвение от рабочей усталости он пока еще предпочитал забвению от вина...

Стрелка спидометра дрожит около цифры двадцать, при такой скорости он едва ли доберется до четвертого раньше, чем через три часа. Спать перехотелось, и даже маятниковое покачивание "дворника", смывающего с лобового стекла клейкую изморозь, уж не укачивает, как в начале пути.

Луна скрылась за облака, и простор по обе стороны дороги обрезался. Впереди, там, где обрывался свет фар, дорога упиралась в черную стену ночи, и казалось — машина разобьется об эту непроглядную, твердую тьму. Но стена не давала приблизиться к себе, она отодвигалась все дальше и дальше, и дорога наращивалась ей вслед, будто рождаемая светом фар. Порой из черного небытия на обочину выпрыгивали то куст, то дерево, то старый, полусгнивший верстовой столб и, просуществовав краткий миг, исчезали.

Зеленая, в замерзших кругах капельках, еловая лапа повисла над дорогой, заиграла радужными переливами, но вдруг погасла и, темная, грузная, тяжело охлестнула лобовое стекло, просыпала на капот стеклянную хрупь и сгнула. Машина вошла в лес и, отмахивая стволы и ветви, двинулась по лесному коридору. Ветки скребли кузов и дверцы машины, царапали крышу, колотили по колесам; в мерный, привычный гуд мотора, казавшийся водителю тишиной, нагло и настырно ворвался шум посторонней жизни. Лицо его покривилось досадой. Оберегая свое одиночество и непричастность ко всему, что за окнами кабины, он прибавил газу и, когда стрела спидометра скакнула наверх, включил пятую скорость. Машину стало кидать, нарушившаяся устойчивость добавочной болью отозвалась в теле Бычкова, но шорох ветвей утишился, все внешние звуки стали мельче, чаще, дробнее, и он почти вернул свою тишину.

Наконец лес остался позади, Бычков сбавил скорость, и ход машины стал вновь натужлив и ровен. Затем по возрос-

шему давлению на спину он почувствовал, что дорога неприметно пошла под уклон. Желтые лучи фар поглубели и съжились, в них за клубился туман. Он переключил фары на ближний свет, будто подобрал его под передние колеса машины. Туман реял от самой земли, и глубокие борозды, бугры и рытвины разбитого грейдера, окутанные голубоватой волнующейся дымкой, казались живыми волнами реки. По обеим берегам этой реки, навстречу машине, побежали белые, похожие на карликовых человечков, каменные столбики. Туман за клубился еще гуще, и настоящая, невидимая за ним река метнула под колеса машины гулко и мягко проседающие доски деревянного мостика. Машина одолела бугор и вырвалась из тумана в чистую бархатную тьму. Впереди возникли огни деревни, Бычков переключил свет, и длинный луч серебром растекся в темном окне ближайшей избы.

Несмотря на холодный, не морозный даже, а знобкий, как то нередко бывает в стык осени и зимы, ветреный, неприятный вечер, молодежь гуляла. Прямо посреди улицы шли танцы. Шум мотора заглушал музыку, тьма скрывала баяниста от глаз Быčkoва, и странны были ему эти, как во сне, кружащиеся пары. Выхваченные из мрака фарами, они будто не замечали, что на них надвигается громада грузовика, они все кружились и кружились, будто были бесплотными духами, сквозь которые грузовик мог пройти, как сквозь туман. Бычков нажал на кнопку сигнала, и громкий, долгий, унылый звук прорезал ночь. Пары неохотно расступились, иные выпархивали из-под самых колес грузовика, когда Бычков уже не видел их за прямым срезом капота, но никто не прекратил танца, не оборвал плавного, зачарованного кружения.

"Вот скаженные!" — усмехнулся про себя Бычков, расправил тело, с хрустом зевнул и вспомнил, что под сиденьем лежит непочатая четвертинка водки. Это его обрадовало, хотя пить ему сейчас не хотелось. Просто было приятно знать, что она лежит там, холодненькая и скользкая. Ну и пусть пока полежит. Он достал из кармана пятую пачку "Прибоя",

встряхнул, вынул зубами папиросу, чиркнул зажигалкой, закурил.

Машина подошла к околице, и справа на дороге мелькнула фигура женщины с поднятой рукой. По сути, только эту белую, отчетливо выделяющуюся в ночи руку и успел увидеть Бычков. Он резко затормозил, но его протащило еще на добрый десяток метров вперед. Прошло время, пока женщина добежала до машины.

— Подвезете, товарищ водитель? — услышал он запыхавшийся голос.

Бычков высунулся из кабины. Темно, но все же он сразу увидел, что женщина молода, лет двадцати пяти, не больше. Взгляд его привычно пробежал сверху вниз, оцупав и оценив выбившиеся из-под платка светлые волосы в искринках снега, постекленевшие от ветра и холода, чистое округлое лицо, тугую грудь, сдавленную жеребковым жакетом. И он недобрым голосом сказал:

— Садись!..

Когда женщина взбиралась на высокую ступеньку, предварительно кинув в кабину две связанные узлом, туго набитые авоськи, он увидел круглое, обтянутое шелковым чулком колено и высокий черный резиновый ботик. Ишь вырядилась!

Женщина наконец уселась, пристроила в ногах свои авоськи и счастливо выдохнула:

— Надо же — как повезло! Я уж и не надеялась нынче на четверку попасть! — И вдруг испуганно спохватилась: — А вы на четверку едете?

— На нее самую.

Теперь Бычков разгадал причину своего недоброго чувства к этой незнакомой женщине: чем-то она неуловимо напоминала Тосю. Ни в чертах лица, ни в фигуре сходства не было. Тося выше, худее, темноволосая, большеглазая, большеротая; эта — подбористей, короче и крепче статью, черты лица мелкие, точеные: маленькие нос и рот, небольшие светлые глаза, светлые волосы. Пожалуй, лишь

спокойная круглота овала была у них общей. Но дело не в том. От этой женщины сразу же повеяло на него Тосиной определенностью и прохладой, исключающей всякую короткость. То, что она даже не взглянула на него, устраиваясь в кабине, что в ее словах и жестах не мелькнуло никакой игры, естественной при знакомстве молодой женщины с молодым мужчиной, даже в той пренебрежительной бесцеремонности, с какой она задрала ногу на ступеньку, проглядывал характер независимый — и вместе узкий и неглубокий, — Тосин характер...

Он тронул машину с места. Женщина чуть приподнялась и расправила юбку, чтоб не помять. На ее круглом спокойном лице отразилась обычная убогость путника, наконец-то поверившего, что движется к своей цели.

Бычков ждал, что она о чем-то спросит его, ну хотя бы: откуда, мол, держишь путь или когда доберемся до четверки, — но женщина молчала и даже не глядела в его сторону. И в этом было что-то от Тоси, от Тосиной душевной скупости. Недаром в пору детства и юности хватало с нее его дружбы, она даже не заводила подруг.

— А вы что — живете на четверке? — спросил Бычков.

— Ага! — кивнула она, не поворачивая головы.

— Местная?

— Нет, мы с Тихвина.

— А сюда как попали?

— Как все — нанялась.

— Замужняя?

Женщина отрицательно мотнула головой.

— А гуляешь с кем? — переходя на "ты", спросил Бычков.

— Еще чего! Я не для гулянок сюда ехала.

И в этих ее словах не было никакой игры, ни намека на кокетство.

— А для чего ж ты ехала? — спросил Бычков.

— Для чего все, для того и я, — сказала она упрямым голосом.

— Башли, что ль, зашибать?

Женщина не ответила, но Бычков понял, что угадал. И он почувствовал свое превосходство над этой опрятной, нарядно одетой, знающей себе цену женщиной: его-то мало интересовали заработки.

— На приданое копишь? — усмехнулся он.

— Может, и на приданое, — ответила она с вызовом.

— А где работаешь-то?

— В магазине.

— Ну, этак ты быстро скопишь, — сказал Бычков.

Она не отозвалась, спокойно и неподвижно глядя перед собой.

Бычков постарался представить себе ее будущего мужа. Он рисовался ему вроде Тосиного агронома: немолодой, хлипкий, узкотельный тип в очках. Почему-то такие вот крепкие, самостоятельные, всерьез строящие свою жизнь девчата любят брать в мужья солидных, городских людей с образованием. "Ведь не пойдет она за такого простого парня, как я", — с обидой подумал Бычков. И ему остро захотелось насолить этому неведомому агроному, вечно становящемуся на его пути, этому вкрадчивому тихоне, отбивающему лучших девчат у настоящих, боевых парней.

— Ну, такую кралечку и без приданого возьмут! — сказал он и, сняв руку с баранки, умял ватное плечо женщины.

Быстрым движением, словно ожидая этого, она откинула его руку. Он ухватил ее под локоть, потянул к себе. Она вырвалась и, когда он повторил попытку, взяла его за пальцы и, заломив их довольно больно, отвела и положила на баранку.

— Эк тебя разывает! — сказала она без особой, впрочем, обиды. — Выпимши, что ли?

— Нет! — усмехнулся Бычков. — Хорошо, что напомнила!

Притормозив, он нагнулся, нашарил в обтирочном тряпье холодную, как ледышка, четвертинку, достал ее и, стукнув доньшком о колено, вышиб пробку.

— Долбанем?

Женщина брезгливо передернула плечами.

— Я ее, гадость такую, в рот не беру.

— Вольному воля!

Вопреки ожиданию, водка почему-то не пошла, и Бычков сделал только два больших глотка. Приятное тепло все же разлилось по телу, а голова не только не затуманилась, напротив — прояснела, и притупившиеся от усталости чувства обрели дневную остроту. Сквозь привычную вонь солярки и автола он услышал едковатый запах отошедшего в тепле меха и аромат то ли духов, то ли одеколona в смеси с пахучей пудрой. И опять что-то шевельнулось в Бычкове. Он просунул правую руку женщине за спину и попытался обнять.

— Пусти!.. Слышишь! — Она резко вырвалась.

— Ладно строить-то! — с досадой сказал Бычков.

— Чего тебе надо? — спросила женщина, впервые повернувшись к нему.

И странно, даже когда она сердилась, лицо ее сохраняло неподвижность. Весь гнев сосредоточился в глазах, маленьких, светлых, блестящих.

Бычков и сам не знал, чего ему надо. Он слишком вымотался, устал, чтобы чего-нибудь хотеть. Пожалуй, хотелось одного — на миг почувствовать себя хозяином положения, чтобы от него, Бычкова, зависела судьба его стародавнего врага и счастливого соперника. Случись так, он бы наверняка оставил ее в покое: пренебречь властью куда слаще, чем использовать ее. Но упрямое сопротивление женщины разожгло в нем злобу. Он вновь с силой потянул ее за плечи.

— Пусти!.. Не такая я!.. Пусти!.. Я сойду!..

— Не шуми, — сказал он спокойно. — Не то впрямь ссажу.

— Ссаживай!.. Я и сама не поеду!..

Бычков остановил машину, перегнулся через колени женщины и распахнул дверцу. В кабину пахнуло резкой, пронизывающей стужей.

— Слазь, — не глядя на нее, сказал Бычков.

Женщина шмыгнула маленьким носом, поправила авоськи и не двинулась с места.

— Слазь, что ли! — лениво сказал Бычков.

— А ты не будешь приставать? — сказала она вдруг, склонясь к нему и просяще заглядывая в глаза. — Не будешь, миленький?

"Вот уж миленьким стал! — усмехнулся про себя Бычков. — Ну, этим меня не возьмешь!"

Он переключил свет на малый, достал переноску и вылез из машины. Холод и тьма охватили его со всех сторон. Да, неважно сейчас оставаться одному на дороге. Откинув крышку капота, он проверил уровень масла, затем вытащил пробку радиатора, откуда с шипением выстрелил горячий, седой пар, проверил, не выкипела ли вода. Поколотил каблуком в твердые, как камень, шины; став на колено, подергал канаты, державшие контейнер, и вернулся на место.

Женщина сидела, надув губы. И снова ее чистое круглое лицо, опрятная, нарядная одежда вызвали в Бычкове злость и раздражение. Ее гладкие щеки, ее потемневшие от растаявшего на них снега волосы, ее молодая тугая грудь, ее крепкие ноги с круглыми коленями были не для него. Так же как не для него оказались другие темные волосы, другое круглое лицо с твердыми ямочками на щеках, другое сильное, неузнанное тело.

Бычков достал папиросу, стал разминать в пальцах и порвал. Швырнул папиросу за окошко, вынул другую и закурил. Дым из неразмятого табака тянулся плохо, не доходил до души, Бычков вышвырнул и эту папиросу.

— Поедем, что ли? — тихо и нетерпеливо сказала женщина.

Бычков положил руку ей на колено. Женщина не шелохнулась. Тогда он включил вторую скорость, и грузовик, дрогнув всем могучим составом, стронулся. Разогнав его, Бычков последовательно включил третью, четвертую и наконец пятую скорость. После этого он вернул руку на колено женщины. Споткнувшись о металлическую застежку резинки, рука его скользнула дальше, и Бычков почувствовал под ладонью живое тело. Женщина сидела, оборотив лицо к боковому стеклу, и словно не замечала его прикосновения. Бычков слегка

провел рукой по ноге женщины, холодной, нежной, беззащитной. Невозможная, щемящая нежность и жалость хлынули ему в сердце. Он медленно потянул руку назад, очень тихо и осторожно, словно боясь оскорбить женщину этим движением, вздрогнул, снова зацепившись за металлическую застежку, и облегченно вздохнул, наконец-то выпростав руку.

Он положил ладонь на баранку и сразу снял. На ней, словно второй покров, прилипший к коже, легким холодком сохранялось запретное прикосновение, и от ладони током шло по всему существу Бычкова смятенное чувство стыда, жалости, раскаяния и непонятной, необъяснимой радости.

— Ты не бойся... — произнес он хрипло и трудно. — Не такой уж я... — Он не знал, как определить себя, и не закончил фразу.

Женщина глядела прямо перед собой на подмерзшее, непрозрачное лобовое стекло, выпятив пухлые губы и часто моргая светлыми колючими ресницами.

— Правда, я не такой, — повторил Бычков. — Жизнь меня обидела, люди обидели...

Женщина молчала.

— Ну, можете вы понять меня? — тоскливо сказал Бычков, заглядывая ей в глаза. — Сдуру я, с обиды!..

— От меня вам никакой обиды не было, — уронила она наконец.

— Да не от вас! — И горячо, путано принялся рассказывать ей о том, о чем не говорил никому и никогда, ни трезвый, ни пьяный: о своей любви, об измене, о боли, сломавшей душу.

Она не прерывала его ни одним словом, но губы ее оставались такими же надутыми, а лицо запертым. Она не простила ему обиды, и Бычков, понимая, как нехорошо, нечисто ее обидел, желал лишь, чтобы она позволила ему выговориться до конца. Тогда она увидит, что не пропащий он человек, есть в нем живая душа, и простит его.

— Полтора года мыкаюсь по белу свету, а все места не нахожу... Самому глядеть на себя тошно... А я ведь дом люб-

лю, семью люблю, деток люблю... Коли прилеплюсь к кому сердцем, все отдам, чтобы дорогому человеку хорошо со мной было...

Он говорил и с каждым словом сильнее чувствовал, что эта молчаливая, скромная, чистая женщина, первая поверенная его обманутого сердца, становится ему все нужнее и ближе. И скупое "ага!", каким она изредка подтверждала, что слушает, теплом отзывалось в сердце.

Ее сходство с Тосей уже не мешало ему, — напротив, та, прежняя Тося словно приняла новый образ, слилась с этой женщиной, растворилась в ней.

Смутно угадывая за тихим, скромно замкнутым обликом своей спутницы прочную житейскую трезвость, что было мило ему, в противовес нынешней его постыло незаземленности, Бычков говорил:

— Я за деньгами не гонюсь — и то больше полутора тысяч зарабатываю. А по моей жизни и половины не проживешь. Я матери каждый месяц тысячу посылаю. Она, бедная, не рада этим деньгам, плачет над ними. Мне, пишет, ничего от тебя не надо, у меня дом, хозяйство, я и сама работаю, да и дочь при мне. У матери только и свету в окне — чтоб я своим домом зажил, а она бы внуков качала. А я, вправду вам скажу, никакой работы не боюсь, было бы только для кого...

Бычков робко посмотрел на свою спутницу. Она сидела все так же прямо, неподвижно, строгая, чинная, но, видно, что-то отпустило ее внутри, в лице появилась успокоенность, губы не дулись больше, а ровно и мягко розовели. Радуюсь этому пробудившемуся доверию, Бычков тихо говорил:

— Вы любого про меня спросите, всякое скажут: и зашибает, мол, и то да се, а чтобы там лодырь или работник плохой — такого не услышите. А по-моему, коль человек не остыл к работе, его не поздно на правильную дорогу вывести. Как вы думаете?.. — спросил он с надеждой.

Женщина не ответила. Бычков подождал и осторожно заглянул ей в лицо. Тихое, ровное, глубокое дыхание выходило из ее полуоткрытого маленького рта, а глаза под светлыми иглоч-

ками ресниц были прикрыты. Она спала. Это не обидело, напротив — она как бы поручила ему себя, — значит, сказанное им дошло до ее сердца. И в этом доверчивом, беззащитном сне почудился ему молчаливый ответ на не высказанный им прямо вопрос. И тогда из самых глубин его существа всплыло нежное, горячее, опаляющее, нежное, заветное слово.

— Жена!.. — произнес он одними губами. — Жена!..

Одинокая слеза обожгла ему щеку. Он смутился, засмеялся и вытер щеку о плечо.

Будто горохом дробно ударяло по лобовому стеклу — машина въехала в дождь. Так нередко случается в эту пору — за один день переезжаешь из зимы в осень, из осени в зиму. Гонимые ветром, стежки дождя летели навстречу грузовику, как темные короткие стрелы. Капот покрывался мелкими фонтанчиками. Завыл ветер под жестью крыльев, и в жар, идущий от мотора, вплелись студеные, пронизывающие нити. Бычков стянул с себя ватник и бережно, стараясь не коснуться, укутал ноги женщины.

Мокрый ветер дул изо всех щелей машины, но горячий, быстрый бег крови защищал Бычкова от холода. Он слышал слабое дыхание спящей, и в нем пело чувство путника, после долгих странствий вернувшегося в родимый дом. И, как путник, вернувшийся издалека, он не мог наговориться. Пусть не доходит до женщины звук его голоса, все равно она слышит его как бы внутренним слухом. И Бычков говорил и говорил о былом, о настоящем, о будущем, о тоске своей по близкому человеку, о том, что он спасен этой встречей...

Внезапно Бычков замолчал и приник к стеклу. Сквозь дождь вперемежку со снегом увидел он на дороге темную фигуру человека. Он придавил пальцем кнопку сигнала и тут же отдернул, испугавшись, как бы резкий звук гудка не разбудил его спутницу. Человек на дороге нелепо размахивал руками и что-то кричал. Бычков помигал фарами, чтоб тот убирался, и, когда человек отскочил в сторону, промчался мимо, не снижая скорости. "Место занято, дорогой товарищ!" — высказал он вслух, будто человек мог услышать его.

Четвертый участок возник впереди и вверху россыпью электрических огней. Он раскинулся на взлобке холма, за рекой. Бычков с разгона въехал на лед и почувствовал под колесами машины странную, зыбкую, податливую мягкость. Там, откуда он ехал, реки были прочно закованы в лед, по ним тянулись наезженные снеговые дороги. А тут было черт знает что — какое-то полужидкое месиво. Но у Быčkova оставался один только выход: мчаться вперед. Остановишься — и застрянешь навек, потом никакой силой не вытащишь. К тому же от реки до вершины холма, куда забралась четверка, вела крутая дорога, и машине был нужен разгон.

Лучи фар загодя открыли опасность: они уперлись в крутой подъем дороги и растекались по влажной мясистой глине, которую, верно, в течение целого дня поливало и квасило дождями. Дороги, в сущности, не было, ее начисто смыло водой. Была изборожденная глубокими, полными воды рытвинами рыжая полоса меж глубоких канав, по которым бежали ручьи. Решение возникло мгновенно... Бычков переключил скорость, задохнувшись, принял на себя тяжкую инерцию груза и тяжело, на второй скорости, пополз наверх.

Поначалу казалось, что все идет благополучно. Грузовик дрожал, кренился — вот-вот опрокинется, — зарывался носом в колдобины, черпал грязь и мутную воду, но упорно одолевал крутизну. Затем Бычков почувствовал, что у машины заносит зад, что ее медленно и неудержимо тянет вбок и вниз. Дело было не в пробуксовке задних колес — оползала сама дорога, увлекая за собой грузовик.

Она уплывала из-под колес, заводя их к кювету, грузовик шел боком, как собака деревенской улицей. А Бычков мог противопоставить всему этому лишь ровное, неспешное и неуклонное движение вперед. Он не смел ни прибавить газу, ни переключить скорость — это было бы гибелью. Нельзя было и остановиться, его бы неудержимо потянуло назад. Он мог побороть дорогу лишь выдержкой и железным терпением, ровной неизменностью усилия, а это было дьявольски трудно, потому что каждая мышца, каждый нерв требовали вспышки, резкого,

волевого действия, рывка, удара бойца. "Нельзя!" — твердил он себе, ровно и несильно давя носком сапога на педаль акселератора и легонько выкручивал баранку в сторону заноса машины. Нога, лежащая на педали газа, казалось, немела, деревенеющую икру словно сводило судорогой, но он не поддавался этой обманной боли. Нога мстила ему за то, что он не позволял ей нажать со всей силой на акселератор, высвободить ненужную, губительную сейчас мощь мотора...

А женщина все спала, откинувшись в угол кабины. Она верила ему себя целиком, и лучше было умереть, чем обмануть ее веру. Впереди Бычков видал полосу бурой, прошлогодней травы, если он сумеет добраться туда, то колеса получат упор. Тогда потребуется лишь последний, сильнейший рывок — и машина одолеет подъем.

Мокрые ладони скользили по баранке руля, едкий пот травил глаза, он смагивал его на скулы. Теплые капли текли по щекам, солили запекшийся рот. Бурлящая дождевой водой канава была в каких-нибудь двух-трех метрах, когда Бычков почувствовал вдруг, что колеса "схватили" дорогу. Он резко выжал газ, освобождая всю замертвевшую в ноге силу, — грузовик трянуло, дернуло и словно выбросило на гребень подъема. Впереди, до самого поселка, открывалась разбитая, в толстых складках и глянцевитых лужах, такая надежная теперь дорога.

Бычков вытер лицо подолом рубахи, облизал соленые губы. Каждая жилочка, каждый мускул были скручены ноющей, тянущей болью, будто он на себе вынес грузовик со всем его грузом.

Он поглядел на свою спутницу. Она сладко спала, не ведая о его поединке с дорогой. Так и должно быть: он охраняет ее покой и сон, все трудное, тягостное, что может встретиться на пути человеческом, он берет на себя, у него крепкая спина, она вынесет любой груз, одолеет любую кручу, лишь бы она была рядом.

Поселок еще не спал, во многих домах и бараках горел свет. Горел он и над входной дверью, и в широких окнах

магазина, у которого Бычков остановил грузовик. Женщина не просыпалась, когда машина мучительно боролась с дорогой, но сейчас внезапный покой разом скинул с нее сон. Она зябко встряхнулась, провела тылом ладони по глазам, зевнула и стала нашаривать свои авоськи. Под руку ей попался ватник Бычкова, она положила его на сиденье. Найдя авоськи, она сдвинула их с краю кабины, неумело, двумя руками, открыла дверцу и спрыгнула на землю. Затем сняла авоськи. Перегнувшись через сиденье, Бычков с улыбкой следил за ее чуть неловкими спросонок, но сильными и решительными движениями.

— А что теперь с нами будет? — спросил он с выжидательной нежностью.

Женщина что-то протягивала ему, и Бычков хотел взять это что-то из ее маленького кулака и уже коснулся пальцами... как вдруг понял, что это деньги. Словно ожегшись, он отдернул руку, и две смятые в комок пятирублевки упали в грязь.

— Вы... вы что?.. — пробормотал он испуганно.

Женщина нагнулась и подобрала деньги.

— Совести у вас нет! — сказала она зло и стала копаться в сумочке. — До Выселок десятку берут!..

— Да ты что? — с тоской закричал Бычков. — Смеешься, что ль, надо мной?

Женщина нашла нужную бумажку и протянула Бычкову.

— Тринадцать, больше не дам!

— Погоди... — Бычков чувствовал, как обнажается его оскал в жалкой, жуткой, какой-то расплывающейся улыбке. — Ты, значит, не слышала, чего я тебе говорил?

— Все слушать — слухалок не хватит. Берешь деньги или нет?

— Да как ты можешь? — в отчаянии крикнул Бычков и от бессилия выругался.

— Не очень-то хулюгань, здесь тебе не шоссе. Живо в милицию отправлю!

Бычков поглядел на ее мелкое, злое, но и в злобе не ставшее открытым лицо, запертое, деловое лицо маленькой, убо-

гой хищницы и понял, что ему некого винить, кроме себя самого. Он все придумал про эту женщину, ей никакого дела не было до него. Она притворялась, будто слушает, чтобы он оставил ее в покое и вез дальше; а поняв, что ей нечего опасаться, — спокойно уснула.

— Не "хулюгань", — передразнил он с презрением и болью. — Говорить научись, халява!

Он с лязгом включил скорость и так рванул с места, что выжатая колесами грязь охлестнула блестящие черные ботики женщины.

На базе четверки было пусто, если не считать заспанного сторожа в дремучем тулупе. Бычков накинулся на старика. На кой ляд требовали они трансформатор, если и принять-то его некому? Сволочи и бюрократы! Им плевать, что человек башкой рискует, чтобы доставить груз!.. Обалдевший сторож кинулся к телефону, а Бычков залез обратно в кабину. Его всего трясло. Он застегнул ватник, подтянул ноги к животу, собрал в ком тепло своего тела. Ничто не помогло, знобящая, противная дрожь пронизывала до кончиков пальцев.

А потом прибежали какие-то люди, много людей, среди них начальник четверки, пожилой, седоголовый инженер. Они силком вытащили Бычкова из кабины, жали ему руки, хлопали по спине, обнимали, а начальник четверки хотел даже поцеловать его, но Бычков отстранился, и начальник ткнул его холодными, жесткими усами куда-то под челюсть, и все они говорили, что Бычков геройский парень, и такой, и этакий. Оказывается, они выслали вперед своего работника, чтобы предупредить водителя о том, что проезда нет. И какой же он молодчага, что не послушался и выручил, да что там — спас четверку! Бычков вспомнил человека, махавшего руками на дороге, на которого он, охваченный своим новым счастьем, просто не обратил внимания...

— Довез — и ладно! — сказал он грубо. — Разгружайте скорее, устал я...

Начальник участка уговаривал его пойти отдохнуть: общежитие тут рядом с базой, грузовиком займется дежурный

шофер. Но Бычков не стал его слушать: не сон и не отдых были ему нужны сейчас.

Когда с разгрузкой было покончено, он залез в кабину и вывел грузовик за ворота. В конце длинной и уже темной улицы — час был поздний — по-прежнему ярко светила вывеска над входом в забегаловку. Бычков представил себе, как войдет в жаркую, едко пропахшую пивом духоту, как опрокинет в рот граненый, отсвечивающий зеленым на гранях стакан водки, как разойдется по жилам тепло и вдруг ударит в голову одуряющим дурманом, растопив живую память и боль в сладкой хмельной тоске, и как хлынет в эту тоску песня о синем платочке, и тогда он совсем забудет себя...

Легкий, чуть слышный, нежный запах все еще держался в кабине. В нем уже ничего не осталось от запаха дешевого одеколona, пудры и мокрого меха, и оттого он пробудил в Бычкове память не о недавней его спутнице, а о той, другой, еще не встреченной им. Сегодня он глупо и жалко ошибся. Ну что же, зато он узнал, что она есть. Она в нем, она уже слита с его существованием, только б не потерять ее в себе, и тогда она явится воочию, на дневной или на ночной дороге, явится навсегда. Он легко и глубоко вздохнул, и утихла мучившая его дрожь.

Огромный грузовик, уверенно шедший к своей цели, вдруг затормозил, шипя тормозами, круто свернул, дал задний ход и, брызнув мощным светом фар в освещенное окно забегаловки, развернулся и покати́л назад.

# СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СЕДЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВОЛОСЫ

Гущин замер в удивлении. Черным по белому: густой черной тушью на белом, с морозным гляncем ватмане было смачно выведено: "Срочно требуются седые человеческие волосы". А рядом висели выцветшие, пожелтевшие объявления, оповещающие, что "Ленфильму" нужны уборщицы, осветители, шоферы, парикмахеры, электротехники, рабочие на пилораму, вахтеры, буфетчица, пиротехники и счетовод.

"А жутковато звучит насчет человеческой седины! — подумал Гущин. — Надо обладать завидно ясным и нетревожным духом, чтобы начертать такое воззвание".

Он услышал короткий смешок. Возле него стояла девушка с чистым детским лицом и пышно-застылой, слишком взрослой и модной прической.

— Не бойтесь, — сказала девушка. — Это же добровольно.

Перенесенный из смутных образов освенцимского злодеяствия, из полубредовых видений войны, внезапно нахлынувших на него, в детскую нежность взгляда, смеха и голоса, Гущин не понял обращенных к нему слов.

— Вашей седине ничего не грозит, — чуть смущенно пояснила девушка.

У Гущина была та красивая стальная седина, которую приносит раннее поседение, она не старила, скорее молодила его сорокапятилетнее, смуглое и печальное лицо. В отваге обращения и слов девушки таилось лестное для Гущина, но он был человеком оскорбленным, безнадежно оскорбленным собственной женой и потому не испытывал ни радости, ни гордости, скорее даже печаль его усугубилась. Так и всегда

бывало, когда из внешнего мира поступали к нему добрые сигналы. Проще было жить с сознанием, что он никому даже мимолетно не интересен, не привлекателен, — наибездарнейший тускля, вполне заслуживший судьбу домашнего отщепенца.

— Хорошо хоть, что им не требуются человеческие зубы, ногти и кожа, — не понуждая себя ни к любезности, ни к остроумию, хмуро отозвался Гуцин.

Страдальческая гримаса покривила лицо девушки, на миг состарив его.

— Простите, — сказала она. — Это была плохая шутка. Я бестактная дура.

— Да что вы! Я вовсе не узник фашистского лагеря.

Ему стало жаль девушку. Бедняжка захотела просто пошутить с незнакомым человеком, и вот какая получилась бодряга!

— Бросьте, ей-Богу! Все в порядке. — Гуцин улыбнулся — А для чего им нужны эти волосы?

— Для париков. — Девушка тоже улыбнулась, поверив, что не причинила ему боли.

— А я думал, для матрасов.

— Для матрасов?

— Да. В немецких гостиницах над умывальником висит целлулоидный рожок, туда полагается сбрасывать вычески. Потом этими волосами набивают матрасы.

— Как мило! Как разумно! — Девушка передернула плечами. — И как отвратительно!

Тема была исчерпана, и двум незнакомым людям, случайно столкнувшимся возле студийной доски объявлений, ничего не оставалось, как разойтись в разные стороны. Сейчас незнакомка с ее чистым детским лицом и взрослой пышной головой уйдет, исчезнет, растворится в сумятице проспекта ее белый тонкий свитер и короткая плотная юбка, едва достигающая колен по-женски прекрасных ног. И сколько бы еще ни прожил Гуцин, он никогда больше не увидит ее больших, доверчивых и веселых глаз, ее рта,

сразу стареющего от страдания, не услышит короткого смешка и нежного голоса. В ужасе перед ожидающим его одиночеством Гушин, тюфяк, размазня, подкаблучник, вдруг ринулся напролом.

— Вы торопитесь?.. Может, побродим по городу? Если у вас, конечно, есть время. Я тут в командировке, только зайду на студию, буквально на пять минут... А потом мы могли бы покататься на речном трамвае, посидеть в кафе или пойти в Летний сад...

Девушка смотрела на него с любопытством и вроде бы с сочувствием. Гушин ее глазами видел себя: тяжелый, темный не по сезону мосторговский костюм, слишком тугой и округлый — "пасторский" — воротничок, дешевый, не идущий к костюму галстук, давно не чищенные ботинки на микропоре и удручающе огромный, заношенный дерматиновый портфель.

— Как много всего сразу! Подумайте: прогулка, кафе, речной трамвай, Летний сад! Вы ничего не забыли? Ведь еще можно подняться на Исаакия, съездить в Лавру и на Волково кладбище, а потом — Эрмитаж, Русский музей, квартира Пушкина.

Она просто смеялась над ним, над жалкой прытью немолодого, унылого человека в мосторговском костюме и пасторском воротничке.

— Простите, — сказал Гушин, смиренно и без всякой обиды возвращаясь на подобающее ему место. — Это внезапное помрачение рассудка. Со мной давно никто не заговаривал на улице. Мне вдруг показалось, что мир сказочно подобрел.

Лицо девушки знакомо притуманилось, будто постарело. Видимо, она обладала редкой способностью проникать за оболочку слов.

— Зачем вы так? Я же не отказываюсь. Но мне тоже нужно на студию и тоже на пять минут.

— Так идемте! — притворно радостным голосом сказал Гушин, уверенный, что девушка "потеряется" в бесконечных коридорах "Ленфильма". — Вам в какой отдел?

— В актерский.

— Вы?..

— Да, я именно то, что никогда не требуется на студии, — актриса. А вы? Ума не приложу. Вы не подходите к студийной обстановке.

— Почему? Судя по той же доске объявлений, студия имеет дело не только с творческими работниками.

— Нет, — девушка покачала головой. — Кино, как Бог — шельму, метит всех, кто попадает в его орбиту. Студийный счетовод ближе к Олегу Стриженову, чем к другому счетоводу из какого-нибудь жэка. Вы не киношник, вы серьезный и грустный человек, случайно попавший в страну лжечудес.

— Проще говоря, я инженер. По специальности катапультист. Меня прислали сюда по вызову группы "Полет в неведомое".

— Знаю, — сказала девушка. — У них там все время катапультируются. Вы москвич?

— Да. Я заметил, ленинградцы мгновенно узнают москвичей.

— Простонародный говор выдает, — засмеялась девушка. — Ну что же, мы уже знаем друг о друге в пределах анкеты для поездки, скажем, в Болгарию. Не заполнена только первая графа. — Она протянула ему руку. — Проскурова Наталия Викторовна. Наташа.

— Гушин Сергей Иванович.

Они обменялись рукопожатием и вошли в вестибюль киностудии.

— Вам за пропуском? — И гордо: — А у меня постоянный. Значит, встречаемся здесь или лучше у входа через четверть часа.

Кинув вахтеру, видимо знавшему ее в лицо, она побежала по коридору в глубь помещения. Гушин проводил ее взглядом. Он понимал, что больше не увидит ее, но не испытывал давешней муки. Она не исчезла безымянно, не истаяла сном наяву, она подарила ему свое имя и тем как бы дала право на себя, право помнить, скучать, надеяться. Он может знать и

называть ее, говорит с ней в своей душе, его одиночество заполнено. Судьба сделала ему неожиданный и незаслуженный подарок, он должен благословлять милосердие судьбы и не помышлять о большем.

Гущин долго ждал, когда инвалид-охранник выпишет ему пропуск искалеченной рукой, но даже мысленно не торопил его. Время ничего не значило теперь для Гущина, ибо пережитое мгновение замерло и стало вечностью. Тот сложный обмен, который происходил сейчас между Гущиным и действительностью, не подчинялся законам времени: творилось вселение Наташи в клешню охранника, в мокрые ресницы престарелой артистки, которой отказали в пропуске, в тонкий прыщавый профиль длинноволосого юнца, сказавшего своему приятелю самоуверенным и бедным голосом: "Старик, лента удалась!", в испуганные косички двух школьниц, влекомых на жертвенный алтарь искусства, — во все малое, жалкое, ущербное и милое, что окружало Гущина.

Это продолжалось и после, когда с пропуском в руке он наконец-то ступил в студийный коридор, до головокружения напоенный Наташей. Он думал: от кого так неистово оберегают студию, и жалел маленьких глупых людей, учредивших пропускную канитель, — они находили свое искупление в Наташе. И режиссер игрушечного фильма "Полет в неведомое", и красноносый инженер по технике безопасности, с которым он в последний раз обсуждал проблемы катапультирования, и высокомерная секретарша директора, отмечавшая ему пропуск и командировку, и толпящиеся в коридорах непризнанные гении — все были невиновны перед миром, осиянные заступничеством Наташи, ее искупительной прелестью.

Когда же он спустился в вестибюль и увидел сквозь мутноватые стекла входных дверей летний уличный мир, уже не принадлежащий студии, ему вдруг не хватило смирения. Он почувствовал, что не в силах распахнуть дверей. Он любил эту студию, где творилась странная, таинственная жизнь Наташи, пусть не вся ее жизнь, а лишь малая и не главная частица,

но, пока не захлопнулись за ним двери, тоненькая ниточка еще связывает его с Наташей. Внезапно его осенило: а что, если пойти да и сдать цеху париков свои седые человеческие волосы? Он будет вправе еще какое-то время не покидать студию, и, кто знает, быть может, Наташа сыграет в парике из его волос роль старинной светской дамы? Но пусть и не сыграет, все равно он сочетается с ее миром чем-то интимным и вещественным. А там, усмехнулся Гуцин, глядишь, и впрямь студии понадобятся человечьи ногти, кожа, кости, внутренности, и он сдаст всего себя, как утиль, — чем он на деле и является, — во славу любимой.

— Это бог знает что! — услышал он задыхающийся, беспомощно-гневный голос. — Вы... просто старый авантюрист!

Перед ним стояла Наташа, ее темные глаза были огромными и полны возмущением и подступившими слезами, а нижняя часть лица: губы с опустившимися уголками и сморщившийся подбородок — совсем старой.

— Я не верил, что вы придете, — пробормотал Гуцин.

— Какой вы странный, — сказала Наташа с досадой, но уже безгневно. — Вас, наверное, много обманывали?

Гуцин пожал плечами. Да, меня много обманывали, я потерял веру в себя и в окружающих. Я признаю за каждым право меня обмануть. В сущности, это так же безнравственно, как и самый обман. Но я не могу объяснить вам, Наташа, как все это со мной случилось, потому что и сам не постигаю механизма своего падения. Видимо, все дело в постепенности, вработываешься в примирение с низостью изо дня в день в течение многих лет — так приучают человеческий организм к ядам. Вот ты уже способен безнаказанно глотать мышьяк или отраву еще похуже. Если б на фронте кто-нибудь осмелился мне сказать, что я буду безропотно жить моей теперешней жизнью, я шлепнул бы на месте негодяя... или самого себя.

Они шли по Кировскому проспекту в сторону Невы. Тянувший с моря ветер умерял жару, дышалось легко, было тенисто на проспекте и полно солнечного блеска на площади

перед мостом. Наташа спросила Гущина, почему он избрал специальность катапультиста. Она понимает, что все занятия равно почтенны, но не способна постигнуть, как додумывается человек до столь редкой и необычной специальности. В юности все мечтают осчастливить человечество: видимо, и он думал осчастливить своих ближних катапультированием? Конечно, ответил Гущин, ведь катапультирование неразрывно связано с космическими полетами, а кто в двадцатом веке не мечтает о космосе? Гущин говорил машинально, понимая, что и она спрашивает его лишь ради заполнения тишины, возникшей между ними, едва они вышли из студии. Гущин не был готов к этой новой встрече с Наташей. Она обрела место в его памяти, мечтах, печали, но живая, грозная своей прелестью, всем напряжением юности, она была ему не по силам.

“Я устал. Вечное насилие над собой не проходит даром. Душа во мне устала. Я все время понуждаю ее жить в негодном для нее режиме. Жена была по-своему права, когда говорила: “Ну, чего ты мучаешься? Почти все так живут”. Она не поскупилась на примеры. Я и не думал, что дела наших знакомых так запутаны. Но ничего — живут. А у меня не получается. Мне надо было бы принадлежать к меньшинству, которое так не живет. Я не обрел свободы равнодушия. Я не могу разучиться видеть в своей жене чистопрудную девчонку с ошалело влюбленным лицом. Она любила меня тогда куда смелее и беззаветнее, нежели я ее. Я был оглушен войной, пустотой вымершей за войну квартиры, внезапным одиночеством, непроглядью будущего, а она любила очертя голову, изо всех полудетских сил. Это я медленно вработался в любовь к ней. Но вработался — и пропал. Потом, когда она стала исчезать из дома и возвращаться все позже и позже, я заставлял себя не замечать размазанного мятого рта, неопрятно поплывших глаз, беспорядка в одежде, запаха вина или коньяка и запаха папиросного дыма, запутавшегося в волосах. Я спрашивал: “Где ты была?”, давая ей возможность оправдаться, хотя бы соврать убедительно, спасти вид дос-

тоинства в нашей уже неприличной жизни. Я думал, что удерживаю этим от какого-то последнего падения. Надеялся победить ее терпением, выдержкой, верой в ее несуществующую честность. Она первая не вынесла этой добавочной лжи. Я открыл ей дверь часов в пять утра. Была зима, и с лестницы мне под халат по голым ногам ударило мозжащим холодом, так и оставшимся в доме навсегда. "Ну, где я была?" — проговорила она хрипло, почти грозно и впервые поглядела на меня с ненавистью. Видно, я до смерти надоел ей со своей игрой в неведение и доверие. Я замолчал, перестал спрашивать и больше не видел ненависти в ее глазах, лишь снисходительное презрение, порой даже что-то вроде сочувствия, жалостливого понимания..."

Она приходила к Гушину ночью изредка и всегда нетрезвая. Он понимал, что не любовь толкает ее к нему, а какое-то женское поражение, неутоленность, и, стыдясь, проклиная себя за слабость, брал бедное наслаждение от женщины, которую некогда любил единственной любовью, а сейчас почти боялся. Человек никогда не бывает окончательно несчастен, всегда остается допуск. Самое страшное пришло, когда подросла дочь. Он и терпел свою жизнь из-за дочери. Она любила его с тем оттенком ревнивого обожания, какое часто приносят девочки в любовь к еще молодому, привлекательному и незаласканному в домашней жизни отцу. Но девочка выросла, проникла в суть стыдных семейных тайн и с юной беспощадностью решительно стала на сторону матери, воздвигнув между собой и отцом глухую стену высокомерного небрежения. Жена поступала с ним жестоко, но была не злым человеком. У дочери, когда он делал робкие попытки проникнуть за стену, глаза становились маленькими и ненавидящими. Казалось, она не может простить отцу его унижения, слабости, смирения. Она не любила матери, но взяла ее за образец, выиграв для себя независимость, бесконтрольность, требовательность без всякой отдачи...

— Нет, — сказал Гушин. — Вы ошибаетесь, это не Деламот, а Кваренги.

Они перешли мост и сейчас стояли на краю Марсова поля, возле памятника Суворову, и Наташа, взявшая на себя роль гида, ошибочно приписала Валлен-Деламоту высокий, тускло-зеленый и довольно заурядный дом, построенный молодым Кваренги.

Наташа заспорила с обостренным самолюбием ленинградки, пойманной на незнании своего города.

— Зачем вы спорите? — сказал Гуштин. — На доме есть мемориальная доска со стороны площади. Там ясно сказано, что дом построен Кваренги. Хотите сами убедиться?

Но попасть к дому с их угла оказалось не так-то просто — переход улицы напрямик был запрещен и пришлось бы сделать порядочный крюк. В расчете на это Наташа продолжала сердито отстаивать авторство Деламота.

— Хотите, я назову вам все известные постройки Кваренги и Деламота, как сохранившиеся, так и сгоревшие, снесенные, уничтоженные временем или перестроенные до неузнаваемости? — И Гуштин тут же отпугнул несколько десятков названий, не скупясь на адреса как существующих, так и умерших зданий.

— Можно не переходить улицу, — ошеломленно сказала Наташа. — Ничего не понимаю. Эти познания распространяются и на других архитекторов или у вас узкая специальность: Кваренги-Деламонт?

— На всех, кто строил Петербург, — не без гордости отозвался Гуштин, — будь то Квасов или Руска, Растрелли или Росси, Фольтен или Соколов, но Кваренги мой любимый зодчий.

— Почему? Разве он лучше Воронихина или Росси?

— Я же не говорю, что он лучше. Просто я его больше люблю.

— Так кто же вы такой? Катапультист, архитектор, искусствовед, гид или автор путеводителя по Ленинграду?

— Катапультист, — улыбнулся Гуштин. — Вы можете проверить на студии.

— А при чем тут Кваренги и все прочее? Ведь вы даже не ленинградец!

— Порой человеку нужно убежище, где бы его оставили в покое. Люди даже придумали препаративное слово для обозначения этого спасительного бегства души: хобби. Так вот, старый Петербург — мое хобби. Тьфу, скажешь — и будто струп на языке!..

И впрямь, какое это счастье — открыть маленький, в красном сафьяновом переплете томик и рассматривать четкие и строгие фотографии на плотной, шелковистой, с благородной прижелтью бумаге: антаблемент, сохранившийся от Елизаветинского века в неприметном особнячке на Каменном острове, портик Кваренгиевой простоты и благородства, уцелевший в глубине отнюдь не живописного складского двора на Литейном, дивно-нетронутую решетку неузнаваемо перестроенной городской усадьбы на Фонтанке, рассматривать все это и отыскивать в памяти уголок города, приютивший тот или иной остаток, вспоминать пейзаж места: окрестные камни и деревья, воображать, как все это выглядело встарь. Перестаешь замечать, что ты опять один в квартире, и уже не помнишь, почему ты один, на душе задумчиво и светло — камень старинных зданий куда мягче и теплее камня ожесточившихся в эгоизме человеческих сердец. Но самую большую радость, не радость даже, а высокое отдохновение, торжественный покой доставляет Джакомо Кваренги, тучный, безобразный карлик с разляпанным носом — творец высшей гармонии. Пусть другие мощнее, пышнее, богаче фантазией, вдохновением — целомудренная простота, художническая щепетильность Кваренги наделяют все им созданное несравненным благородством и завершенностью. Кваренги мыслил объемами, а не украшал плоскость. Тени и свет на простом до вызова фасаде бывшей Академии наук одаряют душу странным чувством гордости. Начинаешь верить, что человека нельзя унижить, пока он ощущает свою причастность к мировому духу. Ты с Кваренги и грустным Аргуновым, с торжественным Чевакинским и всевластным Росси против больших и малых бед жизни, против ночи, неуклонно бросающей тебя в одиночество, против опустошенности и скорби.

— Хотите, я покажу вас совсем особый Ленинград? — с надеждой сказал он Наташе. — Убежден, вы не знаете такого Ленинграда!

— Где он находится — ваш Ленинград?

— В переулках, в маленьких двориках, на задах знаменитых зданий, иногда и прямо посреди Невского, только его не замечают, как часто не замечают того, что рядом.

— Сергей Иванович, милый, да нам дня не хватит!

Кошачий глазок такси, резко остановленного светофором возле них, подсказал Гушину решение. Он схватил Наташу за руку и втолкнул в машину. Шофер начал было ворчать: не положено, но Гушин так уверенно и радостно сказал: "Прямо, браток, не робей!" — что тот сразу замолчал и с лязгом включил скорость. Машину дернуло, и Гушин с ужасом вспомнил, что денег у него кот наплакал. На такси, конечно, хватит, но как он расплатится за гостиницу?

Гушин и всегда-то ходил налегке. Дабы избавиться от лишних попреков, он всю зарплату до копейки отдавал жене. Он не курил, не пил, брился дома, а транспортные расходы ограничивал единым проездным билетом. Лишь редкие, случайные приработки он тратил на книги. И в командировку отправился, имея в кармане точно из расчета: два шестьдесят суточных и рубль пятьдесят шесть квартирных, да еще на трамвай. Но с той мгновенной сметкой, которая выработалась в нем еще в скупые студенческие годы, когда из стипендии да малого вокзального калыма удавалось выкраивать на билет в консерваторию или во МХАТ, на букетик цветов или скромный подарок будущей жене и на другие незапланированные расходы, он рассчитал, что, обменяв купейный жесткий в "Красной стреле" на некупейный в пассажирском поезде, сведет концы с концами, и выкинул из головы заботы о зловеще пощелкивающем счетчике...

Каждому коллекционеру, даже самому нелюдимому и замшелому, хочется хоть раз показать свои сокровища другому человеку. А Гушин по природе был щедр и общителен, нелюдимым его сделали обстоятельства жизни. Да и чем еще мог он

поделиться с Наташей? Обидой, угнетенностью, грустью или соображениями о катапультирующих устройствах? И то и другие не подлежало разглашению. Он делился с ней своим единственным достоянием, скопленным по крохам в долгие одинокие вечера. И потому Гуцин, человек деликатный до испуга, швырял такси из одного конца города в другой, таскал Наташу через буераки, старые кладбища, захламленные дворы, стройплощадки и пустыри, вовсе не заботясь о том, интересно ли ей, не устала ли она. Он как будто знал, что такого путешествия больше не будет, и в добром исступлении хотел показать ей все. Он уже понял, что Наташе знакомы лишь знаменитые памятники архитектуры, но неизвестны те малые следы, приметы исчезнувшей старины, что составляли его коллекцию, и многочисленные второстепенные постройки Кваренги. Он нарочно выбирал маршруты по улице Халтурина, Невскому, Садовой, Фонтанке и, ликуя, выкрикивал:

— Это Кваренги!.. Старая аптека!.. Это опять Кваренги!.. Оловянные ряды!.. Кваренги — больница!.. А это узнаете? Кваренги, черт возьми, самый что ни на есть!..

Его энтузиазм заразил даже краснолицего полусонного шофера с маленькими ушами, сердито прижатыми к бритой голове. Завидев дом с колоннами, он тут же, не дожидаясь указаний, сворачивал к нему.

— Куда вы? Нам прямо!

— А вон этот... Кваренги, — говорил шофер.

Наташа смеялась. Казалось, путешествие доставляет ей не меньшую радость, чем самому Гуцину. Удивляло лишь, что живое, заинтересованное лицо Наташи в минуты самых пламенных гимнов Гуцина какому-нибудь фризу или портику было обращено не к дивной руине, а к нему, Гуцину.

— Посмотрите, посмотрите, как это прекрасно! — зывал Гуцин.

— Прекрасно, — соглашалась Наташа.

— Ну, правда, ведь вы такого не видели?

— Не видела, — признавалась Наташа. — Даже не знала, что такое бывает.

Отрезвление пришло к Гушину внезапно, когда они осматривали обломок фигуры ангела в маленьком садике на Васильевском острове. От ангела остался каменный хитон и одно крыло — гордое и красивое, как у лебедя на взмахе. Гушин фантазировал, как должен был выглядеть ангел в своем целостном виде, и тут увидел большую металлическую птицу, пасущуюся в траве. На обтекаемое тело птицы была накинута железная кольчужка из мельчайших, плотно прилегающих чешуек. Золотистая рябь пробегала по кольчужке, когда птица попадала в перехват солнечного луча.

— Кто это? — прервал свои рассуждения Гушин.

— Господь с вами, Сергей Иванович, скворца не узнали!

— Но какой он громадный! — растерянно произнес Гушин.

Скворец был величиной с голубя, царь-скворец, чудо-скворец! Он словно напомнил Гушину о живой жизни, о необыкновенности дарованного ему дня, который он так расточительно тратит на прекрасный, но холодный, мертвый камень.

— Может, хватит старины? — спросил Гушин.

— Как хотите, я не устала.

Гушин отпустил такси, и они медленно побрели в сторону моста Лейтенанта Шмидта.

— Вы одиноки, Сергей Иванович? — участливо спросила Наташа.

— Вовсе нет! У меня семья: жена и дочь, большая, почти ваша сверстница. А почему вы решили?..

— Мне показалось, что у вас никого нет, кроме... — она слабо улыбнулась, — кроме Кваренги.

— Это правда, — угрюмо сказал Гушин. — Хотя я не понимаю, как вы догадались.

— Ну, это не сложно, — произнесла она тихо, словно про себя.

— А вы? — спросил Гушин. — Вы, конечно, не одиноки? У вас семья, муж?

— У меня никого нет. Отец погиб на фронте, мать — в блокаду. Меня воспитала бабушка, она тоже умерла — ста-

ренькая. И замуж меня не берут. Но я не одинока, Сергей Иванович. Хотите, я покажу вам свой Ленинград?

— А это удобно?

Наташа засмеялась.

— Я была уверена, что вы скажете что-нибудь в этом духе. Конечно, удобно.

Наташин Ленинград находился неподалеку — на Профсоюзном бульваре. Они пошли туда пешком и почти всю дорогу молчали, занятые своими мыслями. Возле бульвара им попался навстречу маленький ослик под громадным, нарядным, обшитым красным плюшем седлом, на таких осликах катают детей.

— Какая крошка! — неожиданно умилился Гуцин.

— Спасибо скворцу за то, что он такой большой, а ослику за то, что он такой маленький, — как-то странно растроганно и чуть-чуть лукаво сказала Наташа.

— О чем вы? — не понял и смутился Гуцин.

— Спасибо жизни за все ее чудеса, — так же нежно и странно ответила Наташа...

Они оказались в мастерской художника. Чуть не половину обширного помещения занимали гравировальный станок и большая бочка с гипсом. Помимо двух мольбертов, здесь находились приземистая широченная тахта, десяток табуретов и торжественное вольтеровское кресло. С потолка свешивались изделия из проволоки, напоминающие птичьи клетки, — модели атомных структур, вдоль стен тянулись стеллажи с гипсовыми скульптурами каких-то диковинных фруктов. Оказалось, это человеческие внутренности: почки, печень, желудок, легкие... Художник считал, что довольно искусству воспевать лишь зримые очевидности человеческой сущности — лицо и тело, не менее прекрасна и совершенна в человеке, венце творения, его трубуха: мощный желудок, способный переваривать любую растительную и животную пищу, великолепные легкие, насыщающие кровь кислородом и на вершинах гор и в глубине недр земных, и несравненное по выносливости

человеческое сердце, позволяющее слабому, голому, незащищенному существу выдержать то, что не под силу самому могучему зверю, и божественные гениталии, освобождающие человека от сезонной зависимости в продолжении рода.

Картины, рисунки и гравюры свидетельствовали, что мятушаяся натура художника исповедовала множество вер. Суздальские иконописцы, итальянские примитивисты, французские импрессионисты, испанские сюрреалисты, отечественные передвижники и безродные абстракционисты поочередно, а может, и зараз брали в плен его душу. Но во всех ипостасях он оставался размашисто, крупно талантлив. Над камином висели расширяющимся книзу конусом гипсовые слепки рук. Тут были лопатообразные руки пианиста и длинные, с нервными пальцами руки скрипачей, могучие руки скульпторов и слабые, неразвитые — поэтов, руки актеров и ученых, изобретателей и мастеровых.

Среди бесчисленных рук странно и трогательно выглядел слепок маленькой, узкой ступни с тугим натяжением сухих связок на подъеме — нога знаменитой балерины.

Обменявшись рукопожатием с Гущиным, художник тут же выразил желание сделать слепок его руки.

— Но я же никто! — сопротивлялся Гушин.

— Это неизвестно! У вас хорошая, талантливая рука.

И вот Гушин уже сидит с закатанным рукавом, и художник, громадный, бородатый и синеглазый, похожий на Микку Селяниновича, нежными, щекочущими движениями могучих лап накладывает гипс на его кисть.

Пока подсыхал гипс, художник, украсив свою русую голову венком из ромашек, взгромоздился на бочку и стал играть на свирели. Немедленно из другой комнаты появились два маленьких светловолосых мальчика и принялись грациозно изгибаться под тонкие, переливающиеся звуки. Гушин чувствовал, что во всем этом не было ни ломания, ни желания выставиться перед гостем, мальчишки, похоже, и не заметили его присутствия. Так жила семья: отец вял, писал, рисовал,

лепил, тачал, а в минуты отдохновения играл на свирели, украшая себя венком, чтобы, пусть ненадолго, почувствовать себя беспечным лесным обитателем.

Художник отложил свирель, когда пришло время разгипсовывать Гуцуина. Едва он проделал это с присущей ему ловкостью, как Наташа и его жена, худенькая женщина с тающим лицом, внесли круглую столешницу, уставленную бутылками и бокалами. Столешницу поставили на два табурета, и художник с поразительной быстротой наполнил бокалы, не пролив ни капли.

— За искусство!

Все выпили, и художник снова наполнил бокалы.

— За женщин!

Гуцун вопросительно взглянул на Наташу, ему не по плечу были такие темпы.

— Ничего не поделаешь — ритуал, — сказала она. — Иначе — смертельная обида.

— За любовь! — в третий раз провозгласил художник.

Гуцун выпил сладковатое, игристое вино, и в голове у него приятно зашумело.

— Чудесное вино! — сказал он. — Похоже на цимлянское.

— Это прокисшая хванчкара, — спокойно пояснил художник. — Не выдерживает перевозки.

Пришли два молодых поэта и принесли кубанскую водку. Один из поэтов был мальчик лет девятнадцати, тоненький, хлипенький, с золотой челкой до бровей и круглым детским личиком, к нему тут же пристали, чтобы он прочел стихи. Поэт не ломался. Он стал читать стихи звучным, налитым баритоном, удивительным при его мизерной наружности. И стихи были крупные, звонкие, слегка напоминающие по интонации есенинского "Пугачева", но вовсе не подражательные.

Затем читал красивый поэт. Хотя он был старше и много солиднее своего товарища, Гуцун почувствовал, что его поэтическая репутация ниже. Поставленным, негромким, но

ясным голосом он прочитал коротенькое стихотворение об одиноком фонаре и ранеными глазами взглянул на Наташу.

— Очень мило, — равнодушно сказала она.

Поэт вспыхнул и отвернулся.

Все это время Гуцин не обменялся с Наташей и двумя словами. Он разговаривал с художником, пил вино, слушал стихи, а Наташа шепталась с женой художника, играла с детьми, перекидывалась короткими фразами с поэтами и тоже слушала стихи. Но в этой внешней разобщенности Гуцина и Наташи была дружеская короткость. Они вели себя как люди, владеющие чем-то сообща и не нуждающиеся в общении из вежливости. И красивый поэт, верно, чувствовал это. Гуцин не раз ловил на себе его горячий мрачный взгляд.

Вино, необычность обстановки, все впечатления дня навалились на Гуцина свинцовой усталостью. Он еще пил какие-то тосты, чем-то восхищался, кому-то отвечал, но все это будто сквозь сон. Порой возникали просветы, и он слышал, как красивый поэт пел под гитару грустную песню о стране Гиппопотамии, видел, как ворвался в мастерскую волосатый юноша и с ходу обрушился на хозяина: "Значит, Верещагин — гений и светоч?" На что хозяин, рванув ворот рубашки, как древние ратники перед битвой, грудью стал за Верещагина. И еще он помнил свою ясную, трезвую мысль, что люди его поколения зря ругают теперешнюю молодежь, — "они лучше нас, лучше, потому что независимее", ему хотелось сообщить эту мысль еще одному гостю, печальному Мефистофелю с козлиной бородкой, но тут сон опрокинул его в черную яму.

Сон длился недолго и вернул ему свежесть. Он не открыл глаз, придумывая извинительную фразу, и вдруг услышал совсем рядом тихий голос красивого поэта:

— Так он подцепил тебя на улице?

— Нет, это я его подцепила, — спокойно прозвучало в ответ.

— Вот не знал за тобой такой привычки!

— Я тоже не знала.

— И все-таки это свинство так одеваться! — с бессильной злобой сказал поэт. — Сейчас не военный коммунизм.

Гушин пропустил момент, чтобы проснуться и тем прекратить дальнейшее обсуждение своей особы. Теперь услышанное требовало ответа. Но что ему было делать — не драться же с мальчишкой и не читать ему морали, что еще глупее. Оставалось одно: обречь себя на дальнейшее прослушивание, делать вид, что спишь.

— Странно, — сказала Наташа, — я даже не заметила, как он одет.

Гушин не мог уловить ее интонации, ему послышалась отчужденность в словечке "он".

— Обычно ты замечаешь.

— Ну да, когда нечего больше замечать.

— Почему ты злишься? — горько спросил поэт.

— Я? Мне казалось, это ты злишься.

— Скажи, только правду. Чем мог тебе приглянуться такой вот... пыльный человек?

— Мне с ним надежно. Не знаю, как еще сказать. Я чувствую себя защищенной.

— А со мной беззащитной?

— Ну конечно, ты же боксер-перворазрядник и можешь уложить любого, кто ко мне пристанет. Но я не о такой защищенности говорю.

— Может, он скрытый гений?

— Думаю, что он хороший специалист. Знает свое дело.

— И все?

— Это не мало. Мы знакомы с тобой семь лет, и ты все тот же: начинающий поэт, актер-любитель и боксер-перворазрядник. Так начнись же как поэт, или стань профессиональным актером, или, на худой конец, мастером спорта.

— Ты никогда не была жестокой, отчего вдруг?..

— Мне не приходилось никого защищать! — перебила Наташа, и Гушину стало жаль бедного красивого поэта.

Он был далек от того, чтобы всерьез считать себя его счастливым соперником. Поэт не нравился Наташе сам по

себе, он же, Гуцин, случайно оказался в фокусе внимания молодой томящейся души. Его личные достоинства тут ни при чем. Он-то видел настоящую Наташу, и к ней тянулось его сердце. Наташа его не видела, а придумывала, оттолкнувшись от первого впечатления. Быть может, тому причиной его седые волосы, те самые, что срочно требуются "Ленфильму". Но он не испытывал горечи, все равно их встреча остается Божьим подарком, так же как и эта мастерская, Микула Селянинович, его семья, и друзья, и стихи, и песни, и споры — самое звучание молодых, страстно заинтересованных голосов!

Когда Гуцин открыл глаза, красивого поэта уже не было в мастерской, на его месте сидела девушка с бледным русалочьим лицом и прекрасными рыжими волосами. Она таинственно улыбнулась Гуцину, словно приветствуя его после долгой разлуки. Подошла Наташа с маленькой подушкой, обтянутой вологодским рядном.

— Вы устали, Сергей Иванович, давайте я подложу вам под голову.

Это уже не было игрой отвлеченных сил — дружеская забота о немолодом, утомившемся человеке. Гуцин сказал смущенно и благодарно:

— Спасибо. Я не умею пить. Отвык.

— А никто не умеет. Хотя и привыкли.

Очевидно, Наташа имела в виду совсем развалившегося юного поэта с несчастным, заострившимся личиком, и осоловевшего Мефистофеля, и красного, как из парильни, противника Верещагина. Один Микула Селянинович, как и подобает богатырю, был свеж и бодр, хотя выпил не меньше других..

Наташа увела Гуцина из гостеприимного дома, когда полумертвый поэт и Мефистофель стали снаряжаться в новый поход за водкой.

— Ты не сердись, Наташенька, — жалобно говорил художник, — ребята выпить немножко хотят.

— Пейте на здоровье, а Сергею Ивановичу хватит! — решительно заявила Наташа.

Прощание была трогательным. Художник сжал Гущина в объятиях, поцеловал и прошептал, скрипнув зубами:

— Будешь снова — в гостиницу не смей, прямо к нам! Наташку обидишь... — Он не договорил, но бешенная слеза, заставшая синий взор, заменила слово "убью!".

Гущин почувствовал, что это не просто угроза, и еще раз поцеловал художника в твердый алый рот, схоронившийся в плюшевых зарослях.

Вета, жена художника, навязывала Наташе пирог, остывшие белыши и еще какую-то снедь, а мальчики с отчаянным ревом цеплялись за ее юбку, и Гущин видел, что Наташа в самом деле не одинока в своем большом городе...

Наташа жила на улице Ракова. Они избрали окольный путь туда через Дворцовую площадь и Марсово поле. Здесь Ленинград был щедро высвечен прожекторами, выгодно изымавшими из тьмы дворцы и обелиски, но интуристовский этот глянец лишал город его строгости, гордой независимости. Впрочем, если сделать над собой усилие, то в голубом мареве над прожекторами, в резкой белизне озаренных стен можно было проглянуть Петроград семнадцатого года, когда в ночи у костров грелись бойцы революции. "Дымок костра и холодок штыка..."

Гущин вздрогнул, словно его коснулось острие этого холодного штыка. Внимание — твой день еще длится, еще теплятся угли в костре. Запомни, запомни, что ты действительно шел по Дворцовой площади об руку с девушкой Наташей, не убеждай себя потом, что все-то тебе приснилось. И запомни: она была с тобой весь день и весь вечер, и терпела тебя, и не прогнала, хотя ты был то перевозбужден, то подавлен, то пьян, а под конец и вовсе развалился. Она все простила и осталась добра к тебе, и это было, было, и это есть, пока еще есть. Она рядом, вся рядом, ее глаза, загорелые скулы, нежный, стареющий в печали рот, растрепавшаяся драгоценная прическа, шея, плечи, Боже мой, вся из теплой жизни, она идет рядом, и можно коснуться ее. И к своему ужасу, он тронул Наташу рукой. Она вопросительно взглянула на него.

— Простите, — пробормотал Гуцин, — я вдруг усомнился, что вы правда здесь.

И Наташа не удивилась, она сказала успокаивающе:

— Здесь, конечно, здесь.

Обрадованный, Гуцин принялся горячо благодарить Наташу за "ее Ленинград".

— Какие все славные и талантливые люди!..

— Да... — рассеянно согласилась Наташа. — Но почему-то сегодня я любила их меньше.

— Почему? — встревожился Гуцин.

Она помолчала.

— Как бы это лучше сказать... Высшее мастерство актера сыграть не сцену или монолог, а паузу. Когда-то МХАТ славился паузами. С моими друзьями не бывает пауз. Им надо все время суетиться: спорить, кого-то разоблачать, читать стихи, петь, пить водку, переживать, драться или бегать по выставкам, просмотрам, премьерам...

— Но разве это плохо?

— Понимаете, их суета идет от дилетантства. Дилетантства всей душевной жизни. Это, конечно, не относится к художнику, он мастер, профессионал, тащит семейный воз и еще находит силы для игры, озорства... Но зря я так... Спасибо, что все они есть. Нечего Бога гневить. Спасибо, спасибо! — повторила она, подняв кверху лицо. — Это я Богу, чтобы не навредил... Но знаете, Сергей Иванович, вот вы умеете держать паузу, с вами так чудесно молчать!..

Наташа жила в старом доме близ Пассажа. От его низенькой подворотни, упирающейся в штабель березовых дров, виднелся нарядный, подсвеченный прожектором флигель Михайловского дворца. Гуцину казалось, что Наташина чуткость одарила его на прощание одним из лучших творений Росси; Наташа хотела если не скрасить, то хотя бы украсить их расставание. Будь на ее месте другая девушка, не видать бы ему в эти последние минуты Михайловского дворца, его светлых колонн и строгой ограды. Гуцин пытался настроить себя на иронично-высокий лад, чтобы не впасть в отчаяние.

Он коснулся ладонью ее плеча и почувствовал сквозь тонкий свитер нежный жар тела. Сейчас она уйдет, и погаснет самый счастливый и неожиданный день в его жизни. О, помедли, помедли!.. Это так страшно, то, что станет со мной, когда затихнут твои шаги в черном стволе подворотни. Меня не спасут ни Михайловский дворец, ни все чудеса Росси и самого Кваренги!..

Она берет его руку, лежащую на ее плече, и, коль он не догадывается о ее намерении, чуть резковато тянет за собой. Над ними нависает свод подворотни. Гушин с невыразимой нежностью озирает это низкое сумрачное небо Наташиных выходов из дома и возвращений домой; озирает сырые, облупившиеся стены и старинное булыжное подножие. Наташа не хочет расставаться с ним на улице, на виду у прохожих, она еще больше приближает его к своей жизни, к своему порогу. И вот этот порог в глубине необширного, круглого двора, тленно пахнущего березовой поленицей. Двор глубокий, как колодезь, над ним повисла полная луна, и блеск ее лежит на комле поленьев, на крутых булыжниках и медных ручках старых дверей.

У обшарпанных каменных ступеней Гушин останавливается. И снова Наташина рука повлекла его за собой. Спела свою печальную песенку массивная, усталая дверь: в тусклом свете малых пыльных лампочек открылась лестничная клетка, уносящая в бесконечную, забранную тьмой высь. Как и во всех старых доходных домах, ступени были исхожены и сбиты, шаткие перила черно и шелково истерты бесчисленными ладонями, но Гушину представлялось, что это лестница в небо, и он двинулся за Наташей, теряя дыхание не от крутизны пролетов — от волнения и благодарности. Наташа оказывала ему высшую милость — вводила в свой дом, дарила счастье последнего доступного приближения к ней, прежде чем исчезнуть навсегда.

Мелькали медные дощечки с твердым знаком в конце фамилий, безнадежно длинные списки жильцов, почтовые ящики с наклейками газетных названий; внезапно Наташа

остановилась возле какой-то двери, и Гуцин, настроенный на бесконечность взлета, чуть не сшиб ее с ног. Наташа засмеялась, отомкнула дверь, и они шагнули в крошечную темноту. Щелкнул выключатель, поместив Гуцина в маленькую прихожую с аккуратной вешалкой, подставкой для зонтиков, настенным овальным зеркалом и тумбочкой под ним. На тумбочке лежали платяные щетки и веничек — обметать пыль с одежды. Гуцина умилили эти подробности одинокой, соблюдающей себя жизни, он никогда не видел столь разумно обставленной, населенной всем необходимым прихожей.

Наташа взяла у него из рук портфель и положила на тумбочку. Сооружение из поддельной, истершейся, иссалившейся кожи выглядело вопиюще неуместным в этой чистоте и нарядности. В Наташину комнату Гуцин вошел как в святилище, в блаженно-молитвенном отуплении, он не распознавал отдельных предметов, даже не понимал их назначения. В туман, окутавший сознание, проникал лишь запах цветов, их было очень много повсюду, и еще было много фотографий с белизной незнакомых волнующих лиц, много рисунков и гравюр.

В нем росла, становясь нестерпимой, мучительная печаль от короткости, непрочности этого незаслуженного дара, и ему захотелось скорее уйти, чтобы не тянуть напрасно свою муку. Он уйдет, уедет в Москву, вернется к привычному существованию, и тогда печаль смягчится в нем, ему станет нежно и радостно вспоминать чистую, маленькую квартиру, средоточие Наташиной жизни.

Подошла Наташа и неожиданно сильной рукой обняла Гуцина за шею, притянула к себе и поцеловала. Этого Гуцин уже не мог вынести, он заплакал. Не лицом — глаза оставались сухи, он заплакал сердцем. И Наташа услышала творящийся в нем сухой, беззвучный плач. Она сжала ладонями его виски.

— Зачем, милый, не надо. Мне так тихо и радостно с вами, а вы все не верите. Ну поцелуйте меня сами.

Гуцин взял ее руку и поцеловал. И тогда Наташа поцеловала у него руку и сказала со страшной простотой:

— Раздевайтесь, ложитесь, я сейчас приду.

Счастья не было — забвение, провал, сладкая смерть. А когда Гуцин очнулся, Наташа лежала на его руке с закрытыми глазами, и не было слышно ее дыхания. Испуганный, Гуцин приложил ухо к ее груди, сердце в ней билось сильно и мерно, только очень тихо.

Луна почти влезла в окно и мощно заливала комнату, наделив все в ней находящееся дневной отчетливостью. С большой фотографии, висевшей на стене, в изножии тахты, прямо в лицо Гуцину устремил твердый светлый взгляд молодой человек лет двадцати пяти. Гуцин отвернулся, но с туалетного столика на него уставились те же твердые крупные глаза. Гуцин отвел взгляд к стене, но и там висели фотографии того же молодого человека: на иных он был старше, на иных моложе, а на одной — ребенком, большеглазым мальчиком с высоким лбом и неочерченными, мягкими губами. И эта фотография добила Гуцина. Конечно, у Наташи были увлечения, влюбленности, но как же надо быть задетой, раненной человеком, чтобы увешать всю комнату его фотографиями, обречь себя на его вечное присутствие. Ведь если чувство ушло, то тяжело, докучно постоянно наткаться на нелюбимые черты. Значит, Наташа и сейчас любит этого молодого человека с твердыми светлыми глазами? Тогда случившееся между ними — воровство. У настоящей любви воровство. Уйти? А что подумает Наташа? Окончательно уверится, что имела дело со старым авантюристом. Оставить ей записку? Да разве выскажешь все это в записке? Гуцин поднялся и, сам не зная, что он сейчас сделает, протянул руку к большой фотографии, висевшей напротив.

— Не трогать! — раздался незнакомый звенящий голос Наташи. — Не смейте прикасаться к портрету отца!

Отец?.. Этот мальчик — отец Наташи? Что ж тут удивительного — погибший на фронте отец Наташи мог быть даже моложе, чем его дочь сейчас.

— Боже мой! — сказал Гуцин. — А я-то мучаюсь! Простите меня, Наташа, я, кажется, правда хотел его убраться.

Напряжение покинуло Наташино лицо. Она потянулась к Гушину и уже знакомым сильным движением обняла его за шею. В сумятице радости и смертельной жалости к Наташе и ее отцу-мальчику, так и не узнавшему, что он оставил на земле, Гушин вдруг расстался со всем, что ему мешало, сковывало, делало нищим.

Когда уже на рассвете они разомкнули объятия, Наташа сказала слабым от счастья голосом:

— Я сразу вас полюбила... Как увидела... Вы замечательный, вы чудо, вы Кваренги!..

Уезжал Гушин поздно вечером. У Наташи были съемки, и он весь день один прослонулся по городу в каком-то сладком полусне, не замечая окружающего и любимых зданий, ибо даже Кваренгиева гармония не могла ничего прибавить к переполнявшей его радости. Эта радость помешала ему испытать боль при расставании на перроне — непостижимым образом Наташа сумела его проводить. Только потом он сообразил, что она, вероятно, долго дежурила на вокзале, выжидая тот захудалый поезд, на который он обменял "Красную стрелу". Лишь когда платформа побежала назад, а Наташа вперед, обратив к ускользящему вагону странно отрешенное и деловое лицо, Гушина на миг пронизало догадкой о чужой боли, но тут поезд ускорил ход, Наташа исчезла, и радость вновь вернулась к Гушину.

Не зная, во что воплотить эту ликующую радость, он стал помогать пассажирам пристраивать чемоданы и баулы на багажную полку. Он с такой готовностью кидался на помощь, что пожилая дама, видимо знавшая лучшие дни, сказала, неуверенно теребя сумочку:

— Сколько с меня, голубчик?

Гушин расхохотался и подставил плечо под корзину, вырывавшуюся из слабых рук молодой беременной женщины.

А затем он забрался на вторую полку, положил под голову портфель, мягкий, складной — отличная подушка, — и мгновенно перенесся в комнату на улице Ракова, налитую

луной, как солнцем, и смело встретил твердый светлый взгляд убитого на войне юноши.

Он проснулся в Малой Вирше, разбуженный затянувшейся тишиной стоянки. За окнами тускнели станционные огни, платформа находилась с другой стороны, а по его руку поблескивали влажные рельсы, бродили железнодорожные служащие, что-то печально выстукивая в поездных колесах, двигался сам по себе одинокий товарный вагон, у водокачки понуро мочился старик с заплечным мешком, и вся эта безнадежно отдельная, равнодушная к его душе жизнь обрушилась на Гущина щемящей тоской. Он заворочался на своей полке, хотел спрыгнуть вниз, но тут поезд дернулся, его опрокинуло навзничь, в бездонную яму сна, и он опять оказался в Наташиной комнате...

Гущин не любил Каланчевскую площадь. Ее вокзалы обещали дальний путь в три стороны света: на север, восток и юг — до последних пределов страны. И люди садились в поезда и ехали к Тихому океану и Белому морю, на берега Арагвы и Куры, а Гущин никуда не ездил. Его мучила эта возможность дальних странствий, пропадающая для него втуне не столько по недостатку времени и средств — при желании и то и другое можно было найти, — сколько из душевной вялости, неумения сломать каждодневность, отпустить семейную лямку. Он чувствовал себя виноватым перед вокзалами — московский муравей, не рискующий выползти из магического круга, очерченного рутиной. Но сегодня он без стыда и виновности вышел на площадь. Он съездил вроде бы не за тридевять земель, но, быть может, в самое дальнее путешествие. И, поухватистее взяв за ручку свой малый багаж, Гущин деловито замешался в толпу других путешественников.

Он жил у Красных ворот и не стал спускаться в метро ради одной остановки. Пройдя под железнодорожным мостом, он увидел гигантский, во весь брандмауэр шестизэтажного дома, рекламный стенд Музея изобразительных искусств с силуэтом конной статуи кондотьера Коллеони.

Он очень любил эту скульптуру Верроккьо. Коллеони глядит на мир, вернее, поверх мира, через левое плечо, забранное латами, его изборозженное морщинами лицо исполнено несокрушимой, безудержной воли. Могучий конь кондотьера был под стать хозяину, он словно ступал по телам павших. Гуцин видел в этой скульптуре бессознательное разоблачение не пробужденной временем к сомнению и милосердию средневековой души. Он с привычным удовольствием глянул на обесцвеченный солнцем и дождями бледно-зеленый силуэт грозного всадника и вдруг понял, что все кончилось — его ленинградскому переживанию подведен итог. Музей изобразительных искусств был так же неотделим от Москвы, как Эрмитаж от Ленинграда. Он мог обманывать себя на Каланчевской площади, она еще не была Москвой, отсюда уже не выбраться; и дом был рядом, и то чуждое, страшное, что почему-то называлось семьей. Гуцин остановился, прижав руку к груди, тяжкое копыто чудовищного коня наступило ему на сердце. Он стоял, сжав веки, почти не дыша, а страшный всадник, обдав его несчастьем, как грязью, продолжал свой путь...

Странно жил теперь Гуцин, еще страннее, чем прежде. Внешне все оставалось неизменным: он ходил на службу, по вечерам в одиночестве листал книжки о старом Петербурге, но делал все это без души и смысла. Он равнодушно глядел на прекрасные фотографии прекрасных зданий — они уже не приносили утешения. Неотступно, жестко с пожелтевших страниц всплывало Наташино лицо. Оно проступало с листов ватмана и кальки, колыхалось перед Гуциным в сизом дыму совещаний, преследовало его на улицах, в метро. Эта девушка была беспощадна, как Коллеони, она шла к нему напролом сквозь сон и явь, сквозь уличную толпу и деловые разговоры, от нее не было спасения.

В Ленинграде он дал себе слово купить летний костюм, хорошую рубашку и галстук, но Наташа приказала ему оставаться в прежнем обличье, хранящем прикосновения ее рук и взгляда. По той же причине он не расстался со своим ужасным

портфелем — неизменным третьим при них. Стояла жара, он задышался в тяжелом костюме и пасторском воротничке, превратившемся от ежедневных стирок в удавку.

Наташа не давала ему спуску. Все вокруг лишалось своей первозданности, все становилось отражением Наташи, виделось через нее, ощущалось через нее, это утомляло и обессиливало Гущина. Он просил: "Оставь меня! Раз уж тебя нет, так не будь совсем". Но это не помогало.

Он возвращался пешком с работы и на Чистых прудах остановился взглянуть, как дети кормят пшеном и подсолнухами птиц. Среди московских старожилов-воробьев попадались незнакомые Гущину красивые острохвостые птички с шоколадной спинкой и опаловым брюшком. Но вот, вспугнув всю птичью мелочь, на траву упруго и сильно опустилась большая птица, измазавшая о закат свое серое оперение. Не розовая, розовеющая птица принесла на каждом крыле по клочку небесной синевы. Она повела круглым, с золотым райком глазом и принялась резко, властно склевывать зерно, прекрасная, дикая и неестественная гостья в каменном мешке города. "Сойка!" — потрясенно заговорили дети. Но Гущин не поддался обману, он-то видел это единственное золото вокруг зрячка, этот сплав нежности и силы. "Наташа! — шептал он птице. — Зачем ты прилетела? Тут тебе опасно, Наташа!.."

Все же он ничем не выдал себя жене и не мог взять в толк, отчего она сказала ему однажды с веселой угрозой:

— Ну, признавайся, что натворил?

— Похоже на меня... — вяло отозвался Гущин.

— Старого воробья на мякине не проведешь, — сказала она озабоченно и с пронизательностью грешного человека. — Ты влюбился!

Наверное, лишь потому, что это слово в устах жены звучало оскорбительно, Гущин не подтвердил ее догадки.

Теперь он то и дело ловил на себе ее подозрительный, изучающий взгляд. "Не хватало еще, чтобы она начала ревновать меня, — устало думал он. — Видимо, мне суждено пройти все

круги семейного ада". Но она не ревновала, только приглядывалась к нему, и в ее поблекших, некогда изумрудных, а теперь цвета бутылочного стекла глазах вовсе не было дурного чувства, скорее — доброжелательное любопытство. Она словно пыталась найти что-то в Гушине, пробудить свою память о нем, но это ей не удавалось, смущая и тревожа душу. Ее назойливый пригляд мешал Гушину. Ему казалось, она проникает в последнее его убежище — в мысли. И в довершение всего она вдруг перестала уходить по вечерам из дому.

Ноша становилась ему не под силу. И когда Наташа вселилась во всех людей, животных и птиц, стала всеми окружающими его предметами, когда каждое его прикосновение к живой или мертвой материи стало прикосновением к ее жаркой и легкой плоти, не из бедной решимости, из отчаяния он послал ей телеграмму: "Требуются ли еще седые человеческие волосы?" Ответ пришел на удивление быстро: "Да, да, да, срочно". В троекратно повторенном "да" проглянуло Гушину — и она тоскует. Его потрясло, что он тоже может быть для кого-то источником боли. За все эти мучительные дни ему ни разу не пришло на ум, что и Наташе плохо, что и она страдает, ему казалось — она должна воспринимать свое существование как непрерывное счастье, ведь это так прекрасно и радостно — быть ею!

Но теперь, узнав правду, он стал сильным.

Как все становится просто, когда принято решение! На службе сразу и во всем пошли ему навстречу, словно там давно уже ждали, что Гушину придется круто переменить судьбу. И жена не чинила ему препятствий, благодарно приняв все его условия. Она лишь сказала с каким-то нелепым торжеством:

— Видишь, я сразу угадала, откуда ветер дует! Как важно человеку хоть в чем-то быть правым!

А затем суетливо и бестолково принялась собирать Гушину, словно на войну: стирать и гладить его белье, рубашки, что-то штопать, подшивать. Гушину неприятно было видеть ее ссутулившуюся в нежданной и ненужной заботе спину.

Еще проще отнеслась к его уходу дочь.

— Отец нас оставляет, — сказала ей мать.

— Давно пора, — последовал спокойный и благожелательный ответ.

Гущин читал, что Карл Брюллов, покидая навсегда николаевскую Россию, скинул на границе всю одежду и голый перешел в новую жизнь, ему не хотелось переносить с собой даже пыли, даже запаха страны, не ставшей ему родной. Гушиным владело сходное чувство. Сдав в скупку свой старый, но еще крепкий костюм, он купил себе летние ботинки, шерстяную рубашку и сандалеты.

— Какой ты еще молодой! — удивленно сказала жена.

Он покидал дом налегке, все его было при нем — в карманах: документы, билет на самолет, расческа и бритва. Он раз и навсегда порывал со всем своим прежним бытием: с людьми, не захотевшими стать ему близкими, с холодной, всегда пустынной квартирой, населенной равнодушными вещами, с бедной одеждой, которую носил на своем теле, даже с немногими любимыми книгами и вечным спутником — истершимся до лепестковой тонины портфелем.

Он вышел на раннюю, только что расцветшую, влажную от полива улицу и поразился ее пустынной гулкости, жаркой свежести и спокойной готовности привести его к счастью. Он чувствовал себя бегуном, с полным запасом сил вышедшего на финишную прямую. Уже ничто не отделяет его от победы. Ладная, почти неосязаемая одежда усиливала ощущение легкости. Да, жена была права: он сохранил молодость, не измочалил себя о малые соблазны жизни; его выдерживали на холоде, и сейчас, оттаяв, он оказался свежим и бодрым.

Боже мой, через каких-нибудь два часа он будет с Наташей! И в приданое получит весь Ленинград. Он с такой нежностью подумал о Ленинграде, словно это Наташа специально для него построила город, перекинула мосты через Неву и Фонтанку, поставила Ростральные колонны, обнесла решеткой каждый парк, перебросила арки там, где дома

мешали прорыву улиц к площадям. Тщательно, кропотливо, широко и нежно создала она этот несравненный город, который отныне и навсегда станет городом их любви. Да будет благословенна щедрость жизни, дарующей ему любимую в такой оправе!

С угла он обернулся на дом, где было похоронено столько его дней и ночей. Далеко высунувшись из окна, жена смотрела ему вслед. В странном, неестественном приближении он увидел ее набрякшее лицо с расширенными порами, погасшие бутылочные глаза в морщинистых веках, никому не нужное, беззащитное лицо рано постаревшей женщины. Она глядела на него с жадным, растерянным любопытством, без злобы, без зависти, как на что-то недостижимое, и хотя сверху, но казалось — снизу, взглядом поверженного всадника, сбитой выстрелом птицы. Он хотел махнуть ей прощально рукой, но вдруг издал горлом какой-то странный глотательный звук и повернул назад.

# ПИК УДАЧИ

## (Современная сказка)

Они вышли из Национального дворца, находившегося за высокой крепостной стеной, воздвигнутой еще в средневековье, а затем наращиваемой из века в век против всеусиливающейся осадной мощи неприятеля. Достигнув предела фортификационного совершенства, стена превратилась в городскую декорацию, ибо средства нападения развивались куда быстрее средств защиты, и вся ее мощь, толщ, высота, огневая насыщенность бойниц стали мнимостью перед сокрушительной силой нападающего оружия. Но стена была красива: небо в ее бойницах казалось куда синее небес города — небо древних сказаний и легенд, голуби над ее башнями никогда не спускались на землю, чтобы отыскивать корм в уличном соре, трава на отлогих падах от подножия стен до торцовой мостовой площади, асфальта набережной и чугунной ограды парка была неправдоподобна зелена, с металлическим, грозвым отливом, когда задувал северный ветер.

Они вышли из крепостных ворот, и главная башня, носившая название Башни времени, уронила гулкий, круглый удар, будто упавший в воду, — Гаю показалось, что он услышал всплеск — стихия времени приняла в себя озвученное курантами мгновение, как река — камень. Гай прислушался, но остальные одиннадцать ударов поглощались собственным ухом, и таинственная субстанция, содержащая в себе наше бытие, более не обнаружила себя.

"Какое удивительное и зловещее изобретение — часы! — подумал Гай, глядя на огромный черный башенный диск с золотыми копиями стрел и знаками зодиака вместо цифр по окружности. — Надсмотрщики смерти, не позволяющие нам

хоть на миг забыть, что неумолимо сокращается шагреневая кожа жизни".

Как всегда в последнее время, мысль о смерти была ему неприятна. Прежде он вообще не думал о смерти, не считался с ней настолько, что никогда не ходил на похороны не только родных и близких, но и тех немногих людей, перед которыми преклонялся. Он хотел, чтобы и собственные его похороны прошли как можно проще, быстрее и незаметнее. Смерть — это конец жизни, а интересна только жизнь, когда работает величайшее чудо творения — человеческий мозг. Что же касается разных благоглупостей о растворении в природе, о новых формах бытия, наступающих после разрушения нашей земной оболочки, то Гай и слышать не хотел о подобной чепухе. Смерть бездарна, она способна лишь к разрушению, и Гай не желал иметь с ней никаких ложно-значительных отношений. А вот недавно в нем поселился страх...

Мор заметил взгляд, брошенный Гаем на башенные часы, но истолковал по-своему.

— Наверное, грустно, когда истекает час величайшего и неповторимого триумфа? — спросил он своим жирным голосом, которому тщетно пытался придать оттенок тонкой иронии.

— О чем вы? — не понял Гай.

Мор диковато взглянул на своего спутника. Сам он великолепно умел притворяться, но притворство других людей — запрещенный прием, рассчитанный на дезориентацию окружающих, — возмущало его до глубины души. Неужели эта скотина будет делать вид, что не сходит с ума от счастья? Почему же у вас до сих пор такая бледная рожа, Гай, блеее вашего крахмального воротничка?

Словно ныряльщик, всплывающий со дна морского, Гай медленно возвращался в реальность: мелькали коралловые нагромождения, дрожали и вились водоросли, чудовищные рыбы покачивали телом-плавником, но вот раздалась зеленая полупрозрачность воды, хлынуло в глаза солнце, и земная

действительность воплотилась в массивное, атласнощекое лицо профессора Мора, с коричневыми, голыми и оттого какими-то беззащитными глазами, породистое, холеное, значительное и несчастное лицо завистника.

Гай внутренне поежился — новая, недавно пришедшая к нему пронизательность была неприятна. Он не хотел ничего нового в себе, это лишь усугубляло чувство утраты. Он хотел оставаться таким же, как прежде, до самой последней подробности глубинной своей сути и внешнего поведения. Его отнюдь не радовало внезапное открытие, что известный, почти знаменитый профессор Мор, член-корреспондент многих академий, с которым они без малого четверть века бились над одной и той же проблемой, переживали сходные озарения, неудачи, надежды и разочарования, что этот талантливый, сильный, терпеливый и, как казалось Гаю, бескорыстно преданный науке человек одержим черной завистью. И, пожалев Мора, Гай сделал для него то, чего не сделал бы ни для кого другого.

— Не сердитесь, я действительно не в порядке, от меня ушла жена.

Мор был ниже ростом, он стоял потупившись, и взгляд его коричневых голых глаз упирался в грудь собеседнику. Он видел темный, умело повязанный галстук, тугие на крепком волосе, высокие и коротенькие лацканы отлично сшитого костюма и в петле левого лацкана большую (неприлично большую) золотую (кричаще золотую!) медаль с надписью: "Благодетелю человечества". Боже мой, все сбылось!.. И это торжество, на котором он вынужден был присутствовать, вовсе не привиделось ему в кошмарном сне! Были трубы, и скрипки, и невероятные по искренней высокопарности речи, взмах, вздых, так что не хватало ни слов, ни жестов, и ораторы кончали слезами, и чек на миллион долларов, и внеочередное присвоение Нобелевской премии — такое случилось впервые со дня основания Нобелевского института, — и академические лавры всех сортов, и наконец вершина всего — знак мирового при-

знания и благодарности — золотая медаль "Благодетелю человечества" с дипломом, подписанным главами всех существующих на земле государств.

Господи, и ведь все это могло выпасть на долю ему, Мору! Но он поставил не на ту лошадь. Кто мог подумать, что удача лежит на самом неверном, скомпрометированном, забракованном всеми специалистами пути! Почему Гай так упорно цеплялся за антивирусы? От тупости, усталости, безнадежности, слепоты малой души? Теперь это будет называться блефовым словом — гениальность. Но как случилось, что заурядный, казалось бы, ничем не выдающийся из множества исследователей вдруг наплевал на все мировые авторитеты и в одиночку двинулся по заброшенной дороге? Тогда он действительно должен быть гением, ну, если не гением, то фанатиком, одержимым, высоким безумцем?.. Хорош фанатик, хорош безумец, шьющий у лучшего портного и повязывающий галстук с кокетством ресторанный пшюта! У гения нет душевного времени на подобную чепуху. Стопроцентно бытовой человек, средний интеллигент — самый пошлый тип современности. Но что-то у него есть!.. Трудолюбие, усидчивость, ну и, конечно, неплохой, ясный мозг. И все же он выиграл свой миллион по трамвайному билету. Такое случается не впервой в мутной истории человечества. Колумб наткнулся на Америку, приняв ее к тому же за Индию, а считается, что открыл, то есть совершил сознательный волевой акт. Гай тоже наткнулся... Правда, в отличие от Колумба, он наткнулся на то, что искал. Но Колумб истинно велик в своем фанатизме, вере, одушевленности, бескорыстии, а Гай... Да кого все это сейчас интересует? Гай — благодетель человечества, а всем остальным — грош цена. Гай сделал безработными тысячи других искателей, отдавших мозг и душу той же проблеме. Теперь им нечего делать. Приспосабливать новый метод к всевозможным разновидностям болезни — дело рядовых сотрудников вновь созданного "Всемирного института Гая"... В том-то и фокус, что Гай открыл универсальный метод полного излечения рака!..

"Но зачем он сказал мне, что его бросила жена? Какое мне до этого дело? Да и какое дело ему самому, что его бросила ничтожная дура, которая наверняка ревет от горя, что так промахнулась. Вот уж действительно дура — бросила кошке под хвост миллион долларов и звание "миссис Благодетель человечества"! А кто она такая, его жена? Наверное, не Бог весть что, раз я даже не слышал о ней. Да не может он всерьез страдать от такой потери!.. Он кинул мне эту кость в утешение. Мол, не завидуйте, я тоже несчастный человек... Значит, он догадывается о моей зависти!.. — Мор чувствовал, что задыхается. — Какая наглость говорить мне об этой никому не нужной бабе, какая подлость притворяться несчастным передо мной, чью жизнь он превратил в бессмыслицу, какое хамство догадываться, что я мучаюсь!.."

Нехорошо нагруз затылок, виски стиснуло обручем. Не торопись подышать! Через месяц на Центральной площади встанет памятник этому счастливчику, прижизненный памятник "Великому исцелителю от благодарного человечества", вот тогда приди и сдохни у подножия монумента во славу гнусного торжества слепой удачи!..

Мор резко повернулся и, не прощаясь, зашагал прочь. Это был толчок инстинкта самосохранения. Весь его нервный аппарат и кровеносная система находились на пределе, еще несколько мгновений в непереносимой близости Гая — и могло случиться непоправимое. Обратившись в бегство, он спасал свои сосуды, свое сердце, свой рассудок, быть может, саму жизнь...

Гай не придавал значения поспешному уходу, вернее, бегству профессора Мора. Заговорив с ним о жене, он сразу ушел в свою боль и стал неспособен к общению. Он ни с кем не обсуждал своего семейного несчастья и впервые сам заговорил об этом, опаленный завистливой мукой Мора. Просто пожалел страдающего человека, потому что и сам страдал..

Жена уподобилась раковой опухоли, и тут его универсальный метод не помогал. Опухоль могла долго не напоминать о себе, но одно неосторожное движение пробуждало

либо мгновенную, нестерпимо острую, но быстро проходящую боль, либо долгую, тупую, неотвязную. Впрочем, присутствие в себе инородных, переродившихся клеток он чувствовал постоянно, но порой мог не думать о болезни, отключиться от нее и жить так, словно ничего не случилось. Порой же болезнь заставляла копаться в себе, извлекать наружу всю скрытую боль, чтобы за каким-то барьером подарить возможность почти научного анализа. И вот тогда хорошо было оставаться одному. Вообще хорошо, когда знакомые уходят, уезжают, не являются на свидание, не звонят в назначенное время по телефону, забывают об условленной встрече. Эти неожиданные подарки свободы, времени, незанятости чепухой поистине драгоценны. Как вы милы, добры и тактичны, необязательные, рассеянные, неаккуратные люди!

Мысленно поблагодарив Мора за его внезапный уход, Гай начисто забыл о нем и двинулся в другую сторону, вдоль городской стены, к реке.

Река не окрашивала собой жизни города, не была его символом, подобно Темзе, Неве или Сене. Лишь прогулочные яхты изредка тревожили ее вялую, немускулистую гладь. Мутная, затянутая нефтяной пленкой вода не отражала неба и потому чужда была переливам сини и золота, разве что слегка радужилась у гранитных берегов. Но когда Гай достиг парапета и облокотился о холодный камень, на него повеяло странным спокойствием, отдохновением, почти счастьем. Ему не хотелось сейчас копаться в себе, он предпочитал бездумно и безмятежно ввериться радостному ощущению. Он смотрел на воду, на противоположный берег с безликими современными жилыми домами, с готической худобой почерневшего собора, униженного рослостью стеклянных коробок, с низенькими грустными трубами старой табачной фабрики — и сюда долетал медовый запах трубочного табака.

Вода, если оглянуть вширь, казалась недвижимой, как в пруду, но то было обманчиво, река обладала течением и неспешно увлекала к далекому морю разные попавшие в нее предметы: обломок мачты, пустой бочонок, обгорелое брев-

но... Маленького Гая часто водили на реку, особенно любил он бывать здесь осенью, когда по воде плыли золотые и багряные листья. Покорные воображению, они легко становились флотилиями Марка Антония и Октавиана. Гай мог сейчас безболезненно заглядывать в прошлое. Река ничего не значила в их жизни с женой, ни эта река, ни какая другая. Море — значило, озера — значили, горы и лес — значили, некоторые улицы столицы и других городов — значили, асфальтовые шоссе, провода, фонари, почти все звери, многие птицы и рыбы — значили, книги и церкви — значили, и снег — значил, особенно же деревья — городские, садовые и дикие, а также цветы, земляника, лесные орехи — это все стало запретным для памяти, но больше всего значили собаки, он их видеть не мог без душевного содрогания — столько собак они любили вместе и столько лишились под колесами машин, от чумки и других загадочных и неумолимых собачьих болезней. А река ничего не значила. Они не купались в ней, не ловили рыбу, не катались на яхте, не бродили по набережным, не томились на мостах, даже не имели знакомств в приречных районах; молодец река — сумела уберечь его от воспоминаний!..

Он довольно долго наслаждался спокойствием, пока вдруг не заметил, что из этого слишком осознанного спокойствия медленно и верно вырастает тревога. Спокойным можно быть, пока ты не осознаешь своего спокойствия. Как осознал, так все идет прахом.

...Маленькой она жила возле реки и часто бегала сюда с дворовыми девчонками. Они вылавливали из сорной воды у гнилых свай старого причала обрывки тонкой резины от воздушных шариков — выше по реке находится детский городок, миниатюрный "Диснейленд". Силой дыхания они возвращали слабой, вялой резине шарообразную форму и, перевязав шарик ниткой у надувного отверстия, запускали в воздух. Подхваченный ветром, шарик круто взмывал ввысь и уносился к трубам табачной фабрики. И там, взблеснув напоследок, исчезал. И это было счастьем. Но однажды прохо-

жая женщина вырвала у нее изо рта только начавшую раздуваться резинку, брезгливо отшвырнула и раз-другой больно шлепнула ее по щекам:

— Не смей брать в рот всякую гадость!..

Отец дал пощечину маленькому Бонвенуто Челлини, увидевшему в огне саламандру, чтобы тот навсегда запомнил столь редко выпадающее на долю смертного чудо. Но жесткость чужой женщины на соответствовала малости вины, и у Рены осталась лишь боль незаслуженного оскорбления посреди чистой радости. Гай пронзительно видел ужас, гнев и смертельную обиду в круглых, чуть припухших детских глазах с черным, глубоким, продолговатым, как семечко, зрачком, видел детскую прекрасно вылепленную голову с крепким затылочком, открытым, выпуклым лбом и нежным теменем в мягких каштановых волосах и как она стремглав кинулась с реки, ставшей чужой и враждебной, в свой двор на задах старой-престарой церкви... Она, может быть, и не плакала, она умела не плакать, когда по-настоящему больно, и легко плакала по пустякам или вовсе без повода, просто от давления судьбы.

Что-то кольнуло Гая в левый глаз, вернее, через глаз кольнуло в мозг. Это отблеснула его медаль в наворачивающуюся слезу, и та, словно линза, собрала свет в острую спицу.

Этого еще не хватало! У него то и дело увлажняются глаза, он всхлипывает — даже на людях — от любого пустяка, подчас вовсе не трогательного, но как-то сложно соприкасающегося с его бедой. Это мерзость, распушенность, надо следить за собой.

Мимо прошли две школьницы в темных платьях и белых фартучках, недоуменно-насмешливо посмотрели на взрослого плачущего человека, таинственно — друг на дружку и скрылись навсегда. Гай вывинтил медаль и опустил в карман пиджака.

Тонкий, печальный осиный гул донесся сверху, Гай поднял голову и увидел светлый крестик самолета — будто штопка на синем полотне неба. Самолет круто, почти вертикально

полз наверх и поначалу казался недвижимым. Его движение обнаружилось по белому следу, наращиваемому за хвостом. Словно выдавливалась зубная паста из лопнувшего тюбика.

Белая дорожка протянулась в синеве и круто, плавно загнула. Ее появление не было игрой природных сил, самолет сознательно и трудолюбиво выписывал над городом гигантскую букву "Г". Реклама. Самая зримая и въедливая при сравнительной недолговечности. Самолет не утомонится, пока не измарает все небо названиями рекламируемого товара. Потом полосы начнут расплзаться, таять, но до самых сумерек можно при желании разобрать размытые письма. Гай подумал о сидящем в кабине летчике. Кто он, бывший ас, бесстрашный истребитель, счастливчик, пощаженный войной, в некий час сунувший ордена на дно чемодана и пошедший, как все, служить фирме, или гражданский пилот, водивший громадные пассажирские лайнеры над планетой, но уволенный за провинность или по возрасту, или испытатель, в чьих услугах перестали нуждаться? Во всяком случае, это человек с судьбой и опытом, а не желторотый птенец, дорвавшийся до штурвала, и не престарелая бездарь, — пилотаж над городом разрешен лишь классным пилотам. Наверное, противно ему пачкать небо названиями сомнительных кремов, пудры, пишущих машинок и мощно газированных, не утоляющих жажды вод. А может, ему давно уже на все наплевать, лишь бы платили прилично?..

В чистой, беззащитной сини самолет написал его имя и продолжал писать, чтобы получилось "ГАЙЛИН" — так в честь создателя и с его рассеянного согласия окрестили новое патентованное средство не от мозолей, не от потливости, не от кашля, а от того, что было бичом человечества.

Какая пошлость, какая гнусная пошлость! Да к тому же обман. Ведь в тяжелых случаях требуется госпитализация и специальное лечение, а обывателям хотят внушить, что любой рак излечивается пилюлями, как расстройство желудка.

Видимо, в тумане первых восторгов Гай совершил немало промахов. Он на все соглашался, почти не слыша, о чем его

просят, подписывал какие-то бумаги и с легкостью мог бы подмахнуть смертельный приговор самому себе. Но люди, которые подсовывали ему эти бумаги: договоры, соглашения, обязательства, — вовсе не были упоены и опьянены чужой и всеобщей удачей, они холодно знали что делали. Теперь он пожинает плоды своей доверчивости... Проклятие, хоть бы небо оставили в покое, хоть бы синь пощадили!..

Он подозвал канареечно-желтое такси и откинулся на засаленную спинку сиденья...

Ему открыла нянька. В носатом, черноусом лице ее Гаю почудилась насмешливая значительность. И почти сразу он испытал то, что можно назвать "эффектом присутствия". В пустом, сумрачном пространстве припахивающей склепом квартиры возник живой, теплый очажок, он чувствовал его кожей, как жар костра в ночи. Перед нянькой нечего было притворяться, и он помедлил мгновение не ради нее, а чтобы вызвать в себе образ жены, подготовиться к встрече. Читает ли она, сидя в своем любимом, с продавленным сиденьем, старом кожаном кресле, доставшемся ему от родителей, под торшером на кривой металлической ножке, или спит, зарывшись лицом в подушку и надышавшая в наволочку влажное пятнышко, или стоит у окна, держась рукой за складку шторы и глядя на сухие летние крыши окрестных нерослых домов? Нет, это слишком картинно, а она больше всего на свете ненавидела всякую картинность. Она была естественна, как зверь, и это — лучшее в ней. А может, она пьет кофе из маленькой синей чашки, коротко и прерывисто вздыхая, потому что кофе сразу и сильно действует ей на сердце? И когда он вспомнил эти коротенькие, словно испуганные вздохи, душа в нем заметалась, стала горячей и влажной. Он толкнул дверь, шагнул в темную, зашторенную столовую, оттуда — в спальню, затем в свой пропахший табачным дымом кабинет, потом, уже в полубреду, кинулся на кухню, распахнул дверь затхлого нянькиного убежища и тут только понял, что ее нет.

— Да чего ищешь-то? — послышался мужской голос няньки. — Разве она вернется?..

То, что нянька мгновенно угадала смысл его метаний по квартире, было в порядке вещей. Но почему она глядела на него с таким двусмысленным выражением? "Чертова старуха, еще издевается надо мной! Она всегда отравляла мне жизнь. Не давала купаться в речке, сколько мне хотелось, не пускала одного в лес, напяливала на меня калоши и теплые фуфайки в жару и сушь, ворчала, когда приходили мои товарищи, и чуть ли не плевалась, отворяя дверь моим подругам. Сколько раз приходилось мне краснеть из-за ее нарочитых злобных бестактностей, сколько свиданий она мне отравила, сколько испортила дружб! Вечно угрюмая, нелюбезная, ворчливая, — я всегда боялся попросить чашку чая для моих сослуживцев, она еще мирилась с гостями, но моих коллег невесть почему в грош не ставила. И бестолковая: всегда все напутает, перевернет, по телефону спрашивает, что передать, лишь когда звонят не по делу, непрерывно что-то жует, сосет, хлещет с утра до ночи чай с джемом, шоколадом, бисквитами и считает себя обиженной, забытой. Вся кротость моей жены, равнодушной к домашним делам, не могла оградить ее от настырных и склочных претензий старой чертовки. Конечно, стоило кому заболеть, и нянька не спала по ночам, служила не за страх, а за совесть, но мы редко болели. И еще раз-другой, когда случались трудные дни, на нее находила какая-то испуганная преданность, но в тихом течении жизни она невыносима".

Он чувствовал, что гнев его уходит, и ему уже становилось стыдно за все его злобные мысли. Нашел на кого ополчаться — на жалкую старуху, ничего не нажившую за долгую жизнь и потерявшую даже свое женское естество.

Да она же все время глядит на него так — игриво-многозначительно, с того самого дня, как он вошел в славу. В этом ее жалкая гордость — примешивать к восхищению им некоторую иронию, ведь сколько раз меняла она простыни под "Благодетелем человечества", шлепала его пониже спины за различные провинности, мыла в эмалированной ванне. Он сам себя ввел в обман и с низостью слабой души обрушил на бедную облезлую, седую голову молчаливые проклятия.

— Мне показалось... — начал он и тут увидел, что нянька склонилась над плиткой. — Я не буду обедать.

— Зачем только продукты переводим! — вздохнула старуха.

Гай пошел в кабинет и сел за громадный старинный, обтянутый зеленым сукном письменный стол. Зеленая равнина была густо уставлена всевозможными безделушками, дававшими весьма слабое представление о личности хозяина. Тут находились: черепаха, превращенная в пепельницу — часть панциря вырезана, и лунка забрана медью; бронзовая спичечница, серебряный стаканчик, набитый цветными карандашами и шариковыми ручками, которыми Гай никогда не пользовался, он писал старым паркеровским "вечным пером", заливавшим ему внутренний карман пиджака синими чернилами; три безвкусные терракотовые статуэтки, с которыми он мирился лишь потому, что не замечал их; две вазочки для цветов, но цветы никогда в них не стояли; старые, давно и навсегда остановившиеся швейцарские часы; кинжал в чеканных ножнах; выложенный мозаикой ларчик с пластмассовыми скрепками; прямоугольный кусок стекла с таинственно погруженным в стеклянную глубину изображением собора святого Марка; печать деда с материнской стороны, глазного врача, которого он не застал в живых; гусиное перо — подарок сослуживцев, считалось, что оно пишет; бюстик Лабрюйера загадочного происхождения, всякий раз, когда бюстик попадался ему под руку, он давал себе слово посмотреть в энциклопедии, чем прославил себя Лабрюйер, но забывал это сделать; и еще желтоватый кусок кварца, календарь за прошлый год, деревянная статуэтка очень толстой обнаженной женщины гогеновского склада и смуглоты, — из всех предметов, населяющих стол, лишь эта фигурка вызывала в Гае сочувствие; школьный пенал с огрызками карандашей, затертыми ластиками и прочей дрянью; открытка с видом Майорки и сломанная настольная лампа. Гай понятия не имел, откуда взялось большинство этих предметов, они появлялись постепенно и незаметно, будто оседали

из пропитанного табачным дымом воздуха. "Надо их выбросить, — подумал он почему-то. — Вещи хороши, когда в них отражается характер владельца или когда они работают на память, а так — зачем они?.."

А вот от жены не осталось ни одной вещицы. Она пришла сюда налегке и налегке покинула дом. Внебытовой человек, она не знала привязанности к материальным малостям мира. Могла обрадоваться какой-нибудь яркой тряпке или заводной музыкальной шкатулке и с величайшим равнодушием пропустить мимо себя что-то поистине ценное. Предметный мир оставлял ее, как правило, равнодушной, а если и трогал, то по каким-то сложным ассоциативным связям. Тогда вещь открывалась ей как символ, и тут она проявляла неумолимую детскую жадность. Уйдя из дома, она, кроме нескольких платьев, плаща и белья, взяла с собой лишь старый летний зонтик со сломанной ручкой. Даже на слабом солнце лицо ее мгновенно покрывалось веснушками, и зонтик был ей необходим. Это в ее духе — полная естественность, никакой рисовки и позы. Она не думала, что мелкая ее предусмотрительность унизит их расставание. Она не оставила записки, просто сказала няньке: "Передайте Гаю, что я больше не вернусь", — и ушла. Куда? Он не знал. Кажется, она сняла где-то комнату. Она ушла не к мужчине, она ушла от него. Мужчина, верно, появится позже, может быть, уже появился. Она не умела жить одна, да и на что ей было жить: ее странная живопись не приносила ни копейки, а помощи от Гая она не примет. Это не значит, что она не примет помощи от другого человека. Ее моральный кодекс был не совсем понятен Гаю, возможно, тут и понимать-то нечего, она руководствуется не правилами, не принципами и законами, а инстинктом, чутьем — что-то для нее не так пахнет, и она брезгливо отстраняется, а что-то, для другого весьма пахучее, не смущает ее чуткого носа. Вот так-то.

Почему же все-таки она ушла? Гай много думал об этом, вернее, он постоянно думал об этом; когда он переставал думать сознательно, за него думала душа. Повода к разрыву,

во всяком случае, не было никакого. Причина, конечно, была. Быть может, слишком долго прожили они без горя, но и без острых радостей и она утомилась однообразием, застоєм? Видимо, для нее форма их бытия исчерпала себя до конца. Гай очень много работал и уделял ей мало времени, но так было с самого начала их совместной жизни, и тогда это ее устраивало. Лишь в пору влюбленности Гай начисто забросил работу и существовал в образе какого-то очарованного шалопая, беспечного расточителя времени. Когда они не были вместе, Гай шатался по улицам или торчал в кафе над рюмкой коньяка, глядя невидящими глазами на посетителей и отсчитывая минуты и часы до телефонного звонка и встречи. Ее день был заполнен, она училась в художественной школе, кроме того, существовали какие-то "мальчики", чисто и восторженно влюбленные в нее соученики, требовавшие предельной деликатности, — она могла бесконечно откладывать свидание с ним, лишь бы не обидеть "мальчиков". Ему нравилась ее преданность в дружбе, хотя он места себе не находил во время этих тайных вечереЙ, куда постороннему путь был заказан. Но потом "мальчики" как-то незаметно отсыялись. Гай догадывался, что славные ребята начали говорить о нем гадости и Рена пожертвовала этой романтической дружбой.

В ту пору он казался себе блудным сыном, вернувшимся в родные пенаты. Он совсем забыл город, в котором родился и вырос. Он, конечно, сознавал, что в городе происходят перемены: строятся новые дома и целые районы, сносятся старые, обветшалые здания, разбиваются скверы, ставятся памятники, пробиваются подземные переходы и тоннели, но не предполагал, что перемены так велики. Дом, лаборатория, клиника — вся его жизнь свершалась в замкнутом круге. Он рано, еще в институте, поставил себе цель (вернее, цель сама нашла его, ибо не было волевого акта выбора, он вдруг обнаружил, что выбор сделан), и само собой отсыялось все расслабляющее и неважное, что отвлекает человека от дела: дружеские сборища и попойки, шатание по ночным улицам, кино, концерты, театры, рестораны, курорты и столь люби-

мая учеными пародия на спорт: старательное перекидывание теннисного мячика на красноватом от песка корте. Начав самостоятельную работу, он перестал брать отпуск, душное лето проводил в пустынном, данном городе — почему-то в эту пору ему особенно хорошо и просторно думалось. Лишь раз прервался железный распорядок жизни, когда в пору войны он ведал полевым госпиталем. Но его быстро ранило, и он вернулся на круги своя: дом, лаборатория, клиника.

Он вовсе не был роботом, запрограммированным раз и навсегда, он много и страстно читал, слушал музыку у себя дома, порой находила необоримая потребность в Боттичелли или Рембрандте, Ван Гоге или Дерене, и он мчался в музей — это заряжало надолго; к нему приходили женщины, и он пил с ними вино. Много вина, чтоб отключился усталый мозг. И эти женщины почти всегда влюблялись в него, потому что он был сильным и свежим человеком, его прохладность и замкнутость при внешней общительности манили их желанием приблизиться к его душе. Памятуя слова Хемингуэя, что утренняя близость с женщиной оплачивается по меньшей мере страницей хорошей прозы (что можно приравнять хотя бы к одной хорошей мысли), он отводил для любви лишь вечерние часы, что вовсе не расхолаживало его подруг. Одной из них удалось задержаться на столь долгий срок, что он уже собирался назвать ее женой, но тут появилась Рена, и женщина, все разом поняв, молча отступила. То была хорошая, умная и приятная женщина, с ней можно было прожить спокойной, опрятной, достойной жизнью до самой смерти. Настоящая жена ученого, как принято говорить в их среде...

Но настала Рена, и его сам собой создавшийся размеренный быт треснул по всем швам. Появились то белые, с нагруженными снегом деревьями, то мокрые, звенящие в стеклянной хрупки улицы, и какие-то неожиданные новые дома, и какие-то пустынные или битком набитые кафе, где девушки с длинными ногами пили кофе с коньяком; раз он попал на улицу своего детства, сохранившую прежний тихо-провинциальный облик; трех- и четырехэтажные доходные дома,

серые особняки с пыльными, никогда не открывающимися окнами, громадные дубы во дворах, чугунные тумбы у ворот, неровный плитняк узких тротуаров (надо было пройти по всем плитам, не наступив на линию стыка, тогда учитель не вызовет к доске). Его волновали мелкие открытия: какая-нибудь забытая или вовсе невиданная книжная лавка, журнальный киоск, пивной бар, летнее кафе под красно-полосатым тентом, подземные переходы, где он всегда запутывался, выходя туда же, откуда вошел. С городом возвращались детство и юность и возникало что-то новое, словно обещание радости. И, кроме того, город был предвестником Рены, ибо всякий раз, наглотавшись коньяка или светлого горьковатого пива, наглотавшись улиц и переулков, старых соборов и новых отелей, полузабытого детства и полунезамеченного настоящего, он получал Рену. Как бы ни была она занята, она никогда не обманывала его ожидания, конечно, в пору, когда не стало "мальчиков". Порой он чувствовал, что она губит какие-то важные малости своей жизни: экзамен, урок рисования, посещение мастерской маститого мэтра или новоявленного гения, свидание с подругой, примерку, студенческий бал, — но она не давала ему почувствовать жертвенности своего поведения, да и сама не считала это жертвой. Но и он не оставался в долгу, почти забросив свою работу. Уже много времени спустя у него возникло такое чувство, будто как раз в дни любви и безделья и напал он на правильный путь, тот путь, что привел его к открытию. Вырванный из привычья, он обрел свободу, и подсознательно в нем свершилась переоценка ценностей. Он перестал цепляться за мнимости якобы уже одержанных успехов, перестал считать их вехами на пути к истине, царственно-беспечно и безответственно шатнулся совсем в другую сторону, плюнул на годы упорного, изнурительного труда, в странной беспечности сберегшей его от отчаяния, зачеркнул прошлое и тем, еще неведомо для себя, заложил основу будущей победы...

Впрочем, во всем этом она неповинна. Ее не интересовала его работа. Похоже, что долгое время она вообще не знала

толком, чем он занимается. Что-то связанное с медициной... Гая умиляло это ее равнодушие. Она тянулась к его человечьей сути, пренебрегая тем, что давало ему заработок и место в жизни. Но тут заложена какая-то неправда. Вполне допустимо, что Рена была столь высокого мнения о нем, чтобы не придавать значения его положению в науке, но ведь, помимо чинов и степеней, Бог с ними, существовала еще и сама работа, поиск, наверное, заслуживающий внимания даже со стороны человека, чуждого научным интересам. Ведь все современное человечество живет под тропиком рака. Но ее интересовали только гуманитарные предметы. Присущее ему, словно по ошибке природы, чувство цвета трогало ее неизмеримо сильнее, нежели все его научные достижения, до поры, впрочем, весьма относительные. Как ни крути, была какая-то странная, непонятная спесь в ее пренебрежении делом его жизни. Спесь и узость. Да и невежество. Культурный слой ее души вообще был очень тонок. Столь занятая искусством, она вовсе не отличалась начитанностью, и ему пришлось открыть ей не только Пруста, Джойса, Роберта Музиля, но и Стендаля, Достоевского, Гамсуна, даже Диккенса. Она знала сегодняшнее, почти не ведая вчерашнего. Была ли она талантлива? Да, талант у нее был, но больше не было ничего: ни трудолюбия, ни усидчивости, ни умения доводить работу до конца, ни сознательного отношения к творчеству. Поэтому она ничего не достигла, осталась полудилетанткой. Но какое дело было ему до всех этих ничтожных соображений, когда она наконец приходила! Безразличная к его заботам и размышлениям, она остро и нежно отзывалась на все перемены в его облике. Когда они впервые встретились зимой, чудесным, щедрым вечером, — рано и неожиданно выпавший густой снег пухло укрыл мостовую и тротуары, облепил каждую веточку, каждый виток чугунной ограды сквера, надел искрящиеся колпачки на фонари и тумбы, драгоценной сединой подернул меховой воротник его шубы и ворс пышной шапки, — она подпрыгивала, хлопала в ладоши и как-то нежно стонала:

— Боже мой, вот счастье-то!.. Такой вечер, и ты так сказочно красив!..

Она без устали твердила это и прыгала, пока не упала, поскользнувшись, и падение ее не было неуклюжим, а милым и мягким, словно знак доверия к снегу, устилавшему асфальт. Он даже не успел прийти ей на помощь, она вскочила и снова стала прыгать и хлопать в ладоши и опять упала, и, когда это случилось в четвертый или пятый раз, она вдруг обиделась на коварство скрытой скользоты, и темные ее зрачки беспомощно-гневно удлиннились, и в уголках глаз, у чуть примятого переносья, выдавилось по маленькой слезе. Он тогда смеялся, утешая ее в этой неvezучести, а сейчас, сейчас ему было не до смеха. И Диккенс, и Джойс, вся компания ни черта не стоили перед этим чистым проявлением доверчивой жизни. Вот этим она и брала. Там, где другая просто шлепнулась бы, разодрав чулок и разбив колесо, испортив настроение себе и другим, она бессознательно и бескорыстно создавала нежный и трогательный цирк с глубиной переживаний, не присущей цирковому зрелищу...

Ну, ладно. И так, на столе нет ни одной вещицы, способной напомнить о ней, — ненужный хлам, заслуживающий погребения в мусоропроводе. Но это требует каких-то усилий, а хлам их не стоит. Черт с ним! За столом ему делать нечего. Продолжать труд боли и томления можно в постели.

Он постоял под душем, ленив даже намылиться, кое-как вытерся мохнатым полотенцем, прошел в спальню и задернул штору, стараясь не глядеть в окно, за которым изумрудом, золотом и киноварью вспыхивало, переливалось, возникало семенящим пунктиром и стойко пламенело невыносимое слово "Гайлин", создавая вкупе с другими уродливыми словами, восславляющими эластичные бандажи, сигареты, темное пиво и автопокрышки, непривлекательное ночное табло города.

А как относится Рена к тому, что его имя отовсюду лезет в глаза? Быть может, ей оскорбительна эта назойливость, слов-

но он сознательно и бестактно все время напоминает о себе, а может, и вовсе безразлична? Скорее всего, при ее отвлеченности и бытовой слепоте, она просто не сообразила, что реклама кого-то очередного сомнительного средства имеет отношение к нему. До чего же все-таки странно, неожиданно, несправедливо и омерзительно, что на чистое его деяние опустились грязные лапы пошлости!..

Он лег в постель, погасил лампу и оказался с глазу на глаз с плоской рожей бессонницы. За всю жизнь бессонница не подарила ему ни одной полезной мысли, ни одного решения не принял он, вертясь сперва в противно холодных, потом в противно теплых простынях. Все толковое и стоящее, что им было задумано, продумано или додумано, являлось в ясном свете дня. Бессонница перемещала в его мозгу мириады куцых, оборванных мыслишек, из них ни одна не оформлялась в мысль, сонм ненужных, пустейших воспоминаний, смутных, тревожных своей неясностью образов и мелких ужасиков, интересных лишь для провинциальных фрейдистов. Бессонница дарила его самыми бездарными часами в его бодрствовании. Ничего не изменилось с уходом Рены. Бессонница обесценивала даже его страдание, которое в мятых простынях, под душным одеялом разменивалось на мелкую бытовую монету; днем орел терзал ему печень, сейчас донимала мошкара.

В бессоннице уход Рены уже не казался значительным, просто ей стало скучно. Творчество не шло, а он еще никогда не был так занят, и, видимо, ее раздражал контраст между ее докучной свободой и его погруженностью. А кроме того, он ей просто надоел, последние годы их жизни были бедны радостью. Она изменяла ему, в бессоннице на этот счет не оставалось сомнений, и злилась на себя за измены; в основе она была человеком прямым и гордым, собственная неверность унижала ее, но вину за унижение она возлагала на него. Она вообще считала его ответственным за все, что с ней происходило. Трогательно, конечно, но едва ли справедливо. Если б она совершила убийство, то искренне считала бы убийцей

его, а не себя. Что-то детское и вместе испорченное было в этом освобождении от всякой ответственности. Он виноват в том, что ей стало с ним скучно, не остро, что ей не писалось, не рисовалось, что несложные развлечения со второстепенными людьми стали ей приятнее семейной жизни. Ее ничто особенно не тянуло прочь, но в доме все раздражало, все вытаскивало: и старуха нянька с жалкой ворчбой, и необходимость хоть как-то служить заведенному порядку, и его работа, и телефонные звонки, и старая кошка, по странному совпадению пропавшая в день ее ухода, и живородящие рыбки в аквариуме, таскавшие за собой нитку экскрементов, крошечные, жадные и требовательные существа, постоянно нуждающиеся в пище и свежей воде; приход почтальона с газетами, письмами, пригласительными билетами и счетами — последние необходимо было оплачивать — и все остальное, из чего складывался день. Было лишь два выхода: первый сомнительный — все решительно переменить, сделать ошеломляющий ремонт с перепланировкой квартиры и сменой мебели, вышвырнуть рыбок, убить кошку и няньку, примирить его с тем, что по вечерам у нее должны бывать "люди", любящие дешевую музыку и дорогие напитки, словом, выиграть полную свободу или же, что вернее и проще, — уйти. Она выбрала последний.

Она знала, что он близок к успеху, но это не остановило ее, напротив, ускорило ее уход. Тут сказался присущий ей хороший вкус. Уход в разгар его торжества выглядел бы нарочитым, мелодраматическим и неискренним, к тому же привлек бы чрезмерное сочувствие окружающих к нему и к ней. Да и нехорошо было оглоушить человека посреди радости. Можешь утешаться: как чутко тебя бросили, сколько тут проявлено такта, веры в тебя, доброты и бескорыстия, — ничего не взяла с собой, кроме нескольких платьев и старого зонтика со сломанной ручкой. В тягостной суете бессонницы ничего не производило обычного трогательного впечатления на его душу. Он пособачьи передернул кожей и повернулся с правого бока на левый, чтобы прижать сердце, — авось утомонится.

Но и недобрый, жестоким, чудовищно жестоким был ее уход. Она думала только о себе: если в поступке обнаруживалась какая-то забота о нем, то лишь в силу известного совпадения интересов. Она не была злым человеком, но жестоким человеком она была. Длительные и непрерывные чувства не ее стихия. Мгновенная самоотдача и вслед за тем ледяной холод — это она. И ни малейшей способности управлять собой, своими чувствами. В чем-то это прекрасно, как прекрасна всякая подлинность, но и губительно для отношений, ибо человеческие отношения не бывают только фейерверком, только праздником, будни неизбежны. В них она перегорела. Но она была искренна в каждое отдельное мгновение...

Утром он проснулся от бьющего в глаза солнца, был десятый час. Он испытал миг чистой физиологической радости от солнца, синего неба, возвращения к яви, затем в тело вошла уже ставшая привычной слабость, вялое недомогание, которое он прежде испытывал только с перепоя. Оказывается, старость сродни похмелью. Все придется начинать сначала. Минувшая ночь ничего не изменила. Да и что могла она изменить?..

Одеваясь, он равнодушно вспомнил, что опаздывает на очередную ученую говорильню. "Подождут", — подумал он вяло...

Часа три просидел он на совещании, напрочь выключив слух. С недавнего времени он обнаружил в себе эту странную способность по желанию становиться глухим. Он сидел, зажав голову руками и разглядывая грандиозную ненужность окружающих ученых лиц со склерозированными голыми висками, запавшими ртами, крапчатой мертвой кожей, но с еще жадными глазами, возбужденно поблескивающими от лицемерия Удачи. А этой сказочной, неправдоподобной Удачей был он, Гай, самый несчастный человек на земле.

Собравшиеся не имели никакого отношения к Рене, что сообщало им в глазах Гая прямо-таки неестественную пустоту. Он отказался от предложенного ему слова, и, как ни стран-

но, это произвело хорошее впечатление. Окружающие охотно приняли такое его поведение, отдающее высокомерием, ибо оно казалось искренним, естественным и в откровенности своей даже уважительным. А он промолчал от подавленности.

Но, пожалуй, еще более отрадное впечатление его невмешательство произвело на дородного, матово-смуглого, сидящего человека в темном твидовом костюме. Гай рассеянно принял его за правительственного чиновника.

— Воистину "слово — серебро, молчание — золото"! — с удовольствием произнес человек, показав нежно-розовые десны вставных челюстей.

И еще он что-то говорил о "Гайлине" и о деньгах, разумеется, о деньгах, ибо едва он раскрыл свой великолепный искусственный рот, как послышался звон денег. Гай не слушал его, пораженный внезапным открытием, что и он, Гай, подобно своим ученым коллегам, ни чуточки не нужен на этом сборище. Смугло-седой красавец — вот кто нужен. А вся научная сервировка требовалась лишь для солидной ссылки мелким шрифтом на новой упаковке "Гайлина" или в каком-нибудь проспекте.

Гай никогда не задумывался прежде, чьи деньги он и сотни других исследователей столько лет бросали на ветер. Важно, что их хватало... Но те, кто давал деньги, не отличались подобной беспечностью и вели строгий счет. Теперь настало время вернуть с процентами — невероятными, безумными процентами — все, что было истрачено. И грандиозная, выверенная в каждом винтике машина, делающая прибыль, пришла в действие. А от него, Гая, требуется отныне лишь одно — не мешать...

С Ученого совета Гай отправился в клинику. Собственно говоря, ему нечего было делать там, но надо же как-то занять себя. По дороге ему дважды казалось, что он видит Рену. И раз он вцепился в руку шофера, заставив остановиться в неположенном месте, но женщина оказалась не Реной, хотя и очень на нее похожей: каштановые, с рыжиной волосы, кра-

сивая желтизна гладкой кожи, как на старых портретах, узковатый разрез чуть припухлых глаз и слегка примятое переносье, что придавало этой молодой женщине, как и Рене, сходство с корейкой. И почти столь же совершенный череп был у нее: поразительно точной формы, с прекрасным затылком, высоким лбом, слегка забранным в висках. Но проходящая женщина в сравнении с Реной была выдохшимся шампанским. Как странно, что при двойниковом почти сходстве получаются столь разные существа. Нет, шампанское не выдохлось, его просто забыли газировать.

И вторая женщина была разительно похожа на Рену, так, во всяком случае, показалось в мгновенном промельке. Но Гай внезапно оробел, и женщина скрылась в толпе. Возможно, она и в самом деле была Реной.

Сердце Гая билось где-то в низу живота, а грудная клетка опустела, как птичья клетка в День пернатых, и прошло какое-то время, прежде чем все в нем вернулось на свои места. Он не готов был к встрече с Реной, а ведь такая встреча могла случиться в любую минуту — их существование творилось в пределах старого города, где все вечно натываются друг на друга...

Перед входом в клинику к нему кинулась какая-то женщина и, прежде чем он успел воспротивиться, схватила его за руку и поцеловала. По немолодому, с напухшими подглазьями — большие почки — пористо-смуглому лицу ее катились слезы. Захлебываясь, она лепетала, что он спас ее сына. Из рта женщины сильно пахло ацетоном — сахарная болезнь. Но собственные хворости ее нисколько не занимали, главное, что будет жив и здоров ее мальчик, ее Вуд, прибывший в клинику с запущенным раком поджелудочной железы." Такой молодой, такой способный, ему бы жить и жить, а он!.. — "Что он? — прервал Гай. — Он и будет жить!.." — В отличие от вас", — едва не добавил он. Гай всегда цепко помнил своих пациентов, он сразу вспомнил Вуда, чернявого, угреватого парня, которого он поставил на ноги раньше, нежели тот догадался, что обречен.

Появление Гая во дворе клиники было замечено персоналом, и на крыльцо высыпали врачи, санитары, медсестры. Они аплодировали — кто-то изобрел этот дурацкий ритуал, и стоило ему появиться в клинике, как тут же вспыхивала овация. Гая раздражала эта выдумка больничных служащих, столь не отвечающая его нынешнему душевному настрою. Он уже хотел остановить их резким жестом, как вдруг теплая волна прокатилась внутри, задев сердце. С чего бы, а?.. Гай посмотрел на людей в белых халатах и белых шапочках и задержался на молодом невыразительном, будто сонном, лице одного из своих многочисленных ассистентов. Как его там?.. Он хорошо помнил лица, куда хуже имена, но имена одаренных ассистентов никогда не забывал. Очевидно, молодой человек не из числа гениев. Гай еще раз посмотрел на бледноватое лицо, серые увядшие волосы, водянистые сонные глаза, и теплое чувство стало еще полнее и определеннее, сердце словно укутали в мягкий куний мех.

— Послушайте, голубчик, — сказал Гай, шагнув к молодому человеку, — как у вас с диссертацией?

Ассистент вздрогнул, согнал улыбку и словно погас.

— Вы же отклонили мою тему, профессор!

Гай немедленно вспомнил скучную тему и тусклые соображения этого ассистента, но странно, сейчас тема вовсе не казалась ему безнадежной.

— Вы меня не так поняли! — сказал он весело. — Тема только кажется бесперспективной, она чревата возможностями. Приходите ко мне, потолкуем.

Гай дружески кивнул и прошел в клинику. Сотрудники с завистью и почтением смотрели на сонного парня, невесть с чего удостоившегося божеской отметины, а у того вдруг заломило виски, словно на них закрепили жестяной нимб.

Гай шел по коридору, мимо высоких глухих дверей, ведущих в палаты. "А ведь до недавнего времени мы только делали вид, будто лечим рак, — думал он, — в лучшем случае мы отодвигали смерть — на месяцы, бывало на годы, но мы почти никого не вылечили до конца. Зачастую мы, правда,

снимали боль, возвращали людям хорошее настроение и надежду, помогали с улыбкой переселиться в иной мир — это тоже немало. Мы были скорее монахами, нежели врачами, не исцелителями, а утешителями, причем монахами низшего качества: служители Бога обещают райское блаженство, а мы — всего лишь возвращение к земной юдоли...”

Гай толкнул маленькую дверцу, ведущую не в палату, а в закуток; здесь обитала старуха, первая познавшая спасительное чудо нового метода. Восьмидесятилетняя, иссохшая, одинокая, нищая старуха прибыла в клинику с изъеденной раком печенью, метастазы сплели паучью сеть в ее внутренностях. Доставили ее сюда сердобольные соседи по лестничной площадке.

Старуха, по обыкновению, что-то ела из больничной пластмассовой миски. Увидев Гая, она скользнула по нему безжизненным белым взглядом и продолжала есть.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Гай.

В белом старухином взгляде мелькнуло что-то похожее на лукавство.

— Лучше всех... А мне вы чего-то обещали... — прошамкала она, роняя изо рта кашицу.

Это обобранное старостью и болезнью существо, чью душу давно окутало забвение, до странности много сумело понять. Так, она поняла, что ее спасение явилось колоссальным выигрышем для самого Гая. И всякий раз она напоминала ему, чем он ей обязан, и требовала мзды. С Гая причитались тянучки, ей нравилось, зажав конфету в беззубых деснах, вытягивать длинную золотистую нитку.

— Жалоб нет?

— А чего мне жаловаться? — прошамкала старуха. — Я от вас уезжаю.

— Что так? — рассеянно спросил Гай.

Старуха оставила миску, ее голые белые глаза обрели сознательность и чуть ли не с торжеством глядели на Гая.

— А вот так! В частную клинику ложусь!

Гай сперва отметил про себя всегдашнее отвращение бедняков к даровому лечению, — наверное, и впрямь унизи-

тельно врачевать свою плоть бесплатно, будто из милости, когда другие тратят на это уйму денег, — и уж потом дошел до него смысл старухиных слов.

— Ого! Получили наследство?

Но старуха вовсе не шутила. Ее навестил представитель фирмы, изготавливающей "Гайлин", — отныне приукрашенный старухин портрет будет украшать этикетку лекарства. Конечно, ей за это кое-что причитается...

Ну и ну! Фирмачи смотрят в корень. Недаром же ликовали газеты: "Они вместе войдут в века — врач и его больная!" В этом была смехотворная правда, люди лучше помнили имя старухи, чем его имя. Похоже, они всерьез думали, что тут есть какая-то старухина заслуга, что она помогла Гаю спасти ее. Через нее простые смертные как бы участвовали в Открытии Века. Самообман толпы доставлял Гаю какое-то едкое удовольствие. Пусть он войдет в вечность в паре с этой старухой, как Данте и Беатриче, Петрарка и Лаура. Но сейчас дело заваривалось всерьез: фирмачи безошибочно угадали, что исцеленная представляет куда большую ценность для них, нежели исцелитель. Ведь она являлась гарантией успеха. И как прежде Джоконда — парфюмерию, старуха будет украшать "Гайлин". А вы, Гай, отойдите в сторону, не путайтесь под ногами.

Смех рвался из груди, напрягал горло, вздувал вены на висках. Чувствуя, что ему не удержаться, Гай выскочил в коридор. Боже мой, от всей этой фантазмагии он мог бы спастись только с Реной, а ее не было!..

Он вытер глаза носовым платком. По коридору слонялись больные. Многие из них уже стали вчерашними больными, другим это предстоит в ближайшее время. Он их спас, а кто спасет его?.. Все аплодировали Бомбару, а как легко восхищенный мир предоставил его одиночеству и отчаянию. А различные экс-чемпионы, баловни толпы, впавшие в нищету, наложившие на себя руки или отваживающиеся на смертельный рекламный трюк, лишь бы не уйти на дно! Нет, люди не знают снисхождения к своим вчерашним кумирам.

С тобой считаются, пока ты в форме и до поры до времени, а там свежинку подавай, да позабористей... Люди не умеют помогать друг другу, да и не стараются этому научиться, потому так безмерно одинок попавший в беду человек... Гай опять свернул на свое и, поймав себя на этом, решил, что несчастье безнравственно, ибо приводит к отчуждению и ненависти.

Одновременно с этими горькими мыслями (а в последнее время вкус всех его мыслей был или горьким, или кислым) в груди возникло и росло тепло, под стать радости. Гай доверял этой радости, она не могла быть обманной, но все же его тревожила невнятность ее происхождения. Он мысленно скользил по событиям дня, и все, что припоминалось, рождало лишь короткую судорогу отчуждения. А затем мелькнуло сонное, невыразительное лицо и чуть растерянная гримаса губ, смеявшихся в полуулыбке, и радость внутри Гая стала уверенной. Ах, вот оно что — ассистент, как бишь его там!.. Он придумал интересную тему, видать, талантливый парень. Как он раньше не замечал? До чего мы равнодушны, неприметливы к окружающим, особенно к тихим, неброским людям с золотым ядрышком внутри. А ведь он должен был видеть хотя бы его улыбку. Какая чудесная улыбка! Пусть некрасивая, — у него толстые, вялые губы и неровный строй желтоватых зубов, — человек, который так улыбается, не может быть ни плохим, ни заурядным. Черт подери, надо зайти к этому славному ассистенту и поддержать его в трудном и смелом решении. Пусть даже избранная им тема заведет в тупик, неужто мы вдвоем не вытянем магистерскую диссертацию? Ведь поиски бывают иной раз полезнее найденного. Гай ощутил какую-то свирепость. Он поможет ассистенту, поможет его чудесной улыбке, милой и немного жалкой.

Взяв в канцелярии адрес талантливого юноши, он поехал к нему в другой конец города.

Приход "благодетеля человечества" поверг ассистента в тягостную растерянность, на грани невменяемости. Он за-

был пригласить Гая в комнаты, и они долго бессмысленно топтались в прихожей, забыв представить его жене, крепкой, полной сердитой блондинке, сперва не узнавшей великого человека, а затем впавшей в состояние тихого бешенства от бездарного поведения мужа. А поведение его в самом деле было на редкость бездарным: он не мог улыбнуться, сделать той малости, ради которой и явился к нему Гай, олицетворяющий судьбу. Кожа так затвердела на потрясенном, с вытаращенными глазами лице ассистента, так обтянула, словно женщина в яичной или парафиновой противоморщинной маске, да он и не испытывал ни малейшего позыва к улыбке.

А Гай ждал. "Голубчик, — говорил он, — вы же одаренный и умный человек, почему вы такой робкий? Больше веры в свои силы, больше здоровой наглости, черт возьми, и вы будете на коне!" Но перед ним по-прежнему маячила безжизненная маска.

Жена пыталась компенсировать тупую нелюбезность мужа. Подавив кипящую в ней ярость и желание растерзать своего недоумка, она окутала Гая сетью ласковых движений, птичьим щебетом, и уж как она улыбалась! И нежно, и восторженно, и маняще, и почти непристойно. Но, мельком приметив белую влажную кость ее ровных зубов меж полных, пунцовых губ, Гай больше не глядел в ее сторону, ему нужна была иная улыбка.

— Выше голову! — Гай сделал последнюю попытку расшевелить столпника. — С таким руководителем вы не пропадете! Завтра с утра я жду вас на кафедре!

И тут ассистент наконец поверил, что все происходящее не жуткий в своей манящей обманности сон, что всемогущая рука уже держит его за шиворот, храня от невзгод, — некрасивые, вялые губы дрогнули и расплзлись, приоткрыв желтые резцы.

— До свидания! — вскричал Гай, чувствуя, как закипают слезы счастья, нежности и печали. — До завтра, милый вы мой человек!.. — И выбежал из квартиры.

— Ну что ты скажешь? — обратился ассистент к жене.

Она стояла, задумчиво потупив голову. Она уже не сердилась на мужа, бессознательно угадав, что каким-то образом он сделал то, чего от него ждали.

— Видишь, — продолжал робко наступать ассистент, — не все, оказывается, считают меня бездарью.

— Чепуха! — отрывисто сказала жена. — Неужели ты думаешь, что он покорен твоей гениальностью? Да он тебя насквозь видит. Тут что-то не то, а что — ума не приложу...

...Гай нес в себе улыбку ассистента. Он смаковал ее и так и этак, то, как слезу с ресницы, смаргивал прочь, оставаясь в легкой, словно бы беспричинной радости; то, не сопротивляясь, позволяя ей возникнуть вновь — слабой гримасе некрасивых, полных губ. И в конце концов улыбка потянула за собой незримый след, и след этот привел к озеру, большому овальному озеру, ярко блестящему в лучах уже начавшего снижаться солнца.

Этот берег зарос ивами, а противоположный — совершенно гол, холмист, и чуть не каждый холм увенчан старым, заброшенным монастырем. Когда-то здесь находился религиозный центр страны. На востоке вот уже который час недвижно стоит огромная туча, лишенная четкого контура. Она подымается из-за горизонта, чуть темнее и мутнее неяркого голубого неба, и в выси сливается с ним, — порой кажется, что то и не туча вовсе, а дымное дыхание земли, застывшее в воздухе. Но нет, это, конечно, туча, несущая не дождь, а ливень, потоп, светопреобразование — при взгляде на нее озноб подирает. Приближение чего-то грозного чувствуется в природе: птицы летают низко, зигзагами, чайки и вороны что есть мочи дерут горло; за спиной далеко в низинном, потном поле рыдают чибисы, а рыба клюет исступленно, почти на голый крючок.

Независимо от главной тучи над тем берегом проходят небольшие сизые тучки, обметая купола монастырских храмов длинными бородами дождей. А здесь — солнце, блеск и какие-то лубочные кудрявые облака.

О том, что должно было случиться, оповестил изменившийся блеск озера. Вместо золотой, иристой ряби по нати-

шей воде простерлись тускло-серебристые полосы. Замолкнув, рассеялись птицы. Пусто стало над озером. И тогда они, не словариваясь, воткнули удилища в грунт и пошли в сосновый бор, отделяющий озеро от шоссе. Их приятель, заядлый рыболов, крикнул укоризненно:

— Куда же вы, самый клев!..

Ответа он не дождался. Они опустились на землю у подножия рослой, матчовой соены, на мягкую подстилку из старых, мертвых игл и стали целоваться. Они не говорили друг другу никаких любовных слов, да и не нуждались в этом нищем лепете. А потом было молчаливое исступленное проникновение друг в друга, и по пути отбрасывалось все, что мешало. Они и не заметили, как оказались нагими, они не помнили о том, что рядом вилась лесная тропинка, но, видно, Бог хранит пьяных и влюбленных. Они не разомкнули объятия и когда раздалась готовившаяся весь день гроза. Крона сосны недолго удерживала поток, вскоре холодные струи принялись хлестать их по незащищенным телам. В лесу потемнело, и молнии то прошивали сумрак короткими, острыми вспышками, то распахивали лес бледно-голубым блистанием, а потом наступал гром, вселенная рушилась, и нарастало водоизвержение — казалось, что это озеро, восстав из берегов, обрушилось на лес всей своей громадностью. И они уснули, соединенные, под грозу.

Сон их был долог, но гроза успела выплеснуть себя, и сейчас от нее остался лишь замирающий, реденький дождичек да вялые далекие сполохи, и уже брезжил чистый, ясный свет, и рядом у щек льдисто холодные кустики черники шевелились от стекающих капель, словно в них шныряли юркие зверьки.

Они очнулись, но еще долго лежали в изнеможении, не в силах натянуть одежду и вернуть трезвость существования, к другу-рыболову, удочкам и банкам с мотылями. А по тропинке так никто и не прошел. Лишь когда они с трудом оделись и он неловкими, влажными пальцами пытался застегнуть ей какую-то ускользящую поуговичку сзади на платье, мимо

них, едва не задев полами тяжелого плаща, протопал резиновыми сапогами старик рыбак.

А потом, когда кончилась рыбалка, иззябшие, так и не обсохшие, они не знали, куда им податься. Друг-рыболов с постным, равнодушным ко всему, кроме рыбы, лицом надоел до содрогания. К ней было нельзя — приехали родственники из провинции, его же дом искалечился злобным неуютом няньки. И тогда она вспомнила о своей старшей подруге, доброй душе, которой нечего стесняться. Она позаботится о них, напоит горячим чаем с малиновым вареньем, а ночевать уйдет к одной из своих взрослых дочерей. Туда они и отправились. Дверь открыла низенькая, полная женщина с седой головой и черными усами, еще более густыми, чем у няньки, некрасивая, но — сразу угадывалось — добрая и открытая. Она протянула Гаю короткую, крепкую руку, улыбнулась полными губами, показав прокуренные, темные зубы; и через десятилетия ее улыбка обернулась диссертацией для неудачника ассистента.

Поняв причину своей тяги к ассистенту, Гай вовсе не раздумал помочь ему. Это амортизированное напоминание о Рене, о лучшем, что у них было, не причинило ему страдания, лишь радость с привкусом печали. Встретиться с пожилой подругой Рены было бы мучительно, а улыбка ассистента действовала как слабая доля яда, что лечит, а не убивает; но стоит увеличить дозу, и яд становится смертелен...

...Многое другое, что привнесла Рена потом в их отношения, всегда перекрывалось их первым объятием, под грозой. "А могла ли другая женщина быть со мной так доверчиво и бесстыдно, так самозабвенно и расточительно близкой?" — спрашивал он себя и сразу отвечал: "Нет!" Но однажды, когда это "нет!" звенело в нем с обычной радостью, он вдруг трезво и холодно подумал: а почему, собственно, нет? Могла бы и другая, и даже не слишком высокого пошиба. Безоглядность и неосторожность присущи женщинам в гораздо большей мере, нежели мужчинам. Редкий мужчина на его месте отважился бы на столь

откровенное языческое действо — из стыда, боязни ответственности, огласки. Но очень многие женщины последовали бы за тем, кто повел их за собой. Но бесстыдство какой-нибудь искательницы приключений не имеет ничего общего с чистой самоотдачей человека, чувствующего груз звезд и все тайные содрогания мира. И зря пытается он подвергнуть сомнению лучшее переживание своей жизни. Этим не спасешься. Да и не стоит спасаться таким способом: обесценивать бывшее. Это самозащита низких и ничтожных душ...

...Приехал Пауль Гомбург, лауреат Нобелевской премии, великий и некогда даже известный широкой публике физик, — правда, потом основательно забытый, — чье имя было присвоено одному из квантовых эффектов.

Как ни погряз Гай в своей душевной беде, он с волнением и любопытством ждал этой встречи. Для людей его поколения Гомбург был Эйнштейном экспериментальной физики. Но после бурной славы тридцатых годов имя его исчезло из обихода, как было со многими работавшими в области практической атомистики, вскоре после войны вдруг всплыло на поверхность в связи с каким-то скандалом и окончательно кануло в Лету. Гай думал, что Гомбург давно угас в тишине и забвении. Но нет, он был жив и даже представлял известный общественный интерес, его приезд для свидания с Гаем оживленно обсуждался в прессе.

Гая поразило, что Гомбург так безнадежно дряхл, ведь ему не было семидесяти. Из вагона появился худенький старичок с длинными, чуть не до плеч белыми и легкими волосами, взлетающими при малейшем дуновении ветра, с седыми, обвислыми, непомерными для сморщенного личика усами, с темными плачущими глазами. Гомбург до неприличия походил на старого, больного зайца. Его верхняя губа с усами то и дело дергалась, и в лад ей подрагивал подбородок. Он непременно хотел поцеловаться с Гаем, и тот от смущения обнял его чересчур порывисто и оторвал от земли легкое, будто пустое тело.

— Здравствуйте, милый, — говорил Гомбург тихим, но очень ясным, чистым голосом. — Здравствуйте, дорогой мой человек!

— А где же ваша супруга? — спросил Гай, предупрежденный, что Гомбург приедет с женой, без которой и вообще шагу не мог ступить.

Верхняя губа с белыми слабыми усами запрыгала.

— У нее очень плохо с желудком, — жалобно сказал Гомбург. — Очень, очень плохо... совсем плохо! — Темные глаза наполнились слезами.

— Надеюсь, не рак?

— Голубчик, после вашего открытия надо говорить: надеюсь, рак. Дай Бог, чтобы это был рак, а не язва или того хуже — гастрит. Язву сейчас великолепно оперируют.

— Простите, — смутился Гай, — у меня случаются странные приступы рассеянности.

Темные влажные глаза смотрели на него с вниманием и сочувствием.

— Вы чем-то огорчены, голубчик?

— Меня оставила жена, — с необычной для себя откровенностью сказал Гай и вдруг понял, что любит Пауля Гомбурга.

Тот протянул узкую, усеянную гречкой руку с голубыми, прозрачными суставами, взял Гая за кисть, немного подержал и отпустил: у него не было сил на рукопожатие.

Гомбург отказался давать интервью газетчикам. Гай — также. Они поехали на квартиру Гая, где их ждал завтрак вдвоем.

— Как странно, — сказал Гай своему спутнику, скорчившемуся в углу машины, — я никогда не видел ваших фотографий, а между тем лицо ваше кажется мне удивительно знакомым.

— Ничего странного, вы наверняка видели портреты Эйнштейна.

— Ну, конечно! — вскричал Гай. — Какое сходство!..

— Не столь уж значительное на самом деле, — усмехнулся Гомбург. — Однажды во время болезни я сильно оброс. А

когда глянул в зеркало, то увидел своего старого учителя. Усы и длинные волосы разительно меняют внешность. У Эйнштейна совсем другие глаза, нос, рот, он не дергался и был куда крупнее меня, но это ничего не значит, важен общий рисунок. И я сохранил маску Эйнштейна. Ребячество, конечно, но я очень его люблю. Иногда я сажусь перед зеркалом и беседую сам с собой, как с ним. Нам есть о чем поговорить! — засмеялся Пауль Гомбург.

Гай почувствовал, что с этим человеком можно держаться совсем просто и откровенно, без боязни совершить бестактность. И он спросил Гомбурга, что с ним случилось вскоре после мировой войны.

— Боже мой! — удивился Гомбург. — Я был уверен, что моя поросшая мхом история всем давно набила оскомину. Но ученые разных специальностей отгорожены друг от друга непроницаемой стеной. К тому же вы, естественно, не читаете газет. Все было весьма обыкновенно. Корпя в своей лаборатории, я считал, что помогаю создавать оружие против нацизма, но не против черноголовых детей Хиросимы. Ученому, работающему в моей области, полагается гармонично сочетать политическую наивность с моральной безответственностью. Я нарушил правила хорошего тона, позволил себе иметь собственное мнение. И к тому же выражал его довольно громко. Считается, что со мной обошлись по-Божески: меня не судили за антигосударственную деятельность, просто стерли с грифельной доски жизни. Отнято было все: лаборатория, плоды работы, даже имя. Кто сейчас знает имя Гомбурга? Но мне позволили не сдохнуть с голоду, я стал преподавать в колледже. А с недавнего времени меня даже начали приглашать на различные ученые сборища. Я отстал от современной науки, не знаю ее языка, но все равно езжу. Мне, как ни странно, еще интересно жить. Даже так... Видите, вот и к вам притащился.

Тут, изменив тон, придав ему некую торжественность, Гомбург преподнес Гаю заранее приготовленную любезность:

как счастлив ученый, чье открытие несет людям только добро и не может быть использовано во зло.

— Спасибо. Хотя с некоторых пор я вовсе не так уверен, что осчастливил человечество.

Гомбург удивленно посмотрел на него.

— Вы понимаете, это средство всегда будет в руках сильных мира сего и, стало быть, увеличит их власть над людьми.

— Как же вы несчастливы, коллега, если уже сейчас мучаете себя такими мыслями! На вашем месте я предпочел бы тешиться иллюзиями.

— Я действительно несчастен, — признался Гай. — Скажите, сугубо между нами, Он, — Гай ткнул пальцем вверх, — все-таки существует?

Гомбург лукава прищурился.

— Я абсолютно уверен в этом. Иначе все слишком бессмысленно. Лучше думать, что наша планета — неудачный эксперимент не в меры пытливого старика.

— Старика? Значит, вы верите в...

— В самого примитивного детского боженку с бородой и круглым нимбом.

— Стало быть, не Высший разум, не Первичный постулат?..

Гомбург замахал маленькими крапчатыми руками. Его верхняя губа запрыгала, как у зайца, которому вместо капустного листа сунули клочок бумаги.

— Нет, нет, нет!.. Зачем вам вся эта чепуха? Светлоглазый бородач. Немец. Я убежден, что он немец, отсюда такая приверженность к мировым катаклизмам, кометам, протуберанцам, галактическим взрывам и неуклонному расширению вселенной.

— Но разве такой вот старикашка может быть всемогущим? — серьезно спросил Гай.

♦ — Дорогой мой, вы же знаете, все на свете относительно. Конечно, он что-то может... Понимаете, в чем фокус? Он загадывает загадки, а решить должны мы. Вы думаете, он знал формулу Эйнштейна? Да ничего подобного. Он же вообще

играет в кости: что выпадает, то и годится. Он не возражал против рака, когда вышла такая игра, но убежден, что до вас он понятия не имел, как лечить рак.

— А если помолиться, даст это что-нибудь?

— Затрудняюсь сказать. У меня особый случай. Я, пусть невольно, обманул его ожидания и не сделал урока, у него зуб на меня. Поэтому о чем-либо серьезном я его давно не прошу. Только о простейших бытовых мелочах, иногда по хозяйству да еще о погоде... Но вы в ином положении. Попробуйте, худа, во всяком случае, не будет.

Весь остаток дня и вечер они рассматривали альбомы с фотографиями. Рена была равнодушна к фотографированию, но почему-то ее много снимали. Возможно, потому, что, в отличие от большинства женщин, она никогда не заботилась о том, как выглядит, и не мешала любителям отщелкивать себя сколько вздумается. Поэтому и было так много любительских фотографий, на которых она выглядела естественно и мило.

— А это мы были на охоте, — говорил Гай. — Рена впервые стреляла из ружья. И, как ни странно, довольно метко. Егерь в насмешку вместо дохлой вороны повесил на шест свою фуражку с гербом, и Рена разнесла ее в клочки.

— Я никогда не охотился и не ловил рыбы, — грустно сказал Гомбург. — Из-за физики я много потерял. Правда, в мое время ученые вообще не охотились и не рыбачили.

— Зря!.. Вот мы на рыбалке. Видите, Рена ловит прямо руками? Так можно во время нереста. Рыба трется в камышах и теряет всякую осторожность. Вы опускаете руки и вытаскиваете ее вместе с илом и водорослями.

— Надо же! — удивился Гомбург.

— А однажды Рена "поймала" бумажник. Какой-то рыболов, видимо, нагнулся над водой и выронил бумажник из кармана куртки. Рена разложила все его содержимое на берегу для просушки, и получился как бы музей одного человека, нашего с вами современника и соседа.

— Интересно! — сказал Гомбург. — Наверное, это было жалкое зрелище?

— Да, — тихо сказал Гай, ничуть не удивленный пронизательностью Гомбурга. — Человек этот не имел постоянной службы и весь держался на бумажках. У него было удостоверение внештатного сотрудника радио, временный пропуск на студию телевидения и какая-то бумажонка от "Вечерних новостей"...

Гай припомнил и все остальное содержимое бумажника. Там имелся анализ мочи со следами белка, избытком плоского эпителия и цилиндров, анализ крови с повышенным РОЭ, анализ желудочного сока с нулевой кислотностью и справка о радикулите. То ли человек проходил недавно медицинское обследование, то ли лежал в больнице. А еще там находились мятые бумажные деньги и мелочь, фотография некрасивой, усталой женщины с дарственной надписью "Моему единственному", редакционное письмо, извещающее об отклонении какой-то рукописи, копия жалобы в муниципалитет на домохозяев, не делающих ремонта; в тайнике бумажника хранился телефон, написанный губной помадой на обрывке ресторанный меню, и справка из лаборатории, что реакция Эрлиха отрицательная — короткий и светлый путь счастливой любви; еще было письмо от бывшей жены, грозившей всякими карами, если он будет так же неаккуратно переводить деньги на содержание сына, просроченная ломбардная квитанция и несколько фотографий самого владельца бумажника; на одной он был юн и жестко кудряв, на остальных — сильно трачен жизнью, с облезлой головой.

Пока бумажки сушились, подходили рыбаки и осматривали это хозяйство, и вид у них был невеселый; то ли они думали, что это имущество утопленника, то ли щемила скудность чужой жизни, в которой так легко узнавалась скудность жизни собственной. А Рена, затеявшая без всякой задней мысли эту "выставку", вдруг ослепла и погрузилась в ту безысходную мрачность, что доводила его до отчаяния. И прошло много времени, пока она не проскрипела детским ржавым голосом: "Жалко!..." А затем чуть всплакнула и пришла в себя...

— Прекрасная форма головы, — сказал Гомбург: он наткнулся на детские фотографии Рены. — И какие серьезные глаза! — Он долго не переворачивал страницу... — Конечно, в ребенке уже прочно сидит весь будущий человек, да, да... — Наконец он перевернул страницу, там была наклеена единственная фотография Рены-девушки: задорный вскид головы, чуть размытый, мягкий абрис лица, а глаза те же — серьезные, глубокие, ночные. Дальше на всех фотографиях Рена оставалась неизменной: созрев, она словно замерла в фокусе своей внешности и не поддавалась влиянию времени.

— Я понимаю, в чем ее обаяние, — задумчиво сказал Гомбург, — от младенца до зрелой женщины — вечно женственное... А в моей бедной жене давно уже на осталось ничего женственного, одно лишь вечное...

Гомбург загрустил. Он по-прежнему внимательно разглядывал фотографии, и Гай, сопутствуя ему взглядом, с умилением обнаружил, какую большую роль играли в жизни Рены животные: собаки, кошки, белки, черепахи, птицы. Она относилась к животным как к равным, поэтому она могла и не любить кого-то из них, например живородящих рыбок. Он, Гай, любил всех животных, считая их своими младшими братьями, и его любовь была барски всеохватной, а Ренина — избирательной и потому истинной...

— Что есть у человека, кроме жены? — заговорил Гомбург. — Родители всегда уходят слишком рано, а дети — слишком поздно, когда отношения уже безнадежно испорчены. Друзья? Но это такая редкость! Открытие интимно близко тебе, пока живет в твоей голове, затем оно становится шляхой, доступной каждому. Остается лишь жена, стареющая, слабеющая, надоедливая, сварливая, глупая и все же единственная и вечная. Лишь в ней одной доказательство того, что ты личность или хотя бы особь.

— У меня нет теории жены, — тихо сказал Гай. — Но я несчастлив, и так несчастлив, что просто не знаю, что с этим делать.

— Марсель Пруст говорил: настоящий рай — это тот рай, который мы потеряли. Разве вы ощущали ее как беспрерывно творящее счастье, пока она была рядом?

— Конечно, нет. Но важно другое — я порой забывал о ее существовании. И это было счастьем. Я понял это теперь, когда ни на минуту не могу отделаться от нее.

— По-настоящему любишь жену в старости, — сказал Гомбург и всхлипнул. — Не сердитесь, голубчик, я завтра уеду...

Гай не стал его отговаривать. Они просмотрели все альбомы, и нечего было Гомбургу тратить время на официальные пустяки, раз он так беспокоился о своей жене.

— Видимо, мне остается одно, — сказал Гай, проводив Гомбурга до его спальни, — кинуться в новую работу, как в омут. Затеять что-нибудь грандиозное. В конце концов предомной сейчас открыты все пути.

Что-то похожее на сожаление мелькнуло в старых глазах Гомбурга.

— Не обольщайтесь на этот счет, голубчик, — сказал он тихо. — Наши хозяева — очень взрослые и совсем не увлекающиеся люди.

Гай недоуменно поднял брови.

— Они прекрасно знают, что никому не удавалось сорвать банк дважды.

— Вон что!.. Значит, я для них выжатый лимон?

— Мавр сделал свое дело...

— Черт с ними! У меня есть свои деньги. Лишь бы работать.

— Это другой разговор, — меланхолически произнес Гомбург. — Когда есть деньги...

— А как по-вашему, можно второй раз сорвать банк?

— Вы обязаны этому верить. А я не знаю. Я брал хорошие куши, но банка так и не сорвал.

— Но у вас есть жена, — сказал Гай.

Внезапный отъезд Гомбурга поверг прессу в тягостное недоумение. Все решили, что великие умы не поладили. По-

этому не было предела удивлению, когда на перроне перед отправкой поезда сухонький Гомбург в порыжелом пальтеце и крупный элегантный Гай с минуту, если не больше, стояли обнявшись и уткнувшись лицами друг в друга, и плечи их тряслись. А затем Гай с мокрыми глазами бежал до самого обрыва платформы, а Гомбург далеко и опасно высовывался из тамбура, по-заячьи дергая верхней губой...

После отъезда Гомбурга наступило словно бы облегчение. Гай пробовал молиться, иногда плакал. Он молился не о том, чтобы Рена вернулась, — он и на миг не поддавался обману, что сорванное до кости мясо опять нарастет, — а чтобы она совсем оставила его, и плакал от жалости к ней, будто с потерей его любви она станет слабой, беспомощной, никому не нужной. Он просил у нее прощения, что молил о ниспослании ему равнодушия и свободы. Он говорил, боясь бестолковости бородатого старика: "Боже, я не прошу тебя вернуть ее мне, это бесцельно, ибо, вернувшись, она никогда не простит мне своего поражения. Только пока мы порознь, я сохраню хоть какое-то место в ее душе, она же знает, что я мучаюсь, что я несчастен. Но я уже на исходе, я перестаю быть человеком. Пусть она оставит меня совсем, пусть уйдет из меня, как ушла из моего жилища. Я бедный, слабый человек, но я не делал ничего дурного, я не хочу ожесточения. Дай мне свободу!"

Но как-то тревожно становилось ему при мысли, что бог исполнит его мольбу и освободит от Рены. Это было равносильно тому, как если б ему обеспечили жизнь без сердца, нормальную, спокойную, полноценную и даже более уверенную жизнь, ибо столь решительно упрощенный организм куда меньше подвержен опасностям. Ну да, конечно... А все-таки лучше сохранить свое непрочное сердце. Ведь если Рены не будет, образуется пустота, жутковатый вакуум, который нечем заполнить.

Ничто не приносило даже краткого облегчения, он не знал, о чем молиться, над чем плакать. Так он жить не мог, но и вернуть ее не мог, и вытравить из себя окончательно тоже

не мог. Выхода не было. Вернее, был один-единственный. Он где-то читал, что время может идти вспять. Значит, оно управляемо. Надо вернуть то время, когда она была с ним, и, находясь в этом былом, предотвратить ее уход.

Дойдя в своем полубреду до этих соображений, он понял, что пора обратиться к психиатру. Но при одной мысли о медицинской беллетристике, как он называл про себя психиатрию, в нем сворачивалась кровь. Один американский врач додумался лечить не больную психику людей, а поведение, добываясь, чтобы существо с растерзанным сознанием по-обезьяньи копировало действия так называемых нормальных людей и таким образом стало безопасным для окружающих. Под черепной коробкой бушует пламень, а несчастный безумец встает поутру, моется, чистит зубы и начинает вязать джемпер или делать еще что-то в том же духе: простенькое и полезное. Затем в положенное время он ест, пьет, отправляет естественные надобности, гуляет — все с тем же неугасающим пламенем в мозгу — и ложится в кровать. Эта психиатрическая идиллия — добиться от человека образцового внешнего поведения вне зависимости от внутреннего состояния — страшна. Впрочем, американец хоть додумался до чего-то нового, остальные до сих пор перетирают во рту фрейдовскую жвачку. И если выясняется, что ты не испытал преступной страсти к матери и неистребимого желания ухлопать папашу, она впадают в полнейшую растерянность. Совсем же отсталые, но вовсе не безвредные топчутся в душном мирке углекислых ванн, холодного обтирания и шоковых доз инсулина, награждающих больного сахарным диабетом.

И Гай не пошел к психиатру. Он решил лечить себя сам. Прежде всего нужно было разобраться, что такое любовь, так ли уж существенно и важно это чувство, чтобы терять и себя и жизнь. После долгих размышлений и сопоставлений у него возникло убеждение, что, утратив любимую, он утратил все имевшиеся у него представления о мире. Сейчас все, что он видит: дом, дерево, птица, собака, скамейка, почтовый

ящик, лестница, облако, звезда, — содержит скрытый привкус боли, ибо сложнейшим, неуловимым ассоциативным путем приводит к Рене. До Рены окружающее было словно туманом подернуто, все было, но и ничего не было: не предметы, не существа, а тень предметов, тень существ. При Рене все населяющее мир, включая его самого, налилось полнотой существования: красками, запахами, звуками, очевидностью второго, высшего смысла. Любовь возводит предмет в ранг самого себя; потеря любви превращает предмет в образ боли, а пока любовь не настала, предмет существует лишь как знак своей голой сути. Додумавшись до этого смутного вывода, он стал проверять, действительно ли при Рене дерево было Деревом, забор — Забором, скамейка — Скамейкой, звезда — Звездой. Да, сейчас казалось, что это так. А как было на самом деле, он уже никогда не узнает, потому что в нем стала другая кровь. А если б Рена вернулась — сама, полная любви и всего прежнего, стало бы дерево вновь Деревом, забор — Забором, звезда — Звездой?..

Какой смысл гадать? Она не может вернуться такой, как прежде, в ней теперь тоже другая кровь. Она может вернуться лишь в унижении, а за унижение оплатит ему тем, что дерево не станет Деревом, забор — Забором, звезда — Звездой. Быть может, лишь на миг станет, в самый первый миг... Нет, его нельзя спасти ее возвращением...

Гай обратился к книгам. Прежде он читал очень много, но затем работа почти не оставила ему свободного времени. Читать же на ходу он не умел. В нем с детства воспитали уважение к книге, странному чуду, куда более загадочному и невероятному, чем все чудеса, порожденные формулой Эйнштейна.

В комнате Рены он обнаружил груду неразрезанных журналов и груду книг, прочитанных, судя по неопрятно загнутым страницам. Тут были и знакомые ему авторы, и новые имена, звучавшие так непривычно и странно, что трудно было поверить в их значительность. Он начал читать запойно, но бросал, как правило, на середине, ибо не находил утешения. Он убедился, что за последнее время все научи-

лись писать, плохой прозы почти не было, а совсем плохой — так и подавно. Средний уровень "низания слов" чрезвычайно вырос, все прозаики обладали если не фразой, то хотя бы интонацией, дающей иллюзию фразы, все обладали каким-нибудь фокусом, позволяющим отличаться от других пишущих, но читать стало нечего. Взволнованное, горькое, сладкое изображение жизни и человеческих страстей подменялось каким-то глумливо-обаятельным, введливым описательством, за которым пустота. Что ни попадает в поле зрения нынешнего писателя, будь то пепельница или цветок, описывается с микроскопической дотошностью и одуряющей скрупулезностью. И Марсель Пруст умел подробнее описать какой-нибудь боярышник или печенье, но он делал это не ради боярышника и печенья, ради героя-рассказчика, в котором происходило чудо рождения памяти. Пруст глубоко человечен, нынешний писатель бесчеловечен. Он угостит тебя боярышником, так сказать, в чистом виде, это будет не знак какой-то высшей жизни, а боярышник сам по себе, просто боярышник, черт бы его побрал! И ведь не можешь смириться с этим, все ищешь второй, главный смысл в бездушном мелькании материальных подробностей, все хочешь прижаться своей болью к мнимости образной значительности и находишь только пустоту. Холодную сверкающую пустоту...

Он бросил читать. Теперь его дни заполнились страхом смерти. Почему дни? Ночью страх смерти был сильнее. Особенно когда гасишь свет и притворяешься, что слипающиеся глаза, неверный жест руки, не сразу нащупывающий выключатель, зевота, сменяющаяся мерным дыханием, гарантируют тебе мгновенный глубокий сон. Но сон исчезал, едва в мозг проникало сознание непроглядной темноты. Ужас сжимал сердце, Гай вскакивал, садился на кровати и тихо-тихо стонал. Медленно прорезался контур окна, намечались бледные плоскости стекол, затем возникало то, что за окнами. Ужас отступал, начиналась печаль. Она не отпускала до рассвета, потом он засыпал, чаще всего сидя.

Прежде страх смерти был ему начисто чужд. Он так серьезно и глубоко жил, что у него не хватало душевного времени на боязнь смерти. Но это, кажется, общее правило: плохо живущие люди куда больше боятся смерти, чем люди, живущие полно, радостно, счастливо. Теперь уже у него была особая причина бояться скорого конца: надо было прожить так долго, чтобы сменилась кровь, обновились клетки, чтобы иным стал весь организм, весь психический аппарат, до конца изжилося все сегодняшнее, недоброе, тогда он сможет опять быть с Реной. Пусть они соединятся вновь совсем старыми, видит Бог, его мало волнует физическая близость. Но старики не живут долго, на то они и старики, и ужасно, что так короток будет их новый век. Ужасно ли? А если у них окажется всего один день, один-единственный день, но их, их, только их до самого конца, разве это не достаточно? Ведь за день можно сказать все слова, выплакать все слезы, надышаться властью близостью родного существа. А тогда, пожалуйста, забирайте в утиль мешок с костями. Все сбылось, жизнь состоялась.

Но тут в нем пробуждалась жадность. Ему мало было одного дня с Реной, мало года, десятилетия и вечности мало...

...Незаметно — когда человеку плохо, все происходит незаметно, — подошла осень, холодная, ветреная, с белой сухой крупой, обметывающей по утрам подножки домов. И огромное сооружение на Центральной площади, до поры прикрытое брезентом, было обметано крупой, сиротливое и какое-то жалкое в своей бессмысленной громоздкости. Открытие памятника "Благодетелю человечества" до сих пор не состоялось. Гай оттягивал торжественную церемонию под разными предложениями. Знакомым он шуточно говорил, что хочет отодвинуть тот счастливый миг, когда все столичные голуби, жирные, неповоротливые и нахальные, будут садиться ему на голову, громадную, как пивная бочка, из чистого золота, в бриллиантовом венке.

На самом деле ему тяжело было глядеть в глаза толпе: громадную площадь предстояло запрудить представителями всех народов, населяющих земной шар. Им владела злая дет-

ская обида на людей. Он понимал, что это глупо, негуманно, грешно, но ничего не мог с собой поделать. Он смотрел на людей, заполняющих улицы, штурмующих автобусы и троллейбусы, ныряющих в темные зевы метро и подземных переходов, толкающихся, ссорящихся, смеющихся, иногда беспечных и веселых, чаще озабоченных, сумрачных, усталых, и думал: неужели вся эта толпа, наделенная такой громадной энергией, не может мне помочь? Ведь нет человека, которому мое открытие было бы безразлично. Но хоть бы один побеспокоился обо мне. Если я даже заору во все горло: "Мне плохо! Люди, спасите!" — никто не сможет помочь. Беда не в отсутствии желания, а в невозможности оказать помощь. Твоя болезнь неизлечима, и нечего злиться на людей, они не виноваты перед тобой...

А затем произошло маленькое событие, не событие даже — просто было сказано несколько слов, вмиг исторгших его из злобной прострации, вернувших к жизни, нежности и слезам. А сказала-то нянька всего только:

— Отнес бы ей шубу, поди, холодно.

Боже мой, как это немудрено звучит: ей холодно!.. Ее тоненьким косточкам холодно, по ее желтоватой, гладкой, как у ребенка, тонкой коже рассыпаются пупырышки, у нее мерзнут колени и те самые нежные места под коленями. Она ежится и поднимает воротничок плаща, в котором ушла из дому, она защищает грудь и шею шарфом, но ей все равно холодно. Ветер продувает насквозь, снежная белая крупа сыплется за шиворот, студит ее, медленными тальми струйками бежит по спине. Она ушла, не подумав о том, что ей будет холодно, а может, она и сама не ждала, что разлука их затянется до холодов. Нет, она знала, что уходит совсем, но из деликатности не хотела обставлять свой уход грубо материальными предметами. Наверное, когда стало холодно, она подумала, что он вспомнит о ней и защитит от холода, но он в свинском своем эгоизме, в самовлюбленной возне с собственными страданиями и не шелохнулся. Старая, выжившая из ума нянька и та вспомнила о человеке, которому холодно.

И вот эта чушь, этот не Бог весть какой холод ранней осени снял с Рены покров нереальности, вернул в самое себя, она стала просто человеком, живым, ущербным, которому может быть и холодно, и знобко, и неприятно, который дрогнет на ветру, дует на замерзшие пальца, спешит в теплую комнату. Гай вдруг совсем иначе представил себе всю ее жизнь без него: ежедневные маленькие заботы, необходимость готовить еду, куда-то звонить, с кем-то видаться, утрясать свои дела. Она ему рисовалась в солнечно-мистическом озарении Беатриче, а у нее была обычная хлопотливая жизнь среднего человека, без особых удобств и поблажек. Она не нуждалась, ей было на что жить, но, конечно, о другой шубе нечего и думать. Он должен сделать так, чтобы ей стало тепло, не осложняя этого никакими объяснениями, просто передать ей шубу из легкого, мягкого, красивого меха и меховую шапочку и замшевые сапожки на меху. Вот и все.

И тут в нем произошла вспышка энергии, напоминавшая в миниатюре его прежнее сокрушительное движение к цели, — нечто вроде атомного взрыва в условиях физического кабинета начальной школы. Он с молниеносной быстротой, не дав никому ни единого козыря в руки, вызнал все обстоятельства жизни Рены, ее адрес, ее распорядок дня и даже то, что сегодня вечером она будет в ресторане "Континенталь".

Он думал отвезти вещи на другое утро, но к вечеру температура упала ниже нуля, и пошел настоящий, крупный, хлопчатый снег, непроглядно завесивший окна, и он понял, что нельзя откладывать, ей будет очень холодно, когда она выйдет из ресторана.

Быстро и ловко сложив и запаковав вещи — получился продолговатый, красивый сверток, он оделся, вызвал машину и поехал в "Континенталь".

Он не бывал в этом новом, недавно открывшемся кабаке у подножия телевизионной башни. Построенный сплошь из стекла, "Континенталь" напоминал гигантский аквариум. Сквозь полупрозрачные шторы пробивался молочный свет, и

по нему плавно перемещались зеленые, красные, бурые пятна, казалось, рыбы плавают в молоке. Кабак уже завоевал популярность, двери осаждала толпа. В основном молодые люди в вельветовых и замшевых куртках. Ресторан находился между кварталом искусств, где обитали художники, и университетом, видимо, больше тяготея к первому. "Хотя теперешних студентов не отличишь от художественной богемы", — подумал Гай. Хорош он здесь будет в вечернем костюме! Вход в ресторан загоразживала массивная фигура служителя в тужурке с золотым кантом и форменной фуражке, похожего скорее на вышибалу, нежели на добропорядочного швейцара. Тяжелая лобовая кость надвинулась на глаза и короткое переносье раздавленного носа. Бывший боксер, что ли? Пытавшихся проникнуть в ресторан он оставивал грубо: "Не видишь, полно?"

Гай тоже получил заряд хамства, но не отступил. Он назвал себя, свое имя и академическое звание, но бывший боксер, похоже, даже не понял, о чем идет речь. Тогда Гай совершил невероятный для себя поступок. Схватив парня за рукав тужурки — под сукном ощущались железные мускулы, — он закричал:

— Я же Гай, Гай, понимаете, Гай — Благодетель человечества!

Что-то похожее на презрительно-понимающую улыбку совершилось на плоском, как блин, лице с раздавленным носом.

— Накурился, папаша? Давай отсюда!..

Гай понуро отошел. И все же перед какими-то довольно невзрачными людьми вышибала без звука распахивал дверь. Гай думал, что он пропускает лишь тех, у кого заранее заказаны столики, но потом уловил произносимую, как пароль, всеми избранныками фразу:

— К Лайо-Майо!

Он понял, что это значит, когда, обшаривая глазами запретный вход, увидел афишу, извещавшую о гастролях южно-американского джазового трио Лайо-Майо. Видимо, Лайо-

Майо были новоявленными звездами, ибо Гай, приметливый ко всякому вздору жизни, никогда не слышал столь своеобразного звукосочетания: Лайо-Майо. На афише были изображены три парня в пестрых рубашках: саксофонист, ударник и контрабасист. Первый напоминал своей тощей, изогнутой фигурой вопросительный знак, его большие руки с длинными сильными пальцами казались руками душителя; второй, громадный, широкоскулый бородач, сжимал, как палицу, барабанное било; третий прятал лицо за декой контрабаса, оставив для обозрения жеманно потупленный глаз с ресницей в полщеки. Их ампула читалось просто: шизофреник, богатырь и девка. Но дело не в этом.

Гай отошел за угол, вывернул пальто ворсистой подстежкой наружу, поднял и наглухо застегнул воротник, чтобы скрыть крахмал и галстук, нахлобучил меховую шапку на нос и со свертком в вытянутой вперед руке устремился к дверям.

— К Лайо-Майо! — крикнул он, изменив зачем-то голос, и сунул сверток под нос вышибале.

Тот даже не взглянул на него: название великого трио действовало с безотказностью "Сезам, откройся!".

Внутри ресторан уже ничем не напоминал аквариума. Тут царил современная жесткость и определенность форм, воплощенных в металле и камне, грубая людская толчея, запах косметики, папиросного дыма и каких-то растений; где-то вдалеке контрабасист настраивал инструмент, тяжелый, одинокий вздох толстой струны жалобно падал в ровный, как будто искусственный шум ресторана. Главное еще не началось — музыкальный ящик несравненных Лайо-Майо молчал.

Тут было полное смешение стилей. Преобладали вельветовые куртки художников и небрежная студенческая одежда, было немало поддельных хиппи: с промытой диоровским мылом волосней, в аккуратно рваных, приобретенных в специальном магазине джинсах и дорогой нечищенной обуви. Но попадались и хорошо одетые люди: женщины в облегающих длинных платьях с голыми руками, мужчины в вечерних костюмах. Гаю нечего было стесняться своего парадного вида.

И в какой-то момент он почувствовал, что каждодневный, стандартный, автоматический праздник ресторана начинает проникать в душу и растворяться там забытой легкостью. Черт возьми, жизнь прекрасна во всем: в дешевой музыке, в ледяных напитках, в чуть томном и густом тепле кондиционированного воздуха, в толстом бифштексе на красных углях, так быстро покрывающихся голубоватым легким пеплом, во всех подробностях этого шуточного бытия, подводящего его к тому, другому, вовсе не шуточному, когда, ощущая острый локоть сквозь тонкий мех шубы, он поведет Рену к большой застекленной двери, глядящей в ночь снежного города.

Его радостное возбуждение погасло, едва возникнув. В окружающем не было никакой праздничности, даже той мелкой, поверхностной, что несет в себе любое досужее чело-вечье сборище. Разношерстная толпа была едина лишь в одном — в неконтактности. Казалось, все эти люди, даже те, что пришли вдвоем, не находятся в общении друг с другом. Они будто сами не ведали, как оказались вместе, но и не делали попыток разобраться в этом. И все вокруг было им безразлично, никакого растворения — каждый оставался в своей скорлупе.

И тут он увидел Рену в неправдоподобной близости: она сидела за крайним столиком главного зала, вполоборота к нему, в компании незнакомой пепельноволосяй женщины и двух незнакомых молодых людей.

Она курила, по обыкновению с силой выдыхая дым. Дым шел из ее ноздрей двумя голубыми столбами, а пепел падал на рукав, на скатерть, на край тарелки — всюду, кроме пепельницы, хотя она считала своим долгом щелкнуть пальцем по сигарете в направлении пепельницы. Все это было знакомо, до головокращения знакомо Гаю. Так же как и манера не слышать и не слушать собеседника. Один из молодых людей что-то рассказывал, но глаза Рены были устремлены в свою даль, и по жалко-раненному взгляду рассказчика чувствовалось, что ее невнимание причиняет ему боль. Гай испытывал симпатию, почти любовь к этому молодому человеку, заменившему его возле

Рены, но не сумевшему заставить слушать себя. А разве он сумел подчинить ее внимание? Нет, все же вначале она слушала его и слышала, потом только слушала, ничего не слыша. А сейчас она даже не делала вида, будто слушает. Лицо ее казалось усталым и чуть постаревшим, кожа подсушилась, потемнела и натянулась на скулах и вокруг рта. Ее короткие жесткие ресницы не были намазаны, голова просто и гладко причесана. Обычно она размалевывала глаза чем-то черным и синим, заводя их уголки к самым ушам, и делала пушистый начес, тратя на возню с отвратительными железными трубочками-бигуди целые сутки. Хорошо или плохо это новое в ней равнодушие к своей внешности? Быть может, она наконец-то по-настоящему начала работать, и отшелушилась бытовая чепуха, заполнявшая прежде пустоту дня? Или же тут сказывается влияние молодого человека с ранеными глазами, любящего естественность?

Рена в последний раз испачкала пеплом скатерть и, ткнув окурком в пепельницу, погасила его. При этом ее рассеянный взгляд скользнул вокруг и на миг скрестился с взглядом Гая. Тот побледнел, улыбнулся задрожавшим ртом и поднял руку. Но лицо Рены оставалось бесстрастным, а взгляд скользнул дальше, вернулся к собеседникам. Она не заметила Гая. Вернее, она была настолько далека от мыслей о нем, что в краткости видения просто не узнала своего бывшего мужа, его жест и улыбка не вызвали в ней мгновенного вздрога памяти. С Гаем не могло бы случиться такого, он узнавал Рену в каждой женщине, потому что постоянно был настроен на встречу с ней.

Гая до последней глубины пронизало ощущение своей отчужденности, полной и окончательной выключенности из жизни Рены. Она вовсе не шла параллельно с ним в тоске, муках и сожалении о содеянном. Она и думать-то о нем забыла!

У него вспотел лоб. С чего он взял, что Рена тоже глубоко переживает их разрыв, ищет внутри себя путь к возвращению, что случившееся между ними что-то значит в ее душевной жизни? Да появись он сейчас, ничего, кроме неловкости и досады, она не испытала бы. Он придумал ее себе, а сидящая перед ним женщина никакого отношения к этому не

имела, пожалуй, лишь некоторое внешнее сходство, да и то не слишком большое.

Молодой человек закончил свой рассказ и жалко улыбнулся. За столиком никак не отозвались, будто он и рта не открывал. И тут заговорила Рена. Она умела рассказывать смешно, порой зло, порой с какой-то воинствующей добротой, но всегда с солью и перцем. Сейчас на лице не было и следа оживления. Она говорила словно в пустоту, губы ее двигались машинально, сами собой, а мысли витали далеко. Ее слушал лишь молодой человек с жалкими ранеными глазами, двое других сидели с тем же безучастным, отсутствующим видом. Она ни в ком не нуждалась.

Гай понял, что отняло у него Рену, отняло давным-давно, безнадежно, навсегда: то, что пронизывало атмосферу этого караван-сарая сильнее запаха табака, парфюмерии и тепличных растений, то, что тусклым налетом покрывало все лица, лишало глаза блеска, а улыбку радости. Полное отчуждение, так это называется; холодная бесчеловечность миропорядка, где все продается и покупается, где властвует равнодушие, страшное, как смерть.

И если быть до конца серьезным, то Рену нечего винить. Та же сила, что лишила Гомбурга работы, жизненной цели, даже имени, что заграбастала его, Гая, открытие, отняла у него и Рену. Не к чему копать во всем этом, проследживать сложные связи; достаточно знать, что Рена — частица и жертва этой действительности. Прежде он тешил себя мыслью, что, благостно защищенный своими занятиями, он живет в социальном вакууме. Чепуха! Никто и ничто не может спасти от плотоядных вставных челюстей. И его сжевали со всеми потрохами.

Он подозвал метрдотеля с крахмальной грудью.

— Будьте добры, передайте сверток вон той даме.

Метрдотель склонился, показав белую нить пробора.

— Простите, если дама спросит, от кого?..

— Скажите: от Лайо-Майо. — И Гай пошел к выходу.

Он вышел на улицу, вдохнул ее талый, пустой воздух и понял, что все кончилось. Потеплело, снегопад прекратился,

и снег протаивал до черноты под колесами автомобилей и ногами прохожих.

Гай был выпотрошен начисто. Все больные ткани были благополучно удалены, но оказалось, что площадь поражения слишком велика. С тем, что в нем осталось, жить все равно нельзя. Рена отняла у него прошлое, последнее, за что он цеплялся. Теперь он знал: не только ничего уже не будет, но и ничего не было. Они существовали в разной системе координат, в разных измерениях, даже в разном времени. Они не могли встретиться, потому что и раньше не встретились. Иллюзорность прошлого он ощущал на языке привкусом меди. Гай плюнул и прожег в снегу черную дырку. Вот что осталось от всей прожитой жизни — привкус меди во рту.

У него был старенький револьвер, хранимый со времен войны. Этот револьвер подарил ему друг детства, военный корреспондент, случайно оказавшийся в их полевом госпитале. Он стер ногу в кровь и зашел попросить пластырь. Они вспомнили школьные годы, товарищей, живых и погибших, и друг подарил ему старый, невесть где подобранный, отроду не чищенный револьвер. Друг не вернулся с войны, его убило шальным осколком, и Гай сохранил револьвер в память о нем. Сейчас он нашел его в недрах письменного стола — тяжелый, черный, примитивный и старомодный, как дуэльные пистолеты начала прошлого века. Даже не верилось, что из него можно выстрелить.

В барабане имелся один-единственный патрон. Гай повернул барабан, взвел курок, приставил ствол к груди и нажал на спусковой крючок. Курок шелкнул, и Гай инстинктивно скорчился, но выстрела не последовало. Осечка?.. Гай несколько секунд сидел неподвижно. Неудачный выстрел ничего не изменил в нем. Он снова извлек барабан и понял, в чем ошибка. При взводе курка барабан проворачивался, а он этого не учел, вкладывая патрон. Теперь он сделал все как положено. Он заметил деловитость своих движений, но это его не удивило. Прежде он не мог постигнуть акта добровольного отказа от жизни и не жалел самоубийцу, считая их

ничтожествами. Сейчас он знал, что самоубийцу нечего жалеть, но по другой причине. Самоубийство — это способ скорее завершить ставшую совершенно ненужной жизнь. Надо радоваться за человека, преодолевшего слепой инстинкт, страх физической боли и некий рудиментарный нравственный запрет, вместо того чтобы гнить заживо...

...Гай не оставил записки, и официально считалось, что выстрел произошел случайно, когда он чистил свой револьвер — лелейно хранимую патриотическую реликвию. Конечно, никто в это не поверил. Большинство думало, что он покончил с собой в результате чудовищного нервного и умственного переутомления. Лишь очень немногие, лучше осведомленные, поставили в связь его уход из жизни с уходом жены...

Однажды академик Мор, директор "Всемирного ракового института Гая", встретился на международном конгрессе с Паулем Гомбургом. Разговор, естественно, коснулся Гая, и Мор резко отозвался о покойном:

— По-моему, он был незначительной личностью, если мог покончить с собой из-за какой-то дряни.

— Простите, но вы говорите о его жене! — кротко возмутился Гомбург.

— Какая разница?

— Простите еще раз, коллега, разница громадная. Если бы моя жена... меня бросила... — Верхняя губа Гомбурга с вислыми усами по-заячьи задергалась, и жалобные глаза наполнились слезами. — Я тоже бы... тоже... — Он всхлипнул и, достав большой клетчатый платок, трубно высморкался, промокнув глаза.

Сложив и спрятав платок, он сказал с убийственной доверительностью:

— Знаете, коллега, я вдруг понял, почему вы и все вам подобные никогда не откроете ничего путного. Именно потому, что вы не способны покончить самоубийством, если вас оставляет жена.

# ГДЕ-ТО ВОЗЛЕ КОНСЕРВАТОРИИ

В первый раз Петров поехал туда на машине "ГАЗ-69". На этом воинском вездеходе разрешается только проезжать через Москву, а не ездить по городу. Петров так всегда и делал, пользуясь машиной для рыбалки, охоты, загородных вылазок, путешествий по стране, в Москве же довольствовался общественным транспортом.

Милиционеры с поразительной чуткостью угадывали — держишь ли ты путь к далекой загородной цели или нахально раскатываешь на "козле" по столице. В последнем случае полосатый жезл решительно преграждал путь. И Петров, не выносивший наставлений и выговоров, почти никогда не нарушал правила. Так какого же черта погнал он "козла" в забытый переулочек на задах консерватории? Он задавал себе этот вопрос, когда, попетляв по Кисловским и соседним переулочкам, засыпался-таки при выезде на улицу Герцена. И хотя он поторопился заверить пожилого орудовца, что сам все знает, что его подвел не явившийся на условленное место друг-рыболов, ему пришлось показывать зачем-то права и технический талон, выслушивать долгие назидания, словно был он не почтенным доктором наук, а нашкодившим уличным мальчишкой.

Так чего же он добивался, когда вывел из холодного железного гаража своего застоявшегося, настывшего "козла" и, с трудом раскочегарив, отправился искать забытый дом в забытом переулочке? Несложный анализ объяснял все: он хотел нарваться на досадную неприятность и тем отбить у себя охоту к дальнейшим путешествиям в прошлое. Петров не помнил адреса, но, явись он сюда пешеходом, с присущей

ему добросовестностью стал бы расспрашивать прохожих, смущаясь их холодных, недоумевающих, а то и раздраженных лиц, злясь на себя, проклиная свою привычку во всем доходить до нуля и все более заходясь от бесплодных поисков, превращая малую неудачу в душевную муку, становясь всерьез несчастным, безнадежно и душно несчастным, каким он никогда не бывал до прихода старости. На машине же все сводилось к короткому витку вокруг неузнанного места.

Он признал себя старым, когда ему исполнилось пятьдесят лет, не потому, что вдруг ощутил груз прожитого, — он чувствовал себя физически лучше, чем пять-шесть лет назад, — а потому, что верил в магический смысл рубежей — в семилетний цикл развития человеческого организма, в юбилейные даты, в круглые цифры. На исходе пятого десятка он ходил гоголем, был полон победительной энергии, в пятьдесят покорно расслабил мышцы и тот не имеющий названия сцеп, который держит личность в сборе. Про себя он определял это так: перестал бороться, вышел из игры, хотя он и раньше ни с кем не боролся и не участвовал ни в какой игре. Он просто и счастливо жил в своей профессии и в своих привычках.

Рано защитив докторскую диссертацию по археологии, Петров понял, что никакой он не исследователь — ему скучно раскапывать курганы, выискивая черепки разбитых кувшинов и другие жалостные следы давно минувшей жизни. То, о чем так сладостно было читать в детстве и отрочестве и чем так увлекательно было заниматься в дни коротких студенческих практик, оказалось в качестве единственного дела невыносимо нудным, изнурительным и вовсе не спортивным. Главное для археолога, если нет случайной и ошеломляющей удачи, — это маниакальная терпеливость, какой Петров вовсе не обладал. И он стал писать о тех, кто обладал не присущим ему качеством, а также о великих счастливицах вроде Шлимана — пусть тот открыл вовсе не Трою — или Картера, нашедшего гробницу Тутанхамона. Петров ездил в

Луксор, в Долину царей, спускался по крутым ступенькам в прохладную тень гробницы, слушал увлекательно-лживые рассказы поджарых проводников и наслаждался потрясением Картера, вдруг узревшего сказочные богатства мальчика-фараона, ныне наполняющие громадный музей в Каире.

Он радостно, живо, иные критики писали даже — "вдохновенно", рассказал об этом в книге. А потом прошел по следам Шлимана и написал другую книгу, не уступающую первой. С тех пор у него вышел десяток книг, имевших успех у читателей, их много раз переиздавали, переводили на иностранные языки. Эти книги писались из глубины науки, хотя и человеком слишком ленивым, чтобы самому сделать значительное открытие. Но если всерьез — дело не в лени, просто у него не было таланта исследователя, а был талант популяризатора. Ученые-археологи пренебрежительно называли его книги "беллетристикой", "чтивом". Он не понимал, что тут плохого, — ведь это означало доступность, занимательность, а такие книги для того и пишутся, чтобы привлечь к науке далеких от нее людей, в первую очередь молодых. Впрочем, мнение бывших коллег мало его трогало, поскольку ученым их ранга он и сам мог быть, да не захотел. А те немногие богатыри, которые действительно двигали вперед науку, его книг не читали. Да они и вообще ничего не читали, кроме Семенова, Агаты Кристи и появившейся в недавнее время у французов серии "Сент-Антонио". Богатыри науки обычно владели хотя бы одним иностранным языком и не испытывали недостатка в подобной литературе.

Писать новую книгу всегда было для Петрова радостью, так же как и охотиться, рыбачить, путешествовать по старым русским городам, где пахнет историей и серьезным, не с ветру, бытом наших предков. А еще были романы — нечестные, но были, а вот семьи, можно сказать, не было. Лет пять назад они с женой молча предоставили друг другу полную свободу, оставаясь под одной крышей и за общим столом. Им надоело притворяться, будто нужны один другому. Они с самого начала строили храм совместной жизни не на люб-

ви, а на трезвом житейском расчете — надо же человеку иметь семью. Они нравились друг другу, у них все хорошо получалось вдвоем, и они с энтузиазмом создали сына, выросшего в угрюмого, сосредоточенного в себе юношу, которому от родителей нужно было лишь одно: чтобы его оставили в покое. Была еще дочка, вступившая в самый неприятный для отца возраст, когда к неприкосновенному — и дышать-то на него боишься, — чистому, нежному, насквозь домашнему существу потянулись жадные, бесцеремонные руки волосатых, громких юнцов в срамно обтяжных джинсах, подчеркивающих кривизну ног и костистость зада. Сознанием Петров понимал естественность и неотвратимость происходящего и то, что оскорбляющие его одним своим видом молодые люди — неплохие ребята, которые будут строить завтрашний день науки, инженерии, искусства, литературы. Но не мог он ничего поделать с собой — дочь стала ему чужда и неприятна и сама теперь избегала его, сблизившись, как никогда прежде, с матерью. Ну и ладно! Оказалось, что последние годы его отношения с женой держались не на душевной близости, не на постели, не на силе привычки, а только на детях. Птенцы вылетели из гнезда, пусть не в буквальном смысле, и опустевшая сорная ямка потеряла всякую привлекательность. Без мучительных и бесплодных объяснений они дали друг другу вольную. И — по чести — не злоупотребляли обретенной свободой. Порой Петров начинал сомневаться, есть ли у жены кто-то вне дома. Если и есть — она же не старуха и не святоша, — то человек этот в совершенстве владел эффектом отсутствия, был невидим, неслышим, неосязуем ни в какое время суток, ни в какое время года. Но, возможно, это объяснялось тем, что наблюдательность Петрова спала.

При всем том для знакомых они оставались семьей чуть ли не образцовой. У них был открытый, хлебосольный дом и та легкая атмосфера, какая встречается разве что в пансионатах, но не в семейном быту: у хозяев — неизменная приветливость лиц, а в ясных глазах не истаивает только что сотрясавшая стены квартиры ссора или сцена ревности.

Про себя же Петров называл свой домашний образ жизни — первобытным: он добывал пищу, она поддерживала огонь в очаге. Так спокойно и неудержимо катились они в старость...

Петров был из тех людей, которые не порывают со своим началом, для него прошлое было так же существенно и несомненно, как настоящее, и душевная жизнь неотделима от памяти, что не мешало ему с иронией относиться к писателям, превозносящим детские годы над всем последующим временем, словно взрослая жизнь — непомерно разросшаяся ботва на сладком клубне детства. И когда раз в году он приходил на традиционную встречу школьных друзей, их постаревшие, увядшие лица радовали его не тем, что будили память о школе в старинном, с колоннами и лепниной, барском доме, построенном чуть ли не Растрелли, о величественно-грустных Покровских казармах, о Яузе в крапивно-репейных берегах и дребезжавшей одновагонной "Аннушке", а чувством покоя и безопасности — тут можно было не бояться удара в спину, расслабиться, как спящая кошка. Конечно, и Покровские казармы, и Яуза, и школа в пронзительно голубой с белым хоромине, и шаткий трамвайный вагончик, без устали колышущий Москву, имели прямое отношение к этому чувству, все так, но совершенно необязательно непрерывно аукаться с духами былого, — пожилые мальчишки и девочки с Покровских ворот были хороши в своем нынешнем образе, все прочее оставалось в подтексте. Наверное, поэтому они никогда не говорили о школьных делишках, и пресловутое: "А помнишь?" — якобы неперенный, трогательный выкрик всех ветеранов войны, школы или двора — здесь почти не звучало.

Но вдруг прошлое нанесло Петрову удар под ложечку. Оно всплыло в нем морозным февралем 1943 года, переулком где-то возле консерватории, странным, печальным, светлым вечером, когда чуть скособоченный убылью месяц висел меж темных аэростатов, демаскирую своим хрустальным светом засиненную маскировочными огнями Москву. Это

была самая плохая пора в жизни Петрова, хуже фронта и госпиталя, хуже непереносимых ночей над постелью мечущегося в пунцовом жару ребенка. И он по мере сил старался не вспоминать о том времени, а если и вспоминал, то под успокоительную мелодию: все проходит, все проходит.

Так ли на самом деле? Все ли проходит, а и проходит ли что-нибудь? Даже физическая боль не минует бесследно. Иначе он не мог бы в свои пятьдесят так ненавидеть большой серый дом на улице Чернышевского, где в глубине темного, прокопченного двора жил зубной врач, у которого он единственный раз в жизни — семилетним — лечил зубы. Бормашина, вмиг приготовившая гнездо для пломбы в мягком молочном клычке, навсегда населила для него невыносимым ужасом этот ничем не примечательный уголок Москвы. А можно ли поверить, что бесследно проходит боль, навинтившая на свой бур всю душу под одуряющее зудение фальшивоуклончивых слов? Да и вообще ничего не забывается, не проходит бесследно. Какие-то клетки умирают в тебе, их уже не восстановить, ты носишь в себе эти мертвые клетки, и они мешают живым своей исключенностью из единой игры организма, нарушают его режим.

Но он жил с этими воспоминаниями, и последние годы даже не очень тяготился ими. И вдруг оказалось, что в невысокого пошиба муке, — а он понимал, хоть и лопух был, что его серьезная грустная роль обесценивалась дешевизной спектакля, в котором его заставили играть, — сверкнуло золотое зернышко, такое крошечное, невесомое, скромное, что он совсем забыл о нем на десятилетия, такое прочное, живучее и яркое, что свет его пробился в сумрак надвигающейся старости.

До той давней встречи в переулке возле консерватории он без малого год пролежал в госпитале, где ему укоротили разможенные пальцы на левой ноге, перед тем чуть не целый день провел на фронте, а до этого из него семь месяцев готовили командира взвода в пехотном училище, даром ухлопав средства и время на незадачливого младшего лейте-

нанта, умудрившегося попасть в инвалиды, ровным счетом ничем не оплатив за учение.

Надо сказать, задолго до того, как Матросов совершил свой смертный подвиг, неясный образ амбразуры, заткнутой человеческим телом ради победы, томил воображение Петрова. Для того-то и пошел он добровольцем на фронт, бросив на третьем курсе институт и женщину, которую любил больше всего на свете. Знал бы он, целуя на прощание любимую, ставшую под разлуку его женой, что героический порыв обернется бездарной неудачей! Но на войне все так же не просто, как и в мирной жизни. Ведь только когда втыкаешь флажки в карту, с усилием разгадывая ребусы Информбюро, создается иллюзия ясности: вот это фронт, а это тыл, здесь неприятель, здесь наши, здесь война, а здесь войны нет. На деле все куда сложнее. Прежде всего, добровольца Петрова война на целых семь месяцев увела в сонный волжский городок, где в старинных промозглых кирпичных казармах разместилось пехотное училище. Он отнюдь не стремился к офицерской карьере, он хотел на фронт, в бой, но ему холодно и твердо объяснили: государство не для того учило его в десятилетке, а потом еще два года в институте, чтоб посылать рядовым. Избыток образования встал между ним и подвигом. Кстати, не первый раз. Еще в июле он ушел на фронт с ополчением московских студентов. Они дошли до Вязьмы, сбив в кровь ноги в непомерных горных ботинках, которыми их экипировали, страдая животом от жидкой баланды и тяжелого горохового концентрата, — "кишечным маршем" назвал этот поход молодой, смешливый декан их факультета.

Под Вязьмой их неожиданно настиг приказ — студентов вернуть для окончания учебы. Так и поплелись они вспять без выстрела, если не считать саморазрядившейся в руках одного из ополченцев учебной винтовки. Пуля поразила бедро — на военном языке зад называется бедром — веселого декана. Тогда Петров избрал самый простой, как ему казалось, путь: пошел в райвоенкомат. Его не взяли. В действие вступил приказ — студентам доучиваться, и с поразительной

быстротой им вклеили в воинские билеты листки отсрочек. В конце концов сработала его настойчивость, подкрепленная убью среднего командного состава. Ему сказали: пойдешь в школу лейтенантов — возьмем. Он согласился и уехал на Волгу, где изнурительная учеба чередовалась у будущих командиров с любовью к ласковым волжанкам, наскучившим одиночеством. Впрочем, Петров только грыз гранит военной науки, а время, остававшееся для любви, тратил на длинные письма жене.

В марте следующего года весь выпуск отправили на фронт. Лейтенантская учеба не поколебала наивных представлений Петрова о четкой, как на карте, линии фронта, разломившей пространство на войну и мир. Бесконечно долго добирались они до войны, сперва поездом, потом на грузовиках. Они миновали Москву и плацдармы осенне-зимних боев, миновали освобожденные города, оставили позади Новгород, просверкнувший в белесых лучах тусклой позолотой облупившихся крестов, и увидели тяжелое орудие и горстку бойцов возле него. Орудие изредка, но оглушительно стреляло, держа ствол, и Петров решил, что это и есть война. Но орудие осталось позади, и опять пошли вполне мирные снежные поля, полуразрушенные, а то и нетронутые деревни, в них бабы, старики, ребятишки. Стелились под колеса изжеванные дороги, и обочь стлы трупы лошадей. И была большая, людная деревня, где слышалась гармонь, моталось множество всякого военного и гражданского населения, мелькали, зажав армейский ватник у горла, смазливые девчата-связистки, лихо тормозили у крылечек "виллисы", гремели разбитыми бортами грузовики, и вся эта озабоченная, шумная, густая жизнь, завертевшая командиров, бойцов, крестьян и милостивых девушек, называлась вторым эшеленом армии.

Их старшой куда-то отлучился, и Петров так намерзся в своей шинелишке — ему не успели выдать зимнего обмундирования, а день был люто ветреный и морозный, — так устал и расклеился от тряски, что уже не пытался разобраться в окружающем. Ему хотелось одного: скорее добраться до

той войны, где не лихачат на "виллисах", не играют на гармошках, не пялят глаз на тугие икры связисток, а сражаются с неприятелем.

И они опять ехали то быстрее, то медленней, и снова обочь дороги валялись трупы лошадей, искромсанные ножами по ребрам и груди, и розвальни полозьями вверх. Навстречу им задышливо ползли газогенераторные машины с топками по обе стороны кабины, похожими на бачки-титаны. Теперь все чаще попадались разбитые орудия, мертвые танки и танкетки, штабеля минных ящиков, — много добра раскидала по дорогам война, а сама все отступала и отступала в глубину сухо-морозного простора. И была новая деревня, и новая долгая отлучка старшого, вернувшегося с буханками теплого хлеба, твердой, как камень, кровяной колбасой и чекушками холодеющего спирта. Здесь находился штаб дивизии, и кто-то из ребят сошел, остальные же поехали дальше, через посеченный снарядами, уродливый лес-инвалид, и дорога стала еще ухабистой, перепаханная снарядами, минами, гусеницами танков и тягачей. Они обгоняли крестьянские розвальни с пожилыми бойцами-ездовыми, и тогда пахло совсем не войной, а деревней — лошадьё, соломой, сеном. И на каком-то печальном обнажении земли, напоминавшем татарское кладбище с торчащими в разные стороны каменюками (то были остатки напрочь уничтоженного поселка), они вылезли из грузовика и пустились догонять войну пешим ходом.

От усталости, неразбавленного спирта, туго сковавшего мозг, и теплого хлеба, тяжело легшего на желудок, Петров впал в какое-то мутное полубытьё. Смутно запомнился лишь сосняк, накаты блиндажей и командир в байковой рубашке и брюках с хвостами спущенных помочей, растирающий красную шею снегом. Кажется, этот командир и забрал оставшихся ребят, лишь Петров со старшим потащились дальше.

Полянка за полянкой, и лес, то густой, чистый, сохранившийся до последней ветки, то опять обглоданный снарядами

калека. Из березового погорелья они вышли на край долины, пересеченный заснеженной рекой, низкие берега были помечены лозинами и сухим быльем. За рекой слева темнел лесок, весь остальной простор являл притуманную пустоту, где не могло укрыться никакой войны. Тяжелевшим мозгом Петров решил, что они каким-то образом пронизали войну насквозь и вышли туда, где войны снова не было. А старшой вопреки очевидности говорит о каком-то бое, находящемся в самом разгаре, и называет наблюдательным пунктом блиндаж с окопчиком. И с устало-грустным чувством Петров подумал, что они все еще не добрались до настоящей войны. Даже голоса ее не было слышно, но, возможно, это объяснялось тем, что они вышли к войне с подветра.

Старшой отвел Петрова в полутемный блиндаж, где былолюдно и так накурено, что заслезились глаза, и сам исчез. Петров подождал его, подождал и, оглушенный криками связных, ослепленный дымом, выбрался наружу. В окопчике старшого не оказалось, видимо, он пошел отыскивать свою войну. Петров не то чтобы огорчился, но почувствовал себя еще более одиноким, хотя со старшим его не связывали ни дружба, ни приятельство. Тут в окопчик из блиндажа вышли двое — майор в романовском полушубке и старший политрук в солдатской шинели.

— Ты комсомолец? — спросил старший политрук Петрова.

— Да! Конечно.

— Будешь комсоргом полка. Временно, только на этот бой.

— Светлякова-то, вишь, убило, — пояснил майор, как стало ясно, командир полка.

— Старший политрук колюче глянул на Петрова.

— Справишься?

— Нет, — ответил чистосердечно Петров, понятия не имевший об обязанностях комсорга полка.

— Во дает! — рассеянно восхитился командир полка и скрылся в блиндаже.

— А что я должен делать? — пробормотал Петров.

— Прежде всего личный пример... — строго начал старший политрук, но что-то непредвиденное случилось на этой скрытой от непосвященных войне, потому что, не договорив, он опрометью кинулся в блиндаж.

Но и сказанное им подбодрило Петрова. Он пытался стряхнуть с себя одурение, собраться для дела. Он тер себя по каменному животу и глотал слюну, чтоб изгнать жжение из пищевода, когда снова показался майор.

— Правдухин! — заорал он в никуда. — Опять пропал!.. Комсорг!.. — продолжал он на крике, хотя Петров находился в двух шагах. — Отнеси второму! — И сунул Петрову какую-то бумажку.

— Какому второму? — не понял Петров.

— Комбату-два Солончакову.

— А где сейчас товарищ Солончаков? — вежливо спросил Петров.

— В бою... Где же ему быть? — И командир полка снова скрылся.

По счастью, в окопе возник старшина с громадным термосом в руках.

— Где второй батальон? — обратился к нему Петров.

— Тама! — не задерживаясь, махнул на лесок старшина.

И Петров отправился в этот лесок через заснеженное, перепаханное снарядами поле, через реку, вдруг оскользавшую под ногой едва припорошенным ледком, и странное чувство опасности давило ему на плечи, холодило лоб, понуждало сжимать тело в комочек. Его наспех учили воевать, он не был готов даже к такому чепуховому испытанию, как держать себя в пространстве между НП полка и НП батальона, ведущего бой. Он умел шагать строевым, походным и торжественным шагом, мог построить взвод, занять оборону, решить несколько простых задач по тактике, но не знал, как ориентироваться на местности, распознавать вражеский огонь. У него было детское представление о переднем крае как о рубеже: здесь — наши, а там — противник. Но его тело чуяло

невнятную опасность и само оберегало себя. Он не добрался еще до леска, а уже знал, что поле простреливается, воздух весь перечеркнут тихо поющими струнами. То ли противник вел прицельный огонь по нему, то ли, что вернее, держал в напряжении наш НП и коммуникации. Он пригибался, прядал за сугробы, передвигался бросками, почти так, как это делал бы бывалый солдат.

Он добрался до леска, где ему показали блиндаж Солончакова, озабоченного и сердитого капитана, коротко спросившего: "Кто такой?" — "Комсорг полка!" — браво доложил Петров. "Ты вроде другим был", — заметил Солончаков, пробежал послание, скомкал в кулаке и яростно набросился на пожилого человека в грязнейшем маскхалате — даже непонятно было, как сумел он так измараться в окружающей белизне. В отборной брани несколько раз прозвучало слово "связь". Петрову неприятно было, что из-за него нагорело почтенному человеку в грязной холстине, но еще больше огорчило, что войны и здесь не оказалось. Он хотел сосредоточиться, разобраться в происходящем и найти в нем свое место, не случайное, а твердо задуманное, раз и навсегда выбранное — в направлении амбразуры, но это было куда как не просто. Прежде всего надо раздобыть карту, соображал он, и тут услышал "Комсорг! Куда девался? На, отнеси Шишкину!"

Петров отправился в указанном направлении и вскоре почти попал в войну. Немцы накрыли лесок артиллерийским огнем. Петров лежал под громадным полувывороченным из земли сосновым пнем, а вокруг вздымались и рушились грязевые фонтаны, трещали сучья; валялись со стоном деревья, и, пролежав минут десять, Петров решил, что это никогда не кончится и надо выполнять поручение. Он встал и, пригнувшись зачем-то, затрусил вперед, оступаясь, падая, натываясь на стволы, подгоняемый охлестами земли и снега. Но когда артобстрел кончился, он понял, что и это еще не война, ведь и тылы обстреливают, а война — это прямое ощущение противника, который вот он — перед тобой, и ты прорываешься сквозь все преграды, чтобы сломать ему горло.

Но когда он оказался лицом к лицу с войной, то совсем забыл о том, что надо делать. Это случилось ближе к вечеру. Его так упорно гоняли взад и вперед, что он уже начал немного разбираться в местности, угадывать звук летящей мины, слышать автоматные и пулеметные пули, бултыхание тяжелого снаряда, ничем не грозящее, — этот груз следовал в дальний рейс. Еще немного — и он разобрался бы в происходящем и сбросил крылатые сандали Гермеса, доставшиеся ему явно по наследству от погибшего комсорга. Петрову вовсе не улыбалась роль сверхштатного связного, и он решил объясниться с комиссаром полка начистоту. Коль назначили комсоргом, так уж дайте им стать, только скажите, что надо сделать: выпустить боевой листок, произнести речь, принять кого-нибудь в комсомол. Он был готов на все! лишь бы пробраться на линию огня, а там он покажет силу личного примера. Решение было принято, и на душе полегчало. А физически он по-прежнему чувствовал себя худо: хлеб огромным, плотным комом отягощал желудок, изжога серной кислотой травила слизистую оболочку пищевода. Плевать! Главное — до настоящей войны добраться. Меж тем война уже несколько мгновений смотрела на него впритык голубыми, расширенными от ужаса глазами немецкого солдата.

Петров полз вперед под чирикающими минами и чуть не наскочил лоб в лоб на молоденького, лет девятнадцати, немчика, наверное, такого же лопуха, как и сам, тоже куда-то и зачем-то посланного и залегшего под минами в чужом лесу, тоже не знавшего местности и не натренированного на опасность, на встречу с противником, и, возможно, вовсе не труса, но обалдевшего до паралича от неожиданной встречи. Все это Петров осмыслил после; тогда же, увидев перед собой бледное востроносое юношеское лицо под лобастой каской, он тоже остолбенел — не от страха, от какого-то совсем иного, сложного чувства: тут были и гадливость, острая телесная гадливость к чужой, враждебной, омерзительной субстанции, и почти слезная обида, что немец забрался так далеко, где ему быть вовсе не положено, и смутное отвращение к

тому, чем может обернуться их встреча. Но разбираться в своих ощущениях он стал позже, и уже трудно было решить, что пережито на самом деле, а что додумалось после. Тогда же двое мальчишек, столкнувшись в иссеченном минами лесу, не спуская друг с друга вытаращенных глаз, быстро-быстро заработали локтями и коленями и расползлись, как раки, задом, врозь. Петров остановился, лишь уткнувшись пятками в развилке сросшихся корнями сосен. Тогда он встал, уперся грудью о низкий, пружинистый сук, и его вырвало — всем теплым ржаным хлебом, кровяной колбасой, спиртом, голубоглазым немцем и самим собой. После этого ему стало чуть легче.

Ну а что должен был он сделать? Убить этого хлипкого мальчишку, в каске, похожей на ночной горшок? Была какая-то неправда в столь естественном на войне поступке. Он был готов убивать немецких солдат, а не конкретного немца, в чьи глаза успел заглянуть, особенно такого молодого, остроносого и растерянного. Наверное, потом он сможет убить немца любого облика и возраста, но к этому надо прийти. А сейчас ему больше годится амбразура. И тут же испуганно подумал: а не исключает ли только что случившееся — жалкое и смехотворное — амбразуру, и понял, что не только не исключает, но делает насущно необходимой. С этим он и направился на НП для решительного разговора с комиссаром полка. Разговор не состоялся — Петрова ранило. После госпитальные врачи авторитетно утверждали, что то был осколок артснаряда, обрезавший носок левого сапога. Из дыры торчала окровавленная, тоже ровно обрезанная портянка.

В госпиталях. — сперва полевом, потом тыловом — с ним возились до тех пор, пока не спасли все, что можно было спасти. Ему грозила потеря ступни — он отделался частью пальцев, причем самый ненужный, мизинец, вовсе уцелел, а в помощь пострадавшим ему выдали протез-носок с гуттаперчевой насадкой. Хорошая штука, но ему она почему-то мало помогала. Без костыля, потом без палочки он падал, ступая на левую ногу. Но ведь какая чепуха — нет нескольких маленьких косточек, а человек не может ходить!

Постепенно, еще в госпитале, он научился пользоваться укороченной ступней вполне сносно, чуть подсобляя себе кленовой тросточкой, которую сосед по койке, старый солдат-вологжанин, умелый резчик по дереву, украсил затейливым узором. В госпитале он научился и кое-чему другому, не менее важному. Его не переставала удручать встреча с немцем. Было такое чувство, будто отпущенный восвояси немец и произвел тот выстрел, который выбил его, Петрова, из строя. Он решил никому и никогда не рассказывать об этом случае и в самом себе заглушить унижительное воспоминание.

Смесь из растерянности, отвращения и великодушия могла быть оправдана лишь последующей суровостью воина, беспощадного к врагам и к собственной жизни. Но не очень-то похоже, чтобы ему позволили теперь воплотиться в образ беспощадного воина. Врачи упорно поговаривали о демобилизации. А голубоглазый немчик, если не заплутался окончательно в ничейном лесу, наверняка очухался от потрясения и заиграл автоматом на гибель кому-то из наших. Вот почему недопустимо великодушие на войне. Правда, не стоит брать на себя лишнее — великодушия в его поступке не так уж много, совсем чуть-чуть, но все-таки было, а еще хуже все остальное — растерянность, душевная квелость, смятение и черт знает что еще.

Сам не понимая зачем, в одну из бессонных ночей, когда снотворное не могло пересилить боли в отрезанных пальцах, Петров доверился соседу по койке, старому солдату-вологжанину. Старому солдату было едва за тридцать, но он воевал уже третью войну: был под Халхин-Голом, на финской и с первого дня впрягся в Отечественную. Солдат выслушал его спокойно, не перебивая, лишь порой скрываясь под одеялом, чтоб сделать затяжку, — в палате курить запрещено, — и, чуть усмехнувшись, сказал: "Это что! В первом бою, когда командир нас поднял, я все портчонки замочил. Хорошо, в степях солнце горячее — обсохло, ребята не заметили". У Петрова что-то оборвалось внутри — пусть не напрямую, но старый солдат уподобил его поступок этому крайнему сраму.

"Да я не от страха, — сказал он с тоской. — Сам не пойму с чего". — "А это и есть страх, когда сам не поймешь с чего. На войне многое так делается, и кабы только рядовыми! Потом, конечно, пообвыкнешь, хотя, чтоб вовсе страх прошел, такого не бывает. И ты не верь, если кто загинать начнет. Я четыре раза награжденный, обо мне цельная канделашка в газетах написана: бесстрашный воин и всякая фигня. А какое, к лешему, бесстрашие, когда ты весь мясной и мягкий и ничем не защищенный? Чепуха все это, пена. А что ты от немца пополз, а он от тебя — удивляться нечего. Тут бы и каждый очумел, когда в первый раз и чуть не рылом во врага ткнулся, — законное дело!.."

Это давало пищу для размышлений, весьма непривычных... В другой раз старый солдат поправил Петрова, когда тот обмолвился, что так и не видел войны. "Как же ты ее не видел, когда здесь лежишь? Небось, не с печи свалился. А дезертира ко мне бы не подложили. Другое дело, что повезло тебе здорово, самой малостью отделался. Без пальцев (у него была манера ставить неожиданные ударения в самых простых словах) на лапе ты за милую душу проживешь, а главное — отыгрался, и совесть спокойна, и всего себя сохранил, без чуточка". Но совесть-то и не давала покоя Петрову, и он с жадностью вслушивался в неторопливые рассуждения солдата, учитывая их, но не принимая в утешение душевной истомы.

Оправдывая поведение Петрова с немцем и положительно относясь к его краткому пребыванию возле фронта, старый солдат не мог взять в толк, почему, будучи студентом-третьекурсником и располагая отсрочкой, он вообще оказался на фронте. "Не имели они права тебя брать, раз документы на руках!" — "Да я сам!.." — "Ты бы написал куда следует, обжаловал, им бы хвост накрутили! Где это сказано — раз война, все законы побоку?" — возмущался солдат. "Добровольно я, понимаешь, добровольно!" Петрову почему-то стыдно было произносить это соответствующее истине слово. "Мало ли что, — гнул своё солдат, — тебя, небось,

профессоры учили, сколько ж это денег стоило! Нет, должны были доучить тебя до конца..."

Тогда Петров спросил солдата, а если бы, мол, тебя не взяли на войну по призыву, пошел бы ты сам? "Как же это могли меня не взять? Что я, больной или порченный, что, у меня глаз кривой или грыжа в паху?" — "Да нет, просто так, не взяли — и все!" — "Так не бывает. Кто же тогда врага отгонит?" — "Другие, — втолковывал ему Петров. — Считаю так: народу хватает, и тебя оставили дома на развод. Пошел бы ты сам?" — "А без меня не может хватать, — возражал солдат. — Кто же на моем-то месте будет?" — "Свято место пусто не бывает, другой там будет, не хуже тебя, а может, и получше", — подначивал Петров. "Это, что ль, как в старину — богатые мужики за сынов своих в солдатчину некрутов покупали?" — усмехнулся солдат. "Ну, хочешь, так, хочешь, просто обошли тебя, забыли. Или, скажем, перебор произошел, и тебе говорят: ступай домой, без тебя справимся". — "Мое почтение! — заулыбался щербатым ртом солдат, и как-то распустилось, расслабилось его жесткое, подбористое лицо. — Со всем нашим удовольствием!"

Ясности разговор не дал: чтобы прийти к ней, требовалась слишком долгая и хитрая работа, — раненый и утомленный непрерывными войнами, солдат упрямо отталкивал спасительную руку. "А кто же на моем месте будет?" — вот оно главное! Перед солдатом не стояло проблемы: идти — не идти, а все умозрительные предположения яйца выеденного не стоили. Петров же мог пропустить войну мимо себя, но не захотел этого и, что бы ни говорил солдат, правильно поступил. А вот то, что у него не получилось толка, — дело другое.

Рассуждения старого солдата мудры и оправдательны, но куда вернее его же: "А кто на моем месте будет?"

Из госпиталя Петрова отправили на комиссию. Годен к нестроевой службе в тылу — было заключение. Поглядев на его огорченное лицо, председатель комиссии сказал: "Вы студент-третьекурсник, вас охотно демобилизуют". Но этого как раз ему и не хотелось.

Возвращение в Москву осталось одним из самых жалких воспоминаний его жизни. Он решил поехать сперва к матери, перевести дух и собраться нацельно. Но, выходя из вагона на Ленинградском вокзале в числе других военных людей — отпускников, командированных, инвалидов, пронизанный чувством дорожного братства с ними, крепко и ладно ощущая всю свою солдатскую одежду — шершавую шинель с зелеными фронтовыми погонами, кирзовые сапоги, плотно натянутые на ватные брюки, и самодельную фуражку, которую выменял в госпитале на ушанку, ловко опираясь о кленовую тросточку и поддерживая большим пальцем лямку рюкзака, он пожалел, что жена его не встречается. Все мальчишеское, сохранившееся в нем, возжаждало этой встречи — фронтовика с верной фронтовичкой. Но когда он случайно угодил в раму высокого зеркала в зале ожиданий, то чуть не застонал от унижения. Навстречу ему с мутной пыльной поверхности ковыляла неуклюжая фигура какого-то ряженого. Из необмявшегoся, широкого, как хомут, воротника куцей шинельки торчала тонкая цыплячья шея, на странно большой голове сидела милицeйская фуражка — за неимением малинового околыша кустарь-картузник поставил бордовый, а тулья отливала синевой, на боку нелепо торчала сумка с противогазом, — он сразу увидел, что противогазов здесь также никто не носит, ремень без португeи провис под тяжестью нагана, грязный вещмешок завершал героический облик. Ко всему еще, в этом шутейном одеянии ему можно было от силы дать лет семнадцать, — школяр, решивший сбежать на фронт, или сын полка, которого не сумели должным образом экипировать.

Он не помнил, как добрался до дома. Когда улеглась первая слезная суматоха встречи, мать сказала: "Боже мой, ты же совсем ребенок! Как я могла тебя отпустить!" А потом полезла в залавок и достала что-то большое, серое, пыльное и траченное молью, что он поначалу принял за одеяло, но оказалось, это старая кавалерийская шинель его

давно умершего отца. Мать сохранила шинель с гражданской войны. Таких сейчас не носили: мышинового цвета, долгополая, чуть не до самой земли, с длиннющим разрезом сзади, с заостренными углами ворота и стреловидными отворотами на рукавах, приталенная и хотя с глухим солдатским запахом, но, судя по сукну, командирская, и даже со старомодным воинским шиком. Она сидела как влитая, прибавив Петрову роста, которым он и так не был обделен, скрывала кирзовые голенища сапог, оставив на обозрение только кожаные головки. Он почувствовал волнение: шинель облегла юношеское тело отца, которого он не знал, разминувшись с ним на пороге сознания и памяти. Она побывала на кронштадтском льду и под Варшавой, спасала отца от холода, дождя и снега, но от пуль спасти не могла, и крестики штопок помечали места, куда входил свинец. Под длинными полами шинели ходуном ходили потные бока усталого коня, на ее ворс падали искры костров. А сейчас эта боевая, продымленная и простреленная шинель послужит годному к нестроевой службе в тылу младшему лейтенанту, что вышел из боя, так и не вступив в него.

Мать достала потемневшие, потрескавшиеся, но все равно великолепные ремни и ушанку с пожелтевшим барашковым мехом и переколола на нее звездочку. Петров нахлобучил шапку, затянул ремни, и мать сказала: "Теперь я вижу, что ты изменился и возмужал". Он и сам с неожиданным интересом пригляделся к своему отражению в зеркале. Ему понравилась худоба смуглых щек и четкая линия прежде раздражающе мягкого рта. С таким лицом можно жить...

Жена и крепко спаянная семья ее довольно скоро доказали Петрову, что он переоценил волевой изгиб своего потвердевшего рта. У жены оказались новые друзья. Она никогда не имела близких подруг, предпочитая надежность мужской дружбы. На этот раз в друзьях ходили два молодых богатыря: безбородый Добрыня Никитич, оказавшийся, к удивлению Петрова, флейтистом-белобилетником, —

у этого Вырвидуба были слабые нервы; и только что отпущенный из госпиталя военный моряк, с широкой грудью и ускользящим взглядом Алеши Поповича. Богатыри смущались Петрова, что поначалу доставляло ему даже некоторое удовольствие, словно доказательство его возмужания и особых прав на Нину. Он любил Нину и привык верить ей, ему и в голову не приходило, что у богатырей тоже могли быть какие-то права на нее. И смущение их было браконьерским.

Нину он любил со школьной скамьи. В девятом классе она переехала в другой район, перешла в другую школу и стала недосягаемой. Все же год с лишним обивал он ее порог, терпеливо и огорченно выслушивая лицемерные сожаления Нининой матери, большой смуглой красавицы, похожей на креолку. Доверчивый, преданный и настырный, он появлялся вновь и вновь, не замечая, что Нинина мать откровенно издевается над ним, — за что она его так не любила? — не постигая охлаждения подруги и тщетно пытаясь найти какую-то свою вину. Он перестал ходить, поняв вдруг, что не может больше видеть ликующую людоедскую улыбку на смуглом лице. Он долго не мог понять, какие силы отвели от него Нину, хотя, конечно, догадывался о существовании этих сил.

Они встретились случайно через два года на юге, просто, душевно и грустно. Нина, смуглая, белозубая и большая — вся в мать, стала еще более красива, но уже не девичьей, а зрелой женской красотой, и Петров понял, что по-прежнему любит ее и никогда не переставал любить. Но он даже заикнуться об этом не смел. Нина была на год старше его. В школе эта разница никак не ощущалась, тем более что они сидели за одной партой, — Нина пошла учиться с некоторым опозданием. Он почувствовал эту разницу в дни редких, коротких встреч, когда она переехала в другую часть города. Что-то лениво-покровительственное появилось в ее тоне и во всей манере поведения, словно она знала нечто такое, чего не знал он. Впрочем, так, наверное, оно и было. Встретив Нину

после долгой разлуки, Петров поймал себя на том, что относится к ней как к даме. А ведь он, черт возьми, и сам не мальчик, и у него был роман с замужней женщиной! Но при Нине эта блистательная победа — не ясно только, чья? — как-то странно обесценивалась. Он таскался с Ниной на дикий пляж и в горы, ни на миг не рассчитывая заинтересовать ее своей тусклой личностью. Но каким-то непостижимым образом заинтересовал.

В день приезда Нина видела его на вокзале, он кого-то провожал. Да, он провожал девушку по имени Таня, с которой познакомился несколько дней назад на море, в шторм. "Она тонула, и ты помог ей выплыть?" — насмешливо спросила Нина. "Это она помогла мне". — "Ты шутишь". — "Нет, у меня свело ногу, а она прекрасно плавает". — "Ну а что было дальше?" — "Ничего". Будь он поискуснее, похитрее, он бы так не говорил, — в темно-карих сочных глазах Нины зажегся сухой огонек ревности: "Не лги!" Удивленный, он вяло вспомнил, что они ходили в каньоны. В полнолуние изрезанные глубокими морщинами пади кажутся строем боевых слонов Гамилькара — можно придумать и другой, такой же условный, хотя и соответствующий чему-то образ. А до этого они выпили по стакану плодово-ягодного вина в ларьке. "Вон какая богатая программа! Меня ты в каньоны не приглашал. Ну и кто она, эта девушка?" — "Кончает техникум. Работает". — "Кем?" — "Она не сказала". — "Парикмахершей, наверное". — "Не знаю. Едва ль. Она собирается в педагогический. Она очень молчаливая". За весь вечер они не обменялись и десятком фраз. Что еще он узнал? Что Таня живет вдвоем с теткой. Петрову захотелось больше знать о ней, но Таня только улыбалась, а если он слишком уж наседал, то роняла хрипловатым детским шепотом: "Ну зачем вам это?"

Непонятная Нинина настойчивость разворошила в нем то, чего ему не хотелось трогать. Почему вдруг кинулся он провожать Таню на вокзал в автобусе, похожем на мятую консервную банку? Между ними не возникло курортной

короткости, они не уславливались о встречах в Москве, не обменивались адресами и телефонами. Они попрощались возле домика, где Таня снимала угол веранды, улыбнулись друг другу, а утром он как угорелый примчался на остановку и на ходу вскочил в автобус. После двадцати пыльных и тряских километров молчания он поставил на площадку тамбура вагона ее легкий чемоданчик, она махнула рукой и скрылась за спиной проводницы. Он двинулся вдоль вагонных окон и увидел ее круглое и тугое, как детский мячик, лицо за серым стеклом. Таня стала дергать поручни, но окно не открывалось, и она оставила тщетные попытки. В такие минуты даже близким и любящим людям нечего делать друг с другом, тягостная, ничем не заполняемая пустота обрушивается кошмаром. А тут пустоты не оказалось. Жизнь напряглась, и время убыстрилось. Петров вдруг заметил, какие у Тани пушистые глаза. В длиннющих нижних и верхних ресницах покоился ясный свет надежности, серьезности и доброты. Если б поезд не ушел!.. И как только он подумал об этом, лязгнули буфера и вагон тихо поплыл прочь. Он пошел следом и у обреза платформы заметил, как Таня вдавила висок в раму окна, чтобы дольше видеть его. Ее огромные ресницы склеились слезами. Он и сам чуть не разревелся, а потом выпил мутного рислинга в вокзальном буфете и как-то сразу успокоился. Хорошо, что было коротенькое это знакомство, этот странный и нежный вздох. Сейчас растревоженное Ниной переживание вновь прокатилось по сердцу и погасло уже навсегда. Рядом была женщина, которую он любил с того самого дня, как в нем проснулась душа, большая, яркая, горячая от солнца, женщина, прекрасная ему каждым словом, каждым движением, даже если слово неумно, недобро, а движение неловко. И главное, теперь, когда он совсем ни на что не рассчитывал, эта женщина остановила на нем медленный взгляд сочно-карих, тяжелых глаз.

Они стали близкими. На пустынном берегу, на холодном и влажном заплеске, при далеком, но неуклонно при-

ближающемся мигании электрического фонарика пограничников, обрыскивающих пляж.

Потрясенный, растроганный, благодарный, он сразу простил ей то, к чему внутренне был готов: не первой любовью оказался он у нее. Что ж, мы квиты, уверял он себя, зная, что это неправда. Нина потерпела какое-то поражение в той, взрослой, жизни, которую начала так рано. Она оттолкнула его не ради сверстника, не ради нового молодого увлечения. То было устройством судьбы, крупной практической игрой, затеянной ее матерью, обожавшей дочь — эгоистически, самовластно и неумно. Отсюда и ненависть к нему красавицы людоедки: она боялась, что Петров утащит Нину назад в детство, в молодую чушь и бредь. А для нее счастье рисовалось в виде роскошно обставленной берлоги. В своей собственной жизни она возвела могучее здание изобильного, жирного быта на сутулых плечах бесталанного, но трудолюбивого и дьявольски упорного администратора от науки. Нина бессознательно следовала расчетам матери — рано созревшим девушкам нравятся мужчины, много их старше, причем жизненное положение ощущается не грубо материально, а как знак мужского достоинства. Но что-то не вышло, и сейчас Нина твердой рукой вернула к себе Петрова. Ею двигали и старая привязанность, и желание отомстить матери, не сумевшей устроить ее судьбу, и еще больше — необходимость самоутверждения. Она нарочно преувеличивала значимость бедной, ни в чем не повинной Тани, чтоб создать иллюзию торжества своей неотразимости.

Вороша прошлое после неудачной поездки в переулочек на задах консерватории, Петров пытался понять, насколько он был зряч и насколько слеп в те далекие молодости дни. Порой казалось, что чуть ли не с нынешней холодной прозорливостью видел он тайную подоплеку всех Нининых поступков, порой он приписывал себе почти младенческую наивность и доверчивость. Истина находилась не то чтобы посредине, а где-то сбоку. Не стоило вешать на

Нину всех собак. Она была по-своему искренна с ним. Он был ей нужен не меньше, чем она ему. Разница состояла лишь в том, что она нужна была ему ради нее самой, он — для восстановления пострадавшего женского чувства. Она лечилась им от раны, полученной в ином бою. И была благодарна ему за вернувшуюся уверенность в себе, за безграничную власть над ним, за то, что он был так полно и откровенно счастлив с нею. Это она предложила расписаться, когда началась война: "Так нам будет труднее потерять друг друга". Тогда можно было расписаться и развестись в один и тот же день, но Нинина мать отметила этот чисто формальный жест грандиозным скандалом, совместившим трагедийный пафос с кухонной низостью. Видимо, по ее расчетам полагалось сразу поставить мальчишку на должное место, пусть знает, что хватил кус не по зубам. В дальнейшем так и оказалось, а потерять друг друга ничего не стоило и со штемпелем в паспорте...

Очутившись по возвращении из госпиталя в доме своей жены, Петров обнаружил, что акции его пали почти до нуля. Нина была загадочна, печальна и далека, а теща, то и дело озаряясь каннибальской улыбкой, отпускала шпильки по адресу тех, кому дома не сидится. Наконец до Петрова дошло, что его уход в армию и намерение вернуться туда же расцениваются почти как шлянье на сторону. Ему было стыдно за тещу, и он упорно делал вид, что не замечает ее придирок. И тут из глубины своей отрешенности, безразличия и начальственной спеси всплыл тесть, поблескивая телескопией выпуклостью очков. "Какие ваши планы?" — "Вернуться в армию". — "Кем же вы будете служить — кладовщиком, писарем?" — "Кем поставят". — "Я всегда мечтал выдать дочь за кладовщика". И тесть вновь скрылся в непрозрачной глубине.

Похоже, тогда получил он окончательно безнадежную оценку. Его стали откровенно выживать из дома. И странно, при всей своей деликатности он долго не понимал этого. Ему казалось, что Нину смущает ежевечернее гостевание в доме флейтиста и раненого моряка, но она не умеет

избавиться от них и потому злится. А еще больше удручена этим теща, человек старых правил. Он стал уходить по вечерам, чтоб не подчеркивать своим присутствием бестактности назойливых визитеров. А нога болела, и он всерьез опасался, что вновь назначенная комиссия начисто забракует его. И своим опасением поделился с Ниной.

— Что же будет? — спросила она с испугом.

— Вернусь в институт.

— А где ты будешь жить?

— Как где?.. Что случилось, Нина?

Она расплакалась бурно, он даже не думал, что она умеет так плакать. Она думала, что он вернется на фронт. Тогда бы она во всем разобралась, поняла бы себя. Возможно, все осталось бы по-прежнему, она любит его как друга, как прекрасного человека, как свою молодость и все самое лучшее в жизни. И она сумеет преодолеть предубеждение родителей. Но сейчас он далек от нее. Ему не нужно было уезжать, когда все было так еще зыбко, непрочное, да к тому же в такое трудное время. Эти мальчишки чудные, и они любят ее, она не может указать им на дверь. Их рыцарственное соперничество бесконечно трогательно. А раз так..

— То на дверь указывают мне, — усмехнулся из своей пустоты Петров. — А кого ты выбрала, надеюсь, не флейтиста?

— Не знаю, ничего не знаю! — снова заплакала Нина. — Давай не будем разводиться. Может быть, все еще наладится.

Он молча пожал плечами, удивляясь, что она придает значение такой чепухе.

Ему помогла отцовская шинель. Он надел ее, затянул поверх ремни и в тугости суконного обжима почувствовал, что обязан быть мужественным. В такой шинели, хотя бы ради прежнего ее владельца, нельзя распускать нюни. Стараясь не хромать, он вышел, спустился по лестнице, и железный февральский мороз остро ударил ему в грудь, перехватив дыхание...

...Они встретились с Ниной года через два после войны. Его вызвали судебной повесткой на развод. В тот день их курс уезжал в Лопасню на картошку. Он явился в суд в старых военных брюках, ватнике и сапогах, чтоб сразу отсюда отправиться на вокзал. Но приехал в Лопасню с последней электричкой, проведя весь день и вечер со своей, уже бывшей, женой. В суде он держался неловко, обращался к жене по фамилии, вызывая на ее полных, ярко и красиво покрашенных губах сожалеющую улыбку. Но она простила ему все неловкости и глупое смущение, сама же держалась с таким достоинством, тактом и доброжелательностью, словно развод был для нее привычным делом. Хотя они разводились по взаимному согласию, с обтекаемой формулировкой "не сошлись характерами", Петров чувствовал, что выгладит в глазах судей и многочисленной публики подонком, виновником крушения семьи, а Нина — потерпевшей, но щедро прощающей стороной. Между тем развод был нужен ей, чтоб оформить брак с флейтистом. Петрову больше нравился моряк, но, видимо, сказался приход мира, и нежная флейта осилила военный барабан. Петров не чувствовал ревности к флейтисту, злости к Нине и даже досады на судебную комедию, в которой так плохо играл. За минувшие годы Нина достигла пика формы — величественная, как собор, яркая, как карнавал, она вызывала у Петрова бескорыстное восхищение. Его ничуть не заботило, что он невзрачен и беден рядом с ней, он даже не верил, что когда-то обнимал ее, целовал это жаркое, сверкающее лицо, что эта победная стать нежно покорялась ему. Он не думал считаться с ней судьбами и своим откровенным радостным восторгом стал вровень с нею. И получил неожиданную награду. Флейтист был на гастролях, и Нина повела его в свою новую квартиру.

Странно, легкое презрение, не мешавшее и упоению, и радости, и удивленному счастью, он испытал только к себе. Нина осталась на пьедестале, совершив необъяснимое, но, видимо, справедливое женское дело. Ей нужен был зачем-

то этот жест последнего великодушия к нему, этот "куп де грас", как бы снимающий с него бывшее злорадство, но про себя знал: лучше бы не было этого ненужного счастья, искупления, мести, этой подачи судьбы...

Потом они не виделись долго, почти всю жизнь. И он ничего не слышал о ней, она как-то странно канула в никуда, впрочем, может быть, это он канул. Они существовали словно в разных измерениях и потому не могли столкнуться в земных координатах. Боже, кого только не встречал он за эти годы! И ветеранов своего дворового детства, и одноклассников, и университетских товарищей, и немногочисленных фронтовых друзей, — раз даже мелькнул на платформе Малой Вишеры старый солдат, то ли не узнавший его в окне поезда, то ли не заметивший; он натыкался — всегда и вовремя — на своих мимолетных подруг, сталкивался с полузабытыми фигурами из ненужного круга курортных знакомых, мужественно отбивался от дальних родственников, но никогда не видел Нины, даже легкого следа ее, хоть промельк тени. О ней никто не упоминал в разговоре, а ведь на слуху у каждого человека ежедневно сотни знакомых и незнакомых имен, и даже богатырь флейтист — косвенный знак ее присутствия в мире — ничем не напоминал о себе. А ведь ребята зверски насиловали телевизор, проигрыватель и транзисторные приемники. Но, может быть, он, Петров, забыл или перепутал его имя, а флейта звучала в эфире? Уж не умерла ли Нина? — спрашивал он себя порой, но горечь, оставшаяся на губах от дней юности и не смягченная милосердной подачкой более поздних лет, не давала места печали. Он излечился от Нины и думал о ней хуже, нежели в ту легендарную пору, когда прошлое было его мучительно свершающейся жизнью. Но, столкнувшись с ней случайно на улице, он разом растерял накопленные годами спокойствие и независимость.

Петров отправился на рыбалку с товарищем детства. Едва выехали, возникла вечная тема всех подобных предприятий — "горючее". Товарищу ничего с собой не взял, и

Петров тоже — он рассчитывал на буфет. Но буфет откроется только завтра, в субботу, и самый приятный, неусталый ужин пройдет всухую. Подъехали к "Гастроному". Петров взял деньги, в неполюженном месте перебежал улицу и скрылся от свистка дружинника в магазине, откуда вышел счастливым обладателем бутылки "Экстры" и двух пачек сигарет "Шипка". Он силился засунуть бутылку в карман ватных штанов и почти преуспел в этом, когда услышал звонкий женский голос:

— Ну надо же!.. Ах ты, пропащая душа!..

Он скользнул взглядом окрест себя и увидел Нину: Она была в том же самом черном каракулевом пальто, что и в последний раз, перешитом по моде и удлиненном, в высоких кожаных сапогах и вязаном берете, открывавшем ее смуглое, горячее лицо в обрамлении каштановых прядей. Перовидение дало обман чуда: время пощадило ее, не состарив ни на год. Но достаточно оказалось нескольких минут, чтобы обнаружить печальные следы перемен: гусиные лапки у глаз, дряблость подбородка, темные родинки на шее, тусклоту прежде блестящих волос, коронки на зубах. Все же в своем возрасте она была еще хороша, в ней легко прочитывался юный облик. И не присущая ей прежде оживленность красила ее.

Взволнованность Нины передалась ему, выбила из колеи, повергла в душевное и умственное смятение. Быть может, это помешало и его наблюдательности, и способности к выводам, и даже угадыванию интонации. Все, что она говорила, звучало ликованием удачи. С флейтистом они давно расстались. Пирожок оказался ни с чем. Бог с ним! Ее мужем стал моряк, помнишь?.. О, они жили прекрасно! У них сын уже в восьмом классе. Крутой отличник. Но и с этим мужем она разъехалась два года назад. Так получилось. Сейчас живет довольно далеко от центра, в Кузьминках. Но метро рядом и прекрасный воздух!..

— Ну, а ты? — участливо спросила она, и звонкий голосник.

— Что я?.. Живу. — Он еще брал разбег для более вразумительного ответа, когда она сказала, странно блеснув глазами:

— Похоже, опять едешь на картошку?

Чуть отстранившись, она жадно оглядывала его раздобревшую фигуру в тесном засаленном ватнике. Большие карие глаза не пропустили ни дыры на локте, ни оборванной пуговицы, скользнули по вязаной шапочке, резиновым подвернутым ниже колен сапогам и задержались на торчащей из кармана бутылке.

— Она — матушка?.. — И эта незаконченная вроде бы фраза подвела итог ее наблюдениям.

"Да она принимает меня за алкаша! — осенило Петрова. — Ей кажется, что она все про меня поняла. Но почему она не дала мне толком ответить? Для работяги, идущего со стройки, мой вид вполне позволителен, но для человека так называемой интеллигентной профессии настолько нетипичен, что следовало хотя бы не торопиться с выводами. С какой безжалостной быстротой произвела она меня в потерпевшего полный крах человека! Почему так легко поверила самому плохому? Значит, в непрекращающемся счете со мной ее устраивает лишь крайняя степень моего падения. Стало быть, и самой ей не больно сладко?"

Да! Наконец-то навел он на фокус. Рядом с ним стояла немолодая, поблекшая женщина в потертой шубейке, с которой уже ничего не могли поделать все ухищрения перекройки и перелицовки. Дешевая косметика: свалывшаяся в шарики тушь на ресницах, полустершаяся лиловая помада и грубая пудра — лишь усугубляли разрушительную работу времени и разочарования. Жизнь давно выпустила Нину из теплых объятий на холод и сквозняк, и, поняв это, Петров уже не хотел ни в чем ее разубедить. Он усмехнулся и развел руками, словно признавая справедливость горького упрека.

— Ты никуда не торопишься, — решила Нина. — Проводи меня до дома. Мне хочется поговорить с тобой, а мой

хозяин ненавидит, когда я шляюсь. — Она подчеркнула последним словом абсурдность ревнивых подозрений "хозяина".

То был отставной полковник, которому по сложным квартирным и семейным обстоятельствам никак не удалось стать ее законным мужем. Прекрасный человек, любит ее сына как родного, быть может, не без военного педантизма, но зато непримиримый враг всяких рюмочек и закусок.

С глуповатой ухмылкой Петров принял намек, все более подчиняясь навязанной ему роли.

Когда они сели в вагон, он вспомнил о товарище и устало выплеснул его из головы. Вагон как-то разобщи их с Ниной, хотя они сидели рядом. Она то рылась в хозяйственной сумке, то говорила что-то пустое — для самой себя, а не для собеседника, о домашних делах. Но иногда они вдруг улыбались друг другу, прежнему своему, давно умершему, похороненному и не оживленному встречей.

Уносясь все дальше к ненужным Кузьминкам, Петров чувствовал себя героем фарса, но это не веселило, даже когда он пытался взглянуть на происходящее из будущего. Что-то тут мешало спасительному юмору.

Они вышли из метро, и Нина вдруг запретила провожать себя дальше. То ли боясь ревнивого "хозяина", то ли, что вернее, не хотела попасться на глаза соседям с таким непрезентабельным спутником. "Неужели ни ей, ни ее близким никогда не попадалась моя книжка или хотя бы статья в журналах и газетах? — подумал Петров. — Впрочем, у меня настолько распространенная фамилия, что она могла и внимания не обратить. Но возможно и другое: она допускала совпадение мое с Петровым, который пишет и о котором пишут, и боялась, не хотела этого. Отсюда ее неделикатность и радость, когда она обнаружила во мне доходягу. Она так и не спросила, чем я занимаюсь, как живу. А ей это ни к чему — успокоительный образ банкрота налицо и не нужно ни усложнять, ни колебать его".

— Прощай, — сказала она, — теперь уж мы едва ли встретимся.

— Почему? — спросил он, сильно и полно жалея эту женщину, так уверенно и нераскаянно прошедшую мимо его любви, мимо всего, чем был он.

— Сколько же ты собираешься жить? — холодно сказала она и ушла в своей вечной шубке, равнодушной, чуть враскачку, не играющей в молодость походкой.

Она ушла, а он приказал себе не думать о ней сейчас, не резать по живому. Скорее назад, к верному, чертыхающемуся на чем свет стоит, но все же не бросившему его товарищу.

..Конечно, не встреча с Ниной заставила его так остро и трудно почувствовать возраст, это зрело в нем исподволь, скапливалось неприметно. Очки, неумолимая бессонница, острая обидчивость и стремление рвать отношения, когда еще возможно объяснение, — это и многое другое, отдающее старческим чудачеством, ощущалось Петровым смиренно и твердо, как переход в иной возрастной климат. Встреча с Ниной, словно катализатор, завершила постижение неумолимого процесса. Теперь он окончательно знал, что будущее, в котором можно что-то исправить, выяснить, хоть исплакать, не существует для него и тех, кто создавал и наполнял его душевную жизнь. А он, оказывается, еще на что-то рассчитывал. На что? На возвращение былого?.. На раскаяние?.. Воздаяние по заслугам?.. Какая чепуха, он никогда и в мыслях этого не держал. Да! И все-таки смутная, черт знает куда загнанная надежда на какой-то душевный реванш, видать, существовала, и не надо обманывать самого себя. Скажем так: надежда на обретение последнего покоя, не в лермонтовском смысле — под сенью дуба, в земле, а прижизненного покоя. Но все это рухнуло за какие-нибудь полчаса. Оказалось, ему ровным счетом ничего не нужно от чужой и чуждой женщины, которую он проводил на метро до Кузьминок. Напротив, он сделал все возможное, чтоб оставить ее в спасительном неведе-

нии. Таков был конец истории, начавшейся за изрезанной перочинным ножиком школьной партой.

Но как же сильна она была в нем, если и сейчас случайная, пустая, нелепая, смехотворная встреча вывернула его наизнанку! И как сумел он уцелеть тогда, когда вышагнул от Нины в морозную щемящую пустоту в траченной молью кавалерийской шинели, припадая на больную ногу, не солдат и не штатский, недоучившийся студент и уволенный в глубокий запас муж, щенок, не умеющий даже огрызнуться? И ведь у него мелькала мысль о самоубийстве, и мать, все понимавшая, спрятала куда-то наган.

Вот тогда-то и возник дом вблизи консерватории. В переулке, где он, коренной москвич и городской шатала, почему-то никогда не бывал. Забытый дом стоял в начале забытого переуллка, если считать со стороны Никитской площади. Впрочем, Никитская тут ни при чем, они попали в переулок каким-то проходным двором. Почему память так старательно стерла географию события? Чтобы не было пути назад, чтобы не сделаться иждивенцем чужого милосердия, чтобы золотой лучик не погас в мути ненужной суеты?..

Случайность, непреднамеренность, хаотическая бесцельность происходящего с тобой настолько утомляет и обессиливает душу, что начинаешь искать значение символа там, где всякое значение заведомо отсутствует. Убеждаешь себя, что жизнь запрограммирована хотя бы в главных, опорных пунктах, на самом же деле ты просто участник Броунова движения — беспорядочный толкотни человеческих молекул. Неожиданный толчок бросает тебя вперед ли, вбок ли, назад, а там другой толчок, и ты несешься в прямо противоположную сторону, а потом с глубокомысленным видом пытаешься постигнуть смысл своих движений. Все это так, но разрази его гром небесный, если он когда-нибудь поверит, что встретил Таню случайно.

А было так. Все еще находясь под угрозой демобилизации, он пытался вернуться на фронт через Главное Политическое Управление. И вот, выходя после очередного ук-

лончивого ответа из подъезда на улицу Фрунзе, он столкнулся с какой-то девушкой. Шагнул в сторону и вновь наскочил на нее. Он буркнул: "Извините!" — и снова уперся в тонкую, стройную фигурку. Он знал, что значит в психопатологии обиденной жизни такая вот довольно распространенная уличная неловкость, когда двое прохожих начинают топтаться друг перед другом, мешая пройти, и разошелся на себя. Но после новой тщетной попытки разминуться с облегчением понял, что не виноват, это девушка затеяла игру. Он вынырнул из своего душевного подвала, взглянул ей в лицо и не сразу, а через ощутимые мгновения — череда воспоминаний: море, сведенная нога, каньоны, пыльный вагон, обрез вокзальной платформы, слипшиеся от слез ресницы — узнал Таню.

— Боже мой, Таня, это вы?

Она ответила кивком головы и взмахом ресниц: да, я.

И тут он на миг усомнился в этом. Повзрослевшее лицо ее совсем не походило на тугой детский мячик, оно опало, побледнело, смягчился угол крепких скул, да и весь абрис женственно помягчал, лишь золотистые глаза в длиннющих, пушистых, "махровых" ресницах остались теми же — юными, ясными, добрыми.

— Какими судьбами? В институт?.. Из института?.. В библиотеку? — В руках у нее был небольшой, туго набитый портфель, и он молот языком, чтоб заглушить поднявшуюся в нем непонятную боль.

Таня смотрела на него с улыбкой. И вообще-то молчаливая, она не пыталась прервать это словоизвержение.

— Как вы повзрослели! Вы были тогда еще школьницей. Нет, что я говорю! Вы учились в техникуме. Учились и работали. И собирались поступать в педагогический? Верно? — Он спрашивал и сам отвечал. — А жили вы вдвоем с теткой. Видите, я все помню. И спасение на водах тоже помню!..

— Что с вами? Как вы? — произнесла она тихим и каким-то сострадающим голосом.

Он даже чуть отшатнулся — интонация словно подразумевала, что она знает о его неудачах. Да нет, откуда ей знать! Хотя... палочка в руке, хромота, одинокая звездочка на погоне — все это не могло служить приметам успеха.

— Да вот, — сказал он с неловкой улыбкой. — Кутузова из меня не получилось... Филемона тоже, — добавил он, тускло радуясь, что второй образ до нее дойдет.

— А может, дело в Бавкиде?

— Что вы знаете о Бавкиде? — пробормотал он.

— Ничего.

— Откуда вы знаете, что я был женат?.. Собственно, не был, а есть... Хотя, по правде, я уже и сам не знаю... — Он запутывался все больше и, разозленный, сказал почти грубо: — Вам что-нибудь известно о моей жене?

— Нет.

— Почему же вы сказали о Бавкиде?

— "Филемон и Бавкида". Мы проходили.

— Ну, и что с того! Почему вы решили, что она виновата?

— Конечно, она.

— Почему не я?

— Вы — нет! — Она сделала рукой жест, словно защищаясь от пушечного в лицо снежка. — Вы — праздник!

Петров расхохотался. Он отчетливо видел себя всего, как будто перед ним держали зеркало, отражающее не только его внешнюю, но и внутреннюю суть. Он так мало стоил в собственных глазах, так неценен был и себе, и другим, во всех измерениях и плоскостях, что неожиданное уподобление его празднику вызвало в нем почти болезненный приступ смеха.

Она терпеливо смотрела, как он смеется, чуть покачиваясь верхней половинкой туловища, как вытирает слезы носовым платком, а потом сморкается в тот же платок, прячет его в карман и, обессиленный, успокаивается.

И вот так устроен человек, особенно когда человек молод и душа не высохла в нем, как осенний лист. Из своего смеха Петров вернулся другим. Не то чтобы он поверил в себя как в праздник, но некая иная возможность его образа

забрехала ему. Этой девушке не было никакой нужды льстить ему, говорить неправду. Преувеличивать немного — другое дело. Она расположена к нему, их короткая давняя встреча запомнилась ей добром. И он помнил бы Таню сильнее и лучше, если б ее не заслонила своим большим и важным существом Нина. Да что все — Нина, Нина!.. Довольно Нины. Хоть минуту пожить без нее. Вот он стоит, никем и ничем не связанный, а перед ним этот Божий подарок, девушка с пушистыми глазами, полными света и доброты. Впервые за многие месяцы младшего лейтенанта что-то отпустило внутри.

— Давайте я вас провожу, — предложил он.

— Я только сдам книги, — сказала Таня.

— Я подожду вас.

Она благодарно провела узкой рукой в перчатке по обшлагу его шинели. Он хотел попросить ее идти не очень быстро, но она сразу и естественно попала ему в шаг.

Он настроился на длительное ожидание возле серых стен студенческой библиотеки, но она вернулась тотчас же — сдала книги и не стала заказывать новых.

Они пошли по вечеряющим улицам. Она держала его под руку, и маленькая ее рука грела ему локоть через сукно. Для всех людей получение взаимной информации — путь к сближению — любовному, дружескому, соседскому или деловому. Но Таня не нуждалась в каких-либо сведениях, кроме тех, которые не создавались из самого присутствия человека, и не считала нужным что-либо сообщать о себе. В этом была мудрость: важна живая суть человека, а не то, что он о себе думает. Ведь, если всерьез, — объективной передачи фактов не бывает, а лишь более или менее замаскированное отношение человека к этим фактам, иначе — к самому себе. И коль факты лично тебе неизвестны, то и о человеке ты тоже ничего не узнаешь. А если тебя в самом деле интересует человек, из его молчания, отрывистых, малозначащих слов, равно как из всплесков сиюминутного чувства, жестов, походки, взглядов, улыбок, ты уз-

наешь о нем неизмеримо больше, нежели из самой подробной устной анкеты или рассказов о тех обстоятельствах жизни, которые тебе начисто неизвестны.

Но, увы, далеко не сразу осознал он Танину правду. А до того долго и деланно рассуждал о месте человека на войне, нарочито бесстрашно и полуискренне говорил об отношениях с женой, приведших к разрыву. Таня не помогала ему ни одним вопросом, ни словом оценки, согласия или несогласия. Ей вполне хватало зримой очевидности: его хромоты, палочки и свободы, позволяющей шататься по городу и не спешить к другой женщине.

"Скрытная она, что ли?" — удивлялся Петров, злясь на свою болтливость, отнюдь не чрезмерную, если бы у него был собеседник. Но Таню и вообще так не назовешь, она сомолчальница. Ну а замолчи я тоже? Так и будем вышагивать Москву, словно за похоронными дрогами? Но проделать опыт он не решался. А Таня вовсе не была скрытной, на каждый в лоб поставленный вопрос она отвечала с легким вздохом — прямо и четко. Родители умерли. Давно. От скоротечной чахотки. Брат пропал без вести на войне. Ее тетка старая дева. Они живут вдвоем. В институт она пошла не по выбору, а куда легко поступить.

Все эти сведения ни на волос не приближали его к Таниной сути, но удержаться было выше его сил. "А разве вы не могли избрать специальность по влечению?" — "Нет". — "Почему?" — "Меня не влечет ни к одной специальности". — "Но к чему-то вас все-таки влечет?" И, спокойно повернув к нему лицо с пушистыми ресницами, сейчас белыми от снежинок, она сказала:

— К вам.

И тут он наконец замолчал из уважения к ее признанию и познал благодать молчания.

Как же прекрасна тишина, возникающая между двумя! Они шли вдоль Москвы-реки, останавливались и смотрели на черную дымящуюся воду, кое-где прихваченную у берегов желтоватым льдом. Перед ними медленно всплывали в тем-

неющее небо аэростаты воздушного заграждения, и казалось, им тяжело и страшно подниматься туда, в пустоту над крышами и трубами, они по-осиному складывали толстое тело. И глубок, почти нетронут был голубоватый снег на тротуаре вдоль Кремлевской стены, а на проезжей части набережной изжеван до асфальтовой протечи шинами и гусеницами военной техники. И не по-городскому сахаристо белел снег на ветвях деревьев и в зубцах крепостной городьбы. Прохожие попадались редко — еще не кончился рабочий день, да с реки тянуло холодным ветром, и не было тут жилья — лишь стены, стены, а в разрывах — площади, и пешеходы, оберегая свое скудное тепло, не забредали даром на набережную.

Потом они миновали стену Китай-города и через Китайский проезд вышли на площадь Ногина, оттуда плетением каких-то переулков, припахивающих ладаном из действующих церквей, вышли на Яузский бульвар и совершили восхождение к площади Пушкина. Этот путь Петров всегда считал "восхождением", хотя на самом деле тут совершаешь спуск. Но путь к памятнику Пушкина для настоящего москвича может быть только путем наверх. И когда они подошли к Таниному дому в начале Большой Бронной, ему казалось, что он много, очень много узнал о своей спутнице, хотя редкий словесный переброс касался лишь обстава долгой прогулки. Нет, еще выяснилось, что тетку, с которой она живет, зовут "тетя Голубушка".

У подъезда бес витийства снова овладел Петровым, наверное, от страха, что все кончилось и он опять останется наедине с собой. Как хорошо было бы встретиться небольшой, доброй компанией, посидеть и выпить. Послушать музыку, потанцевать, провести довоенный вечер. К чему он все это нес? У него не было возможности собрать компании — негде и не на что. Дома — прихварывающая мать, а пол-литра на рынке стоили пятьсот рублей. Музыка, кстати, у него тоже никакой не имелось, равно как и у друзей. Истинным во всем этом бессильном трепе было одно — ему хотелось снова увидеть Таню.

— Через неделю годится? — вдруг спросила она.

— Годится... — проговорил он растерянно. — А где?

— Найдем. В восемь вечера можете?

— Боже мой, когда угодно! Я же ничего не делаю. Но почему так поздно?

— Так, — улыбнулась Таня. — В восемь ноль-ноль приходите сюда.

Он засмеялся, услышав этот воинский и лаконичный язык, козырнул и пошел восвояси, тут только почувствовав, как натрудил раненую ногу.

...На Тишинском рынке Петров обменял свою сомнительную фуражку на бутылку вина. В должный час он был возле Таниного подъезда, она уже ждала его с двумя авоськами в руках.

И тут в памяти начинался ералаш. Когда человек что-то значил для Петрова, он очень сильно, слишком сильно ощущал его присутствие. До утраты самостоятельности, словно под гипнозом. Если б он встретился с кем-нибудь другим, то наверняка запомнил бы несложный путь от Большой Бронной до переулка на задах консерватории. Но окружающее едва просвечивало сквозь тонкую Танину фигуру, да и то вспышками. К тому же шли они туда не прямо, а сперва повернули в сторону Патриарших прудов и там на каком-то углу забрали Танину приятельницу Инессу, рослую девицу с ускользящим взглядом. Петров не сразу понял, что Инесса косила.

Для маскировки на пол-лица у нее был сброшен рядок темных волос. Но это мало помогало, оставшийся открытым глаз старался за двоих, он то закатывался под лоб, то заваливался к переносью, то почти исчезал, оставляя на обозрение голубоватый, блестящий и полный, как глобус, белок. Косина Инессы целиком завладела его вниманием. Таня существовала для него словно в безвоздушном пространстве. Немногие скупые сведения, сообщенные ею, говорили лишь об одиночестве, которое и без того угадывалось. И вот первая материальная и одушевленная спутни-

ца ее существования, к тому же отмеченная столь резкой и назойливой приметой, близкая подругу, поверенная ее тайн. Но последнее определение он тут же отверг. Было очевидно, что Инесса ничего не знает о нем. Он был для нее тем бесформенным и неопределенным, что называется обычно "мой знакомый" или "один парень". И, тяготясь этой призрачностью, он поторопился снабдить Инессу краткими сведениями о себе. В свою очередь Инесса сообщила, что преподает в музыкальной школе по классу скрипки. Петров смущенно обнаружил, что можно было прекрасно обойтись без этого обмена сведениями, ничего не открывающего в тайне человека. Как быстро выветрился из него недавний урок!

Тусклая болтовня с Инессой заняла его настолько, что он не заметил, как они очутились в узком переулке, чисто и гладко устланном снегом. Снег блестел под луной, деревья высывали из-за оград темные ветви. В синем маскировочном свете, освещающем номера домов, медленно проплывали крупные снежинки. Ему понадобилось зачем-то нарушить благословенную тишину этого заснеженного переулка ненужным вопросом:

— Куда мы идем?

— Увидите, — сказала Таня.

— К Игорьку, — сообщила суетная на его же лад Инесса. — Мировой парень! В энергетическом учится. На четвертом курсе.

Ну а учишь Игорь в другом институте или на другом курсе, что изменилось бы? Неужели он повернул бы назад? Так же мало стоило определение "мировой парень" — люди по-разному видят друг друга. Петров с уважением поглядел на Таню. Надо иметь мужество жить так вот, молча, не подменяя и не предваряя словами сути переживания, не стараясь защититься, укрыться, спастись от жизни с помощью слов. Он не привык к этому. От Нины легче было добиться нежности, поймав ее в словесную ловушку, нежели порывом искреннего чувства.

Они долго поднимались по крутой и темной — хоть глаз выколи — лестнице, и он боялся загреметь с авоськой на скользких, обшарпанных ступеньках. Его удивляло, что подъем так затянулся, дом снаружи представлялся двухэтажным. Затем была остановка и нащаривание звонка по холодной клеенке с металлическими кнопками по дверному ребрастому косяку и шершавой мерзлой стене. Наконец палец поймал круглую кнопку, жалобный звук раздался потерянно далеко, в глубине незнакомого жилья, вертикальная прорезь света обернулась золотыми воротами, и мягкий, гостеприимный голос сказал: "Прошу! Прошу!" Лицо открывшего Петров не сразу разглядел, ослепленный резким переходом от кромешной тьмы к свету. Последовала непременно возня в прихожей — у кого-то оборвалась вешалка, куда девать авоськи? — и чуть неловкое вступление в обиталище с большим оранжевым абажуром и хорошо протопленной кафельной печью — теплая, уютная ячейка человеческого существования, обманчиво изолированная от большого мира.

— Моя хата, — с улыбкой сказал Игорек.

Он был чуть выше среднего роста, плотный с правильными, незапоминающимися чертами лица и пластичными движениями. Было приятно смотреть, как он собирает на стол, — их приход застал его за этим занятием. Инесса тут же принялась помогать. В гнедом шерстяном, туго обтягивающем платье, с могучим крупом и крепкими ногами, Инесса наводила на мысль, что кентавр не обязательно мужского пола.

И было досадно за суматоху на ее лице, так противоречившую гармонии мощной стати: серо-голубой глаз резвился в гнезде, наделяя хозяйку то лукавством, то веселой дерзостью, то горестной обидой. Приходилось одергивать себя, чтобы не отозваться на произвольную смену выражений Инессиного лица.

— Инеска — сила! — доверительно шепнул Игорек, когда та вышла зачем-то на кухню, где хозяйничала Таня.

— Сила! — подтвердил Петров.

— Жаль, не хочет глаза исправить! — вздохнул Игорек.

- Почему?
- Боится, что на слухе скажется. Слух ее кормит.
- А какая связь?
- По-моему, никакой. Но попробуй — убеди ее!

Петрова попросили открыть бутылки, после чего освободили от всех обязанностей. Его донельзя удивила избыточная закуска. Он успел забыть, что такое бывает на свете: копченая колбаса, ветчина, швейцарский сыр, баночка сардин. В Нинином доме со дня объявления войны стали готовить на касторовом масле, хотя заправки ломились. Они же с матерью жили на одну "служащую" карточку, продаттестат никак не удавалось оформить.

— Где мы и когда мы? — сказал Петров. — Может, война нам только снилась и сейчас мы проснулись?

— Я сам ничего не понимаю, — поддержал Игорек, — откуда девчонки раздобыли такой харч!

— Кочумай! — сказала Инесса, что на музыкальном языке означает: помалкивай.

Игорек поставил пластинку.

Ночью в одиночестве безмолвном

Помни обо мне, -

взмолился рыдающий голос Кето Джапаридзе. Петров пристально смотрел на кончик папиросы. Войны нет, казалось ему, и он еще ничего не знает о себе. Не знает, что даст уйти врагу, столкнувшись с ним глаза в глаза, что даст уйти любимой женщине, не столкнувшись с ней глаза в глаза, не знает, что счастье вовсе не обещано ему от рождения, да и многого другого, о чем только начинает догадываться сейчас.

Если мы расстанемся с тобою,

Помни обо мне.

Если будешь счастлив ты с другою,

Помни обо мне.

А ужасно, если так и будет на самом деле, откликнулся он певиче. Какое же это счастье с другою, если все время помнишь о прежней. Да и вообще, что это за состояние такое — быть счастливым? Сейчас ему кажется, что в дни Нины он все время был счастлив. Но разве ощущал он это

счастье так вечно и так неотрывно, как нынешнее несчастье, — из часа в час и из минуты в минуту? Конечно, нет! Было счастье близости, а в остальное время внутренняя свобода, когда он был открыт всей полноте жизни и внутри этой широкой внешней жизни мог испытывать любые чувства: гнев, горе, ненависть, даже влюбленность. О несчастье помнишь все время, о счастье же, когда оно есть, забываешь. Ладно, хватит мерехлюндий! Он не сумел бороться за женщину, так будет бороться против женщины, тем более что у него оказался такой сильный союзник, как спустившаяся с неба в должном месте и в должный час Таня.

...Петров помнил, что, слегка захмелев, пытался выразить Тане свою благодарность, но она сказала как-то очень серьезно:

— Не надо. Прошу вас, не надо.

— Мне хочется, чтобы вы поняли, насколько...

— Я очень, очень прошу, — сказала Таня.

Он был так уверен, что не заслуживает копченой колбасы и швейцарского сыра, теплой печи и доброго отношения, что, наверное, не внял бы и этому предупреждению, но тут Инесса запела сильным, носовым, подчиненным безупречному слуху голосом, аккомпанируя себе на стареньком пианино:

Жили два товарища на свете,  
Хлеб и соль делили пополам,  
Оба молодые, оба Пети.  
Оба та-ра-ри-ра, та-ра-там!..

Инесса знала много смешных песенок и душещипательных романсов, лучше которых ничего нет, когда так нужно короткое забытье, и тут бессильны Бах и Моцарт, Бетховен и Брамс, тут на вершине "Полонез" Огинского, а внизу цыганщина и "жестокие" романсы.

Бывают в жизни встречи,  
Любовь лишь только раз,  
Я в тот далекий вечер  
Любил безумно вас...-

пела Инесса, закидывая назад голову, и лицо ее с закрытыми глазами было скульптурно красиво.

— Эх, Инессе бы полипы вырезать, как бы она пела! — влюбленно шепнул Игорек.

— Почему она не вырежет?

— Боится слух потерять.

Тут Петров спохватился, что подобный разговор уже был, и не стал спрашивать, какая связь между слухом и полипами...

...Петрова удивляло, что его появление в этой дружной компании не вызывает ни малейшего любопытства. Ни Инесса, ни Игорек ни о чем его не спрашивали, не наблюдали исподволь, как было бы вполне естественно, не пытались проникнуть в суть их с Таней отношений. И ведь он был как-никак человеком войны, но и о войне не упоминалось. Лишь Игорек вскользь обмолвился, что ему надо идти на очередное переосвидетельствование. У этого спокойного, добродушного парня не было проблемы амбразуры. Петров догадывался, что за деликатностью его новых знакомцев стоит жесткий приказ: оставить человека в покое! Он даже слышал интонацию Таниного тихого, немного сипловатого, когда вполшепота, и серебристо-ясного, когда с нажимом, голоса, каким она отдавала команду друзьям. Большая, фигуристая, щедро озвученная Инесса была в подчинении у своей хрупкой подруги, в радостном подчинении, что чувствовалось сразу, хотя и не найдешь тому явных доказательств. Так подчиняются не силе, не более активному, целеустремленному характеру, а высокому чину душевного благородства. Но приказ приказом, а все же Таня должна была как-то объяснить его своим друзьям. Вернее, определить свое к нему отношение. Подбитый войной человек, неудачник в личной жизни — отличная точка приложения рычага жалости. И, уважая Танину сострадательность, они ведут себя с ним осторожно, как с больным. Это немного грустно, немного скучно и немного противно. Стоп! Таня не делает ничего противного, тайно унижающего человека. Конечно, она могла сказать своим друзьям: не докучайте ему, дайте спокойно провести вечер, и все — она же не

любит ничего предварять словами. И причем тут жалость? Когда-то она помогла ему выплыть, но спасение на водах не ее специальность. Сейчас ее рука вновь протянулась к нему, но она не сестра милосердия. Ее тонкое тело полно силы и грации, в ней все — прямота и смелость. Так что же тогда?... Верно, недоуменное чувство отразилось на его лице, потому что Таня спросила сквозь отчаянное фортиссимо Инессы:

— Вам скучно?

— Нет. С чего вы взяли?

— Вас что-то раздражает?

— Господь с вами!.. Если меня что-то и раздражает, так это я сам.

— Я вижу — вам грустно, — сказала она огорченно.

— Да нет же! Я забыл, что бывает так здорово! Просто я в ссоре с самим собой. Но ничего, мы еще помиримся.

— Иногда это труднее, чем с другим человеком, — сказала Таня.

На последней рюмке вспомнили о том, что за окнами. Инесса сказала своим сильным носовым голосом:

— Ну, за победу! И главное, чтоб поскорее! — и, оставив в глазнице лишь серпик радужки, потянулась с рюмкой к Петрову.

Каждый выпил до капли. И сразу стали готовить постели. Петров решил, что ему следует отправляться восвояси, но было четверть второго, а в Москве существовал комендантский час.

— Ребята, ложитесь, потом — мы! — сказала Инесса и понесла на кухню поднос с грязной посудой.

Постелено было на широком диване и на полу, возле печки. Обеденный стол разделял ложа.

— Вы где хотите? — спросил Игорек.

— На полу, конечно.

— По-солдатски, значит? — обрадовался Игорек и, раздевшись с умопомрачительной быстротой, юркнул под ватное одеяло на диване.

Вернулась из кухни Инесса, села на краешек дивана и стала медленно расстегивать платье. Игорек высунул из-под одеяла голую руку и щелкнул выключателем. Теперь в комнату проникал лишь свет из кухни, где возилась Таня. Петров прошел за стол, разделся и лег. Затем охлынули пружины старого дивана под тяжестью крупного тела, и сразу послышался бормот, наподобие голубинового, но не лирический, а в тоне ссоры. Под этот бормот он забылся, а когда вновь пришел в себя, рядом лежала Таня. Он очнулся от ощущения свежести и прохлады, будто его перенесли в росную траву. Пушистый глаз проблескивал темноту. Он коснулся ее волос. И она мгновенно подалась к нему, прижалась тонким, легким телом.

— Чья вы, Таня? — спросил Петров, стесняясь своего громко заколотившегося сердца.

— Ничья.

— Я тоже ничей, но еще не привык к этому.

— Вы мой, — сказала Таня, обняла его, навлекла на себя и, чуть отняв голову от подушки, стала целовать нежным и сильным ртом.

Внезапно он резко отстранился и почти вырвался из ее рук.

— Нет, — сказал он. — Нельзя.

Она не отпускала его, у нее были сильные руки, сильный рот, сильное тело. Откуда что бралось в такой хрупкости? Это стало похоже на борьбу.

— Нет, Таня, — сказал Петров. — Если это будет, то не сейчас, не так.

— Постойте, — она не отпускала его. — Я так хочу...

— Нет, — сказал он. — Я не стану вором.

— Зачем вы это говорите? Я же сама...

— Ночь кончится, я уйду, уеду!..

Она поцеловала его как-то иначе: благодарно, что ли?

— Все равно я вас не выпущу.

— Но вам тяжело.

— Нет, и теперь замолчите.

Он почувствовал влагу на ее лице, она плакала бесшумно, одними глазами. Но капкана рук так и не разомкнула, и он слышал в себе движение крови, ощущал каждый сосудик, каждый нерв, ему открылось, что человек лишь в ничтожной мере живет своим телом, может, сотой долей его восприимчивости.

А потом было утро и возникшее еще в полумраке пробуждения чувство, что ее нет ни рядом, ни в комнате, ни в квартире. Дух отлетел, остались голые стены. Так и оказалось. Она прибрала за собой все, что можно было прибрать, не мешая его сну: свою подушку, ворох какого-то тряпья, заменявшего тюфяк, шинель, служившую добавочным одеялом. Она не употребляла косметики, на его коже не сохранилось даже слабого аромата. Она полностью освободила его от себя, чтобы он не чувствовал ни обязательств, ни сожалений, ничего из обременяющих тягостей, какими люди так охотно награждают друг друга и за малое сближение. Она покинула его свободным и легким, это было ее высшим даром.

Он поднялся и пошел в ванну. Душ не работал, и полуголый Игорек, покряхтывая, мылся холодной водой над фарфоровой раковиной умывальника.

— Как успехи? — спросил он, звучно шлепая себя ладонью по груди и плечам.

— Какие успехи? — не понял Петров, а когда понял, как-то бессильно разозлился. — Вы в своем уме? У нас не те отношения. — И чтобы прекратить дальнейшие расспросы, поздравил Игорька с прекрасной ночью.

— Пустой номер, — уныло вздохнул тот.

— А я думал, что у вас старая любовь.

— Любовь первоклассников. Она боится слух потерять.

Он пустил Петрова к умывальнику, а сам стал растираться серым вафельным полотенцем.

— Не нравится мне все это, — проворчал он с кислым, недовольным видом неудовлетворенного и непроспавшегося человека.

— О чем вы?

— Откуда вся эта жратва?.. По карточкам не получишь, на рынке не купить.

— Куда вы гнете? — Петров поднял мокрое лицо.

— Никуда не гну, — нахмурился Игорек. — Только мне, например, хоть лопни, сардинок не достать. Конечно, у меня нет таких ножек, как у Танечки.

По-настоящему способно взбесить лишь подозрение, содержащее хоть тень правды. Но Петрову было известно неизвестное Игорьку, и порыв к расправе минул, едва возник. Он сказал насмешливо:

— То-то вам кусок в горло не шел!.. Смотрю, не ест человек, не пьет!..

У Игорька было повышенное чувство опасности. Он ничего не сказал и ретировался. Когда через несколько минут Петров вышел из ванны, Игорька и след простыл. Большая печальная Инесса налила Петрову стакан спитого чая, подвинула тарелку с засохшим сыром. У нее действительно был необыкновенный слух, сквозь толстую стену и шум льющейся из крана воды она услышала их разговор.

— Хорошо, что вы не дали ему в морду, — сказала она. — Тане было бы неприятно. Он неплохой парень... на фоне того, что осталось. Но дурак, знаете такую птицу? Танька по донорской книжке отоварилась. Она за неделю два раза кровь сдала.

— А разве так можно? — В минуты растерянности человек нередко цепляется за чепуху.

— Все можно, когда хочешь.

Значит, они пили Танину кровь, заедая Таниной кровью. Алой кровью тоненьких сосудов, из тихого сердца, чей слабый стук слышал сегодня ночью. Он вдруг понял, что душа имеет форму тела, не к физическому горлу, а к горлу души подступил комок.

— Да, — сказал он. — "Не спрошу тебя, какой ценой куплены твои масла". А надо бы спросить! Когда война, слишком многому цена — кровь.

— Только не продавайте меня, — почти жалобно попросила Инесса. — А то мне хана. Я без Таньки загнусь. — И, заметив удивленный взгляд Петрова, сказала: — А кто у меня есть? Отец погиб, мать хуже маленькой и еще две сеструхи. И все это хозяйство — на моих ушах. Конечно, я за слух боюсь... я за всю себя боюсь — на мне трое, и пусть Игорек дуру из меня не делает... А Танька — золото! — И тут же, спохватившись, предупреждая расспросы, добавила: — О Таньке — только с ней самой. Я и так лишнего наболтала. Меня этот дурак своим паскудством завел. Ладно, пора идти, может, еще встретимся когда...

Нет, не встретились...

Наверное, несчастные, потерпевшие крушение, даже просто неуверенные в себе люди испускают некое скорбное излучение, позволяющее власть и силу имущим с ходу отказывать им. Человек и рта не открыл, он еще сохраняет лоск мучительной подготовки: бодрость, подтянутость, прямой взгляд, вежливо-уверенную улыбку, а уже сидящий за большим столом знает, что все это обман, перед ним неудачник, — незримые лучи сообщили это — и холодно решает: отказать. Сколько порогов обил Петров — и все даром. А после ночи возле Тани сразу устроил свою судьбу, даже не заходя в святая святых начальственных кабинетов, а прямо в пропускной ПУРа.

Он разговорился с фронтовым бригадным комиссаром в роскошной, тонкого сукна шинельной шубе с барашковым воротником и в барашковой кубанке на крупной, красивой голове. Тот оказался начальником отдела агитации и пропаганды Политуправления одного из северных фронтов. Почти вся армия, а тем более высший комсостав, уже перешли на погоны, а этот бригадный обнаружил трогательное пристрастие к ромбикам. Видимо, при переаттестации ему не светило звание генерал-майора и не хотелось возвращаться к давно преодоленному полковничьему чину, и вот он и "донашивал" старые знаки различия. По причине той же ущемленности ему нравилось разыгрывать из

себя Гарун аль-Рашида. Услышав о делах Петрова, он хлопнул себя по лбу: "В нашей фронтовой газете искали литсотрудника. Я вас забираю". Угадав слабинку бригадного комиссара, Петров разыграл деликатное недоверие в возможность такого чуда — ему сейчас все давалось легко — и в результате уже вечером получил предписание: "Убыть по месту назначения". Бригадный сказал, что забирает его с собой. Он возвращался на фронт на своей "эмке", во главе целой колонны спецмашин: радиопередвижки и двух походных типографий. Выезжали через день, на рассвете.

В канун отъезда Петров забежал к Тане, с трудом отыскав ее квартиру. Ему открыла старообразная, хотя, наверное, вовсе на старая годами женщина в кофточке с эмалевой брошкой и военной безрукавке, в плиссированной юбке и валенках.

— Можно Таню?

— Какую еще Таню? — недовольно спросила женщина, глянув через плечо Петрова, словно ожидала, что главное скрывается за ним.

— Ну, Таню, студентку, — он вдруг обнаружил, что не знает Таниной фамилии. — Я — Петров.

— Будь здоров, Иван Петров! — Женщина громко засмеялась.

При всей чудине и нелюбезности в ней была какая-то симпатичность. Да это тетя Голубушка! Тут он сообразил, что сдержанная Таня едва ли сообщила родным о его существовании.

— Простите, вы не тетя Голубушка?

— Ну а хоть бы?.. — насупилась та.

— Передайте, пожалуйста, Тане, что приходил Петров... Разрешите, я лучше напишу.

В квартиру тетя Голубушка его не пустила, и он написал коротенькую записку на клочке бумаги, положив под него командирскую сумку. Он понял, что тетя Голубушка непременно прочтет записку, и был краток: "Таня, я уезжаю во фронтовую газету. Спасибо вам за все. Вы меня

снова вытащили из воды". Оттого, что листок лежал на шершавой поверхности дерматина, почерк получился с "дражементом". Тетя Голубушка взяла записку с видимой неохотой и сомнением, но с тайным любопытством, будто судебную повестку для передачи соседу. Ну вот и все.

— До свидания, тетя Голубушка!

— Будь здоров, Иван Петров! — снова засмеялась она.

Когда он следующий раз, через несколько лет, пришел к этому дому, там была строительная площадка. Строился жилой комплекс и кафе "Ли́ра".

Как же так получилось? Сейчас, за баранкой своего "газика", пятидесятидвуухлетний Петров не мог постичь, как выпустил он из рук эту теплую, доверчиво отдававшуюся ему жизнь. А между тем было бы куда как странно, если бы эта встреча вылилась во что-то большее. Ведь он любил не Таню, а Нину, любил и ненавидел и думал о ней постоянно, а о Тане лишь вспоминал с нежностью, как о чем-то почти пригрезившемся. А потом ему и вовсе стало казаться, что неожиданную, странную, щемяще милую и грустную встречу он просто выдумал, взяв за основу грубую и плоскую реальность дней войны.

Неся свою скучную, не героическую службу — бесконечная правка рукописей в тесном купе поезда, в котором размещались редакция и типография фронтовой газеты, — он был поглощен одной мыслью — вернуться на войну. Ни черта не получалось: нога не пустила, медицинская комиссия упрямо стояла на своем — нестроевик. Он и до простых журналистских поездок на фронт дорвался лишь в самом конце войны. Грамотный литправщик был газете куда нужнее, чем сборщик фронтовых новостей. А еще приходилось заменять выпускающего, корректора, ответственного секретаря — вот какие амбразуры выпало ему затыкать. Каждому свое.

По окончании войны его сразу демобилизовали, и он вернулся в институт. Он так прочно все забыл, что пошел на второй, а не на третий курс. Трудная, в отвычку, учеба,

болезнь и смерть матери, студенческая нужда привыкшего к армейской сытости и безопасности человека. Тишинский рынок, где с плеч загонялась полученная по ордеру женская шуба, практика, поездки в колхоз на картошку, библиотека, зачеты, экзамены, вечные поиски заработка, и в общем, при всех бытовых сложностях, отличнейшая и не дающая опомниться институтская жизнь позволила затянуться ранам и потускнеть воспоминаниям, в том числе и дорогим.

Что же, он совсем забыл Таню и никогда не мелькало в нем желание увидеть ее? Мелькало, да и не только мелькало, иной раз прямо за горло брало... Но притащиться к ней полуголодным студентом не первой молодости, донашивающим старый китель? Нет! В третий раз — он же верил в магию чисел — надо явиться к ней на белом коне удачи. Но до удачи путь долог, и платить за нее слишком дорого. К середине жизненного пути, когда окончательно формируется личность и определяется судьба, человек вообще отмечает все расслабляющее, тянущее его в сторону от поставленной цели, — если, конечно, есть цель, — наиболее далеко отступает от детства и юности, от своих добрых истоков. Вот тогда он и докатился до того, что память о Тане стал считать памятью мнимой.

А потом, когда начинаешь мысленно собирать утраченное время, прошлое обретает новую ценность; чувствуя себя достаточно твердо в настоящем, хочешь опереть себя и о бывшее. Происходит переоценка ценностей, все возвращается в свой чин: "То, что было всего мне дороже, по заслугам дороже всего". Вот тогда и понесло его на Большую Бронную. Столь желанного когда-то ощущения удачи не было, хотя удача, наверно, была. Во всяком случае, не было душевного нищенства, необходимости ухватиться жестом утопающего за тонкую и сильную руку. Точно ли не было?.. Выяснить это не удалось. На месте старого дома высокие краны с мигающими самолетными огоньками вверху наращивали кладку стен. Принесло его на пепелище военной

юности и с легким вздохом сожаления понесло дальше, в продолжение жизни.

И в той жизни у него хватило времени на все: часами гонять шары в душном полуподвале, воняющем папиросным дымом, пылью и мужским потом, сидеть в орущей толпе на футбольных матчах, ходить на концерты и выставки только потому, что все идут, равно, впрочем, и на то, чтоб жадно, со вкусом писать, интересно и трудно путешествовать, охотиться, ловить рыбу, играть с дочерью и разговаривать с сыном о книгах, встречаться с отличными людьми и славными женщинами, вручать душу великой поэзии, не просто любить литературу и искусство, а иметь там вечных спутников, удивляться заре и закату, звездному небу и неиссякаемости человеческого в человеке. Не стало у него времени лишь на то, чтоб найти Таню по еще живым следам ее дома. Ведь знал же кто-нибудь из тех, кто сломал и снес этот дом, куда девались населявшие его люди. Неужели ему не хотелось увидеть Таню хоть из простого любопытства, ну хоть из чувства благодарности?

Он догадывался об искусственности таких мыслей. У него не могло быть к Тане простого любопытства, а из благодарности ничего не делается на свете. И сейчас им владела вовсе на благодарность: он вспомнил невесомость ее головы, легкость и крепость долгого тела, нежность дыхания, трогавшего ему щеку, тихий стукоток ее обескровленного сердечка и проблескивающий темноту опущенный глаз. Лучше этого ничего не было в жизни. Ни к чему тут и сравнительная степень, просто ничего не было, кроме этого, а он обронил свою единственную ценность и даже не оглянулся. Чтобы начать искать Таню, нужно такое вот безвыходное чувство, но к этому надо было прийти.

Поиск начался неудачно, он даже не нашел переулка, а еще надо было узнать дом, и чтоб в доме том по-прежнему жил Игорек. Укротил ли он своего пугливого и строптивного кентавра? Петров знал, что нельзя искать Таню посредством каких-то смутных, но, конечно же, существующих

административных способов, скажем, с помощью старых домовых книг, верно, сохранившихся в затхлых архивных подвалах. Гибнут высшие ценности человечества: картины, скульптуры, дивные здания, легче всего книги — целыми библиотеками, но архивная бытовая дрянь матерински сохраняется государством при всех катаклизмах. Ну пусть он преуспеет и получит из ледяных пальцев подвальной феи нужную справку, куда переселили жильцов дома по Большой Бронной, — дальше будет легче идти по следу, но какую Таню обретет он в конце этого справочного пути. Из канцелярщины сказки не возникают. Он должен найти ее так, как нашел далеким февральским днем, когда она воробьем родилась из морозно-синеющего воздуха. Тогда ему было плохо, и она явилась. Сейчас ему тоже плохо, пусть по-другому, но это дает надежду, что она откликнется. Горько, что у них так мало времени впереди. Таня тоже старая, ей под пятьдесят, а это уже не бабье лето, а глубокая осень. Боже мой, Боже, куда ушло время?..

Теперь он что ни день плутал по кривым, потаенным переулкам на задах консерватории. Ходил, конечно, пешком, из машины призрак не увидишь.

И наконец он выходил свой переулок среди таких же, схожих между собой, серых, извилистых, сокровенных переулков, переплетающихся возле улицы Герцена. И в этом переулке облюбовал старый желтый дом с мезонином и глубокой подворотней с заворотом на другом конце, делающем ее непроглядной. Но что-то мешало ему подняться по темной узкой лестнице, видимой в распахе единственного парадного. То ли неуверенность в сделанном выборе, то ли отсутствие какого-то ободряющего знака, то ли боязнь ошибки, разочарования?.. Он решил не торопить событий...

И все это время он испытывал странный молодой подъем, прекращавшийся лишь ночью в бессоннице, какой он не знал с госпитальной поры, но тогда он не спал от боли, а сейчас невесть от чего. Он ложился со сладостной надеждой на ожидающее его утро, когда можно будет сно-

ва начать жить, работать, думать о Тане и о том, что сегодня переулочек откроет ему свой простой секрет, ведь даже маленькая зеленая калитка, укрытая в стене, явилась настойчиво и страстно искавшему ее человеку, а тут целый дом, пусть и невеличка по нынешним высотным временам. Его начинала укачивать дремотная зыбь, и вдруг разом чья-то грубая рука хватала за шкуру и вбрасывала в бесцельную явь. В эти ночные пустые часы ему не думалось, не вспоминалось, не любилось. Сердца не было, но он все-таки жил, будто по инерции, затем, поняв, что разгона еще надолго хватит, успокаивался, засыпал и просыпался опять счастливым.

Настал день, когда он утратил осмотрительность и со своей стороны. Какой-то дядя в дамском меховом жакете поверх ночной сорочки выскочил из подворотни облюбованного Петровым дома и кинулся к нему: "А вам чего, гражданин, тут надобно?"

Ну вот, тогда милиционер, теперь этот доброхот!.. До чего же подчинена наша жизнь строгой дисциплине реальности, если безобидные попытки прорваться в страну прошлого вызывают столь неукоснительный отпор! "А вам-то какое дело?" — сказал Петров, отлично зная, что недреманному оку обывателя до всего есть дело и человек в дамской жакетке осуществляет сейчас высшее назначение гражданина — бдительность. Ну конечно, этот дядя давно его приметил: "Вы тут что ни день слоняетесь, высматриваете и вынюхиваете..." А разве тут запретная зона, разве улицы не принадлежат всем прохожим в равной мере? И еще какие-то справедливые и ничего не стоящие слова произносил Петров, сам зная их тщетность.

— Документы! — потребовал доброхот порядка.

И хотя это было сказано обычным, даже пониженным, деловым тоном, магическое слово разнеслось громом по переулочку, мгновенно собрав вокруг них толпу.

— Что вы ко мне привязались? — сказал Петров, оценивая взглядом сухопарую фигуру противника.

— Предъявите документы!

— А на каком основании? Кто вы такой? — Не надо было этого говорить. Неужели он сразу не понял, что апломб доброхота имеет пусть шаткие, но достаточные для причинения малых неприятностей основания. Так редко стали люди, не способные хоть как-то угнетать себе подобных. Петров был одним из этих немногих, безоружных. Доброхот немедленно извлек из штанов какую-то книжечку. Он не успел надеть шапку, напялил второпях женину жакетку, но свидетельства своей власти не забыл. "Таня, Таня, зачем ты оставила меня..." Петров еще пытался сохранить чувство собственного достоинства, а между тем народ не безмолвствовал. Какая-то тетка криливо подтверждала, что уже видела его здесь, другие вспоминали загадочного квартирного убийцу Ионесеяна, кто-то советовал послать за милиционером. "Вон где аукнулось, а где откликнулось!" — с грустью подумал Петров, оглядывая странно искажившиеся лица своих тихих земляков.

— Не понимаю, чего вы распетушились... Я ищу дом, в котором был раз после войны. Там жил мой знакомый...

— Ладно, ладно, документы!..

И тут душный ужас толкнулся в сердце. Скорее вон отсюда, из замкнутого пространства подозрительности.

— Вот.— Он протянул доброхоту свой паспорт. — А это пропуск в Дом ученых, — добавил он, окончательно сдаваясь на милость победителей.

Каждый старался заглянуть в паспорт, который неуклюже, но внимательно обследовал доброхот порядка. И вдруг какой-то подросток с коньками под мышкой спросил:

— Это вы книжку про Шлимана написали?

— Я, — сказал Петров.

— "Сокровища Тутанхамона" тоже ваша?

— Да.

Парнишка присвистнул.

— А чего вы сейчас пишете?

Доброхот в жакетке умел быстро оценивать положение, сам он едва ли читал эти книжки, но сразу все понял.

— Пожалуйста, товарищ Петров, — сказал он, возвращая паспорт (на пропуск Дома ученых он даже не взглянул). — Все в порядке. Так чем могу быть полезен? — Словно Петров обращался к нему за помощью.

Петров знал, что толка не будет, да и не хотелось ему никакой помощи ни от кого. Окружающие только что хотели линчевать незнакомца, а теперь с той же энергией пытались помочь ему. После бурной сцены выяснилось, что никто из собравшихся Игорька не знает. Зато у каждого нашелся бесценный совет, как вести поиски. Затем его с почетом отпустили, а любознательный паренек с коньками даже проводил до автобусной остановки.

Больше в переулок на задах консерватории Петров не заглядывал, и наваждение прошлого оставило его на какое-то время. А затем вернулось глухой, безысходной сердечной тоской.

Однажды, не сладив с чем-то в себе, он зашел к жене. Она встретила его сдержанно-настороженно. Уже раскаиваясь в своей слабости, он все же попытался рассказать ей о странной власти захватившего его воспоминания.

— Что со мной?.. Какой-то перелом?.. Старость или, наоборот, обновление?

— Это, несомненно, склероз, — сказала жена убежденно. — Ты давление давно не проверял?

— Да при чем тут давление?.. Я хочу понять, что мне делать?

— Пойти к хорошему врачу. И немедленно бросить курить.

Он осторожно прикрыл за собой дверь. Попытка доверия не удалась. Он прошел в темный кабинет, щелкнул выключателем и сразу погасил свет, чтобы вернуть ночное звездное небо за окнами. Хорошо жить на десятом этаже, на самом краю города. Под ним было Царицыно и темные руины баженовского дворца в окружении темных деревь-

ев. Малые неудобства отдаленности с лихвой окупаются тем, что всегда видишь небо со всеми его огнями и вот такой переливающейся в самой себе, с острыми, частыми лучиками звездочкой, заглядывающей к нему в окно. Звездочка была пушиста, как Танин глаз.

Я должен искать ее, думал Петров, но не так, как делал это до сих пор. Эти мои поиски смешны и глупы. Прежней Тани уже не существует, а той, что есть, я не нужен. Все равно, прервал он ход своих размышлений, если б я встретил немолодую, усталую и вовсе не красивую женщину, бывшую некогда моей Таней, то кинулся бы седой башкой ей в колени, и ничего больше не надо. Но я должен искать ее без всякой надежды встретить. Искать в других, в моем угрюмом, прекрасном сыне, в отделившейся дочери; и пусть жена чужда мне, я все же не откажу и ей в зоркости; искать в каждом человеке и в себе самом, прежде всего в себе самом искать этот свет, делающий жизнь драгоценной. Я больше не боюсь старости, пусть приходит, если еще не пришла, я готов соответствовать ее целям и достоинству. Я знаю теперь, старость — не остановка, не начало конца, а новая ступень ракеты, летящей в неведомое нам, вон к той пушистой звезде...

Он прожил несколько удивительных, взволнованных дней, жадно вглядываясь в человеческие лица. Не беда, что он читал на них чаще всего равнодушие, озабоченность, хмурую отчужденность, но, случалось, и воодушевление, остающееся для него тайным. Он знал, что нужно терпение, а чудо явится, не может не явиться.

Чудо явилось куда раньше, нежели он ожидал. Ночью, после того как он долго не мог уснуть, не то чтобы встревоженный, но как-то сбитый с толку беспорядком в грудной клетке: сердце то обрывалось, то колотилось оглушающе громко в плече, горле, виске — какой сон в таком шуме! — то замирало и почти вовсе останавливалось — пойдя усни в такой зловещей тишине! — в измотавшей его дурманом

яви, он почувствовал рядом с собой долгое прохладное тело, и легкая нежная голова прилегла ему на локтевой сгиб, и без удивления, с мгновенной готовностью к счастью, он понял, что Таня наконец пришла. И он принял как должное, что приходится расплачиваться за это разрывной болью под черепной крышкой и таким стеснением в груди, что едва не выпустил Таню из рук. Но все-таки не выпустил и держал ее до последнего мига так просто покинувшей его жизни.

Он умер от инфаркта и инсульта, происшедших одновременно. Жена была права, но добрый совет ее все равно опоздал. Вскрытие показало, что сосуды были вконец изношены, а сердце так произвестковалось, что стало как стеклянное.

Сын, героически боровшийся со слезами, и почти преуспевший в этом, и обретший в своей победе чувство превосходства над матерью и сестрой, услышав образное выражение диагноза, сказал почти надменно:

— Стеклянное сердце?.. Что же, оно звенело?

— Да, — с далекой улыбкой отозвалась мать. — Только мы не слышали.

Кунгурцев был из тех кряжистых сибиряков, которые любому шуму, суматохе и безобразию внешней жизни умеют противопоставить собственный прочный порядок. И наружность его находилась в полной гармонии с внутренней сутью: крупная, вросшая в плечи голова, литое, негнущееся тело с выпирающей мощной грудью. И все же этот кряж едва не пал духом, хотя дело было сугубо частное, неспособное отбросить даже малой тени на мироздание. Впервые Путятин приехал к нему погостить с новой женой. Алеша Путятин был лучшим и любимейшим другом Кунгурцева. Да нет, так не бывает, вернее, бывает только в романах — несколько друзей, спаянных не на жизнь, а на смерть. В действительности у человека может быть лишь один Друг, тот, за которого в огонь и на плаху, с которым сросся кровью, все другие друзья, если они есть, в лучшем случае — хорошие товарищи, но часто святое слово "друг" расходуется на случайных приятелей и просто собутыльников. А Путя был настоящий друг, хотя их отношения не проходили испытаний ни войной, ни взаимовыручкой в чем-то большем, чем одолжить деньги на машину или достать редкое лекарство. Но то и дорого! "Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним" — тут корень трагедии Отелло. Любить можно лишь ни за что, а если за что-то, это уже другое чувство, тоже по-своему ценное и достойное, но нет в нем обреченности, безоглядности и бескорыстия истинной любви. Сказанное относится и к дружбе. Ты вынес меня из огня, я уступил тебе любимую женщину — мы друзья навек. Чепуха! Не надо путать дружбу ни с благодарностью, ни с чувством долга. Дружба — это когда

с человеком хорошо просто так, когда исключено всякое насилие (требовательная дружба — фальшивый вымысел назидательной литературы), дружба — это счастье.

В Алеше Путятине Кунгурцеву нравилось все: саженный рост, здоровая худоба, блеск темно-карих глаз, низковатый переливчатый голос, мгновенность отклика на любое впечатление. Хорошо заряженный на жизнь, сильный и свежий человек, прекрасный охотник и рыболов, знает тайгу, как родной дом, а то, что он еще и видный специалист, главный инженер крупнейшего алюминиевого завода, было его личным делом. Кунгурцева больше радовало, как он режет мясо, пьет водку, смеется, рубит сучья, складывает шалаш или костер, горланит песни, а порой уходит в себя, в свою серьезность и тишину, и глаза становятся далекими-далекими.

Замечательно, когда у тебя есть друг, но совсем здорово, если друг и его жена приняты как родные в твоей семье. Такое бывает далеко не всегда. Понятно, что для трех юных Кунгурцевых дядя Леша был первым человеком: у него лучшая охотничья собака в мире (шестилетний курцхар, золотой медалист), собственная "Волга" (отец и "жигуленка" не удосужился приобрести), бельгийский карабин (у отца старая отечественная "ижевка"), он знает приемы самбо и гимнастику йогов. Но вот Марье Петровне при ее резком, колючем характере вовсе не обязательно было принять в душу Путятиных. А ведь приняла, да еще как приняла! С появлением Путятиных она разом убирала свои иголки, бархатной становилась. Правда, Липочку (так звали жену Путятинина все, даже мальчишки) трудно было не полюбить. Добрая-предобрая великанша, чрезмерная во всем (ростом в верзилу мужа, но куда шире в обхвате, с зычным голосом, перекрывавшим любое шумное застолье), всегда веселая и неутомимая, она больше всего любила быть нужной, полезной людям. При Липочке окружающие мгновенно освобождались "для звуков сладких и молитв", а все "житейское волнение" она брала на себя.

Когда она появлялась в доме Кунгурцевых, кухня, холодильник, погреб и все закрома немедля и молчаливо передавались в ее ведение. Она обожала кухарить, украшать стол, обихаживать гостей, это была ее стихия, область ее таланта.

Марья Петровна, кроме своей медицины, знать ничего не хотела. Она была заведующей и ведущим хирургом большой поселковой больницы, самые сложные полостные операции брала на себя и справедливо гордилась, что к ней привозили больных даже из областного города. Она была хирургом Божьей милостью и волевым организмом, но так выматывалась на работе, что для дома у нее просто не хватало сил. Да и не было у нее к этому влечения. Хозяйничала ее хлопотливая, услужливая и бестолковая от старости мать. С приездом Липочки довольно нескладный быт Кунгурцевых расцветал. Лепились пельмени, которых Кунгурцев мог умять без счета, но все же не больше худого и ненасытного Пути — как только умещалось столько теста и мяса в его плоском животе? — пеклись пироги с грибами, рыбой, капустой, яблоками, черникой, смородиной, настаивалась водка на разных травах и ягодах, варились бражка и прохладительное питье из черемухи, извлекались на свет красивая посуда и столовое серебро — приданое Марьи Петровны — и всегда приглашались гости, грешно было одним наслаждаться такой красотницей.

Была еще одна причина, делавшая для Кунгурцевых субботние приезды Путятинных столь желанными, а приезжали они чуть не каждую неделю, ибо жили в каких-нибудь полутораста километрах. Ублагодаренная вкусной и сытной едой — в будние дни ходила голодная, не успевая за всеми делами не то что пообедать в столовой, а чашки пустого чая выпить, взбодренная рюмкой-другой настойки, а главное, отдохнувшая в полной раскрепощенности от всех хлопот, Марья Петровна вспоминала о своей женской сути и не отталкивала настырного, но покинутого мужа, как это случалось в остальные дни недели. Два дня полного счастья, дарованного Липочкиными заботами, как бы приближали ее к тем тайнам, куда нет дос-

тупа посторонним. И это большая, по-своему привлекательная женщина — ее немного старили серые от просола седины, коротко стриженные волосы — как-то странно и нежно сливалась для Кунгурцева с Марьей Петровной.

И вдруг как обухом по голове известие: Путя расстался с Липочкой и женился на другой. Когда он успел, где откопал эту новенькую, как мог решиться на разрыв с Липочкой, прожив с ней столько лет в любви, счастье и согласии, почему не посоветовался с друзьями и как сумел ничем себя не выдать? — мучительное недоумение ломило крепкую голову Кунгурцева.

Марья Петровна отнеслась к событию проще: "Нашел молоденькую. Все вы кобели хорошие!" Последнее замечание было вовсе ни к чему, но ей хотелось выплюнуть горечь, и Кунгурцев промолчал.

Картина еще более замутилась, когда Путятин привез молодую жену знакомиться. Вернее сказать, он заглянул к Кунгурцевым на минуту по пути в Ангарск, где они должны были забрать дочь Веры Дмитриевны. Кунгурцев решил, что Путя нарочно соединил два дела в одно, чтобы не затягивать визит и снять налет торжественности. Он считал себя обязанным представить жену старым друзьям, но то ли не чаял особых радостей от этого знакомства, то ли не знал, как себя держать, боялся расспросов о Липочке и заторопился в отъезд, едва они переступили порог дома и обменялись первыми приветствиями.

Все чувствовали себя скованно, напряженно и неудобно, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы разрядить атмосферу. Ребят уже услали под каким-то наспех придуманным предлогом, а бабушку закупорили на кухне, равно опасаясь невинной прямоты юности и промахов старости. Естественнее других держалась Вера Дмитриевна, новая жена Пути, она, собственно, никак не держалась, будто происходящее ничуть ее не затрагивало. В ней не было ни смущения, ни вызова, ни заинтересованности, ни подчеркнутого равнодушия, и главное — не было желания распо-

ложить к себе. И она вовсе не была так уж молода: лет тридцати семи-восьми. Усталые глаза, и на висках гусиные лапки, большой рот с опущенными уголками молодец и расцветал в улыбке, но улыбалась она не часто. Лицо в покое скорее грустное, на юную соблазнительницу никак не похожа. И на сибирячку тоже: темные волосы, карие глаза под устало приспущенными веками казались вовсе черными и светлели лишь в отпахе ресниц, смуглая матовая кожа, статью хрупкая, но на крепких, мускулистых ногах. "Вы откуда родом?" — спросил Кунгурцев женщину. "Волжанка". — "А в наших краях давно?" — "В ваших местах, — она улыбнулась, — пожалуй, всю жизнь. Родители — сибиряки. Отец военный был, служил в Саратове. А после войны вернулся со всей семьей в Иркутск". Выходит, она все-таки сибирячка, но Кунгурцеву не хотелось этого признавать. Ни мастью, ни статью, ни повадкой не совпала она с любезным его сердцу образом. Да росточком не вышла. Она была среднего женского роста, но рядом с мужем и четой кунгурцевых казалась маленькой. Не то что Липочка — правофланговая этой великаньей рати. "Вот и распалась наша богатырская четверка", — с грустью думал Кунгурцев, будто о главной потере.

Путя был так беспокоен, странен и тяжел, что Кунгурцев впервые обрадовался его отъезду. "Да, да, — говорил он, — поезжайте, иначе засветло не обернетесь". Похоже, Веру Дмитриевну обрадовало, что их не стали удерживать. "Волнуюсь, старик, — доверительно шепнул Путя Кунгурцеву, — сроду отцом не был", чем дал новое направление мыслям друга. Сильное чрево Липочки почему-то так и не дало жизни новому существу, хотя кто знает, чья это вина. И может, в дочери, а не в матери оказалась для Пути главная притягательная сила? Несостоявшееся отцовство в нем заныло. Доверие Пути помогло Кунгурцеву осуществить намерение, от которого он чуть было не отказался по слабости духа. Под каким-то предлогом он втокнул его в кабинет. "Что с Липочкой? Где она? Не нужно ли ей чего?" Путя ответил со

злостью, но то была хорошая злость: "Плохо ей, сам, что ли, не понимаешь? Уехала к сестре в Томск. Пойдет работать. Сказала, так ей легче. Она сама все решила, и свой уход тоже". — "Еще бы! Накотовал, а она... она..." — Кунгурцев задохнулся. Путя глянул спокойно и холодно: "Чего не было, того не было" — и вышел из кабинета.

Когда Путятины уехали, Кунгурцев поделился с женой своими наблюдениями. "Не знаю, ничего не знаю, да и знать не хочу! — отмахнулась она. — Я люблю Липочку, а эту не привечу никогда!" — "Мне она тоже не показалась, — сказал Кунгурцев. — Какая-то холодная, отчужденная, я таким не верю. Пропал Путя, ох пропал!" — "Да нет, — сказала Марья Петровна, — она не злодейка". Простое это замечание произвело громадное впечатление на Кунгурцева. Он ждал, что Марья Петровна разделает Путину жену под орех. Его ничуть не удивило бы, услышав он о молчаливой женщине с усталыми глазами и грустным ртом: "Проходимка! Чтобы ноги ее здесь не было!" Но Марья Петровна при всей своей неприязни удостоверила ее доброкачественность. А это означало, что отношения семей могут продолжаться. Конечно, их дружба с Путей выдержит любое испытание, но встречаться им стало бы ох как трудно! Так могло случиться, и он не подумал бы разубеждать жену, безоговорочно подчиняясь ее оценкам. Он разбирался в деловых качествах человека, нравственная же суть нередко ускользала от него.

Но теперь он решил возобновить обычай ежесубботних встреч, тем более что на него свалилась неожиданная напасть и Путя мог оказаться полезен. Позвонил секретарь обкома и попросил принять группу кинематографистов, снимающих большой фильм о Восточной Сибири. Секретарь назвал имя главного киношника, добавив тоном, исключающим возражения: "Слышал, конечно?" Кунгурцев, не разобравший имени, пробормотал: "Что я, дикарь какой?" — "Значит, чувствуешь, кого к тебе посылают?" — возликовал секретарь. После этого уже не имело смысла спрашивать, почему именно он, Кунгурцев, должен принять великого киношника в свой вы-

ходной день, пожертвовать ему еще и воскресенье, поить, кормить, ублажать, лелеять и, главное, дать почувствовать, что такое Сибирь и сибиряки!..

Кунгурцев был директором завода абразивов, самого большого в Сибири. Этот завод, возникший еще до революции у залежей корунда и выросший с пятилетками до предприятия союзного значения, собрал вокруг себя поселок, уже претендующий на статус города. Избяной центр с горластыми петухами, кривыми огородами и коричневыми старухами на завалинках обрастал кварталами многоэтажных домов, где разместились магазины, парикмахерские, пошивочные, кинотеатры, учебные заведения, детские сады и ясли.

Завод царил над местностью. Из-за него на железной дороге, протянувшейся через всю страну, возникла станция, и асфальтированное шоссе соединило станцию с поселком, и другие дороги — бетонные и грунтовые — побежали во все стороны света от заводских ворот; из-за него ощерились крыши телевизионными антеннами, афиши оповещали о приезде столичных гастролеров, строились стадион и плавательный бассейн. Перестань завод существовать — и всякая жизнь тут захирела бы, а затем и вовсе покинула скудные, не родящие хлеб земли.

Понятно, что директор завода был царем и богом пространств, над которыми растекались дымы заводских труб. В его владения входила прозрачная, быстрая, холодящая речка со старицей, делившей город надвое, островки, заросшие дикой смородиной, пойменные луга, голубеющие незабудками, тайга, полная по опушкам грибов, а в крепях — рябчиков, забитые черемухой овраги и балки. Кому же, как не ему, принять и потешить суровыми сибирскими радостями знатного гостя!

И тут у Кунгурцева возник хитроумный замысел. Киношник приедет из Иркутска электричкой, встречать его надо машиной. И для пикника с ночевкой у костра необходима машина. Выходит, шоферу его персональной ма-

шины придется работать в субботу и воскресенье. Он, конечно, даст ему отгул или оплатит сверхурочные, как тому будет угодно, но никогда еще не пользовался директор машиной для личных нужд. Правда, ему вроде бы партийное поручение дано, но все равно неловко. А Путя рад каждой возможности лишний раз покрутить баранку. Сколько лет водит, три машины сменил, а жадность к рулю как у начинающего. Коли живет в человеке извозчик, то, какой бы пост он ни занимал, настоящая радость — погонять своих залетистых. Зовя Путю на помощь, а не просто в гости, он чувствовал себя словно бы менее виноватым перед Липочкой. К тому же Путя нужен не только как водитель, но и как хороший сотрапезник, сам Кунгурцев молчуньей породы, да и в кино ни черта не смыслит.

Все эти соображения он изложил Марье Петровне. "Что ты крутишь, — усмехнулась она. — Хочешь увидеть Путю, ну и зови на здоровье". Но все-таки, позвонив Путе, который обрадовался до смерти и понес восторженную чушь, Кунгурцев заменил приглашение просьбой выручить. Путя сразу сник, решив, что зовут его одного на предмет обслуживания московских гостей. "Не беспокойся, старик, все будет сделано", — сказал он погасшим голосом. Тут Кунгурцев понял, что перемудрил в своей преданности Липочке, но упорно придерживаясь окольных путей, сказал: "Учти, они приезжают в десять утра, их трое, — значит, тебе придется сперва заскочить к нам, а потом належке на станцию". — "Будет сделано! — счастливо вскричал Путя. — Закину своих дам — и к поезду. Жди нас в девять ноль-ноль. Обнимаю".

Нет, все-таки он неплохо придумал: избежал прямого приглашения Путиной жены, устранил неприятные акценты, не погрешил против Липочки и сразу включил Путю в свои заботы, что должно было поднять того морально: Кунгурцев был убежден, что Путя изнемогает под веригами больной совести.

Прибыл Путя, как всегда, вовремя, с женой, падчерицей и собакой, великолепным своим Ромкой. Кунгурцев и Ром-

ка, давно не видевшиеся, обрадовались друг другу до слез. На Ромкиной сизо-голубой короткой шерсти с коричневыми пятнами лежал отсвет былых безмятежных времен. Липочка в нем души не чаяла, но Ромка, настоящий охотник, а не домашняя забалованная тварь, признавал одного хозяина. Он и пищу принимал только из его рук и, чем бы ни был занят, всегда помнил о нем, подбегал и заглядывал в глаза, будто желая убедиться, так ли он себя ведет и нет ли каких распоряжений. Калечась на охоте, он лечился у Пути, лишь ему позволял осматривать ранки, выстригать лишнюю шерсть между подушечками лап, расчесывать шерсть, промывать глаза. Но при долгом отсутствии Пути он допускал заботы Липочки, только пищу не принимал от дикой тоски по хозяину, но воду пил, давал себя выгуливать и чистить щеткой, словно знал, что должен сохранять форму. И была у него милая привычка: нет-нет да лизнуть Липочке руку как бы в знак признания ее права находиться при них с хозяином. Каждый такой нежный, горячий лизок заставлял колыхаться от счастья крупное Липочкино тело. Сама умевшая безоглядно любить, она была благодарна за каждый добрый жест в ее сторону, независимо от кого этот жест исходил: взрослого человека, ребенка или бессловесной твари.

Кунгурцев сразу понял, что у новой хозяйки и ее дочери контакта с Ромкой не получилось. Вера Дмитриевна просто не замечала его, а девочка только нервировала собаку бесцельными демонстративными окриками. Олечка казалась много старше своих четырнадцати лет: высокая, смуглая, совсем сформировавшаяся и обещающая стать красавицей, она мало походила на мать, забрав, видимо, все лучшее у отца. В ее поведении неуверенность сплеталась с гонором. Когда кунгурцевские огольцы с воем любовной тоски накинулись на Ромку, и внимания не обратив на прекрасную незнакомку, она пренебрежительно дернула плечом, вскинула голову, красиво натянув профиль, и громко, утверждая свою власть хозяйки, крикнула: "Ромка, на место!" — и пес с несвойственным ему рабым припадением заполз под стол.

Этот окрик обратил братьев к гостю. И до чего же скоро старший и средний поняли, что главное чудо дня не их старый, брыластый, слюнявый золотоглазый шерстяной друг, а загадочная смуглая чужеземка, вдруг оказавшаяся дочерью дяди Леша. Только меньшой сохранил верность Ромке, но и тот в исходе дня, на реке, когда лесной костер простреливал искрами тьму, предложил Олечке бежать на БАМ.

Парни Кунгурцева являли собой три ипостаси человеческой сути: в старшем, огромном, могучем и вроде бы чуточку ошалелом от избытка силищи вырвидубе, торжествовала плоть; средний — при всех потугах подражать старшему брату, что запутывало его в тщету физического соперничества, — становился самим собой, когда замирал над какой-нибудь машиной, чертежом или загадкой органической жизни, он принадлежал царству мысли; в одиннадцатилетнем Вениамине этой семьи цвела душа. Он редко позволял братьям заманивать себя в их бесовские игрища, всегда был сам по себе, паря в надзвездных пределах и внимая музыке сфер; его отношения с людьми, вещами и явлениями были исполнены недоступной другим тонкости и тайны, он мог быть пронзительно жалок своей невмещаемостью в привычные земные мерки, а мог и раздражать, мелочь пузатая, высокомерной отчужденностью и, как повелось с библейских времен, был любим отцом с мучительной нежностью и страхом. Но и эта пребывающая в нетях душа предала Липочку, бессильная противостоять колдовству женских чар.

Вера Дмитриевна была к псу не просто не приметлива. Порой он подбегал и, слыша на ней запах хозяина, с коротким фырком поддевал носом ее руку, но она никак не отзывалась. Кунгурцев решил, что пес хочет пить.

— Мы забыли миску, — рассеянно сказала Вера Дмитриевна.

— Да есть у него тут миска! — вскричал Кунгурцев, подчеркнув, что Ромка свой человек в доме.

Но Вера Дмитриевна не пошевелилась. Кунгурцев принес ему воды, тот понюхал миску издали, но пить не стал.

— Не любите собак? — спросил Кунгурцев Веру Дмитриевну с какой-то неприятной улыбочкой.

— По правде говоря, не очень, — отозвалась она спокойно.

— И ваша дочь тоже?

— Я бы не сказала. Но ее испугала в раннем детстве большая собака. Она даже заикаться начала, и я водила ее к логопеду.

— Как можно не любить собак? Ведь собака — это лучшее из всего созданного человеком.

— Алеша тоже так считает. Мне это не кажется убедительным. Взяли прекрасного, естественного во всех повадках хищного зверя и превратили в подхалима, льстеца и раба. Чему тут умиляться? Но человек так самовлюблен...

— Подхалима, льстеца? — перебил Кунгурцев. — Посмотрели бы вы на сторожевых овчарок, какие это льстецы!

— О чем вы говорите? — сказала женщина укоризненно и брезгливо. — Это собаки концлагерей.

— Черт с ними! — покраснел Кунгурцев. — А охотничьи псы? Какой ум, какая преданность!..

— Преданность — опять же к выгоде человека. А ум? Просто чутье и натаскивание, так, кажется, это называется?

— А Ромка? — не слушал ее Кунгурцев. — Разве можно не любить Ромку, Ромулю, красавца, умницу?

Она пожала плечами:

— Прекрасный пес... У меня никогда не было собаки, ни в детстве, ни... потом. Наверное, надо привыкнуть их любить. — Это прозвучало примирительно.

"Ты не крутись, не крутись! — рычал про себя Кунгурцев. — Не по-сибирски это. Сказала, что не любишь собак, так уж стой на своем, не оправдывайся, не изворачивайся, не хитри!.."

— Может, вы вообще не любите животных?

Она опять пожала плечами, углы рта опустились.

— Жалко их...

— Я не о жалости говорю, — наседал Кунгурцев, чувствуя, что становится неприличен в своей настырности, но не в силах взять себя в руки.

— Да что ты пристал как банный лист? — разозлилась Марья Петровна. — Ну не любит! Успокоился? — И добавила со сложным выражением: — Она людей любит.

— Я не очень понимаю, что это значит, — тихо сказала Вера Дмитриевна. — Слишком уж отвлеченно.

— Поработали бы в больнице с мое, поняли бы!

— Возможно. Но я работала в канцелярии, и такого, как бы сказать... широкого чувства у меня не возникло. Люди разные, есть хорошие, есть плохие. Хотя что такое хороший человек? Для одних он хороший, а для других никуда не годится.

— Ну, так можно любое дело запутать, — сказал Кунгурцев.

Она явно имела в виду себя: вот, мол, для Путятина хороша, а для вас не очень-то. Разговор приобрел опасный оттенок.

— Ну а если вместо "люди" мы скажем "народ" — тогда все станет ясно? — сказал он, довольный своей находчивостью.

— Несомненно! — Она чуть улыбнулась. — Но, кажется, это обязательно лишь для вождей и героев, а среднему человеку можно обойтись узким кругом. Я очень люблю тех, кого люблю, и могу только пожалеть, что их мало. Ведь любить так приятно.

"А Липочка всех любила!" — подумал Кунгурцев, не заметив почти открытый насмешки последних ее слов. Зато от Марьи Петровны это не укрылось, и она властно положила конец спору.

— Ладно! Каждому свое. Любим мы людей или не любим, а на стол накрывать надо.

— Я тебе помогу, — сказал Кунгурцев. — Да и Вера Дмитриевна не откажется.

— Пожалуйста, — отозвалась та вежливо, но без горячности.

— Хозяйничать не по вашей части? — осведомился Кунгурцев.

— По правде говоря, нет. — И сочла нужным пояснить: — У нас был тяжелый и безалаберный дом. Не знаю, говорил ли вам Алеша.

— Он нам ничего не говорил.

— Безбытно мы жили. Но это никому не интересно. Лучше скажите, что я должна делать.

"Должна"!.. Разве спрашивала об этом Липочка! Она засучивала рукава, повязывала фартук и начинала шуровать, аж дом трясся! Да ведь эта женщина впервые у них. Все равно, настоящая хозяйка пойдет на кухню, заглянет под каждую крышку, сунет нос в духовку, обследует холодильник и сразу поймет что делать. Но Марья Петровна на кухню гостью непустила, а поручила ей накрывать на стол:

— Скатерти, посуда и приборы в буфете.

Сами Кунгурцевы окунулись в непроглядь кухонного чада, где задышалась тучная Анна Ивановна с вылезшими из орбит васильковыми глазами.

— Отдохните, мама, — попросил Кунгурцев.

— Не знаю, угодила ли, — жалобно сказала старуха. — У меня Липочкиного таланта нету.

— Тс-с! — прошипели зять и дочь.

Конечно, у нее не было Липочкиного таланта: одно перегорело, другое недожарилось, третье перепрело, но и у них его тоже не было. Они толкались, мешая друг другу, одновременно хватались за солонку или уксусницу, забывали нарезать хлеб, заправить салат майонезом, сунуть стручок красного перца в бутылку с разведенным медицинским спиртом. Всем скопом не могли управиться с тем, что легко, весело и незаметно делала одна Липочка.

Собачий лай и шум в прихожей возвестили о приезде гостей. Кунгурцев выступил им навстречу, но приезжие, дети и обезумевший вконец Ромка сплелись в какой-то невероятный клубок. Затем всю эту кутерьму загородила рослая фигура Пути.

— Боевое задание выполнено! — доложил он и, приметив за плечом Кунгурцева жену, хозяйничающую у стола, весело крикнул: — Уже запрягли тебя?

— Ничего ей не сделается, — проворчала Марья Петровна, продвигаясь в фарватере мужа.

— Так и надо! — ликовал Путя, счастливый, что жена вошла в быт Кунгурцевых.

Он рванулся к ней, очистив путь. И как-то сразу распался клубок у вешалки; ребята отпрянули к стенам, старший схватил Ромку за ошейник, притиснул к себе, а навстречу Кунгурцеву с высоко поднятой рукой и растопыренной для пожатия пятерней устремился великий киношник в сером клетчатом костюме, очень маленький, очень худой и очень старый. Он, конечно, и ведать не ведал о существовании Кунгурцева, пока бродяжья судьба не закинула его в этот забытый Богом угол, но порыв его казался таким искренним, любовно-неудержимым, словно он чаял найти здесь свет истины и духовное исцеление. Пожатие его закиданной старческой гречкой костлявой лапки оказалось неожиданно сильным. "Оператор! — сообразил Кунгурцев. — Привык камеру таскать". И по-сибирски ответил на рукопожатие. Они сыграли вничью и остались довольными друг другом. Главный киношник был передан Марье Петровне, а Кунгурцев познакомился с толстым лысым администратором группы Бурыгой и миловидной ассистенткой Леночкой. Тонюсенькая, с великоватой головой, с виду совсем дитя, Леночка поспешила сообщить, что окончила киноинститут и могла бы претендовать на должность второго режиссера, но пошла ассистенткой, лишь бы поработать с таким мастером. "Так он режиссер!" — смекнул Кунгурцев.

Воспользовавшись тем легким замешательством, какое обычно предшествует началу пира, Кунгурцев отвел ассистентку Леночку в сторону и сказал заговорщицким полусшепотом:

— Вроде бы неудобно спрашивать... — И чуть замаялся. — Но что поделаешь, наш уважаемый гость, он, извините...

— Не знаю, — быстро сказала Леночка и покраснела. — В таких вопросах я не ассистирую.

Она решила, что Кунгурцев хочет узнать, не нужно ли тому в отхожее место.

— Я не о том, — заверил еще более смущенный Кунгурцев. — Видите ли, я редко хожу в кино, телевизор вообще не смотрю и ужасно отстал. Какой последний фильм нам подарил...

— Господь с вами! — перебила Леночка почти возмущенно. — Ну конечно, африканская эпопея!

Кунгурцев покаянно хлопнул себя по лбу. На самом деле документальную кинематографию он вообще не знал, если исключить киножурналы, которые показывают перед сеансами. Но, конечно, старый зубр не занимается такими мелочами.

— А как вы к нему обращаетесь? — поинтересовался он.

— Шеф. Еще со времен института, я кончала у него. Но и вся студия так его зовет. Он же основоположник...

И тут позвали к столу.

Во главе посадили знатного гостя, по правую руку от него Марью Петровну, по левую Путю. Кунгурцев сел рядом с женой, чтобы свободно лицезреть Путю, возле него села Леночка, дальше — вся ребятня, а напротив Бурьга, Вера Дмитриевна и теща. И вот когда наконец все разместились и Путя, перегибаясь через стол, простираясь в самые дальние концы, словно стрела подъемного крана, разлил по рюмкам и бокалам водку, вино, ягодный напиток, ощутил Кунгурцев набухшим сердцем, как не хватало ему Пути все последнее время, как соскучился он по его милой худобе, чуть сжатой в висках голове, теплым карим глазам, хватистым, ловким рукам и мягкозвучному голосу.

Но день этот был не Путе посвящен, и первый тост подняли за приезжих. Умно усугубив сибирскую немногословность, уведя в глубокий подтекст те дары, коими обогатили отечественное киноискусство чествуемые, тонко и загадочно

выделив шефа, не назвал его священного имени, словно не<sup>а</sup> нем лежало табу. Кунгурцев сообщил своему тосту какой-то таинственный блеск. Но и режиссер не ударил лицом в грязь, соединив в ответном тосте сибирские пространства с необъятностью сибирского гостеприимства, восславив Дом, Семью, Хозяина, чье имя он, несомненно, успел забыть. На этом с официальной частью было покончено.

Все навалились на еду, а Кунгурцев предался умиленному разглядыванию Пути. Как у него все ловко получалось: он не забывал о режиссере, шутил с Марьей Петровной, подкладывал соседу Бурьге, который рубал так, будто его только что вывезли из голодающей Эфиопии, успевал и сам выпивать и закусывать, заводил молодежь и не давал погаснуть общему разговору. Путя много знал и не пускал словесных пузырей. Он мог говорить о ловле хариуса и омуля, об охоте на сайгака и изюбра, о сибирских цветах и травах, зверях и птицах, об автомобилях и самолетах, о водных богатствах и недрах края, об изыскательских работах и стройках, о проблемах БАМа и новейших технических достижениях, о мировой науке и о декабристах в Сибири, что было его любимой темой. О том же, чего он не знал или знал плохо, Путя помалкивал. И охотно слушал, что говорят другие. Но главное — это был тот Путя, чей бок столько раз прижимался к боку Кунгурцева на студеных ночевках во время медвежьих или сайгачьих охот, с кем нестрашно будет встретить старость.

Но наслаждаться лицезрением друга Кунгурцеву никак не удавалось. Великий киношник требовал слишком много внимания, прежде всего тем, что ничего не требовал, от всего отказывался и умолял не замечать его. Прижимая худые руки к груди, он заклинал не наливать ему — не пьет, давление, ишемия, не подкладывать на тарелку — воробьиный желудок не вмещает пищи. Приходилось упрашивать, улещивать, чуть не в ногах валяться: "Попробуйте хоть омулька, особого копчения, с душиком!" Долго ломается, вопит: "Куда столько? Вы злодей!" — потом со вкусом

съедает, неумеренно хвалит и взывает к администратору Бурьге, который с набитым ртом кивает и пучит воловьи глаза. А ты принимаешься сызнова: "Грибочки собственного засола, вы обязаны попробовать!" Опять долгое сопротивление, затем энергичная работа худых челюстей: "Божественно!.. — "А теперь пирожка с капустой, этот кусочек прямо на вас смотрит!" — ну как с маленьким. И главное — он все ел, да и пил, как вскоре выяснилось, не хуже людей. С ужасом отказавшись от домашней перцовки — в разведенный медицинский спирт брошен стручок крепкого болгарского перца, он с видом пай-мальчика подливал себе вишневки безобидного красного цвета, но в том же серьезном градусе.

У Кунгурцева мелькнула недобрая мысль, что настойка уложит режиссера на лопатки и они поедут на реку своей компанией. Но этот худенький, или, как сказала бы теща, бескишечный, человек обладал завидной выносливостью. Он не пьянел, но все добрел, лучился и как-то странно увеличивался в объеме, поглощая все, что не было им. Маленький, хрупкий, со слабым сиповатым голосом, он подчинил себе застолье. Кажется, у Чехова встречается мысль, что на сцене короля играют окружающие, воздавая ему королевские почести. Администратор Бурьга, отрываясь от насыщения, и Леночка, клевавшая как птичка, тоже "играли" короля, причем у Леночки это шло вовсе не от ассистентского подобоострастия — от преклонения перед мастером, который к тому же был ее учителем. В свои игры они замешали сперва детей, а потом и взрослых участников застолья. И теперь уже короля "играли" все, и он, сам того не желая, возвысился и распространился. Кунгурцева как хозяина радовало, что гостю оказан почет, но ему стало не хватать Пути. Тот был неважным придворным и предпочел уйти в тень.

Устав от челюстной работы, администратор Бурьга шумно вздохнул и во всеуслышание объявил, что Байкал гибнет.

— Почему? — всплеснул худыми руками режиссер.

— Разрешили возить нефть баржами, а при заливке определенный процент неизбежно попадает в воду. А Байкал — замкнутый водоем.

— Сколько я себя помню, — заметил Кунгурцев, — Байкал всегда погибал. Да ведь не погиб.

— Его спасли в кино, — со смехом сказал Путя. — Помните, чем кончается фильм "У озера"? Стаканчиком чистой, как слеза ребенка, байкальской воды.

— На целлюлозном комбинате и сейчас угощают такой водичкой, — заметила Леночка.

— Только приезжих, — сказала молчавшая до сих пор Вера Дмитриевна, — местных на туфту не возьмешь.

— Сколько я себя помню, — повторил Кунгурцев, которому не нравился этот разговор, — Байкал всегда погибал, а вон — даже омуль восстановился.

— Тоже мне омуль! — сказал Путя. — Настоящий омуль жиром плавится.

— Байкалу ничего не будет, — неожиданно отчетливым, ясным голосом произнес режиссер, словно читал по книге. — Всю нефть унесет Ангара. Заливка барж будет производиться ниже ее истока.

— А как же со сливом нефти, или там не происходит утечки? — вмешалась Марья Петровна.

Ей-то чего было встречать? Вопрос повис в воздухе. Режиссер прикрыл глаза, после каждого усилия жизни ему требовалось некоторое время на восстановление. Сам Кунгурцев не был в курсе проблемы, а всезнайка Путя сидел с пустым, отсутствующим лицом. И тут Кунгурцев понял, как трудно жил его друг последнее время. В мучительной раздвоенности, душевном смятении, в постоянной лжи, а ее не избежать, как бы чисто ни вести дело, ведь умолчание та же ложь, он терял себя, свой широкий, жадный интерес к жизни; видно, и не читал ничего и, разумеется, отстал, он-то, привыкший быть всегда на острие событий. Бедный, бедный Путя! Тяжело поворачивать дышло судьбы на старости лет. И Кунгурцеву захотелось сделать для Пути

что-то хороше<sup>е</sup>/доброе, немедленно сделать. Он приподнялся и громко:

— Вера Дмитриевна, за ваше здоровье!

Она удивленно вскинула брови, слегка поклонилась ему и отпила немного вина. Кунгурцев хватил свою рюмку единым духом и со стуком поставил на стол.

Ловя маринованный масленок вилкой, Кунгурцев увидел Путино лицо, выражавшее не простую дружескую благодарность за внимание, оказанное его жене, а что-то весьма дрянное: какую-то рабью преданность. "Хочешь — залаю? Хочешь — к ногам подползу? Велишь — убью!" — такую вот низкую готовность прочел он на искаженном уродливой гримасой благодарности лице Пути. И было это — как смертный приговор Липочке. Лучше бы не вылезать ему со своим тостом. Тем более что Вера Дмитриевна не приняла его подачку. Безразлично ей, что ли, отношение Кунгурцева, или это какая-то душевная тупость, черствость ли, что еще хуже, презрительная самоуверенность? Но Алешка!.. Продался со всеми потрохами за один любезный жест в сторону его жены. Не бывало такого между ними. Они все принимали друг от друга как должное, без благодарности, да и без обиды. Докатались, нечего сказать!..

Кунгурцев помрачнел, отключился от происходящего, забыл о своих обязанностях хозяина. Когда же вновь вплыл в действительность, то услышал, как захмелевшая Леночка втолковывала что-то через стол трезвой и невозмутимой Вере Дмитриевне:

— Он так много видел!.. Где только не бывал!.. Все величайшие события истории прошли перед ним. Он снимал первую мировую войну. Временное правительство, штурм Перекопа, приезд Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд в Москву. Он снимал убийство Распутина..

— А Голгофу он не снимал? — спросила Вера Дмитриевна.

"А она злая!" — подумал Кунгурцев.

— Нет. Это событие потом преувеличили. А он в это время снимал Тиберия на Капри, — без запинки ответила Леночка.

"Молодец, девочка! Хорошо отбрила!" — одобрил Кунгурцев.

— Он видел столько великого, что стал ценить лишь простую жизнь, — продолжала Леночка. — Он говорит, что настоящий второй план есть только у повседневности.

"Ай да старик!" — восхитился Кунгурцев.

После изобильной закуски и грибных щей с пирогами от котлет все дружно отказались. Попили смородинового киселя с медовыми коржиками, и Пугтя пустил в потолок пробку от шампанского.

— Теперь я понял, что такое сибирское гостеприимство, — сказал режиссер, чокаясь с Кунгурцевым.

"Э, милый, побывал бы у нас раньше — ты бы действительно понял, что такое сибирское гостеприимство, узнал бы, каким сладким может быть каждый кусок, когда его напутствуют ласковым уместным словом! Натрескаться, как Бурыга, можно в любой столовке, а настоящее застолье — тонкое искусство, которым мало кто владеет. Была у нас одна, что владела и заставляла всех плясать под свою веселую дудочку. Люди брюха набивали, а за плечами у них крылышки отрастали, каждый вставал из-за стола обласканный, уваженный, подобрешший и даже тяжести от наших сытых блюд не чувствовал. И все были — как с одного корабля. А здесь всяк своему нраву служит. Один вон рыгает, прикрываясь для вида толстой рукой, другая тень на плетень наводит, третья вовсе отсутствует, главный гость дремлет, а хозяйка радуется, что котлеты остались и не надо на ужин горячего готовить, сам же хозяин растекся, как дерьмо в оттепель. Да, есть еще Друг дома, продавшийся со всеми потрохами за лживый тост. Ну да ладно, могло и еще хуже быть..."

Заметив, что он погрустнел, Марья Петровна улучила минуту и шепнула ему на ухо:

— Наш гость от тебя в восторге. Наконец, говорит, увидел настоящего сибиряка!

"Слабак я, а не сибиряк", — подумал Кунгурцев.

Сборы в лес были по преимуществу мужским делом, и тут особенно блистал Путя. Сказывался навык заядлого путешественника, охотника и рыбака. Но сегодня он превозмогал самого себя. Все так и горело у него в руках. Женщины еще возились на кухне с судками, мисками и кастрюльками, а он уже упаковал и погрузил в машину одеяла, подушки, посуду, термосы с кофе, складные металлические стульча, полиэтиленовый мешок с костями для Ромки и "тысячу мелочей", необходимых для ночного лагеря в тайге.

Наконец все было собрано, и первая партия в составе водителя (он почему-то стал называть себя "драйвером" — от избытка восторга, что ли?), Веры Дмитриевны, московских гостей и Кунгурцева отправилась в путь. Им надлежало захватить сперва на пристань и взять из лодочного сарая палатку и надувную резиновую лодку. В последний миг из подъезда выметнулся с воем Ромка и зацарапал передними лапами в боковое стекло, умоляя взять его с собой. Сидевший впереди Кунгурцев открыл дверцу и взял его к себе на колени, трогательно худого и легкого. Пес дрожал и поскуливал, потрясенный невиданным предательством хозяина.

"Драйвер" Путя повез их почему-то дальним путем, мимо больницы, где работала Марья Петровна, нового кинотеатра и строящегося бассейна. Кунгурцев хотел было указать другу на его ошибку, но сообразил, что Путя нарочно избрал окольный маршрут, дабы показать москвичам кунгурцевские владения с самой выгодной стороны. Путя так ловко маневрировал, что несколько раз им открылись в очень выгодных ракурсах и здания заводских цехов, и заводууправление, и новая проходная.

Кунгурцева и умиляли и чуть раздражали наивные потуги друга поразить выдавшего виды кинозубра зрелищем завода средней руки. И тут режиссер обнаружил, что и впрямь обладает незаурядной наблюдательностью и профессиональ-

ным опытом. Своими старыми, захмелевшими, слезящимися глазками он уловил в глубине заводского пейзажа почерневшее одноэтажное здание бывшей заводской конторы, где до революции производился расчет с рабочими. Это зданию было сознательно оставлено на территории завода при всех перестройках как своего рода памятник. У Пути было любимое словечко "усечь", каким он обозначал высшую степень сметливости, сообразительности. Старый режиссер сразу все "усек" про контору:

— Молодцы, что сохранили эту развалюху, пусть люди видят, с чего начиналось. — И стал засыпать Кунгурцева короткими, четкими вопросами, и все о нужном, важном.

Директор отвечал с охотой, хотя и в обычной своей неторопливой манере. Внезапно режиссер замолк.

— Больше вопросов нет? — с улыбкой спросил Кунгурцев.

Старый человек не ответил, он спал, мгновенно скошенный усталостью и выпитым за обедом.

Он проснулся на пристани — так пышно именовали дощатый причал владельцы местного флота: моторного, весельного, парусного. Открыл глаза, охватившие в мути и расплыве незавершенного пробуждения нутро машины, а снаружи лодочные сараи, широкую быструю речку, тайгу на другом берегу и небо всюду, где не земля, и обрадовался своему возвращению в этот прекрасный мир.

— Кажется, я вздремнул?.. Ваш учитель, Леночка, явно стареет.

Из сарая появились Кунгурцев и Путятин, волоча по здоровенному оранжевому мешку. В одном находилась палатка, в другом лодка. Казалось, никакая кладь не влезет в перегруженную машину, но уверенный и бодрый Путятин, сочетая богатырскую размашистость движений с точным глазомером, что-то переложил, что-то сдавил, умял, машина вроде бы раздалась, а пассажиры на заднем сиденье слепились в плотный ком, и два громадных мешка нашли свое место.

Путятин дал задний ход, чуть не въехав в реку, развернулся, на первой скорости одолел крутой подъем и по грохочущему деревянному мосту перемахнул на другую сторону. Он погнал машину извилистой лесной дорогой, по узловатым корням сосен и елей, стреляя шишками из-под колес, затем круто забрал к реке и ухнул в зеленую глубокую траву пойменной луговины. Машина прошла будто зеленым тоннелем и стала у самой воды.

Быстро разгрузив машину, Кунгурцев и Путятин надули резиновую лодку, после чего "драйвер" умчался за оставшимися — Марьей Петровной и ребятей.

Режиссера усадили на складной металлический стул, а Кунгурцев сволок резиновую лодку в воду и стал грузить в нее тюки и корзины. Режиссер подумал о том, что скромный пикник на берегу таежной речки по своей фундаментальности и громоздкости стоит хорошей киноэкспедиции. Но киношникам, чтобы разбить лагерь, понадобилось бы неизмеримо больше людей и времени. Здесь Кунгурцев принял помощь лишь толстого Бурыги, а Леночку отослал собирать незабудки. Вера Дмитриевна ушла в глубь берега, где колыхались розовые копыя рослого кипрея. Ромка как оглашенный носился по берегу, забежал по брюхо в воду, всплывая с лозин желтеньких камышевок. Режиссер прикрыл глаза в тихом умиротворении, но, как нередко бывало, память подсунула то, что никак не вязалось с окружающим. Залитая кровью арена, истыканные бандерильями лопатки и спина огромного быка, подушки, о которые спотыкался потный и бледный матадор с кровавой раной в паху. Это было в Толедо, когда проколотый рогом Домингин никак не мог поразить своего последнего быка. Режиссер открыл глаза. Он видел слишком много крови в своей жизни, и не только на войне. Кровь проливалась всюду, где люди стремились сделать что-то из ряда вон выходящее, будь то строительство гидростанций, бой быков, штурм Эвереста или финиш марафонской дистанции на Олимпийских играх, когда победитель рухнул с горловым кровотечением. Из режиссера

тоже выпустили при разных обстоятельствах немало крови. Он возненавидел ее цвет, запах и солоноватый вкус. Резиновая лодка, в которую уселись Кунгурцев и Бурьга, была изнутри тоже цвета крови. Режиссер отвернулся. Приятен был вид густо-зеленой осоковой травы, мелькающего в ней пестрого тела Ромки, розового кипрея, окаймлявшего луговину, и белой женской кофточки. Но прошло немного времени, и ему пришлось опуститься на дно ярко-красной изнутри лодки, будто в лужу крови. Это было омерзительно до содрогания, но он ничем не выдал себя.

Сильное течение подхватило лодку и понесло. Кунгурцев налег на слабенькие алюминиевые весельца и направил лодку к противоположному берегу. Рубашка его растегнулась, обнажив волосатую загорелую грудь в полосках пота от шеи до седой поросли. Крепкий брюшной пресс ходуном ходил. Маленький режиссер, скорчившийся на дне лодки, следил за гребцом с удовольствием, отдающим легкой печалью. Что может быть лучше молодости и здоровья? Пятидесятилетний Кунгурцев казался ему мальчиком. "А сколько мне лет?" — подумал режиссер и не мог вспомнить. Давно уже это ему не удавалось. А что, если он был всегда? И всегда будет? Как редчайшее исключение природа дарует своим любимцам жизнь вечную. Он знал несколько знаменитых людей, твердо решивших никогда не умирать. Почему бы и ему не стать одним из них? Для этого требуется, коли ты избранник, немного — избегать очевидных глупостей. Вот Тициан уже ступил в бессмертие, да не уберется от чумы — сам виноват. А он видел одного пастуха в Мингрелии, который живет несколько столетий и давно перестал вести счет годам. Но ему самому вроде бы рано забывать свой возраст. "Какой склероз!" — восхитился режиссер. У него не было страха перед склерозом, ибо знал: на съемочной площадке и в монтажной он будет делать свое дело так, будто у него сосуды двадцатилетнего. Склероз минует профессиональные навыки человека, а бытовая чудаковатость даже украшает стариков.

Но соглашаться надо только на бессмертие, долгожительство — чепуха. Вот считается, что далеко дней его начало, а он помнит, как мать намыливала его в детской цинковой ванне и он хлопал себя по скользкому тутому животу, словно это было вчера. Все конечное быстротечно, как вспышка молнии, одно лишь бессмертие протяженно.

Что-то ткнулось в руку режиссера, которой он держался за округлый борт лодки. Это был Ромка, плывший за ними с высоко вскинутой над водой шоколадной мордой. Но, достигнув стержня, пес сообразил, что хозяин остался на том берегу, и повернул назад.

Уже вблизи другого берега им пересекла путь длинная лодка, выплывшая из-за поросшего черемухой островка. В лодке сидели старик со старухой. Они плыли по течению, и старик лишь чуть шевелил кормовым веслом. Дно лодки было заставлено плетеными корзинами, доверху полными дикой смородины — красной и черной. Поравнявшись с резиновым пузырем надувной лодки, старик приподнял картуз над белой лысиной, а старушка приветливо улыбнулась.

— Вечер добрый, — сказал Кунгурцев. — С удачей вас. По островам собирали?

— По островам, — подтвердил старик, и лодка скользнула мимо.

Кунгурцев помог режиссеру вскарабкаться по круче высокого берега. Здесь за старыми соснами, утопившими в реке струистые отражения своих крон, оказалась круглая полянка, местами ярко-зеленая, местами побуревшая в утомлении долгого жаркого лета. На буром горели киноварью слившиеся в большие лепешки лиственничные маслята. А стоило чуть напрячь зрение — и между корнями сосен по краю леса виднелись проклюнувшие землю и хвойный настил головки других маслят, опалово-бледных и склизких. Кунгурцев предложил Леночке и Буре набрать грибов, а режиссеру снова устроил трон в тени, отбрасываемой сосновой лапой.

Режиссер послушно сел на складной стул, как бы провалившись в самого себя. Ему нравилось беспрекословно подчиняться чужой и разумной воле. Кажется, никогда в жизни не чувствовал он себя так хорошо, спокойно и защищенно, как в этот день, когда незнакомые люди взялись его опекать. Напротив на обгорелый пенёк опустилась пестрая кедровка и принялась доверчиво и заинтересованно разглядывать пестрого человека своими круглыми охряными глазками. И режиссер стал рассматривать кедровку своими выцветшими, но не утратившими зоркости глазами. Они приглянулись друг другу — птица и человек. И жаль было, что кедровку вспугнул невидимый враг.

Кунгурцев распаковал тюки, разостлал по земле надувной пол палатки и убедился, что ножной насос, давно уже барахливший, совсем отказал. Придется надувать ртом. Но это можно сделать только вдвоем, дуя с двух концов, — одному сроду не справиться. Грибник Бурьга исчез в зарослях, старик режиссер — без пользы, даже если испустит дух в этот матрас: придется ждать Путию. И, вспомнив о Пути, Кунгурцев с ужасом обнаружил, что забыл на том берегу его жену.

Господи, да как же это могло случиться? Когда он перевозил режиссера и Леночку, Вера Дмитриевна обрывала кисти рослого иван-чая. Он зацепил рассеянным, словно невидящим взглядом ее светлую кофточку, но то ли как-то не связал, то ли... Значит, верно, что человек должен отвечать за все, что щедро приписывают случаю: внезапную забывчивость, двусмысленность обмолвки, неловкие жесты, причиняющие кому-то боль, — это все знаки творящейся внутри нас подспудной жизни, более искренней и подлинной, чем наше внешнее сознательное поведение. Он смекнул произнести фальшивую здравицу в честь Путиной жены, но он же забыл взять ее в лодку. Он <sup>НЕ</sup> оставил на берегу ни безликого Бурьгу, никакой малости из поклажи, но забыл жену своего друга, притворившись перед самим собой, что не узнает ее светлой кофточки среди розовых цветов!..

Хорошо!.. Что он скажет Путю? Но этого придумать он не успел, потому что Путя сам предстал перед ним в плавках и резиновых сапогах, совсем сухой, только головки сапог блестят от воды.

— Ты что, как святой Иорген пришел по воде? — спросил Кунгурцев, балдея от собственного нахальства.

— Рыбаки перевезли. А ты вроде забыл о нас? — сказал Путя напряженным голосом.

— Кто знал, что вы такие быстрые! — Кунгурцев поймал ариаднину нить и уверенно двинулся вперед. — Цветочницу свою нашел?

— Какую цветочницу? — Голос все еще был напряженным.

— Жену, кого же еще? Так кипреем увлеклась, что забыла обо всем на свете.

— А-а!.. — сказал Путя с облегчением, как человек, готовый принять любую ложь, если в ней будет хоть видимость правдоподобия. — Собрала огромный букет, да он сразу обвял. Ладно, сейчас я их всех перевезу.

— А потом купаться? — радостно сказал Кунгурцев.

— Как положено!..

...Кедровка, так внезапно покинувшая обгорелый пень, успела зачаровать старого человека. Несомненно, ее охряные блестящие круглые глазки излучали колдовскую силу, раз после ее исчезновения начались странности. Сперва появился голый человек в сапогах, толкнув мысль режиссера к резервации сиуксов, жалких остатков некогда могучего, гордого племени, ныне безропотно вымирающего, он снимал их когда-то и курил трубку, со старым больным, полупьяным вождем; затем сиукс исчез, но возникли современного обличья мужчины и женщина и стали сыпать на землю возле него грибы. Вскоре выросла целая гора, и он испугался, что гора эта непременно рухнет и погребет его под собой. Вот и пришла та глупая случайность, которая перечеркивает избранничество. Тициана сгубила чума, Коненкова — сквозняк, а его — грибная гора. И тут она действительно рухнула, не причинив ему

даже малого вреда. И сразу он увидел множество людей, среди них были совсем юные, исполнявшие какой-то дикий, видимо ритуальный, танец вокруг девочки с длинными смуглыми ногами. Потом вернувшийся сиукс вместе с тучным гринго легли на живот и стали с двух концов надувать огромную плоскую шкуру. Шкура вспучивалась, дышала, росла, напухала опасностью, но режиссер вдруг перестал бояться. Нечто подобное уже не раз бывало с ним: лесная чаща и зверь, изготовившийся к прыжку, и чей-то глаз, берущий на мушку его висок и целящийся из лука, и чья-то рука, занесшая топор. Но настоящее так быстро превращалось в прошлое, что стоит перетерпеть всего лишь мгновение — и ты спасен, ибо пуля, стрела, взблеснувший топор и отверстая пасть уже оказываются в прошлом.

Поэтому он не двинулся, не изменил позы, лишь смежил утомленные веки, а когда вновь открыл их, вместо раздувающегося зверя стоял ладный оранжевый домик, а в руку ему тыкалось что-то теплое и аппетитно пахнущее.

Отхлынула муть экзотических видений, продолжалась неспешная, безопасная, основательная сибирская жизнь. Он взял в руку котлету, а в другую — синюю, с золотым ободком рюмку. Сиукс, обратившийся в симпатягу Путя, стал наливать из бутылки, в которой плавал красный стручок перца.

— Путя, — укоризненно сказал гринго Кунгурцев, — ведь есть же вишневая.

— Нет-нет, я хочу как вы! — воскликнул режиссер, с неожиданным проворством сбросил себя со стула и, собравшись в коротком полете, предстал стройным, элегантным сухощавым джентльменом. — За тайгу! — сказал режиссер и опрокинул рюмку в рот.

Кунгурцев последовал его примеру и позорно поперхнулся. Он думал, что пьет ту же перцовку, что и за обедом, но Путя то ли по ошибке, то ли из ненужного удалства сунул стручок перца в неразбавленный девяностоградусный спирт.

— Прелесть! — сказал режиссер. — Прямо дух захватывает. И крепко и вкусно. Я не откажусь еще от рюмочки.

Они повторили, и режиссер с довольным видом опустился на стул и стал жевать котлету.

— С ума сошел? — зашипел Кунгурцев на Путю, отдавая его в сторону. — Он же загнётся может.

— Ты ни черта не понимаешь. Это железный старик. Он нас всех переживет. А спиртику я на послекупанье приготовил. Купнемся?

— А как же! — счастливым голосом сказал Кунгурцев.

Для него не было большего удовольствия, чем искупаться в ледяной воде горной речки. Но, кроме Пути, никто не соглашался составить ему компанию.

Путя побежал за полотенцами, а Кунгурцев, весь как-то помолодел, хотел пригласить на реку случившегося неподалеку Бурьгу, но осекся, увидев его остекленевший взгляд и могучую работу челюстей, уничтожавших засунутую в батон котлету. Другую котлету и полбатона Бурьга держал в руке.

— У старых киношников, — раздался нежный голос Леночки, — есть негласное правило: ничего не оставлять врагу. Это означает уничтожать даровые харчи без остатка.

Кунгурцев усмехнулся чуть натянуто. Его коробило от такого рода остроумия. Зеленые глаза Леночки блестели. Стоило ей чуть выпить — и вместо восторженной прозелитки десятой музы пробуждался другой человек: наблюдательный, насмешливый, со злинкой. И очень легко было представить, какой она станет, когда осыплется с ее острых черт пыльца юности и придет тяжелая зрелость со всеми неизбежными разочарованиями. "Дай бог тебе хорошего мужа, дочка", — от души пожелал ей Кунгурцев, но, разумеется, не вслух...

— Если ваш муж был так плох, что же вы раньше не ушли от него? — спросила Марья Петровна.

— А вы много видели женщин, которые уходили бы от мужей ни к кому и никуда? — ответила Вера Дмитриев-

на. — К тому же с ребенком и с такой жалкой профессией, как у меня, — секретарь-машинистка.

— Знаете, милая, это все-таки странно...

— Ничего странного, уверяю вас.

..Вода в этой быстрой речке не прогревалась за день, и войти в нее легче на ранье, когда воздух пронзительно свеж, а траву ляжет утренником, нежели в теплый, обласканный солнцем вечер. Студь мозжит пальцы ног, подкатывает к сердцу, сжимая его, и вот-вот задушит. Кунгурцев и Путятин, оба голые, стоят на мелководье, обхватив себя накрест руками, и трясутся, диковато и ненавистно поглядывая друг на друга, ибо соглядатай — это помеха к отступлению, к бегству, и вдруг, не словариваясь, но всегда одновременно, ныряют с головой.

Обожженные холодом, они почти теряют сознание и выныривают закоченевшие, но счастливые, визжащие, хохочущие. Сердце уже боролось за себя, мощно разгоняя кровь по жилам, с каждой секундой прибавлялась бодрость, переходя в жеребчий восторг. Два немолодых и солидных человека ведут себя, как деревенские мальчишки! "Ухожу под воду!" — торжественно объявляет один и, сверкнув белым задом, ныряет на дно. И знает, что другой уже повторил его подвиг, не потеряв и мгновения. Вода чиста и прозрачна, не надо закрывать глаз. Они видят желтый песок, и галечник, и пузырьки бьющих со дна ключиков, косые стайки мальков, изредка зеркально взблеснет крупная рыба; в нежно-зеленоватой притеми они различают то бронзовые, то синеватые — по освещению — тела друг друга и вступают в мучительную борьбу, кто дольше продержится под водой. Обмирает сердце, сейчас лопнут остекленевшие сосуды, но, проклиная упорство друг друга, они держатся, пока вода сама не выгалькивает их на поверхность. И выныривают неизменно в один и тот же миг. Кажется, этого опыта достаточно, чтобы отбить охоту к подобным состязаниям, но, чуть отдышавшись, они начинают нырять на дальность. И занимаются этим до спазмов, до судорог. Но вдруг один будто отключился и с сосредоточенным видом что-то ищет под берегом. Тотчас же другой при-

нимается исследовать изножье тальника на островке-кочке. Результат этих напряженных поисков — какая-нибудь осклизлая коряга или полустгнившая деревянная уключина. Найденный предмет швыряется на середину реки, и за ним с паническими воплями устремляется Ромка. С самого начала речной феерии томится он на берегу, тихонько поскуливая, ему строжайше запрещено лезть в воду, пока боги наслаждаются купанием. Теперь наступает его звездный час. И любимый хозяин, и любимый друг хозяина поочередно швыряют ему палки, коряги, сучья, корни, сияясь забросить как можно дальше и вместе с тем приметно для Ромки. Верному псу неведомек, что они снова соперничают, и он служит каждому с равным усердием.

Впервые за годы совместных поездок на реку Кунгурцеву показалось, что Путя получил какой-то перевес над ним. Здоровьем они не уступали друг другу, Кунгурцев был чуть подюжее, Путя чуть половчее, и, в общем, у них все получалось так на так. Но сегодня Путя и проныривал дальше, и палок ему больше под руку попадалось, и кидал их удачнее. Подъемная сила приставных крыл помогала Путе, жаль только, что крылышки эти оплавятся раньше, чем он достигнет солнца. И когда, не вытираясь, в мокрых трусиках — это тоже входило в ритуал, — лишь глотнув обжигающего спирта, они двинулись к стойбищу, Кунгурцев сказал то, что накипело на сердце:

— Что же все-таки будет с Липочкой, Алеша?

— Не надо, — сказал Путя и весь сморщился, как обезьяний детеныш. — Не надо... Липочка — это моя боль.

И Кунгурцев замолчал, обезоруженный жалкими словами...

На реке было светло, лишь огнистый язык из-за леса облизывал с исподу белые облака, медленно плывущие по голубому легкому небу. Но наверху, на поляне, тени повечернему сгустились, засмуглела трава, потемнела хвоя. Далеко-далеко, в глубине тайги, багровел грозный августовский закат, не даря ни отсверка сумеречной чаше.

Женщины чистили грибы, снимая ногтями, как чулок, склизкую кожицу со шляпок сосновых маслят, а сухую кожицу лиственничных маслят соскребали ножом. Очищенные грибы они кидали в десятилитровую кастрюлю. А рыжики и обабки откладывали в сторону, имея на них какие-то особые виды.

— Дайте мне, милая, вон то ведро, — попросила Марья Петровна.

— Вы все время называете меня "милая". Я действительно так мила? — спросила Вера Дмитриевна...

...С Кунгурцевым творилось что-то неладное. Холодная, свежая вода, яростные мужские игры, возня с Ромкой, голое молодечество обернулись вместо ожидаемой радости тихой, щемящей тоской. Что было тому виной — несостоявшийся ли разговор с Путей на реке или какие-то более тонкие потери, которые он и сам еще не постиг, сказать трудно, но если во время купания ему почудилось, что все еще может наладиться, что главное сохранилось, то сейчас верх брало другое: ничего не налаживается, ничего не сохранилось.

Его тоску усугубляло бездарное поведение Пути. Тот наверняка чувствовал, что другу не по себе, но, вместо того чтобы как-то приладиться к нему душой, принялся грубо богатырствовать, теперь уже вокруг костра. Он то и дело нырял в чашу и возвращался с чудовищными охапками хвороста. Ветви царапали его голую кожу, но он ничего не замечал, весь во власти своего тупого ликования. Он притаскивал громадные сучья и обрубал ветви небольшим острым топориком, аж звон по тайге шел. Здорово у него получалось, и если он хотел привлечь внимание жены своими подвигами, то вполне преуспел в этом. Она отложила нож, сняла фартук из газет и подошла к Путе. И Кунгурцев понял, что вся его тоска, весь душевный неуют идут от этой небольшой тихой женщины с усталыми глазами и грустным ртом, которая держится так неприметно, но мешает всему.

Кунгурцев отвернулся и стал складывать костер.

Подошла Марья Петровна:

— С ума не сходи, оденься.

— А Путя? — Это прозвучало совсем по-детски.

— Ну, Путя в таком разогреве... Он сейчас может без штанов хоть на Северный полюс.

— Это верно, — упавшим голосом сказал Кунгурцев.

— Ты что смутный такой? — Марья Петровна внимательно посмотрела на мужа. — Завидуешь ему, что ли?

— Чему завидовать-то?

— А как же? Молодожен. А ты при старом барахле остался.

— Я с ним не меняюсь.

— Еще чего не хватало! А все-таки завидно. Ладно, работай, запозднились мы с костром. А вещи твои я сейчас принесу.

Подобная заботливость была не в привычках Марьи Петровны, это и тронуло, и насторожило Кунгурцева. Видать, жалок он ей показался. И что это за шуточки насчет его зависти к Путе? Неужели она не понимает, не чувствует, насколько чужда ему эта женщина?

Перед тем как окончательно исчезнуть, догорающее в глубине тайги солнце залило пространство таинственным, странным светом. Деревья цвета старой нечищенной бронзы упирали вершины в позлащенную бронзу неба. В бронзовом воздухе бронзовели лица людей и тьма длилась какие-то мгновения — низкая, едва ставшая над землей луна пустила сквозь тайгу свой бледный свет, он простерся по туману, до этого незримого, и поляна окуталась серебристым дымом. В этой драгоценной реющей мороси то и дело возникало долгое, строящееся тело девочки в белом платье и сразу растворялось, истаявало. И темные пятна, числом три, проступали в тумане и, не обретя отчетливости, исчезали.

Дочь и мать придерживались разной тактики. Взрослая женщина работала на отчуждение, маленькая женщина расколола вражеский стан, обратив в рабство трех олухов царя небесного. Неуклюжие, нерасторопные и одержимые,

пытались они поймать беспомощно растопыренными руками белый призрак, лунный блеск на тумане. Кунгурцев от души пожалел своих губошлепов, в которых, несмотря на разницу в возрасте, одновременно проснулось сердце.

А костер между тем не желал разгораться. Он чадил, смердил, постреливал, но пламя не подымалось столбом, а изнемогало в сыром топливе.

— Я думал, таежный костер — это что-то величественное, — влажным, насморочным голосом сказал режиссер, подвигаясь к вялому огнищу, — готический собор из пламени.

— За костром надо ухаживать, — немного смущенной отозвался Кунгурцев.

— Как за женщиной?

— Как за самой строптивой женщиной.

Мягкий укор режиссера заставил Кунгурцева встряхнуться. Он перебрал костер: что посуше — вниз, что посуше — вверх, самые толстые и влажные поленья отбросил в сторону, они пойдут в дело, когда костер разгорится и затрубит. Странное дело: дождей почти не было, лето и вообще выдалось засушливое, а хворост сыроват от обильных рос. Он напихал в костер сухого мха, старых газет и, став на четвереньки, уподобился кузнечному горну. Нехотя, лениво, грозя вот-вот погаснуть, костер все же начал разгораться, наконец занялся весь и взметнул к небу столб пламени, откуда вырвались искры березовых шелушанок и полетели выше деревьев, тщаась стать звездами. Кунгурцев подложил дровишек.

— Хороший костер, — нежно сказал режиссер, — как на Кубе. О, Куба!..

Но Кунгурцев не был доволен. Горели хорошо тонкие сухие ветки, но он видел, как немощно облизывает пламя толстые поленья. Дерево дымит, чернеет, обугливается, наконец костру удастся посадить на ребро полена багровую бабочку. Она ползет к комлю, трепыхая крылышками, переползает на кору, закручивая на ней пепельные барашки, и как-то незаметно исчезает. И опять долго-долго трудится костер, чтобы посадить новую огнистую бабочку на по-

лешко, и опять столь же короток ее век. Чтобы костер жил, нужно хорошее сухое топливо. Хватит Путе богатырствовать по-пустому, волоча сюда перегнувшийся в земле бурелом и сырые лежины из оврагов.

Путя с великой охотой взялся за настоящее дело. Вера Дмитриевна вызвалась ему помогать. Кунгурцев забрал ведра и отправился на реку за водой. Надо было чаю вскипятить и отварить грибы, чтобы не зачервивели к завтрашнему утру. Когда он вернулся, костер гудел, а на краю широкого багряного круга высилась горы суховершника, и Путя, все еще голый, багровый от пламени и влажный от пота, поигрывая топоришком, сказал, озабоченно кривя рот:

— Как хочешь, Павел Леонтьевич, а придется одну березку свалить. Костру это сухотье — как семечки, на ночь никаких запасов не хватит.

— Да кто же позволит живое дерево валить? — испуганно отозвался Кунгурцев.

— Ты, Паша, царь и бог этих благословенных мест.

— Не льсти. Пустое.

— А ты не ханжи. Посмотри, сколько свежих пней. Лучше взгрей лесника как следует, он за водку всю тайгу сведет.

Кунгурцев чувствовал, что Путе ужасно хочется повалить большое дерево, и не только ради костра. В другое время он ни за что не позволил бы, хотя заводские бесчинствовали в лесу как хотели, но сейчас ему показалось мелким отказать Путе.

— Черт с тобой. Только выбери стойное.

— Еще чего! — сразу обнаглел Путя и вышагнул из света костра.

Вера Дмитриевна последовала за ним.

Вскоре послышался стук топора, потом шорох и треск падающего дерева. Шум грозно нарастал, приближался; казалось, дерево рухнет прямо сюда, на костер и сидящих вокруг людей. Но нет, оно упало где-то там, в глубине тьмы, и только ветер, рожденный его падением, пригнул пламя. И в эти мгновения

еще плотнее стала тьма, объявшая поляну и лес. И непонятно было, как могли дети носиться среди кустов и деревьев и не переломать себе рук и ног, не выколоть глаз. Можно подумать, что они, как летучие мыши, снабжены особыми локаторами. И все-таки жуть брала, когда, мелькнув в красном свете костра, они вламывались во тьму чащи. И каким-то образом в этой сумасшедшей беготне младший Кунгурцев успел предложить Олечке побег на БАМ, а та насплетничать матери.

В свою очередь Вера Дмитриевна рассказала об этом Кунгурцеву, когда вместе с Путей приволокла срубленную березку. Конечно, Путя взял не сухоподстой, а свежее, хоть и старое дерево. Он принялся обрубать сучья с тем залихватским размахом, которым отличались все его действия в этот день. Вера Дмитриевна увела Путя в свое время, которое не было временем Кунгурцева, временем Липочки и самого прежнего Пути. Теперь он стал моложе их всех на целое поколение, и в этом был еще один грех Веры Дмитриевны.

За весь день Вера Дмитриевна впервые сама обратилась к Кунгурцеву, и это можно было принять за попытку сближения. Но он оказался душевно неподготовленным и вяло полюбопытствовал, что же ответила Олечка "его дураку". В "дураке" проглянуло раздражение, то ли не уловленное Верой Дмитриевной, то ли оставленное без внимания. Олечка сказала, что уже дала слово его старшему брату. И опять Кунгурцева не хватило на какое-либо изящное движение, легкую фразу.

— Опасная у вас семейка... — начал он, спохватившись, переметнулся к теме "нового поколения", сам устыдился нудного, неуместного морализирования и замолчал.

...Попили чаю из громадного алюминиевого чайника, и Марья Петровна, напрягшись, как перед трудной операцией, всем своим сильным характером, загнала разбушевавшихся ребят в палатку. Туда же отправилась Леночка, а еще раньше — клевавший носом Бурьга. Режиссер, узнав, что Кунгурцев ночует у костра, решил составить ему компанию, и переубедить его не было никакой возможности.

— Здесь теплее, чем в палатке, — говорил он, — а под утро мы раскидаем жар по земле, застелим плащ-палаткой и отлично поспим часок-другой. Мне этого, во всяком случае, хватит. Старый человек не должен много спать.

— А вам приходилось спать на кострище? — удивился Кунгурцев.

— Да... Много раз. А впервые в Рын-песках, там были очень холодные ночи.

Кунгурцев надеялся, что Вера Дмитриевна тоже ляжет в палатке, а Путя присоединится к ним, но этого не случилось. Натаскав целую гору хвороста и сложив поленицу дров, чтобы хватило на всю ночь, Путя наконец-то оделся и вместе с женой отбыл на другой берег спать в машине. За ними увязался Ромка.

Огромное одиночество объяло Кунгурцева. Он пытался думать о том, что настанет завтрашний день, и будет восход солнца, и жемчужная, дымчатая роса, и утреннее купание с Путей, и чарка обжигающего спирта, будут жаренные с луком маслята и отварные рыжики с уксусом, будут долгие сладостные часы безделья и безумные игры детей, и столько перевидавший в жизни, старый, непохожий на других человек, которого он уже начал любить, но почему-то все эти мысли не приносили утешения, а тем паче радости. Чувство утраты не притуплялось, оно прочно втеснилось в сердце.

Странное безголовое существо с выщербленной спиной и крупом выскочило из лесу и, попав в свет костра, обрело телесную цельность, став мокрым, тихо скулящим и подвывающим Ромкой, — его серебристая шерсть на боках, брюхе и лапах будто фосфоресцировала, а шоколадные пятна сливались с темнотой ночи.

— Ромка! — тихо позвал Кунгурцев.

Пес припал к земле и униженно, что совсем не отвечало его всегдашнему достоинству, подполз к Кунгурцеву и стал лизать ему руку теплым языком.

— Прогнали тебя? — догадался Кунгурцев. — Ах ты бедная моя собака...

Разве могло такое случиться раньше? Путя нередко спал в машине с Липочкой, но с ними всегда делил ложе Ромка. Они рассказывали со смехом, как наваливался на них тяжелеющий во сне пес. Путя называл такие ночевки "Морфей в аду". Но, конечно, новой мадам Путятиной вовсе не хочется, чтобы с ними в машине находился мокрый, пахнущий псиной Ромка. "И потом, они же молодожены", — невесело ухмыльнулся Кунгурцев.

Ромка трясся от холода и обиды. Он не замечал, что шкура его, обращенная к огню, дымится и потрескивает от искр. Кунгурцев накрыл его полой плаща, прижал к себе костлявое дрожащее тело.

— Ничего, Ромка, ничего, мальчик, мы и без них обойдемся. Спи, милый, и пусть тебе приснится заяц.

— Этот драйвер... ваш друг... — донесся словно из бесконечной дали слабый голос режиссера. — Отчего он такой счастливый... и такой несчастный?

Кунгурцев помолчал, не зная, должен ли отвечать на этот вопрос. Но сибирское уважение к старости взяло верх.

— Наверное, оттого, что нельзя строить свое счастье на несчастье других.

— Ну что вы! — Голос звучал так же далеко и очень спокойно. — Мы все только этим и занимаемся. Такого счастья, которое творилось бы не в ущерб другому, просто не существует. Когда вы обнимаете одну женщину, другая, иногда неведомая вам, плачет в подушку. Это же так очевидно... — сказал он почти извиняющимся тоном.

Кунгурцев молчал, и режиссеру вдруг расхотелось в чем-то убеждать его. Почему-то опять вспомнился Домингин и закиданная подушками, испачканная кровью арена.

— Слушайте, — сказал он, — вы не задумывались над тем, почему странные раны матадоров, а рог попадает чаще всего в пах, никогда не приводят к потере мужской силы?

— По правде говоря, нет, — отозвался Кунгурцев.

"Ну и ладно, — подумал режиссер, — с матадорами вообще все в порядке". И с ним самим вроде бы все в

порядке. Он будет жить вечно. Снимет и этот фильм о Сибири, и еще десятки, сотни фильмов, снимет и фильм о золотом веке человечества. Получит множество высших наград, премий и кубков. Вот только никогда не увидит маленьких сухих рук своей матери, так похожих на его руки, но свои руки он не любил. И он сказал, не зная кому, но твердо веря, что его услышат.

— Если есть хоть один шанс на миллион, что я увижу маму, забирайте ваше вонючее бессмертие. Немедленно!

...Путятин завел мотор, плотно закрыл жалюзи и включил печку. Минут через пятнадцать-двадцать нутро машины прогреется и можно будет раздеться. Он достал из багажника постель, разложил сиденье.

Туман заволакивал луг. Он шевелился, ворочался, сплетал и расплетал белесые космы, в нем вспыхивали холодные бледные искорки, он уже поглотил и реку, и приречный кустарник, накрыл другой, высокий берег, лишь верхушки сосен отчетливо рисовались в мутном темном небе, в прожелти размытых звезда. Туман расстелился по лугу, сейчас он окутает машину, заполнит все пространство своей зыбкой, реющей субстанцией.

Путятин закурил, сделал несколько глубоких затяжек, провел рукой по запотелому стеклу и увидел, что жена легла, не дожидаясь когда машина прогреется. Он погасил сигарету, разделся, швырнул одежду в багажник и забрался в машину.

— Ох, какой ты мокрый и холодный! — сказала Вера Дмитриевна, но не отодвинулась, а прижалась к нему своим слабым телом.

Он обнял ее, стал жадно целовать, только сейчас понял, как истосковался по ней в этот долгий, упрямо разъединявший их день. И то сложное, смутное, порой мучительное, что наплывало на него, как ни стойко он держался, разом отпало, словно струп с давно зажившей раны, и осталась лишь правда любви, близости и счастья.

В машине стало жарко. Он выключил мотор, приспустил боковое стекло и закурил. Выдыхаемый дым ввинчи-

вался синей спиралью в молоко тумана. Потом снова вытянулся рядом с женой. И в который раз подивился ее тихости. Пока он крутился, искал сигареты, спички, курил, закрывал окошко, снова укладывался, она не пошевелилась. Она вообще обходилась минимумом движений, жестов, люди вокруг нее казались судорожно-суматошными, как в старых немых фильмах. Но что за этим — дисциплина, чрезмерная сдержанность или скованность, навязанная трудной жизнью и всегдашним самоконтролем, он не знал, ибо до сих пор едва прикоснулся к ее внутреннему миру.

— Хорошая, видно, женщина твоя бывшая жена, — сказала она.

Путятин не понял, вопрос это или утверждение.

— Конечно, хорошая! — В тоне его почему-то прозвучала запальчивость. Он поторопился искупить ее малодушием: — И очень удобная для окружающих.

— Понимаю, — сказала она. — Я далеко не такая удобная. Твоим друзьям будет трудно привыкнуть ко мне.

Тут не было ни обиды, ни желания вбить клин между ним и Кунгурцевыми, и уж подавно — ревности к оставленной женщине. Она хотела осмыслить день, прожитый бок о бок с его друзьями, и даже выражала косвенную уверенность, что им придется смириться с ней. Она не хотела лишать мужа этой дружбы, но и не строила себе никаких иллюзий, глядела в будущее серьезно и трезво.

— Ты не думай... — сказал Путятин. — Они хорошие люди. Очень хорошие и надежные.

— Я знаю. Хотя тоже не такие удобные, как твоя бывшая жена. Удобных людей вообще мало. Но еще меньше настоящих друзей, и терять их нельзя. У меня, например, вообще не было друзей. Разве только в детстве.

— А дочь? Разве она не друг тебе?

— Нет, — сказала Вера Дмитриевна с той жуткой простотой, что манила его и вместе с тем отпугивала. — Она по-своему любит меня, но другом ее был отец.

— Она что же, не видела?..

— Все видела... Ну, не все, конечно, но многое, и это работало на него. На несчастного, грешного, непонятого и погубленного всеобщей черствостью отца. И потом, знаешь, он очень красивый, ему на пользу пороки. У него блестящие, какие-то драгоценные глаза, нервные, порывистые и при этом изящные движения. Он всегда возбужден, приподнят и производит впечатление предельно искреннего человека. Он все время врал, с первого дня нашей жизни. Мне кажется, можно простить все, кроме вранья. Он был тверд и постоянен только в обмане, в одурачивающем, сводящем с ума вранье. Фанатик вранья, он скорее взмоет на костер, чем признался в своей лжи. Это какая-то порядочность наизнанку.

— А разве Олечка не сама решила, с кем ей быть?

— Сама... По-моему, тут сработал инстинкт самосохранения. И еще — твоя машина.

— Ну ладно!..

— Серьезно. Она же девчонка. Тщеславная, глупая, легкомысленная девчонка. Она выглядит старше своих лет, но крайне инфантильна. Ты не представляешь, как ей все льстит: машина, собака, твои прекрасные ружья...

— Ты наговариваешь на нее.

— Зачем?.. И потом, это в порядке вещей. У нее никогда не было хороших игрушек. Важно другое. Я не очень верю в разные воспитательные меры, но верю в очарование человека, назовем это так. И надеюсь, она разглядит владельца столь прельстивших ее вещей.

— Я не умею с детьми...

— Ничего и не надо уметь. Ты вовсе не обязан ею заниматься, упаси Боже! Просто будь самим собой...

"Как много в отношениях людей предвзятости, как мало желания проникнуть в существо другого, — думал Путятин. — Ведь и Кунгурцевы, самые близкие мне люди, все решили про Веру заранее. И что бы она ни делала, это не растопит льда. К чести ее, она и не пыталась выгадать у них что-либо, оставалась самой собой, без малейшего, впрочем, вызова. Если кто и заискивал перед Кунгурцевыми, так это я. Но, может быть, моя

ошибка в другом — не следовало вообще навязывать им Веру? Ведь Липочка была таким же их другом, и кто дал мне право решать за всех? Не лицемерь, друг! Уезжая в Томск, Липочка меньше всего думала о Кунгурцевых. С Пашей другое дело. Он преданно любит свою Марью Петровну, но нужна ему жена не деятельница, а домашняя хозяйка. Он выше всего ценит в женщине чисто домостроевские добродетели. Терпеть не может ходить в гости и обожает принимать у себя — хлебосольно, изобильно, щедро, размашисто, словом, на том уровне, которого умела достигать только Липочка. Ему кажется, что он скушает по Липочке, он скушает по ее пирогам.."

— Слушай, ты совсем не умеешь готовить? — спросил он, запоздало спохватившись, что жена не могла следить за ходом его мыслей и вопрос покажется ей по меньшей мере неуместным.

— Смотря что называть готовкой. Суп я, конечно, сварю, котлеты сделаю, но всякие разносолы — где мне было научиться? Ты, видимо, все-таки не представляешь, как выглядел наш быт.

В который раз он убеждался, что Веру Дмитриевну невозможно заставить врасплох. Она всегда была готова к ответу, ничуть не удивляясь и не противясь причудам чужой мысли. Он не мог найти этому объяснения, но относил за счет все того же внутреннего сцепа, не дающего ей расслабиться, уйти в спасительный туман. Ей приходилось за многое отвечать, и она всегда была собранна, как солдат перед боем. "Милый мой, бедный солдатик!" — зажимая комок в горле, думал Путьятин.

— Я умею готовить омлет-офензерв, — сказала она непривычно низким голосом.

— Что-о?

— Омлет-офензерв.

— Что это такое?

— Омлет с овощами, сыром, грибами и шпиком.

— Откуда такие познания?

— Меня научила сослуживица. Она ездила по студенческому обмену во Францию. Жила там целый год и каж-

дый день готовила омлет-офензерв. Дешево и питательно.

"Пашу на офензерв не купишь", — с грустью решил Путятин, а вслух сказал:

— Будешь нам его готовить?

— Конечно!

Она осторожно, будто все вокруг было из стекла, повернулась к мужу и медленно, нежно, сильно поцеловала в губы.

Никогда еще так пронзительно не чувствовал Путятин женщину. Это было не наслаждение, а что-то иное, сладчайшая мука, которую равно невозможно ни длить, ни прекратить, а потом обвал, томительное падение и опаматование в щемящей опустошенности.

Было жарко, влажно, душно. Он отстранился от Веры, скользнул к самому краю, к стенке машины. От запотелых окошек тянуло холодом. Ему почудилось, что Вера хочет обнять его, и остывающее тело передернуло судорогой протеста. Ему невыносимо было сейчас прикосновение к естеству женщины. Но она не тронула его, лишь натянула на себя простыню и, похоже, сразу уснула.

Туман заклеил окошки машины серебряной фольгой. За этим туманом, за огромной ночью, простершейся на тысячи километров, спит, а скорее томится без сна, изгнанная им Липочка. Такая большая, сильная, полная тепла и заботы, готовностью жертвовать собой всем, кто вступал в необъятный круг ее доброты, и ставшая вдруг совсем одинокой, никому не нужной. Да нет, наверное, она нужна своей недавно овдовевшей сестре, но разве это может насытить Липочкину душу? Ни в чем, ни в чем не виноватая ни перед Богом, ни перед людьми и разом лишенная всего, что составляло смысл ее жизни: беззаветно любимого человека, дома, друзей. А легко ли начинать новую жизнь, когда тебе за пятьдесят? Путятин всхлипнул и замер испуганно. Но Вера спала, дыхание ее было глубоким, долгим и мерным. Он перестал сдерживать слезы. Он тихо плакал, и просил прощения у Липочки, и благодарил Кунгурцевых за то, что они не приняли Веру. Ему бы не осуждать их с

грошовым цинизмом, а поклониться им в ноженьки за верность Липочке и верность ему прежнему.

Ах, если бы вернулось прошлое! Он знал, что это невозможно, и тосковал, и плакал, и так, с мокрым лицом, заснул тем слабым, непрочным, прозрачным сном, когда окружающее не утрачивается, не исчезает, а пронизывает тонкую кисею видений и ты даже не знаешь, что спишь. Ты сохраняешь память о себе, сознаешь положение своего тела, ощущение ложа, все запахи и шумы, и только закрытые глаза обращены не к внешнему миру, а внутрь — к реющим образам сновидений. Он знал, что лежит в тесной машине, чувствовал под боком жесткую горбину стыка спинки переднего кресла с задним сиденьем, слышал бурлящую у валуна реку, слышал дыхание спящей возле него женщины и обнял ее наугад за плечи. И в самое первое мгновение не удивился, что под ладонью оказались полные плечи Липочки, по которой он только что беззвучно плакал. Потом усомнился, не поверил, но ладонь не обманывала, слишком привычное было под нею. Вот и две крупные оспинки, каждая величиной с трехкопеечную монету, которые не спутаешь ни с какими другими. И он слышал запах ее сухой теплой кожи. Это невероятно, непостижимо, но она явилась, выселила случайную зашелицу и заняла свое место возле него. Навсегда. И тогда в отчаянии и ужасе он закричал, хотел вскочить, но сильно ударился головой и рухнул назад.

— Что с тобой?.. Успокойся! — послышался встревоженный голос.

Он не понимал, кому принадлежит этот голос, и, неловко вскинувшись, упираясь ногами в щиток, а головой в спинку заднего сиденья, нелепо провиснув, таранился в темноту и жалобно стонал.

— Успокойся, милый!.. Это же я... я, Вера...

— Правда ты?.. Фу, господи! — выдохнул он остатки ужаса.

— Тебе приснилось что-то страшное?

— Уж куда страшнее... — пробормотал он.

# БЕРЕЗДЕЕВ ЛЕС

## 1

Когда Нина Ивановна уже перестала ждать чего-либо от лета, находившегося в самом исходе, выяснилось, что они едут на Валдай по грибы. Павел Алексеевич получил письмо от старого друга, отдыхавшего с женой и сыном на берегу Валдайского озера, в "зоне отдыха" большого новгородского завода. Нина Ивановна никогда не слышала о существовании у мужа старого друга-новгородца, но Павел Алексеевич объяснил, что друг коренной москвич, а с новгородским заводом как-то связана по работе его жена.

У Павла Алексеевича вообще было много друзей-невидимок, среди них — рыбаки, приглашавшие его на богатейшие рыбалки, лесничие, манившие добычливыми охотами, археологи, звавшие на Алтай или Чукотку. И не понять, где и когда завел эти пестрые дружбы художник-график и упрямый домосед Павел Алексеевич, почти не вылезавший из своей берлоги. Нина Ивановна как-то забывала, что муж, бывший на пятнадцать лет старше ее, прожил до их брака уже немалую жизнь — с войной, неудачной женитьбой, разводом, скитаниями. И видать, умел он крепко западать людям в душу, если те сквозь годы не оставляли настойчивых и бесплодных попыток вытащить его к себе. Странно, но за всю их долгую совместную жизнь лишь один из этих далеких загадочных незнакомцев воплотился в смущающегося, растроганного и якобы не располагающего лишним временем гостя весьма дремучего облика. Гость много пил, почти не закусывая, но и не теряя разума, и заставлял пить непьющего Павла Алексеевича, смотрел на него, как на новый гривенник, а молодой жене

друга — ноль внимания. Нина нисколько не обиделась, и грубоватый этот, будто из одного куска сложенный и вскоре навсегда исчезнувший человек понравился ей куда больше московских друзей Павла Алексеевича. Этих она не жаловала. По странному совпадению все они оступились не в ту профессию, какой им надлежало заниматься. Врачи музицировали и пели, биолог писал пародии, редактор лепил из глины, инженер-слаботочник играл на сцене самодеятельного театра, а единственный художник-профессионал работал охотоведом на Мещерских озерах.

Нине казалось, что близость этих дилетантов, бессильно и упорно посягающих на чужое ремесло, принижает Павла Алексеевича, будто он тоже любитель с напрасным и жалостным дарованьем, а не мастер, чтимый в своем цехе. Почему он избегает собратьев по профессии? А может, они его избегают? Как-то уж слишком сам по себе существовал Павел Алексеевич, на отшибе — и в прямом, и в переносном смысле. Их жилье находилось в сорока пяти километрах от Москвы, и требовались чрезвычайные обстоятельства, чтобы он выбрался в город. Например, выставка. Павел Алексеевич был офортистом и участвовал в выставках маленькими пейзажными работами. Чаще всего то были сельские пейзажи, изредка городские; особенно удавались ему ленинградские виды: лев на набережной, старинный фонарь под аркой, заснеженная ветвь, перекинутая через узорчатую решетку. Этими работами он был обязан своей цепкой, сильной памяти, поскольку в Ленинграде бывал лишь в юности, до войны. С годами, накапливая мастерство, обретая маститость в малоприметном и безвыгодном деле, Павел Алексеевич не ширил, а все сужал свои возможности. Если раньше его хватало на цветущий яблоневый сад, или березовую рощу, или косогор под небом в перистых облаках, то сейчас он с великим тщанием, близким муке, выжимал из себя снегиря на ветке, зайца, притаившегося под кустом, пьющую из лужи трясогузку. Все это было прелестно и, наверное, требовало

большого мастерства, но Нину угнетало изошряющееся в мелочах и само измельчившееся искусство мужа. "Надо же — снегирь! — нарочито поражалась она. — С чего ты так расщедрился, Павел? Неужели недостаточно хвостика или просто перышка?" — "А что ты думаешь? — конечно, он притворялся, будто не замечает иронии. — Ничего больше и не нужно. Но перышко, просто перышко — это так трудно! Мне не потянуть". — "Мужайся, — холодно советовала она, — время еще есть". Он безнадежно махал рукой: "Да тут целой жизни не хватит".

Нину больше устраивали смешные книжки про зверей, которые он делал для детских издательств. Веселые талантливые книжки пользовались успехом у детей и обладали тем неоспоримым преимуществом перед офортами, что на них можно было жить, и даже недурно. Скромная зарплата Нины Ивановны, преподававшей в строительном техникуме, в семейном бюджете не учитывалась.

Следует отдать должное снегирам, трясогузкам, поползням, купам берез, каменным львам и чугунным узорам ленинградских решеток: в свой час они принесли, как говорят гадалки, "нечаянную радость", да еще какую! Собранные в альбом, они были выпущены в свет издательством "Художник". Гонорар обернулся загородным жильем. У вдовы артиллерийского генерала был приобретен участок, гараж с двухкомнатной пристройкой, дощатый домик уборной и фундамент так и не построенного дома. На этом фундаменте Павел Алексеевич собственными руками поставил щитовое здание-мастерскую с широченными окнами и камином — березовые поленья едва не уносились в дымоход от мощной тяги, — тепло держалось даже в крещенские морозы, несмотря на обилие стекла.

Гараж заняла высокая, "колхозная" "Победа", приобретенная еще в доисторические, "до-Нинины" времена. Павел Алексеевич ни за что не соглашался сменить древнюю, впрочем вполне исправную, машину на современные "Жигули" — из ребяческой мечты, что когда-нибудь поедет на ту заманчи-

вую охоту или сказочную рыбалку, куда тщетно звали его далекие друзья, а там машине с низкой посадкой нипочем не пройти. Казалось, вся основательная личность Павла Алексеевича, спокойного, неторопливого крепыща с ровным, самоулубленным характером, воспитанного в духе строгой дисциплины, отвергает не только причуды, но и всякое уклонение от нормы, на самом же деле он был набит чудачествами. Он ненавидел толпу, в том числе безопасно гомозящуюся у театрального подъезда, не терпел задернутых штор, излишней укромности, не мог высидеть даже короткого собрания, чем очень вредил себе, и никогда не ездил в поезде. С годами эти странности обрели неумолимую силу маний, одновременно в нем нарастало отвращение к перемене мест, усиливалась тяга к уединению, к свободе от всяких внешних обязательств. Было время, когда они плавали по Оке на байдарках, летали на Алтай и Байкал, проводили лето то на Иссык-Куле, то в Молдавии, то на Куршской косе, но с приобретением полугектара земли, гаража с пристройкой, фундамента и дощатой уборной жизнь замерла, окостенела, замкнулась в малом, оглядном пространстве. Конечно, были окрестности с лесом, речкой, лугами. Но лес так загаживали приезжающие из Москвы любители природы, что хотелось плакать от горя и бессилия. Не лень людям тащиться автобусом за сорок пять километров и еще три в сторону пешком топать, чтобы развести неопрятный костер, налить рожки водкой, обломать деревья и нашвырять вокруг черного кострища консервных банок, яичной скорлупы, пустых бутылок, окурков, полиэтиленовых мешков и грязных газет. А речку который год терзала дночерпалка, углубляющая илистое дно. Луга же забрали проволокой, и там паслись коровы с недавно созданной молочной фермы.

Но Павлу Алексеевичу за глаза хватало нового жизненного пространства. Он так изошрился и утончился в своем ремесле, что ему не нужны стали новые пейзажи, — веточка, а в ней синица, фанерка с кормом в развилке жимолости и пара снегирей, он с красной грудкой, она с опаловой,

— и ему хватало работы чуть не на целый месяц: превращать в крошечные офорты жадные карандашные наброски. Кроме того, дачный мирок требовал постоянной и неустанной заботы. Павел Алексеевич все время что-то мастерил, строгал, пилил, приколачивал. Он пристроил к мастерской террасу, застеклил, утеплил и развел что-то вроде зимнего сада. Поставил и оборудовал финскую баню. Они обзавелись водопроводом и канализацией (тут пригодился опыт Нины — инженера-сантехника), баллонным газом. Скворечники, кормушки для птиц, слетавшихся сюда из лесов с наступлением зимних холодов, тоже требовали труда и времени. И был еще огородишко, и яблони, и кусты смородины, малины и крыжовника, и маленькая теплица, где круглый год рос лук, и самое удивительное, что заботы не уменьшались с годами, скорее увеличивались. То погреб понадобился, то яма в гараже, то стеллажи в мастерской, то фонарь в саду возле калитки, то требовалось сменить всю электропроводку и обрубить мешающие этой проводке ветви старых берез. Зима ставила свои задачи: сбрасывать снег с крыш, расчищать тропинки к калитке и гаражу, подкармливать птиц. Павел Алексеевич вставал на заре, но лишь после ужина мог присесть к телевизору или что-то почитать. Он вовсе перестал бывать в Москве, поручив Нине свои московские дела.

Нина ездила в Москву три раза в неделю. Она преподавала в техникуме. Дорога до места работы занимала около трех часов, и то при условии, что муж подбрасывал ее на машине к автобусу и встречал. В дороге она читала, думала, прислушивалась к разговорам, разглядывала попутчиков, время летело незаметно; правда, зимой в неотопляемом автобусе было весьма неудобно. Но она любила движение, все равно какое, лишь бы мелькало за окошками, лишь бы возникали новые человеческие лица и, посветив таинственной белизной, исчезали, рождая короткое сожаление; лишь бы что-то менялось округ и всплывало со дна души ожидание чего-то, чему нет ни имени, ни образа. Но сейчас все

чаще она чувствовала усталость, не прямую усталость от долгой тряски и духоты, а усталость, предваряющую даже малое путешествие. Она становилась тяжела на подъем, что не удивительно на рубеже сорока. Уже ничего не давалось даром, каждый поступок, каждый жест требовал насилия над собой.

Павел Алексеевич настаивал, чтобы она ушла с работы, но Нина и слышать об этом не хотела. Ей нравилось преподавание, по душе были ребята, избравшие дело, которое у обывателей вызывает насмешливое любопытство. Нина же не без вызова называла себя "потомственным сантехником", это была профессия ее родителей. Но главное — работа сохраняла ее связь с Москвой, давала хоть малую самостоятельность. Из этого вовсе не следует, что Нина тяготилась загородным жильем. Она полюбила и сад, и огород, и сезонную обязательность древних хлопот: вскапывать, сажать, полоть, окучивать, поливать, собирать, сжигать сладкий осенний мусор; нравилось зависеть от того, что происходит в серьезном, вечном мире природы: от солнца, дождя, снега и ветра. Много забот доставляли ей животные. Они все были калеками. Нина давно, всегда мечтала о собаке, но достался ей не литой и пружинный королевский эрдель, не сухой красавец доberman, будто вырезанный из черной бумаги неотрывным движением ножниц, не шнуровой золотоглазый пудель, а рыжий дворник с расплюснутым задом — щеночком его придавила снегоочистительная машина; он ходил с видимым усилием, побалетному ставя задние тесно приплюснутые одна к другой лапы, а на бегу, отгалкиваясь ими враз, развивал ракетную скорость. А потом рыжик обзавелся тоже хромоногой и тоже рыжей, низкорослой и длинной, похожей на лисуцу подругой. Вскоре появился одноглазый кот в изношенной, драной, некогда плотно-пушистой сибирской шубе. Устройство зверьевого инвалидного дома никогда не входило в намерения Нины, она даже немного брезговала больными и увечными животными, пока не появился первый

калечка. Ныне в стаде ходили шесть уродов: четыре пса и две кошки. И уже нельзя было взять здорового зверя, это сразу подчеркнуло бы неполноценность остальных. Инвалиды жили мирно и даже заботились друг о друге. Если запирали на ночь калитку и кто-то оказывался на улице, остальные подымали громкий крик, требуя впустить шлендру. Однажды зимой на помойке обнаружили ворона с перебитым крылом. Звери не тронули товарища по несчастью, позволили ему кормиться и обогреться в ящике с теплыми отбросами.

Эти больные звери, требовавшие много любви и внимания, еще сильнее привязали Нину к загородной жизни. И были книги, хорошие книги, и тихие, свободные часы для чтения. И потом она не стала равнодушной к тому, что создавал муж, хоть измельченность его последних работ огорчала. Ну пусть бы и эти миниатюры были, а рядом что-то покрупнее, поохватнее, пошире забирающее жизнь. И все же трудно противостоять чужой воле, если эта воля твердо знает свою цель и неуклонно ей следует. И когда у Павла Алексеевича начался долгий "воробьиный период", — убедившись, что нет в Подмосковье птицы живее, красивей, разнообразнее повадкой, интересней характером, нежели воробей, он целиком переключился на воробьиные портреты, — Нина поймала себя на том, что все время отыскивает взглядом воробьев и, будто райской птичке, радуется крылатому хулигану.

Но Москва оставалась нужна ей, контраст перенасыщенного звуками, судорожным движением машин и людских масс города их одинокой тишине радовал и бодрил. И хотя все труднее становилось преодолевать инерцию возрастной огрузлости, тяготеющей к покою, ей всегда хотелось ехать в Москву, так как же как и всегда хотелось вернуться назад. Даже когда она ходила в театр или в концерт, она все равно рвалась домой, несмотря на поздний час и на то, что придется ковылять три километра в крошечной темноте на высоких каблуках, такой ее охватывал

страх — смешной и беспричинный — за все оставленное там. Она пыталась разобраться в этой неудержимой тяге домой, — ведь можно спокойно переночевать в теплой, благоустроенной московской квартире, хоть и припахивающей тленцем, как всякое жилье без человека, — и пришла к выводу, что страхом притворяется ее любовь к мужу. Она знала, что он терпеть не может оставаться один, будет томиться, прислушиваться к каждому шороху за оградой в надежде, что вернулась она, будет душно несчастен всю долгую бессонную ночь, хотя никогда не скажет ей и слова упрека и даже похвалит за благоразумие.

Оказывается, семнадцать лет жизни бок о бок, с непрерывной еженощной, почти механической близостью — вместо страсти, укоренившийся физиологический импульс, — все же не превратили некогда соединившее их сильное чувство в привычку, в ту заботливую снисходительную дружбу-жалость, которой увенчиваются долголетние счастливые браки, ибо несчастливые браки быстро превращаются в тягостную обузу, сплошной обман или заговор против окружающего мира. Нет, у них все было живо, хотя об этом вроде бы и не помнилось в чреде однообразных дел, в тихом течении привычной жизни.

И, трясаясь в ночном пустом, провонявшем, как овощной склад, автобусе сквозь дождь, снег или непроглядный туман, о который расплывался, радуясь, свет фар, она вдруг спохватывалась в своей нетерпеливой тревоге: а ведь я счастливая! О, совсем не таким рисовалось ей счастье в юные годы: что-то воздушное, лазоревое, золотое... А оказывается, счастье — это пожилой, тучный, седой мужчина, рисующий мелкие подробности жизни, пристройка к гаражу, маленький сад, огород да шесть покалеченных тварей.

Когда Павел Алексеевич объявил о поездке на Валдай, Нина растерялась, всполошилась, разволновалась, словно речь шла о полете на другую планету. В каком-то смысле так оно для нее и было. Вот уже более десяти лет они никуда не выезжали. Несколько заграничных туристских поездок

не в счет. Там человек не принадлежит себе, скован по рукам и ногам дисциплиной, обязательными мероприятиями, принадлежностью к группе, запрограммирован, как робот, и, стало быть, не живет. А их ждет пусть коротенькая, но настоящая жизнь в незнакомом месте, среди новых людей, без привычек и обязательств, и какой эта жизнь окажется, неизвестно, и это замечательно. Но после всплеска радости она вдруг ощутила жестокую тревогу, почти ужас, словно им предстояли тяжелейшие испытания, которых не выдержать. Чувство было странное, необъяснимое, донельзя глупое, но стряхнуть его не удавалось.

Павел Алексеевич заметил ее смятенность, но объяснил по-своему: боязнь бросить дом и сад и жалкое стадо. Оказывается, он уже принял меры и вызвал из глубины своего таинственного прошлого Сергуновых. Это надежнейшие люди, им можно доверить не только загородную халупу, а целое государство, и там гвоздя не пропадет. Нина сделала вид, что успокоилась, но Павел Алексеевич, чья проницательность в отношении жены нередко запаздывала, но неизменно срабатывала, понял свою ошибку — иное заботило ее. Он не умел не то что ломиться, даже стучаться в закрытые двери и со вздохом отступил.

Чета прибыла накануне их отъезда. Нина никогда не видела столь монументальной старости. Оба гренадерского роста, плечистые, чреватые, с обожженными солнцем медными лицами и певучим южным произношением. Мужчины обнялись и долго стояли молча, притиснув скулу к скуле, а Сергунова издала из своей могучей емкости нежданно тонкий писк, и голубые слинявшие глаза выслезались бисерком. Потом Павел Алексеевич сообщил, что Сергунов был лучшим старшиной, какого знала Отечественная война, а в Сергуновой возродился благородный образ маркигантки (она ведала армейским ларьком), сочетающий бесстрашие с широкосердечием и самоотверженностью.

Нина высказала соображение, когда они остались вдвоем, что люди, воевавшие несколько отступя от фронта (Павел

Алексеевич резал гравюры по линолеуму в армейской газете), на редкость преданы своему боевому прошлому, никто так не напивается в День Победы, как штабные писаря. "Не все, — со смехом возразил Павел Алексеевич, — я, как тебе известно, не напиваюсь". — "Шучу, шучу!" — сказала Нина и тут заметила, что впервые за их долгую совместную жизнь муж ее раздражает, хотя поводов к тому нет. Но с появлением Сергуновых, когда стало ясно, что они действительно едут, в ней зашевелилось странное ожесточение против мужа, словно он толкал ее на что-то неправильное, ненужное, в чем сам же будет потом раскаиваться.

Человек справедливый и добросовестный, она попыталась понять природу этого странного чувства, нет, "чувство" звучит слишком громко, — некоторого душевного смещения в сторону от обычного курса. Может быть, она настолько засиделась, настолько привыкла к неизменному ритму и ладу жизни, что ее пугает, нервно пугает эта встряска, утрата годами выработанных рефлексов, отношения с незнакомыми людьми и то, что там она не будет хозяйкой, что ей придется приспособливаться к окружающим. Все эти соображения казались мелкими и недостойными внутренне свободного человека, каким она себя считала.

Во всяком случае, у нее не было и тени тревоги за все, что она оставляла дома. В часы затянувшегося вечернего застолья, напомнившего по своему неспешному, величественному благолепию трапезы Владимира Красного Солнышка, Сергуновы подробнее обговорили свои обязанности. Нина полагала, что от них требуется лишь одно: не дать подохнуть с голода собакам и кошкам. Зная крестьянскую скупость на кусок домашним животным: кошек вообще не кормят, а собаке кидают кость, только если она сторожевая, Нина на большее не рассчитывала, но разоравшимся, лоснящимся хлебникам полезно посидеть на диете.

Сергуновы понимали свои полномочия значительно шире: собрать и засолить огурцы, уже начавшие желтеть, обрезать усы у клубники, наварить варенья из малины и

крыжовника, а черную смородину растереть с сахаром, из кислой, твердой грушевки сделать яблочное вино, а из отроду не созревающих слив — сливянку. Кроме того, очистить выгребную яму (Сергуновы называли это деликатно "убрать последствия"), — тут Нина почувствовала некое ущемление профессионального самолюбия, — подправить ограду — загнили опорные столбы, — тут пришлось краснеть Павлу Алексеевичу.

Расставание оказалось мучительным. Бедное стадо пришло в неопишное отчаяние. Две собаки и кошка заговорили человеческими голосами. "Ай-яй-яй!" — пронзительно причитала кривоглазая полосатая Тигра, "Ох ты, ах ты!" — басовито вторили ей Рыжик и Лисичка. Они набились в гараж, лезли под колеса машины, и ни упрасивания Павла Алексеевича, ни грозный рык Сергунова не могли прогнать их оттуда. Тогда сделали вид, что отъезда отменяется. Звери поверили и наперегонки посыпали из гаража, но, обнаружив обман, разразились такими криками, воплями и стонами, что Нина расплакалась.

Бывший старшина взял под козырек маленькой детской кепчонки, сердобольная маркитантка перекрестила отъезжающих, старая, тяжелая машина дернулась раз-другой, словно лошадь, отдирающая от снега примерзшие полозья саней, и пошла, медленно набирая скорость и оставляя за собой смрадное синее облако.

Нина утирала слезы и, вызывая в памяти лица покинутых, прощалась с каждым отдельно. Ей хотелось подключить мужа к своему горю, но слова обеззвучивались в оглушительном реве мотора. Тогда она разозлилась: неужели нельзя сменить этот ревуший примус на новую машину — и, укрепив душу злостью, начала успокаиваться.

"Безбожно мы поступили, и нам это отольется!" — сознание услужливо подсунуло самоистязательную фразу, прежде чем капитулировать перед дорогой, упрямо желающей вовлечь Нину в свой не имеющий отношения к дому и всему оставленному там крутень.

Шоссе Москва—Ленинград мучительно для водителя чуть не до самого Солнечногорска. Населенные пункты почти сливаются, и знаки ограничения скорости следуют один за другим. Но и в пустом пространстве шоссе то и дело сужается — ни объехать, ни обогнать. И все же юркие, с сильным, примчивым мотором "Жигули" умудрялись обходить их, выныривая из-за спины и улетающая левой стороной.

— Неужели не противно, что тебя все обходят? — спросила Нина, когда машина устремилась под гору на свободном ходу и ревуший, как буйвол, мотор несколько поутих.

— Нет, — отозвался Павел Алексеевич. — Это все нарушители, а я еду согласно указателям.

— Твоя машина похожа на катафалк — и высотой, и скоростью.

— Возможно. Но на кладбище куда вернее окажутся все эти торопыги. А мне нравится высоко сидеть. Прекрасный обзор и просторно. Помню, один мой знакомый говорил: "В "Победе" можно общаться".

— Только под гору. А так — слишком шумно. Кстати, в новых "Жигулях" салон просторней.

Павел Алексеевич сбоку внимательно посмотрел на жену. "Салон" — технический термин, но он не входил в словесный обиход Нины и прозвучал из ее уст чуждо, жеманно и неприятно. Когда человек, особенно женщина, вдруг прибегает к непривычной лексике, это почти всегда знак внутренних сдвигов, смещений. Впрочем, что ж тут удивительного? Они снялись с места после на редкость неподвижной, будто окостеневшей жизни — под стать былинному сидению Ильи Муромца, — и это неизбежно должно вызвать в каждом из них какие-то отклонения от себя всегдашнего. Да нет, у него никаких отклонений не будет, в пятьдесят четыре раствор, из которого ты отлит, схвачен намертво. Но ведь Нина на пятнадцать лет моложе.

За Солнечногорском дело пошло значительно веселее, а по миновании Клина они перенеслись в царство неограни-

ченной свободы. Стрелка спидометра подбиралась к девяности, машина гудела, дребезжала, грозила вот-вот развалиться, но Павел Алексеевич верил в надежность ее старого тела и бесстрашно обходил каких-то захудальцев.

Минуло Завидово, они въехали в Калининскую область. За широченным, озерным разливом Шоши замелькали светлые стволы тополей, высаженных вдоль шоссе, и казалось, конца не будет ровной, прямой, вонзающейся в небо аллеи. Новая магистраль обходила стороной Калинин и только у моста через Волгу срезала мысок города с трамвайной линией, светофором и стеклянной будочкой милиционера. Но в иных поворотах и взлетах шоссе открывались городские кварталы со старыми приземистыми "тверскими" домиками и новыми башнями, заводами, паровозными депо, портовыми кранами. А вот Торжок и вовсе потерялся в глубине закурившегося под окрепшим солнцем простора, но вдруг напомнил о себе возле заправочной станции, где сквозь бензиновую вонь отчетливо пробился духовитый и манящий запах горячих котлет. Этот запах валил из открытых дверей столовой, и Нина с Павлом Алексеевичем разом вспомнили добрый пушкинский совет: "На досуге пообедай у Пожарского в Торжке"...

На площадке перед столовой было тесно от частых машин. Тон задавали дочерна загорелые, полутолые, самоуверенные, крикливые люди, еще не растратившие курортный фарс и эдакую победительную развязность. На них с завистью поглядывали тянущие на юг бледнолицые братья. Преобладала молодость, но попадались и бедовые старики в шортах, делавшие вид, что им сам черт не брат, — чем-то жалким веяло от их натужного молодечества. Нина не придавала никакого значения возрасту мужа, но тут ее вдруг кольнуло: а не кажется или окружающим и Павел Алексеевич таким вот отчаянным стариком? Нет, даже в той непонятной настроенности против мужа, которая овладела ею перед поездкой и не только не проходила, но укоренялась, прорастала в кровь, Нина не могла обнаружить в нем никакого наигрыша ли

притворства. Он просто, бодро и естественно прибывал в своем возрасте, соответствуя ему плотной, сильной статью, чистой густой сединой, крепким лицом, прорезанным на лбу глубокими морщинами, спокойствием уверенных движений; в нем равно не было ни усталости, ни ложной живости, ни суетливости, ни нарочитой солидности.

Вид путешественников взволновал Нину. Чувствовалось, что для них такие вот дальние поездки не в новинку. Соблазнительно выглядело их снаряжение: прицепные лодки, тугие яркие мешки на крыше, очевидно с палатками и надувными лодками, акваланги и подводные ружья в открытых багажниках. Нина забыла, когда в последний раз была на море, а ведь она любила море и хорошо плавала, и кожа ее прекрасно принимала шоколадный южный загар. Она была ловка и спортивна и без труда научилась бы и охотиться с аквалангом, и выписывать виражи на водных лыжах, и скользить по гребням волн, стоя на дощечке, и всем прочим новым чудесам. Сколько увлекательного, современного прошло мимо нее, она без времени похоронила себя, живет, как бабушка на вате, а ведь ей и сейчас далеко до старости.

Чувство обиды, возникшее в придорожной корчме под Торжком, где люди жадно поглощали горячие, пахучие, с лучком, котлеты, заложенные в полбатона, и запивали неизменно сладким чаем — буфетчица с красивым и грубым лицом ожесточенно пихала в стакан четыре ложки сахарного песка, все нарастало в душе, освобождающейся по мере отдаления от Москвы от связи с покинутым. Это чувство вобрало в себя все, что насылала дорога: древние юродские названия селений (один Выдропужск чего стоил!), заставлявшие предполагать здесь какую-то гибло-разудалую и скоморошью жизнь, костерки обочь дороги, за кюветом, и расположившихся вокруг людей с дневным отсветом огня на рубашках и лицах, как у суриковских старцев перед казнью, встречные и попутные машины с веселыми пассажирами, знающими о жизни такое, чего не знала Нина, оснащенными всем, что создает бытовой оби-

ход нынешнего дня, — фотоаппаратами, заряженными на слайды, и киноаппаратами, неугомонными транзисторами и карликовыми кассетными магнитофонами, ракетками для бадминтона и подводными ружьями, красивой и удобной спортивной обувью, обтяжными, нарочито заношенными джинсами, дорожными сумками-холодильниками и работающими на бензине печками, складными велосипедами и разборными палатками. Конечно, очень просто отмахнуться от всего этого: барахло, шмотье, "предметы", дешевое счастье обывателей. Но, помимо своей материальной сущности, вещи обладали и куда более значительным смыслом — были символами, знаками времени. В наборе, каким обставлена жизнь современного человека, ничуть не меньше поэзии, чем в лютке, кубке, шандале, кружевном воротнике, шпаге, перевязи, шляпе с пером, трубе с длинным чубуком на картинах голландских жанристов.

Если не считать старый телевизор, который почти никогда не включался, и старую машину, на которой они впервые за десять лет выползли в широкий мир, их быт был на редкость свободен от примет текущей жизни: ни проигрывателя, ни магнитофона, ни слайдов, ни даже электробритвы не было у них в заводе. Каждый год Нина собиралась купить джинсы, и этого не смогла сделать — руки не дошли. Отказываться от чего-то можно, лишь когда ты узнал этому цену, иначе — зелен виноград.

За промельками лиц и вещей угадывались другая музыка и другие песни, другая живопись и другие стихи, другие речи, ссоры, интересы, другое веселье и другие кумиры. Угадывалось — огорчительно — в проноссящихся мимо людях пренебрежение к тем, кто отстал, засиделся в душном чулане, пропах нафталином; о, конечно, поспевающие за временем лишены старомодной сентиментальности, у них обостренное восприятие жизни и агрессивное поведение, они умеют наносить и принимать удары. Словно жители других планет, они были притягательны и пугающи, но, чем бы ни грозило вступление в их силовое поле, — стоило рискнуть.

И назойливо стучало в голову: почему она изъята из этой жизни, этого движения; почему, чудом втиснувшись в поток, продвигается в нем с черепашьей скоростью, созерцая окружающее якобы сверху вниз — с высоты "колхозного" шасси, на деле же снизу вверх? Таково и все ее существование: возвышенно-отсталое, тягучее, бесконечно далекое от всего, чем дышат ее сверстники.

Она дала зажать себя чужой воле. Павел Алексеевич знал, что ему надо, а она не знала. Удивляться тут нечему: когда они встретились, он был зрелым человеком с большим и довольно горьким душевным опытом, она же — девчонкой, только что окончившей институт. Есть люди, рожденные для служения неважно чему: обществу, собственному гению, таланту, любимому делу, заблуждению, наконец, а есть — просто для жизни. Она принадлежит ко второй, куда более многочисленной части человечества. У них нет ни таланта, ни фанатизма, понуждающего сильнее таланта; она всю жизнь работает, но не может сказать, что очистка питьевых вод и "ликвидация последствий" поглощает ее без остатка. Ей не дано иметь ребенка, что способно заменить женщине весь мир, и не по своей вине, а по упорному нежеланию Павла Алексеевича, так странно не вяжущемуся с его нежностью ко всем малым и слабым. Ее существование замыкается целиком на муже. Будь Павел Алексеевич Рембрандтом, стоило бы сложить свою жизнь к его ногам. Но он не был Рембрандтом и уже не станет им — слишком поздно. Он был всего лишь даровитым графиком, и этого вполне достаточно, чтобы оправдать жизнь — собственную, а не чужую. Еще немного, и она возвела бы в ранг самопожертвования свое обеспеченное, надежное и необременительное, если исключить добровольную нагрузку службы, существование возле Павла Алексеевича. И все же как там ни деликатничай, а выходит, что она пребывает в мире лишь для чужого удобства. Для себя у нее нет ничего. "А ведь можно рисовать воробьев и не заедаая чужой век!" — зло и горько подумалось ей.

Возможно, она никогда не догадалась бы, что живет не своей жизнью, если б не эта поездка. Нет, не надо впадать в крайности и перечеркивать их дружную, чистую, достойную жизнь. Она любила Павла Алексеевича, и если все реже отвечала его ежеутреннему порыву, то какая страсть выдержит испытание столь долгой совместной жизни, общей постели и постоянного соприкосновения кожи? Его страсть выдержала, ответила она себе. Да нет, какая там страсть! У мужчин все происходит иначе, ну и Бог с ними. И все-таки она должна быть благодарна мужу... У нее никогда не бывало того ищущего, голодного взгляда, который она подмечала у иных своих подруг, изнемогающих в пережившем себя браке.

Все так. Но сейчас ей хотелось мчаться в другой машине, и чтоб вокруг были люди ее возраста, смешливые, шумные, загорелые, пусть без царя в голове, но не безропотные жертвы скромных своих дарований, и чтоб принимались неожиданные решения, совершались сумасбродные поступки и гремела дурацкая музыка. И чтоб она нравилась, и чтоб за ней ухаживали. Смешно сказать, за семнадцать лет она не поцеловалась ни с одним мужчиной, если не считать луково-водочных поцелуев уходящих в подпитии друзей мужа. Павел Алексеевич, наверное, тоже не целовался, зато он достаточно нацеловался в той жизни, что была до нее, и разве это справедливо?

Господи, а ведь не так начинали они с ним жизнь. Были и люди вокруг, и поездки, и ночные костры, и пробуждения в рассветном тумане, и ей не хотелось ничего другого. Но другое все-таки настало и поначалу радовало. Не верилось, что можно сказать: "моя береза", и "моя яблоня", даже "моя крапива" — и вовсе не обязательно быть собственницей, скопидомкой, выжигой, чтобы это доставляло удовольствие. Но год шел за годом, она и не заметила, как ушли радость, веселье, праздник. Тем более что оставалось много хорошего, наверное, даже более ценного, чем праздник,

ведь рано или поздно он отгорает. Праздник потому и праздник, что приходит и уходит, вспыхивает, разливается огнями и угасает. Иначе он никакой не праздник, а более или менее приятная обыденность. Нескончаемый праздник печален, как на картинках Ватто. Беспечные, обреченные на вечное веселье, вечный карнавал люди погружены в сиренево-золотистую печаль... Покой, доверие, доброта друг к другу, достоинство каждого прожитого часа, не омраченного ни хитростью, ни скрытностью, ни задней мыслью, обладают куда большей ценностью, чем остротца разнообразия, опасных поворотов, тайных замираний.

Все так. Но мчатся машины, мелькают чужие прекрасные лица, тянет прелью и дымком из леса, мир полон движений, встреч, волнения, ожидания, ничто в нем не кончилось, не изнемогло в утомлении, все начинается сначала, очарованно и ошеломленно, как в первый раз. Ты сопротивляешься его зову — из приличия, из уважения к своему прошлому, которое лишь сегодня предстало тебе прошлым, а не настоящим, из привычки, слабости сникшей в бездействии души, ты говоришь себе: не превращай Бог весть в кого усталых людей, торопящихся использовать свой отпуск, и других, со скукой возвращающихся в рутину службы, очередей, домашних забот и неурядиц. Не воображай, что кружится, звеня, расписная, вихревая, пряничная карусель и лишь тебе, бедной, не достало деревянной лакированной лошадки. Ты просто с жиру бесишься. Да, да, ты распустилась в тишине и нежности любящего человека и бесишься с жиру. О, какое мерзкое выражение! Его наверняка нет ни в одном другом языке. Оно порождено древним русским рабством. Им так удобно одергивать всякое желание, стремление, мечту, гасить любую неудовлетворенность, недовольство, порыв. С жиру бесишься — и баста!..

Под Вышним Волочком их прихватил дождь. Нина задремала и пропустила его начало. Когда же проснулась, дождь всю хлестал из низких, обложивших все небо серых туч. По лобовому стеклу бессильно мотались дворники, разма-

звивая непрозрачными полукружьями замокшую пыль и размозженные тела насекомых. В западинах и выбоинах шоссе налились лужи, всклень наполнились кюветы, все, что населяло простор, что росло из земли, было измочено вдрызг, как будто дождь длился не считанные минуты, а много дней подряд. С проводов, столбов и веток смыло птиц, а с шоссе смыло машины. Лишь изредка, фонтанируя грязной водой, проносился навстречу крытый грузовик. Ну птицы попряталась, нашли укрытие, а куда подевались машины?.. И Нине представилось, что она спала долго-долго и проспала исход лета, на дворе осень и нескончаемый дождь, и ее смутные ожидания и надежды так же размажет по глади вечности, а потом и смочет неутомным потоком, как пыль и трупы насекомых со стекла, и ей захотелось плакать.

Она закрыла глаза и долго сидела так, безвольно отдаваясь тряске и слушая, как шины, шипя, проносятся по плоским лужицам, с резким хрястом вышибают воду из глубоких луж, как дробно барабанит дождь в лобовое стекло и вдруг хлестом ударяет в ветровое. Тогда холодные капли выжимались из каких-то щелей ей на колени, руки и губы, у них был противный, не дождевой, а жестяной и резиновый вкус. Почему-то вспомнилось, как пахнет осенью мокрая собачья шерсть, когда влага вбирает дым сжигаемой листвы. Господи, что ты ни делаешь, все к лучшему!

Она уже хотела попросить Павла Алексеевича повернуть назад, открыла глаза и увидела впереди, в чистом секторе, разметенном дворником, сквозь поредельи и обхудальи дождик бездонную синеву, которая скоро примет их в себя.

Обогнав их, в эту синеву продрал во все лопатки, как заяц от погони, новенький "Запорожец". Он едва не столкнулся с бензовозом, резко забравшим к обочине и так же резко вырулившим назад на шоссе и обдавшем их по крышу рыжей, глинистой водой из огромной лужи. Пришлось опять пустить в ход дворники. Казалось, щетки расчистили

не только лобовое стекло, но и окружающий мир, — промытая солнечная синь объяла их со всех сторон. Глянцевело шоссе, глянцевели поля, деревья, травы — отсюда пришел крепкий августовский дождик, который она приняла за безнадежную осеннюю течь. Нина опустила стекло, и в машину ворвался напоенный запахами земли воздух. Лето продолжалось, и сейчас, после дождя, оно было особенно зеленым, свежим, сочным. Минувшая весна не сладилась: промозглая, крупитчатая, робеющая пробудить мир к цветению, — пришлось лету доделывать чужую работу, за то и дано ему теперь гулять допоздна, а осень пусть подождет.

И опять заполнилось шоссе машинами, и замелькали на опушках дрозды и сороки, нанизались на провода воробьи, стрижи, ласточки, а трясогузки задержали хвостиками возле мелких луж, приноравливаясь к водопитию.

Они проползли Вышний Волочек, бесконечно растянувшийся вдоль шоссе свои сельские окраины и с городской спесью развесивший над всеми перекрестками никому не нужные автоматические светофоры, и вскоре оказались посреди Валдайской возвышенности.

Как все хорошеет вокруг, каким живым и насыщенным становится немудреный среднерусский пейзаж, когда тарелочная плосина сменяется крутогорами, холмами, горюшками. Шоссе то забирает ввысь, то падает в глубокий провал. И когда ты на гребне, зеленый ивняк в котловине, поймавший листьями ветер, кажется пенящимся потоком. Вдалеке цепочкой выстроились сосны над зеркальным выверком то ли реки, то ли озера, то ли канала — не решишь на таком расстоянии; водяная гладь отблескивает в тонкое облако испарений, которое перерезало стволы деревьев, предоставив кронам свободно висеть в воздухе.

Но вот высветлилось озеро справа от дороги, вроде бы и городок проглянул, но сразу скрылся за складкой местности. Валдай лежал в глубине простора, а на шоссе выдвинул заставой пригожее селение. Павел Алексеевич прокричал сквозь гибельный рев машины:

У податливых крестьянок  
(Чем и славится Валдай)  
К чаю накупи баранок  
И скорее поезжай.

— Почему валдайские крестьянки были податливей, скажем, тверских? — до боли напрягая горло, полюбопытствовала Нина.

Павел Алексеевич дождался, когда дорога пошла под уклон, и скинул скорость.

— А правда, почему?.. Другой поэт мог бы это сказать просто так, ради красного словца, только не Пушкин. У него все осмысленно. Очевидно, здешние мужики занимались извозом. Гоняли тройки в Петербург, Москву, а молодые их жены скучали, чем и пользовались проезжие господа.

— Весьма убедительно...

Павел Алексеевич включил скорость, и разговор оборвался. За постом ГАИ свернули направо. Новое асфальтовое шоссе пролегло через лес. Скорость не увеличилась, но в лесном коридоре казалось, что машина пошла быстрее. За высокой обрывистой насыпью густо цвел кипрей, лес был еловый, темный, забитый валежником прямо от опушки, настоящий девственный лес. Такой лес стоит спокон веку и сам себя восстанавливает, выращивая новые деревья взамен умерших, преспокойно обходится без той "умной" опеки человека, из-за которой леса вокруг Москвы уподобились расплзшемуся шелку. О эти бедные леса — сквозные, иссеченные широкими, неровными просеками в рваных тракторных следах, с пустырьками вырубков, куда свозят для первичной обработки поваленные ради "санитарных" целей деревья, молчаливые редняки без птиц и зверья, распуганных электропилами, тягачами, грузовиками и кострами лесоповальщиков. И как хорош этот серьезный, угрюмый, нетронутый русский лес!

Порой ельник светлел, раздавался, предоставляя внутри себя место березам и осинам, опушки кустились малинником, достигавшим шоссе и прораставшим в его насыпь, уже ставшую почвой. От шоссе отходил боковые дороги —

бетонные и асфальтовые, но Павел Алексеевич не обращал на них внимания и уверенно гнал машину вперед, руководствуясь грубым чертежиком местности, который его друг приложил к письму.

Шоссе уперлось в наглухо запертые ворота дома отдыха, они свернули под прямым углом на большак, рухнули в песчаный овраг, с надсадным гулом вскарабкались по отлогой пади, промахнули деревню, желтеющую рослыми подсолнухами, и краем залива неоглядно простершегося озера — посреди, на острове, высился белый монастырь — подъехали к лодочной станции, вползли на крутой бугор и оказались в сосняке, приютившем человечье становище. Очевидно, это и была "зона отдыха". Небольшие нарядные финские домики нетесно расставлены в душистом от смолы бору, плотно устланном ковром из сухих игл.

Все так же уверенно Павел Алексеевич проехал зону из конца в конец, подрулил к домику под номером 18 и выключил мотор. И в то же мгновение из двери выскочил худой, мосластый, светловолосый очкарь и с ликующим воплем команча, повергшего врага, кинулся к Павлу Алексеевичу. "За что его так любят?" — ревнивно подумала Нина...

## 2

...Нина проснулась с ощущением потери. Да, она потеряла Павла Алексеевича — впервые за всю их долгую жизнь его не было рядом. Она лежала одна на узкой койке, и стоило пошевелиться, как она тут же ударялась локтем или виском о ночной столик, втиснувшийся в подушку. С другой стороны ночного столика находилась еще одна койка, пустая сейчас, но хранившая в смятых простынях и скомканном байковом

одеяле отпечаток человеческого тела. Надо полагать, покинувшее кровать тело принадлежало Павлу Алексеевичу, вставшему всегда очень рано и не изменившему привычке на новом месте. Решив, что Павел Алексеевич не канул бесследно, Нина успокоилась и потянулась за круглым будильником, стоявшем на столике. Боль от ушибленного об угол локтя пронзила электрическим током.

Было без четверти семь. А когда они легли? Она не помнила. Что-то не слишком рано. Наверное, за полночь. Долго сидели за столом, пили водку и какое-то ужасное вино, пахнущее горелой резиной. В дороге ее укачало, а несколько рюмок водки и стакан ядовитого вина совсем замутили слабую голову, она плохо помнила не только разговоры, которые велись за бесконечно растянувшийся грибной вечерей (грибная икра, маринованные и соленые грибы, грибной суп, жареные грибы с луком и картофелем), но даже облик друзей Павла Алексеевича, и в толпе ничем не узнала бы их. Пожалуй, лишь сына друзей узнала бы. То был широкогрудый, румяный, золотоволосый чудо-богатырь, вымахавший в свои неполных четырнадцать лет в рост с отцом, но много его крупнее. Никита, так звали друга Павла Алексеевича, а жену зовут Варя, а сына — Илья, вспомнилось вдруг, — утверждал, когда юного богатыря отослали спать, будто он и впрямь был ребенком, что своей дивной статью он обязан исключительно жирности материнского молока.

Одно четкое воспоминание потянуло на буксире другие. Нина вспомнила, как они спускались ночью к озеру, пронизавшему их после лесной, сосновой, нагорной теплоты промозглой сыростью. На озере и за озером горели какие-то огни. Никита с гордостью говорил, что вода в озере такая прозрачная, что на любой глубине просматривается чистое песчаное дно. А окуни в этом озере сами ищут крючок с наживкой. Она заметила у Никиты трогательную манеру гордиться чудесами природы с личным, что ли, оттенком.

Как будто душа Никиты втайне ведала о своем участии в строительстве мироздания. Он вообще понравился Нине, этот друг Павла Алексеевича, и она простила ему даже долгие и невообразимо тягомотные фронтовые воспоминания, которым он вдруг предался. Нина поняла, что знакомство его с Павлом Алексеевичем как-то связано с войной, и странно было, что поджарый, быстрый, светловолосый, с молодым ртом Никита принадлежит к одному поколению с ее седым грузным мужем. Эти воспоминания не вызвали сочувствия у фронтового резчика по линолеуму, и, поняв это наконец, Никита свернул знамена. Вскоре он с увлечением принялся рассказывать о здешних лесах, дремучих, непролазных, сказочных, полных грибов и ягод, но требующих немалой осмотрительности от тех, кто отваживается проникнуть в чащу. А есть лес, куда и ступить страшно, да почти и невозможно, так он забит буреломом, мертвыми деревьями, так зарос кустарником, так оплетен валежником и тугой, в полчеловеческого роста черничной зарослью. И конечно, их неудержимо потянуло в этот страшный лес, но оказалось, туда можно проехать только в грузовике, да еще с цепями на колесах, — шоссе к нему не ведет, а грунтовая дорога расквашена недавними дождями и теперь не просохнет до морозов. "Ничего, — утешил Никита, — лесов тут хватит, один Берендеев чего стоит! За непролазной крепью — гиблое болото, даже местные, деревенские обходят его стороной. Но чтоб набрать грибов выше головы, не нужно далеко забираться, достаточно краешком пройти, хоть бы вот по этому сосняку. За две недели они столько насолили, намариновали, засушили, закатали в банки — на зиму, что не увезти". И в доказательство Никита принялся таскать из дома — они ужинали под соснами, за деревянным, врытым в землю столом — стеклянные банки с маринованными маслятами, эмалированные ведра с солеными груздями и свинушками, связки сухих белых. В Нине разыграл азарт — хоть сейчас в лес! "Никуда не денутся ваши грибы!" — довольно посмеивался Никита.

В воспоминании все получалось стройнее и четче, чем было на самом деле. Воображение подштопывало дырки, разрывы в памяти. Уж больно все гладко выглядело. А куда девалась перебранка Никиты с женой, полной сероглазой блондинкой, уравновешенной до такой степени, что и воздух вокруг нее был целебен? Но и эта спокойная, как сфинкс, с незатухающей полуулыбкой сфинкса на тугих розовых губах женщина не выдержала бесцеремонных вторжений Никиты в ее владения, и чета истово и добросовестно побранилась.

Компания еще раз снималась с места, чтобы посмотреть на отражение месяца в озере. На небесах месяц был чуть скособочен, словно ему надуло флюс, а озеро реставрировало его идеальную округлость. Когда шли они назад, Нина вдруг увидела множество мелких грибов, пробивших светлыми шляпками плотную осыпь сосновых игл, застилающую землю. Но тут ее брало сомнение: видела или она в яви эти незнакомые ей грибы, или они пришли из сна. Но уж, верно, явью было, хотя этому как раз место во сне, неожиданное появление у их стола двух молодых красавцев, которых Никита с неуверенной и словно бы чуть заискивающей шутливостью представил как "суперменов, гениальных физиков, настоящих людей века". Супермены, их звали Андрон и Борис Петрович, отнеслись с полнейшим и каким-то высокомерным равнодушием к Никитиному витийству, и получилось, что наболтанное им надо принимать всерьез да, супермены, да, гениальные физики, да, настоящие люди века. Нину это разозлило и заинтересовало. И когда Никита, представляя ее вновь пришедшим, сказал: инженер, — она добавила с легким вызовом: сантехник.

Андрон, собиравшийся поцеловать ей руку, громко шмыгнул носом и выпустил ее пальцы. Шутка получилась вульгарная и несмешная, но Борис Петрович исправил неловкость.

— Не обращайтесь внимания, — сказал он небрежно. — Андрон у нас — по части клепки и пайки, умелые лапы, и ни капли мозга. — И медленно прижал крепкие сухие губы к Нининой руке.

— Мозги — это по его части! — захохотал ничуть не смутившийся Андрон. Он был крупнее, шире своего художавого, но тоже рослого приятеля, с шапкой черных толстых волос и грубо-привлекательными чертами смуглого лица. — Вычислительная машина, а не человек.

— Высказался? — спросил Борис Петрович. — А теперь — тишина.

Они были ровесники, но почему-то одного звали просто по имени, а другого по имени-отчеству, и этот второй держал тон превосходства. То ли он профессионально стоял выше, то ли действовало правило: кто палку взял, тот и капрал. Последнее казалось вероятней: Андрон был груб, но открыт, бесхитростен, а в Борисе Петровиче чувствовались собранность и воля.

Приятели усадили. Откуда-то мгновенно взялась непочатая бутылка водки, хотя портвейном травились по причине отсутствия этого благородного напитка. Физики попросили налить им не в рюмки, а в граненые стаканы, они любят одним духом, без закуски. Нине понравилась такая определенность, и хотелось понять, соответствует ли она чему-то глубокому в них или просто входит в комплекс суперменов. А разговор о ее профессии все-таки зашел, и начал не разбойник-экспериментатор, а корректно-надменный Борис Петрович.

— Меня всегда интересовало, как люди приходят к той или иной профессии. Конечно, многое тут случайно: провалился в авиационный — пошел в пищевой или сразу туда, где конкурс меньше. Но ведь не может быть, чтобы все канализаторы были несостоявшимися зодчими, корабелами или кибернетиками.

— Канализатор — такой профессии нет, — сказала Нина.

— Ну, ассенизатор.

— И такой нет.

— А как же у Маяковского: "Я ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный"?..

— Так это у Маяковского. Наша профессия называется инженер-сантехник, а кончила я строительный.

— Весьма почтенный вуз. А какой факультет?

— ВИК. Водопровод и канализация.

— Ну вот!.. Никогда не поверю, чтобы юная очаровательная девушка мечтала...

— Об унитазах! — грохнул Андрон.

— А почему бы и нет? — с вызовом спросила Нина. — Унитазы, по крайней мере, не стреляют. Это профессия моих родителей. Я с детства привыкла уважать ее. Обслуга города. И никак не зависит от конъюнктуры.

— По-моему, это камешек в наш огород! — заржал Андрон.

— Да нет, я ведь не знаю, чем вы занимаетесь. Хотя у Воннегута точно сказано: что бы ученые ни придумывали, получается оружие. По мне, дерьмо лучше.

— Вы в самом деле гордитесь своей профессией? — лениво поинтересовался Борис Петрович.

— А как же! Будь я инженером другой специальности, вы бы не пытали, что да почему. Но это область общечеловеческих интересов.

— Пожалуй, — усмехнулся Борис Петрович.

По выражению лица Андрона чувствовалось, что он приготовил какую-то шутку, но Нина помешала ему.

— Стоп! Все остроумие по этому поводу давно исчерпано, вы ничего нового не придумаете. Давайте о чем-нибудь другом.

— О любви... — зевнув, предложил Борис Петрович.

— В другой раз, — вмешался Никита. — Наши гости устали.

Физики сразу поднялись. Нине стало жаль, что все кончилось и этот вечер уже списан в прошлое. Пусть разговор был дурацкий, да разве в словах дело? Важна интонация, важно то, что за словами. Конечно, они встретятся завтра, но то будет уже другая встреча, и в каждом будет другая душа, как еще сладятся эти новые души? А сейчас, при всей чепуховости словесного обмена, в нем было натяжение взаимного интереса. Тем и дорого начало, что каждый для другого — за-

гадка. Стоит определиться, и чары спадают. Эти физики ничего не знали о ней, кроме того, что у нее такая романтическая профессия. Они даже не знали, что пожилой человек, сидевший на отшибе и не принимавший участия в разговоре, — ее муж. И она ничего не знала о них. Андрон был понятнее: таких вот здоровенных, косматых, недалеких, но наделенных ручной умелостью молодцов она встречала и среди художников. Они все на один покрой: шумны, бестактны, добродушны, по виду бездомны, но, как правило, обременены большой семьей и непременно — чудной, "святой", очень больной женой. Ироничный, надменный и несколько нарочитый Борис Петрович был сложнее и любопытней. В поверхностном общении игра, актерство отнюдь не казались ей смертными грехами — близкому человеку Нина не простила бы и одной фальшивой ноты. Когда играют в жизни, это куда увлекательнее вялых потуг профессиональных актеров. Надо только, чтобы играли всерьез, с полной отдачей, не выходили из образа, не халтурили от усталости, слабодушия или бездарности. Борис Петрович производил впечатление классного актера, под его игрой было чувство собственного превосходства, а не ущербность. Можно ждать многого от талантливого исполнителя весьма значительной роли Сына века. И удивительно мило на его узком, выостренном лице с холодными зеленоватыми глазами пушились длинные, густые, как у девушки, ресницы...

Появился Павел Алексеевич с мокрыми волосами и этюдником. Он много успел, пока Нина валялась, перекачивая в мыслях вчерашнее. С торжествующим видом он извлек из этюдника лист бумаги, испещренный набросками птичьих крыльев.

— Выполняю твое указание! — радовался Павел Алексеевич. — Это вот синичкино крылышко, это — поползня, это — воробьиное, ей-Богу, самое красивое! А это, можешь себе представить, гоголяче. Но гоголя я не удержался и взял целиком. Посмотри, какой постав. Теперь понятно — ходить гоголем!..

Наброски были хороши, беда в том, что ей не хотелось набросков. Ей хотелось простого движения жизни, не ухваченного и не остановленного острым глазом и быстрой рукой художника. Но Павел Алексеевич был так упоен своими достижениями, что она принудила себя к скупой похвале.

Больше порадовали ее другие сообщения мужа: они с Никитой купались в озере, вода студеная аж до стона, но на редкость приятная и бодрящая; юный богатырь Илья нашел возле дома три боровика — значит, грибов полно; на завтрак дают отличную пшеничную кашу, вареные яйца и кофе. если она не хочет опоздать, то надо немедленно вставать. Что она тут же и сделала.

Она успела окупнуться в обжигающе холодном озере, умыться, причесаться, одеться, когда за ней зашел галантный Никита, чтобы проводить кратчайшим путем в столовую. Они быстро шли, давя бесчисленные розоватые грибы, напоминающие волнушки, но без мохров и на тонкой ножке. Ночью эти грибы казались белесыми и чуть светящимися. Никита назвал их подольховиками, хотя ольхи тут и в помине не было. Местные жители ими пренебрегают, в лесу полно груздей, белых и рыжиков, а эти надо вымачивать, прежде чем солить, и все равно они горчат, но приезжие из Новгорода набивают ими мешки и наволочки. Чувствовалось, что при том уважении, какое Никита испытывал ко всему населяющему мир, ему неприятно говорить дурно о подольховиках. Нахмутив брови, он счет нужным добавить, что если не лениться и вымочить их хорошенько — дня три-четыре, меняя воду, то они не уступят свишкам.

— А чем больна жена Андрона? — спросила Нина без всякой связи с предыдущим, что нисколько не озадачило ее спутника, нацеленного лишь на удовлетворение любознательности собеседника, — все привходящее он отметал.

— Не знаю толком. Кажется, сердечница.

— А почему он ребят с собой не взял?

— Они сюда ненадолго, Борису Петровичу скоро в Париж, на конференцию. Андроновы ребята, по-моему, в пионерском лагере.

— А почему Борис Петрович не женат?

— Заядлый холостяк! — осуждающе, но и с тайным восхищением сказал Никита.

С крыльца столовой открывался подернутый ветреной вороненой рябью залив. Вдоль берега, высоко задрав нос, мчалась моторка, таща на буксире лыжника. Худой загорелый человек уверенно выписывал виражи, держась за повод одной рукой. То, почти ложась на воду, он огибал прибрежные камыши, то уносился вдаль и терялся в ослепительной солнечной полосе.

— Ну, теперь зарядили на все утро! — сказал Никита. — За грибами их не выгацишь. Таскают друг дружку до одурения на этих самых лыжах или в настольные игры дуются.

Нина молча вглядывалась в уменьшающуюся фигуру лыжника.

— Борис Петрович — мастак, — продолжал Никита. — Он бьет Андрона по всем статьям, кроме, кажется пинг-понга. Почему физики так любят играть? — сказал он задумчиво. — Разве грибы или рыбалка не лучший отдых? А может, они не умеют отключаться, только переключаться: давать мозгу какие-то новые и несложные задачи?

Нину заинтересовали соображения Никиты, и она с внезапной нежностью подумала о физиках: какие там супермены — просто уставшие, заработавшиеся люди...

...Грибная лихорадка захватила Нину и Павла Алексеевича. Среди двух-трех десятков человек, изживавших лето в "зоне отдыха", лишь физики не поддались общему психозу. "Я люблю шампиньоны, да и то в кокотнице", — лениво цедил Борис Петрович. "Ваши хваленые грузди у нас в Ленинграде по полтора рубля банка, — басил Андрон. — Охота спину гнуть". В чьих-нибудь иных устах это звучало бы пошло, но физикам все прощалось. Они знали свою пользу

и цель и спокойно противостояли всеобщему безответному напору.

Грибы пробудили в Нине милые воспоминания. В детстве она каждое лето проводила в деревне у бабушки. Подмосковную эту местность — между Пушкином и Мамонтовкой — давно затопило Учинское водохранилище. Под водой скрылась и бабушкина могила на старом сельском погосте. Нина помнила лес своего детства так же ясно, как большое, свисшее от старости, губастое и голоухое, дорогое бабушкино лицо. Две чернильно-темные, заросшие купырем речки сливались в лесу, и на мыске, меж высоких осин с матово-серебристыми стволами, что ни день высыпали малюсенькие красноголовки. А в густом хвойнике, во мгле под еловыми шатрами, скрывались кражистые боровики. Чтобы сорвать их, Нина окапывала толстенные ножки своими слабыми руками. В пустом, без подлеска, березняке свечками торчали молодые, стройные подберезовики. Других грибов они не брали, пренебрегая не только сыроежками, свинушками, моховиками, но даже маслятами и лисичками.

С бабушкой интересно было собирать. Почти слепая — две пары очков на носу, но азартная и жадная к грибам, она затаивалась, если попадала на богатое место, и не откликалась на отчаянное "ау" внучки и, наоборот, без усталости аукалась, если вокруг нее было пусто. Она могла выхватить гриб из-под чужих ног и даже протянувшейся руки, могла кричать: "Мой!.. мой!..", не видя гриба, но догадавшись, что другой его видит. Ей жалко было расставаться и с самым червивым грибом. "А что червь — поганый, что ли? Он грибом питается". Когда ходили по ранние опята и надо было отыскивать гнилые пни, обросшие желто-розовыми, в крапинках, грибами, бабушка, преисполненная ража, громко кричала: "Ищи, маленькая, ищи! Ты ведь нырок!"

Не стало бабушки, не стало того леса, и казалось, исчезли грибы.

Как странно, что не с кем поговорить о бабушке, жившей так долго и так добро, участливо к окружающим. Ее соседок-подруг давно нет на свете, а собственная дочь, Нинина мать, тихо доживающая в поселке при Подмосквонной очистительной станции, где проработала всю жизнь, ни о чем не хочет и не может говорить, кроме своего покойного мужа, которого Нина даже мысленно избегает называть отцом, — такими чужими, посторонними друг другу были они всегда. Родители рано передоверили ее бабушке, которая зимой жила с ними, а летом увозила Нину к себе. Нина изредка навещает мать, но та не выказывает восторга при виде дочери, а вытащить ее в Москву невозможно. Да это никому и не нужно: ни матери, ни ей. Все скудные силы рано обветшавшего существа матери отданы ушедшему. Она говорит отцовскими словами, к месту и не к месту ссылается на его авторитет, поучает от его лица не только дочь, соседей, но и каждого, кто ненароком ступит в ее круг. Если бы Нина не знала своего замкнутого, трудолюбивого и недалекого отца, она решила бы, что ушел неузнанный гений.

Наверное, великое счастье выпало ее матери. Но какое-то жутковатое, душное счастье. Оно сделало ее безразличной к родной крови и плоти, к небу и земле. Ее богом, героем, повелителем, ее крепостью и храмом был незаметный, тихий человек, посвятивший жизнь очистке сточных вод. И, думая о слепой и великой любви своей матери, Нина не могла решить, заслуживает ли она зависти или сожаления. Ясно одно: это беззаветное чувство питалось из самого себя. Поистине, любить можно лишь ни за что, за что-нибудь любить нельзя.

Обирая лесную прель от росших кучками и даже целыми полями черных груздей с изжелта-зелеными, порой будто обугленными шляпками и видя, а когда просто чувствуя рядом с собой крупную фигуру мужа, занимающегося сбором грибов с обычной для него самоотдачей, она исполнялась к нему доверия, нежности, какой-то щемя-

щей родности. И, пугаясь этой неоправданной взвинченности чувства, естественной лишь перед разлукой, она уверяла себя, что ничего не стоит без Павла Алексеевича; и весь накрут, все сложные психологические игры она может позволить себе только потому, что есть он. И кому она нужна — несамостоятельная, не знавшая ответственности, никчемная стареющая женщина?..

В лесу она по-новому открыла свое тело, которое в привычных условиях было ей ловко, как в молодости. Наклоны по-прежнему легко давались гибкой и тонкой, чуть удлиненной талии, но, карабкаясь на бугор, она ощущала тяжесть бедер, а к концу похода ныли утратившие крепость игры. Она, конечно, сдавала. Со стороны это почти незаметно — выручали горячие, яркие глаза, свежий рот, молодая кожа. Странно, но до этого леса она и сама видела себя как бы со стороны. И только здесь познакомилась с огруженнейшей, утратившей былую спортивность, хотя все еще выносливой теткой, которая претендовала быть Ниной. Видать, вовсе короток будет ее бабий век. Это не личное, а родовое свойство: бабушка очень рано рассталась с женской привлекательностью и женской жизнью, хотя до конца дней сохранила бодрость и подвижность. Все знавшие ее называли "неутомонной старухой". Страдала ли бабушка, когда до положенного природой срока стала превращаться в "неутомонную старуху"? Этого она не знает и не узнает никогда. А страдала ли ее мать, тоже рано постаревшая? Она так растворилась в любви к мужу, что не замечала ничего в себе самой, ни вокруг себя. Но так ли на самом деле? А может, она мучилась страхом, что муж бросит ее ради молодой и пригожей, он ведь и в старости казался ей юным красавцем кавалергардом. И у бабушки, и у матери своя судьба, а Нина не хочет стареть, она не помнит, что была молодой, у нее украли молодость...

В далеком лесу за песчаным карьером, где неутомонно ревели воинские дизельные грузовики, стойко обзванивая хвойный воздух, скрежетали и лязгали землечерпалки, за

полузаброшенной деревней, потонувшей в бузиннике, в темном, непроглядном лесу можно выходить в утренние, наиболее добычливые часы десятка по два-три белых на брата, — не слишком щедро, зато наверняка. Лес, хоть и отдаленный, был не беден грибами, забиравшимися сюда еще засветло. А попадались белые лишь на узкой полосе вдоль высоко вознесенной насыпью бетонки. Крепкие, на толстых ножках, они сидели возле елочек во мху и брусничнике и даже в рослой густой траве, где им вроде бы делать нечего. Пробовали углубляться в лес, но без толку. Там все забито хвощами и папоротниками, в такой растительности хорошие грибы не водятся, разве что поганки.

Дотошно обрыскав опушку на протяжении трех-четырех километров, они ехали в другой лес, ближе к карьере, где перебивали усталость кропотливого поиском скорым, вперегонки, обшариванием лиственной прели и сухой игольчатой осыпи среди валежин и до отказа набивали корзины и прочую тару груздями, волнушками, лозянками и свинухами, — рыжики попадались редко.

Грибы поглощали уйму времени. По возвращении надо было их сортировать, чистить, мыть, отваривать, белые мариновать в стеклянных банках, остальные солить в эмалированных ведрах, за которыми ездили в город Валдай. Там же закупили уксусу, маринадных специй, а в деревне — укропу, листьев хрена и чесноку для засолки.

Поскольку их друзья вырвались далеко вперед по всем грибным статьям, Павел Алексеевич предложил Нине ходить в лес и после обеда. Она вспомнила, что бабушка не доверяла вечернему лесу и при всей своей фанатичной любви к грибной охоте не отваживалась ступить в лес во второй половине дня. А ну-ка заблудишься и ночь наступит! Да ведь они-то и утром все больше по опушкам шастают, где тут заблудиться? Павел Алексеевич предложил для начала прочесать сосняк вокруг базы. Так и сделали, и в первый же вечер набрали два ведра маленьких желтых, с исподу коричневых моховиков, каких не водится в Подмоскowie. Эти гри-

бы годились и в жарово, и в маринад. И хотя их пример никого не соблазнил, они взяли за правило вечерние походы...

Как-то раз, доверяя ослепительному солнцу, не померкшему и после обеда, они пошли через бор неприметной "муравьиной" тропой, пренебрегая совавшимися под ноги моховиками, в надежде на какое-то сказочное место, и шли все дальше и дальше, забыв, что придется возвращаться. Их отвага была вознаграждена, хотя и не так, как ожидалось: с бугра, закогченного узловатыми корнями трех сросшихся сосен, открылось незнакомое озеро. С ближней к ним стороны озеро заросло камышами, с другой в него опрокинулся высокий берег с мачтовыми соснами, а посредине, на блистающей воде, покачивались пунцовые перья заката, и они не сразу обнаружили пару белых лебедей, замаскированных огнистыми отблесками. Лебеди то вовсе исчезали в отсветах и бликах, то разом сбрасывали сверкающую кольчугу, являясь во всей своей чистой белой огромности, вновь становились игралищем воды и солнца.

Нина и Павел Алексеевич стояли над озером, пока заходящее солнце не убрало с него последнего света. Лебеди, матово-серые, заскользили по пустой белесой воде и скрылись за лещугой.

Домой они вернулись в сумерках.

— А мы уже беспокоиться стали, — сказала Варя, опорожнявшая на задах дома таз с очистками.

— Есть чего! — откликнулся Павел Алексеевич. — Лес сквозной, прозрачный.

— А мы лебедей видели, — сказала Нина.

— Да? Ниночка, ты уже разобралась с утрешними?

— Нет... Сейчас займусь.

— Что-то у меня много порченных...

На другое утро Нина встала пораньше, чтобы разделаться с грибами — скопились угрожающие навалы. Вчера она так устала, что, не поужинав, завалилась спать. Павла Алексеевича уже не было, ушел на этюды. Подбежала беленькая собачонка, розовая кожа просвечивала сквозь редкую шерсть, и

стала бить хвостом по стойке крыльца, прося подачку. Эту собаку она видела впервые, к ней прибежали кормиться две другие, похожие на шпицев, с кисточками на ушах и репьевыми колтунами в хвостах. Она протянула руку, чтобы погладить собачонку, и та сразу повалилась кверху голым щенячьим брюшком, по которому сновали черные блохи. Нина кинула ей кусок хлеба, собачонка подхватила его на лету, и вовремя — во весь опор, с огромным лаем поспешали штатные нахлебники. Поджав хвост и кося черным полным глазом, щенок затрусил прочь, но, верно, знал, что его не станут преследовать, и отбежал совсем недалеко. Он не собирался оставлять хлебные места, справедливо полагая, что там, где кормятся двое, хватит и третьему. Маленькое существо уже накопило жизненный опыт.

Нина дала еду собакам, поставила кофейник на огонь — завтрак еще не скоро, покрошила сыра на фанерку и пристроила в развилке березового сука — скоро сюда слетятся лазоревки и гаечки, слила грязную воду из-под замоченных еще вчера свинушек и отчего-то вдруг вспомнила лебедей. Ах хороши! И как поплыли, когда солнце убрало с воды свой свет, — спокойно, величаво, и никто им в целом мире не нужен. Ей подумалось: из всего, что тут было с их приезда, похоже, одни только лебеди не запрограммированы предусмотрительностью Павла Алексеевича. Даже физики должны были появиться, чтобы украсить их маленький праздник и сгинуть по выполнению своей задачи.

Как ловко, незаметно и железно повернул он все на свой лад! Она-то ждала, что поездка поможет ей пусть не порвать — какой там! — ослабить домашние путы, что будет хоть что-то другое. Но он спокойно, без малейшего насилия загнал ее в привычные рамки — даже убогие звери появились. Только техникума не хватает для полноты картины. Без шуток, что изменилось оттого, что она переместилась из надоевших Борков на заманчивый Валдай? Ровным счетом ничего. Она опять служит душевному комфорту Павла Алексеевича, которому ее близость

необходима так же, как работа, прогулки, присутствие зверей и птиц. Он снова обманул ее. Видимо, понял, что она уже не выдерживает заточения, и придумал эту поездку, но все свел к механической перемене места. И то, что мелькнуло в дороге, выбив на миг из душевной летаргии, развеялось без следа, как-то незаметно вместо Валдая ей подсунули все те же Борки. “Павел Алексеевич, — обратилась она мысленно к мужу, — чтобы претендовать на безоглядное подчинение женщины, надо влюбить ее в себя безоглядно. Моему отцу это удалось, а вам нет, и потому отступите немного в сторону. Дайте мне увидеть мир, который вы вечно застите своей грузной фигурой. Мне надоело мелодичное позванивание семейных цепей...”

“С жиру бесишься!.. Во время войны так бы не рассуждала!” — услышала она густой голос старшины Сергунова, оставленного наблюдать их дом, и сад, и скот. То же самое сказал бы и Никита, вспоминающий о войне как о лучшей поре своей жизни. До чего дезертиры смерти, а все уцелевшие — дезертиры смерти, иначе надо признать, что они лучше тех, кого не стало, любят, чуть что, хвататься за войну как за высший критерий, вернейшее мерило всех жизненных ценностей. В войну они с бабушкой голодали в эвакуации, что же, она должна до конца дней довольствоваться голодным пайком и в прямом, и в переносном смысле слова? Войной удобно затыкать людям рот. Есть такие, что с великой охотой навязали бы мирной жизни военную скупость, железную дисциплину и слепое подчинение, но война для того и была, чтобы ничего этого не было.

“С жиру бесишься!” — “Да, бешусь — с лишнего жира на моих мышцах, с жира не от обжорства, а от возраста, с жира, нарастающего и на душе, когда ее искусственно усыпляют. В жирную гаремную жену превратил меня самый близкий, единственно близкий на свете человек. Но теперь — довольно...”

### 3

Павел Алексеевич не сразу угадал опасность, но сразу почувствовал перемену. Вернулось то, что он с недоумением и беспокойством уловил по пути на Валдай: отчужденность, глубоко запрятанная неприязнь к нему. Тогда он приписал это дорожной лихорадке, вполне естественной: ведь Нина так давно не покидала дом. Сейчас все стало куда резче, злее и откровенней, хотя она боролась с собой, изо всех сил подавляя раздражение.

Размышляя, он пришел к выводу, что это началось не сегодня и даже не в дороге, а куда раньше и лишь ждало своего часа, чтобы выйти наружу. Может быть, что-то возрастное? Наступает такая пора в жизни женщины, когда она собой не управляет. Вроде бы еще рано, хотя возраст нельзя сбрасывать со счетов. Так или не так, он отвечает за все, что с ней происходит, и не смеет уходить от ответственности. Не нужно самооправданий, считай, что причина ее перемены в тебе, не в тебе, каким ты себя видишь, а в тебе, каким ты отражаешься в ней. Возможно, он и разобрался бы в душевных крутнях жены, но тут его резко повело в сторону.

Он вдруг обнаружил, что Нина не на шутку увлечена физиком Борисом Петровичем. Удивительно было, как бессознательно и бескорыстно, из глубины вечного женского заговора, Варя принялась помогать нарождающемуся роману. Она варила украинский борщ, с которым, разумеется, не мог соперничать жидкий супчик столовки, и приглашала на обед физиков. Для каждого застолья она придумывала какой-нибудь повод: престольный праздник, чей-нибудь день ангела, годовщина первого поцелуя или последнего дня врозь с Никитой. Устраивала поздние ужины с вином и водкой под копченого леща, которым Никита разжился в пустынном сельпо, затеяла поездку на остров для осмотра разрушенного монастыря.

Эта поездка помогла Павлу Алексеевичу уловить момент, когда рассеянный, незаинтересованный, озабоченный

затянувшимся оформлением поездки во Францию Борис Петрович взял наконец приманку. Он решительно не хотел ехать, как ни уговаривали его Варя и Нина, первая — напористо, вторая — робко-обиженно.

— Я все знаю заранее, — говорил он тягуче-пресыщенным голосом. — Полуразрушенные стены, битый кирпич, мусор и нечистоты. Люди почему-то любят пачкаться на развалинах. Это не входит в вашу компетенцию, Нина Ивановна?

— Да будет пустяки говорить! — наседала Варя. — Там большущая живая деревня, под самым монастырем.

— Большущих живых деревень не осталось и на материке, — устало опускал на глаза длинные ресницы Борис Петрович. — Впрочем, если там действительно уцелели туземцы, то в монастыре картофелехранилище и стыло-гнилистый дух.

Павел Алексеевич не сомневался, что так оно и есть, и тоже отказался участвовать в поездке. Лучше пойти по грибы. Нина, не скрывавшая разочарования, согласилась с ним, но в последнюю секунду прыгнула в лодку к Никите и Варе. Уже на озере их нагнала моторка, буксирующая лыжника. После коротких переговоров Нина перелезла в моторку, туда же забрался лыжник. Павел Алексеевич с берега наблюдал эти, конечно же, не рассчитанные заранее маневры, отдававшие водевилем, но ему не было смешно.

После этой поездки поведение Бориса Петровича резко изменилось. Прежде он не замечал Павла Алексеевича из отсутствия человеческого интереса и откровенного презрения к его профессии, а сейчас стал нарочито вежлив, позволяя себе при этом весьма резкие выпады против той области проявления человеческого духа, которая прямо противоположна науке. И Нина с неумным восторгом и злорадством поддерживала его сомнительные эскапады. Очевидно, возле стен монастыря они поняли друг друга, и сейчас надо было разделаться с мужем, чтобы обрести внутреннюю свободу. Значит, она все еще считалась с ним, коль не могла просто переступить через него, как через порог.

Павел Алексеевич не испытывал к Нине дурного чувства. Боль, жалость, умиление перемежались, порой сливались в его душе. Нина выглядела неумело и беспомощно в новой, незнакомой роли, даже несвойственная ей прежде глупость говорила об удивительной наивности и чистоте сорокалетней женщины, которой мучительно трудно вышагнуть из самой себя.

Какое-то стыдливое чувство заставляло Павла Алексеевича все время уступать площадку физику, но однажды они все-таки схлестнулись. Началось с очередных нападков Бориса Петровича, шумно поддержанных Андроном и молчаливо — Ниной, на современное искусство, якобы переживающее затяжной спад. Потягивая кофе, Борис Петрович утверждал, что нынешнее искусство ничтожно уже потому, что не пользуется тем знанием о мире и человеке, которым располагает наука.

— Ну, это еще вопрос, кто располагает большим знанием о человеке — наука или искусство, — нарушил неизменное молчание Павел Алексеевич и на какое-то мгновение сам оробел от наступившей тишины. — Один большой поэт говорил, что искусство всегда у цели. Может ли это сказать о себе ваша наука, сильно сомневаюсь.

— Во дает! — дурашливо взревел Андрон.

— Ну, Пала, ты что-то не того, брат, — не то испугался, не то застеснялся за друга Никита.

Борис Петрович с интересом наблюдал взорвавшегося невежеством молчуна. Бывает вот так: держит человек рот на замке, и окружающим кажется, что есть у него своя, выношенная дума, а заговорил — и всем ясно, что он просто дурак.

— Вы давно уже не в силах объяснить природу тех явлений, с которыми сталкиваетесь, и без конца жонглируете символами, маскирующими вашу растерянность, — наседал Павел Алексеевич. — Вы прячетесь за какой-то научный воляпюк, ровным счетом ничего не говорящий людям.

— Что за чепуха? — Борис Петрович неожиданно для самого себя разозлился. — Наука, физика, так же далеко ушла от обывательского языка, как и от обывательского предметного мышления. Мне приходится делать довольно сложные расчеты, но меня совершенно не интересует, какая за ними скрывается реальность. Между тем результаты расчетов вполне материальны.

— Еще бы!.. Но отвлеченное мышление становится весьма предметным, когда подсчитывают, сколько трупов придется на единицу продукции.

— Ну, это не в ту степь, — поморщился Борис Петрович.

— Ежели душеспасительными мыслишками пробавляться — все замрет, — убежденно сказал Андрон.

— Вот и пусть замрет.

— Вы хотите, чтобы мы разоружились перед лицом врага?

— И чтобы враг разоружился перед нашим лицом. И чтобы навсегда отпала необходимость в таких, как вы.

— Ого! Крепко сказано. И чтоб остались одни мазилки, бумагомаратели...

— Игрецы на лютне, — подсказал Борис Петрович.

— Да, да, да! Мазилки, бумагомаратели, игрецы на лютне. И все, кому это нужно. Это и будет золотой век. Причем выбора нет: либо золотой век, либо все полетит к чертовой бабушке.

Нину донельзя раздражало то, что говорил Павел Алексеевич, он казался ей неучем, Митрофанушкой, но еще сильнее раздражало, что в глубине души она была согласна с ним. Ей хотелось, чтобы Борис Петрович не огрызался, не иронизировал, а сразил его наповал простыми, сильными и ясными доводами. Все люди как-то договариваются с Богом и с самими собой, и физики не исключение, то ли от презрения к противнику и всей аудитории Борис Петрович промямлил что-то высокомерно-неубедительное о господстве науки в современном мире.

Павел Алексеевич уже понял, что говорит со своими противниками на разных языках. Оба ученых мужа исповедовали нехитрую и весьма почтенную возрастом веру в разумность, непреложность и ценность всего, что создано безответственным разумом и ловкими руками человека. Не надо думать о существовании и цели открытия, надо доводить его до высшей кондиции. “Зачем же создавать фетиши? — сказал Павел Алексеевич. Если нет этической основы, грош всему цена”. Ему объяснили, что в век сверхзвуковых и космических скоростей, полетов на Луну и обратно надо уметь мыслить по-современному.

— Старая песня! Когда Льву Толстому надоедали с полетами Уточкина, он говорил: лучше хорошо жить на земле, чем плохо летать в небе. Замечательная мысль!

— Ну, знаете! — пренебрежительно усмехнулся Борис Петрович. — Зря вы потревожили старика. Люди-то научились летать, и весьма неплохо.

— Да нет же, плохо, уверяю вас. Самолеты разбиваются, их угоняют. Человеческая трагедия населила воздух. Да и вообще, хваленая техническая наука со всеми ошеломляющими открытиями не дала человеку ни на грош счастья, не утешила в печали, горе и одиночестве, не сделала его добрее и лучше. Но все это делало и продолжает делать заруганное вами искусство.

— Вы только потому и можете сидеть тут и разглагольствовать, что есть мы! — покраснев и как-то слишком громко сказал Борис Петрович.

— Нокаут! — радостно грохнул Андрон.

— Что, Пала, побили тебя? — подмигнул другу Никита. — Нечем крыть?..

— Да... Тут, как говорится, зачехляй оружие.

Павел Алексеевич как-то слишком внимательно посмотрел на Бориса Петровича, но тот увел взгляд.

— Что нашла в нем Нина? — думал он. — Не мог же привлечь ее вычислительный аппарат, который природа случайно заткнула ему в голову? Он ограничен и банален, и

даже поза его неинтересна. Говорят, правда, любовь слепа. Но оставим любовь в покое, здесь она ни при чем. Увлечение?... Тогда все происходит иначе: корабли не сжигают, а тщательно берегут, Нина же настроена на большой пожар. Уже в дороге пахло паленым. И дело тут вовсе не в человеке со стороны, а во мне самом, мой мир обесценился для нее. И не стоило размахивать картонным мечом, доказывать, что у Бориса Петровича нет этики. Как будто это может остановить Нину. И ничего не даст, если я схвачу ее в охапку и увезу отсюда. Там окажется другой Борис Петрович. Земное воплощение Гора было разным, но суть крылатого бога Древнего Египта от этого не менялась... "Шутка не помогла. Он посмотрел на запертое, отчужденное, с тесно и недобро сжатыми губами лицо Нины, и безнадежность овладела им. "Спокойной ночи", — пробормотал он и, неловко выбравшись из-за стола, побрел к дому. Его не удерживали. Они все в той или иной мере были виноваты перед ним и тяготились его присутствием. Даже Никита, который в простоте души не очень понимал что происходит, поддался общему настроению: без Павла Алексеевича легче...

...Снотворное подействовало быстро и так же быстро иссякла его благодетельная сила. Павлу Алексеевичу казалось, что он лишь успел натянуть на себя сон вместе с одеялом, и вот уже сна — ни в одном глазу. Он с раздражением отбросил неприятно шерстистую ткань, глянул на часы, но лунный свет, процеживающийся сквозь занавеску, погасил фосфор стрелок и не высветил циферблата. Он приподнялся на локте — Нинина кровать была пуста. Его это не удивило, он бы и во сне почувствовал ее приход.

"Почему считается, что нет безвыходных положений? Вот он оказался в таком положении. Ни с того ни с сего, без видимой причины. И кого в этом винить? Себя? Но он не знает за собой вины. Физика? Его роль пассивна. А разыгрывать из себя ангела-хранителя чужого очага он не обязан. Нину? В чем ее вина? Разве виновата она, что чело-

век, с которым прожила столько лет, стал ей чужд?.. Как непрочен грунт, на котором строится здание человеческого счастья! Еще неделю назад ему и в голову не могло впасть, что спокойная, преданная, домашняя и словно бы чуть дремлющая Нина скажет "нет" их жизни. Наконец-то он понял, что происходящее с ней сейчас — это рывок в свой возраст, в свой век из чужого, насильно навязанного. Он расплачивается за то, что похитил Нину у ее поколения. Их довольно прочное одиночество нарушали лишь его сверстники, чьи воспоминания не были ее воспоминаниями, чье мироощущение не было ее мироощущением, чья подъемная пора пришла на дни ее детства. И общение не шло на равных, какая-то наставническая, а порой и брюзжающая нотка почти неслышно прозванивала в их тоне. И верно, легчайшим дымком тлена тянуло на нее и от его окружения, и от него самого, от всего их быта. Но человек любящий, привязчивый, добрый, она бесконечно долго подчиняла свою душу рутине, надевая ее мнимой ценностью. Взрыв был неизбежен. Впрочем, кто знает?.. Привычное подавление своей сути могло продолжаться еще какое-то время, только не нужно было менять обстановку, а там — возрастной слом и стремительное угасание женщины, прожившей жизнь не в своем возрасте. Но нарушился стереотип — и остатки молодости взбунтовались в ней. И поскольку она была неиспорченна и бесхитростна, лишена даже малого навыка обмана, это получилось грубо и жестоко и вместе — щемяще-простодушно. Хотя хватило бы такта и снисходительности (о понимании говорить не приходится) у самовлюбленного дурака, которого избрала Нина смута. А то ведь натопчет, нагваздает в чужой незащищенной душе — не отмыть". — "О чем только я думаю, — взныло в нем, да еще так смиренно! Бог да поможет Нине, я ей уже не помогу. Знаю, знаю — глупо и несовременно придавать чрезмерное значение тому, чему наш трезвый и ученый век отводит место где-то возле уборной. Вполне допускаю, что среди моих знакомых нет ни

одной безупречной пары, и это не мешает иным из них искренне любить друг друга и жить интересами семьи. Все это так, но что делать, если я такой отсталый идиот? Как это там?.. "Быть обреченным на то, чтобы постоянно вдыхать запах падения, запах другого, с каждым дыханием"... А ведь я читал "Редактора Люнге" еще в школе и с тех пор никогда не перечитывал. Я могу все понять и все простить, но быть с ней я уже не смогу. Только с чего я взял, что ей нужно мое понимание, прощение и тем более возврат к старому? Может, только сейчас, разделавшись со мной, обретет она себя настоящую и будет счастлива. А что останется мне? Все, что окружало меня раньше, только без нее, лишненное смысла и содержания, — пустота. И старение в этой пустоте..."

Дверь скрипнула, тихо, на носках вошла Нина.

— Я не сплю, — сказал Павел Алексеевич. — Почему так поздно?

— А разве поздно?

Она присела на свою кровать, задев столик, печально звякнули какие-то флакончики, и стала раздеваться. Ее контур едва проглядывался в темноте, но все же он отвел глаза.

— Что вы там делали?

— Кто тебя персонально интересуется?

Она хотела вывести его из терпения. Сдерживая гнев, он сказал:

— Персонально — ты.

— Целовалась с Борисом Петровичем.

Он слышал, как вздохнули пружины кровати, принявшие ее тело. Стало очень тихо, оба замерли, как будто испуганные тем, что впервые вторглось в их жизнь. Затем она сказала каким-то странным голосом, словно в подушку:

— Да не целовались мы... Можешь успокоиться...

Они правда не целовались. Когда иззевавшаяся, изнурившая компания, ничуть не выигравшая с уходом Павла Алексеевича, окончательно развалилась — Варя уснула прямо за столом, и Никита уволок ее в дом, помрачневший не-

весть с чего Андрон последовал их примеру, — Нина предложила Борису Петровичу поглядеть на озеро под месяцем. Они пошли по лунному коридору, пролегшему среди сосен, был какой-то дымный свет, он обволакивал, впитывался в кожу, холодя ее и покалывая.

— Какая луна! — сказала Нина. — Господи, какая луна!..

— Если можно, оставим в покое это замученное светило, — попросил Борис Петрович.

Нина глянула виновато. Ей казалось, что из вежливости к мирозданию, подарившему такую сияющую ночь, надо сказать что-то доброе о луне, но Борис Петрович одернул ее, и она была ему благодарна. В мире, которому принадлежал Борис Петрович (то был украденный у нее мир), не признавали пусто-сентиментального словоблудия. Там признавали прямое и решительное действие, в чем она не преминула убедиться. Осторожно, но сильно он взял ее за кисти рук и вывел из клубящегося света в тень рослых кустов бузины. Нина не ожидала этого, и ее первое непроизвольное движение было защитным: она вырвала свои руки из его рук. И сразу пожалела об этом. Вдруг он обидится и уйдет. Он не обиделся и не ушел. Мелькнула мысль, что действие развивается по сценарию, который он знает наизусть, это ее покорило, но чувство не задержалось, вытесненное другим, куда более важным: она близка к освобождению. Образ освобождения был смутен: от кого и от чего освобождение и что принесет оно ей? Ну и ладно, нужно одно — шагнуть за порог, а там будь что будет.

Она уронила руки, плечи ее сникли, голова потупилась. Борис Петрович прочел этот знак покорности, подступил еще ближе, спокойно и неторопливо обнял, прохладная сильная рука легла ей на затылок, сжала, притянула к себе — в следующее мгновение оба резко и бесшумно прянули в заросль.

На облитой лунным светом дорожке перед кустарником появилась пара. Нина с удивлением узнала юного богатыря Илью и Розу, бледную носатую дочку поварихи их столовой. Они остановились тяжело дыша, видно, бежали

издалека. В лунном свете белая кожа Розы обрела зеленоватый русалочий оттенок. И тут Илья схватил худые кисти девочки точно таким же приемом, что и Борис Петрович, и попытался втолкнуть ее под бузину. Несмотря на опасность, Нину рассмешила общность действий столь разных и по возрасту, и по опыту кавалеров. Казалось, юная пара решила спародировать то, что произошло у взрослых. Но худенькая Роза сопротивлялась гораздо лучше Нины, она зацепилась ногой за ногу Ильи, они чуть не грохнулись, но в кусты не попали.

— Роз, ну чего ты? — обиженно сказал Илья.

— А ты чего? — тоже обиженно сказала Роза.

— Я ничего... Чего я?..

Почему-то его бессвязный лепет обрел вдруг силу неопровержимого довода, а может, кротко-плаксивая интонация сработала, но Роза вся как-то поникла: повисли руки, плечи, голова, нос, и в этом символе покорности Нина вновь увидела карикатуру на себя и, не удержавшись, прыснула. Юная пара исчезла с неправдоподобной быстротой, будто растворилась в лунном свете.

Борис Петрович стремительно мимо Нины вышагнул из кустов. Возможно, он и не уловил пародийности разыгранной ребятами сцены, с него достаточно было, что он оказался в смешном положении. Он чувствовал себя униженным, и это было невыносимо его самолюбивой душе. Нина же вполне могла начать с того места, на котором они остановились.

— Да не принимайте вы так близко к сердцу... — начала она, но осеклась под его злым взглядом.

Они молча дошли до его домика, молча расстались. И тогда ей стало жаль и этой прекрасной ночи, и луны, изливавшейся впустую, и самое себя. Но каков Илья, щенок, он заслуживает, чтобы ему хорошенько надрали уши, больно рано начал по кустам шастать! А ты, мать моя, больно поздно, вот и не получилось ничего. Она вздохнула, сняла туфли и на цыпочках поднялась на крыльцо...

Наутро Павел Алексеевич обнаружил, что по неведомой причине ему предоставлена передышка. Нина была притихшей, рассеянной, мягкой, и просвет бывшего щемяще отозвался в сердце. Боясь спугнуть ненадежное умиротворение, он не дал себе расслабиться, взять прежний тон доверия. Надо строго следить за собой, ничего ей не навязывать, и прежде всего — самого себя. Он умел управлять своим поведением и надеялся, что не позволит себе ложного жеста и слова.

Пока они завтракали в столовой, прошел золотой грибной дождь, и Никита уверял, что к вечеру грибы "попрут с ужасной силой". Последние дни не были добычливыми, да и грибы попадались все больше сухие и порченные. Тем не менее никто не соблазнился вечерним походом, настолько крепко засело в человеческой душе древнее недоверие к темному лесу. "Пойдем, как всегда, одни", — решила Нина. Павел Алексеевич был настолько тронут, что хотел отказаться из ответного великодушия, но вовремя сообразил, что может попасть впросак со своей непрошенной деликатностью. Хочешь быть безукоризненным — не бойся прямолинейности, не изошрайся, не мудрствуй, так-то вернее.

Они поехали вдвоем, в обычном направлении. Но их не обгонял на "жигуленке" Никита, не строил рож в заднем стекле богатырь Илья, они были целиком и полностью предоставлены сами себе, будто притиснуты друг к другу, и Павлу Алексеевичу физически трудно стало дышать. Казалось, духота и тяжесть предгрозя наполнили малое пространство машины. Он боялся, что Нина заметит его состояние. Какое-то время он боролся с собой, но чувствовал, что не выдерживает. Они уже свернули с основного шоссе и приближались к карьеру.

— Стоить ли гнать в черты на яры? — сказал он. — Чем этот лес хуже?..

Нина равнодушно кивнула. Оставлять машину на узком, почти без закроек, шоссе было рискованно: к песчаной выработке и от нее то и дело сновали самосвалы на

огромных скоростях, встречные машины едва не сшибались бортами. Павел Алексеевич заметил впереди просеку и подрулил к ней. Через кювет был съезд, в глубь леса по просеке уходила дорога в колеях тележных колес, налитых водой. Там машину не оставишь — завязнет, да и следы колес свежие — дорогой пользуются. И тут он обнаружил на взлобке, близ опушки, сухую прогалинку, старые серебристые сосновые шишки устилали землю, сквозь них пробилась слабая можжевельная поросль. Павел Алексеевич рванул через кювет, проехал, буксуя по просеке, включил заднюю скорость, с насадным воем одолел взлобок и точно вогнал машину меж сосен на прогалину. И сразу ему полегчало, еще до того как вышел из машины.

Отсюда было видно, что лес по их сторону, казавшийся с шоссе густым и глубоким, сильно порублен — то ли под высоковольтную линию, то ли для какой иной технической нужды.

— А если и там то же? — Нина глазами указала через шоссе.

— Тогда поедем дальше, на старые места.

Но, перейдя на другую сторону и продравшись сквозь цепкий малинник, забивший кювет, они сразу поняли, что перед ними лес что надо, вроде бы и нехоженный. В этом убеждало обилие старых, изгнивающих грибов на опушке, — обойденные человечесей алчностью, они умирали своей смертью. А там пошли грузди и свинухи, да не семьями, а целыми полями, меж них — без числа новорожденных, которых выгнал из прелой земли утренний золотой дождик.

Стоило им чуть углубиться в лес, и они сразу перенеслись из сияющего дня в лиловатый сумрак. Хвойник был старый, тесный, с замшелыми лесинами и сомкнутыми кронами, солнечный свет скудно процеживался к изножиям деревьев. Павлу Алексеевичу показалось, будто он слышал об этом лесе, но что слышал, не вспомнилось.

Лес лежал ниже шоссе, поднятого насыпью; чем дальше они шли, тем приметнее опускался он в логовину, и

шоссе, проглядывающеея сквозь чащу и отчетливо слышимое рокотом грузовиков, возносилось горе, вот оно оказалось вровень с нижними ветвями старых сосен, а вот унеслось к корням. Лог, по которому рос этот кряжистый, мшаный, забитый буреломом и валежником лес, был изрезан оврагами, балками, а вдруг за каким-нибудь увалком круто изламывался холмом под скользкими от желтый спрессованных игл склонами. И всюду перли из земли грибы. В овражках и на взлобках, на твердой черно-лоснящейся, спекшейся, как окалина, почве под теснящимися друг к дружке и перегорающими в этой тесноте елками, в рослой траве нежданных березовых вкраплений посреди хвойного царства, в черничной заросли, из которой не выдрать ног, во мху по кочкам, в осоковой ярко-зеленой траве, под которой почва дышала и прихлупывала, по песчаному руслу бессильно сочащихся среди коряг ручейков — вот-вот, и струйка иссякнет, всочится в землю, но пройдут десятилетия, и эти ручейки будут так же немощно и неустанно слезиться среди лесного мусора; грибы были на земляничных полянках, где на иных кустиках сохранились — в конце августа! — исчерна-красные сладчайшие переспелые ягоды, на мертвых плешинах твердой, будто укатанной земли, где торчали лишь сухие былинки; грибами — свинухами и груздями, а не опятами — обросли пни и палые изгнивающие лесины.

Все, что они знали о грибах, тут не находило применения, да и не было нужды в грибной науке посреди жутковатого изобилия. Громадные белые прятались в болотистой траве, а подосиновики, пренебрегая материнским деревом (лес давал приют и осинам), хоронили под игольником свои красные шапки; грузди, волнушки, лозянки и свинухи не росли разве что на ветвях деревьев, стволы понизу они хорошо обжили.

В неразборчивой жадности грибники набили до отказа все имеющиеся емкости чем попало. Они кидались на старые, квелые свинухи, и разламывающиеся в руках,

черные, как сажа, изжившие свой век грузди, и белые шлептухи с губчатым, изжелта-зеленым исподом, и сыроежки с белесо-серыми шляпками, которые вообще не рекомендуется брать, и рыжики с легкой червоточинкой, и даже ложные белые, если уж очень хорошо притворились — выкинуть всегда успеется! Теперь пришлось устроить безжалостную ревизию всему сбору. Оставили меньше половины, обрезали ножки и принялись за работу по-новому. Строжайший отбор — в корзину идут только молоденькие и крепкие; от свиных и сыроежек отказаться, черные грузди брать лишь с белой чистой изнанкой. И опять пошел самозабвенный рыск. Мелькали ножи, подушечки пальцев обрастали темной несдираемой грибной клейковиной, похожей на вар, деревенели поясницы, тяжелели корзины, оттягивая руки, пока вновь не наполнились через край. В ход пошли полиэтиленовые мешки...

В общем радостном деле забывалась рознь, все сложности, омрачившие жизнь, казались маленькими и неважными перед Его Величеством ГРИБОМ. И они продолжали углубляться в незнакомый, странный и чем-то жутковатый лес. Лишь раз охраняющий инстинкт напомнил о себе Павлу Алексеевичу, сказавшему весело, хотя и с трещинкой беспокойства:

— Слушай, а мы не заблудимся?

— О чем ты? Господи!..

— Ты же знаешь, у меня топографический кретинизм.

— Еще и это! Зато у меня с топографией все в порядке.

У нас превосходный ориентир — шоссе. Слышишь?

Павел Алексеевич прислушался: справа, в бесконечной дали, что-то урчало, похоже — грузовик.

— Странно, — сказал он, — мне все время казалось, что шоссе за нами, а оно почему-то справа.

— Слева, ты хочешь сказать.

— Да нет же, именно справа!

— У тебя кретинизм не только топографический, но и акустический. Прислушайся хорошенько.

Павел Алексеевич прислушался — не столько к далекой дороге, сколько к Нининой интонации — и понял: заводится не следует. Тем более что у него пошумливает в правом ухе — легкий шорох и гул, как в морской раковине, — значит, надо довериться Нине, у которой чистый слух. И они пошли дальше...

Лишь когда был заполнен до отказа последний мешок, наступило отрезвление. И тут они заметили, что чернильный сумрак налил лесную крепь, сплошная тень накрыла землю и шляпки светлых грибов затеплились свечками, а темных — слились хвойным ковром. Сошел блеск с березовых стволов, и подзеленилась жемчужная кора осин, только небо, там, где оно проглядывало меж крон, сохраняло прозрачную голубизу. А время было не позднее — всего лишь начало шестого, но лес сурово и недвусмысленно давал понять, что с дневными играми покончено и близится тот потаенный, лишь ему принадлежащий час, когда чужим здесь не место.

— Надо выбираться, — сказал Павел Алексеевич.

— Да, — рассеянно согласилась Нина. Она огляделась. — Как мы кружим! Теперь дорога действительно справа.

Павел Алексеевич прислушался. Ему показалось, что он слышит сигнал, долгий, настойчивый сигнал, каким водители требуют уступить дорогу. Но затем звук, доносившийся почему-то сверху, изменил своей механической природе и стал голосом пространства — то ли гудел ветер в верхушках деревьев, то ли жалобно скрипел обломавшийся сук, то ли выдыхало пар остывающее нутро леса. Нет, не слышал он дороги, но его тянуло, как магнитом, тянуло влево. Вовсе не из духа противоречия, упаси Боже! Он вспомнил о своем топографическом кретинизме и подчинился Нине. Она пошла вправо...

Лес стал ровнее и приветливее. Кончились непролазные завалы, на огиб которых тратилась уйма времени, да и направление всякий раз терялось, кончались овраги в взгорья. Идти стало легко, и они прибавили шагу. Но вскоре

земля заквасилась, и ноги стали вязнуть; там и сям светлым недобрый глазом проглядывала сквозь лезвистую траву вода, — они забрели в болото.

— Мы идем прочь от шоссе, — сказал Павел Алексеевич. — Ведь мы же не переходили болота.

— Ну и пусть не переходили. Мы идем правильно.

— Помнишь, мы как-то ехали и Никита показал нам болото?

Его хорошо было видно в редняке: зеленое, с трясинной и торфяной чернотой. Он сказал, что лес в глубине стоит на болоте. Так вот, мы забрели в этот лес.

— Не понимаю, зачем ты все это мне рассказываешь?

— Никита сказал тогда, что болото тянется вдоль шоссе до самого карьера. Значит, надо идти от него, неужели непонятно?

— Нет. Я знаю, где шоссе, и веду к нему.

— Не упрямясь, Нина! Скоро совсем стемнеет. И нам не выбраться...

— Заночуем в лесу. Интересно даже...

— Ну, знаешь ли, меня все это не устраивает! — Павел Алексеевич давно уже говорил как-то слишком напористо и возбужденно, а сейчас вовсе сбился на несвойственный ему тон свары.

"Трусит он, что ли? — брезгливо подумала Нина. — Этого еще не хватало!"

— Ты так уверенно вела и привела нас в болото! — В своем непонятном возбуждении Павел Алексеевич не заметил двусмысленности сказанного.

Нина усмехнулась.

— Веди ты. Авось приведешь в землю обетованную.

— По-моему, надо идти назад, от болота.

— Уже слышала. Пойдем от болота.

Нина с возрастающим любопытством следила за мужем. Чего он рассуматошился из-за чепухи? Таким она его еще не видела. Он будто задался целью помочь ее освобождению. Они двинулись в противоположную сторону, но было, знать,

что-то колдовское в этом лесе — как ни тщились они держаться избранного направления, их вновь и вновь заворачивало на болото, начавшее истаивать легким туманцем.

— Да что же это такое? — жалобно проговорил Павел Алексеевич.

— А то, что надо было идти, как шли, а не кружить бессмысленно! — жестко сказала Нина.

Но кружили не они, кружил их лес. И когда они наконец пошли в ту сторону, которую она выбрала по слуху — шоссе оставалось единственным, хотя и малонадежным ориентиром, — после двух-трех обманчивых просветов (на самом деле то выбеливались в густеющем сумраке стволы берез) они вновь оказались в плотном лесу, а под ногами хлюпало и дышало болото. И куда бы они ни поворачивали, их настигал и окутывал прозрачно-зеленоватый болотистый кур.

— Что же делать? — Павел Алексеевич облизывал пересохшие губы.

Его рот был сухим и запекшимся в уголках, по лбу на глаза крупными каплями стекал пот, холодный, стыдный пот страха. И еще — Нина поняла, что такое "опрокинутое лицо". Ей часто встречалось это выражение в книгах, и она не понимала, что оно значит. Все дело в глазах — они как-то плоско заваливаются в глазницах, глаза не то покойника, не то душевнобольного. Да ее муж и был болен, самой позорной болезнью — страхом. Лучше бы он показал себя негодяем, хамом, зверем, только не трусом. Как же она не замечала этого раньше? А ведь надо было заметить. Разве вся его жизнь не была вылеплена страхом? Началось с войны, когда он резал по линолеуму, а его сверстники отдавали кровь и жизнь. А дальше — самоустранение от борьбы, добровольное отшельничество, отсутствие равных и более сильных друзей, товарищей по профессии, даже то, что он рисовал и как рисовал, сама мелкость "изысканного", не главного труда — все диктовалось трусостью. И людей он бежал из трусости, и поехать никуда не мог из трусости, и жил по-мышьиному из трусости,

и за нее не боролся из трусости — какой мужчина вел бы себя так покорно и бессильно? Он боится жизни, как темного леса. А может, у него комплекс: заплутался в детстве среди трех сосен, вот и осталась боязнь?..

— Ничего не попишешь, — сказала она с жестоким спокойствием, — заночуем в лесу.

— У тебя есть спички? — Дыхание со свистом и хрипом вырывалось у него из рта, как у астматика.

— Откуда? Что я — курю?

— И у меня нет... Вот беда... В лесу ночью нельзя... Темно, ничего не видно... Если б знать, взяли бы фару и аккумулятор... — бормотал он, как в бреду, и стирал пот со лба. — Надо идти... Ты не знаешь случайно, куда нам идти?..

Он протянул к ней мокрую от пота руку, пальцы дрожали. Она брезгливо отшатнулась.

— Дай корзину... дай сюда корзину... Мы пойдем быстро, очень быстро... Куда только идти, ты скажи, куда идти?..

Слабый шум, источник которого и не угадать, слышался то справа, то сзади. Возможно, это грузовик, но уверенности нет. В лесу пробудилось много новых шумов, мешавших вслушаться в ворочбу далекого шоссе. Вздыхало и ухало, шуршало и булькало, лес, еще недавно такой тихий, щедро озвучился в исходе дня. Он словно настраивался на ту главную музыку, которой огласится ночь. "Когда все чистое ложится и все нечистое встает..." — вспомнилось Нине. Если б ее не занимало так саморазоблачение Павла Алексеевича, впору было бы самой поежиться. Ей-Богу, с этим лесом дело не просто. Почему их сюда никогда не водили, почему не попались им человеческие следы, почему даже заросших просек они не встретили?..

— Ты меня сбил. Теперь я сама толком не знаю. Помоему, — туда!..

Павел Алексеевич сразу повернулся и пошел, как слепой лось, широко и крупно, не разбирая дороги. Валежник хрустел под его подошвами, он спотыкался, наскакивал на деревья, сучья и коряги цепляли за одежду. Опять зачавка-

ла болотная почва, выгоняя на траву черную смрадную жижу, но он ничего не замечал.

Ручей, нет не ручей, а речка, настоящая речка с желтовзмученной водой в черно-торфянистых берегах, поросших лещугой и острецом, преградила им путь. Довольно быстрое для лесной речки течение закручивало мелкие воронки. Была она не широка, но не перескочишь, и достаточно глубока, чтобы не перейти вброд. Павел Алексеевич сунулся, но сразу потерял дно и всем телом откинулся назад, на берег. Река подымала берег с их стороны, ветлы и ольхи опрокинулись головами в воду, иные были мертвы, а иные сохранили зелень торчащих из воды ветках. Но по ним не перейдешь. Павел Алексеевич метался с тяжелыми корзинами по берегу от дерева к дереву, делая попытки ступить на какую-нибудь лесенку, то гнилостно распадавшуюся под ногой, то сразу тонувшую, и наткнулся-таки на переправу. Можно подумать, что человеческие руки завалили березу в самом узком месте реки, где берег мысом вдавался в воду. Ветви дерева впутались в густую траву на другой стороне, а ствол перекинулся мостком через мутную воду.

— Оставь корзины! — крикнула Нина.

Павел Алексеевич поспешно и как-то безотчетно опустил корзины на землю и боком двинулся по стволу. Он забыл переобуться в резиновые сапоги, кожаные подметки туфель скользили. Будь ствол потолще и не так окатан водой, слизавшей с него кору, Павел Алексеевич все равно перешел бы, ведомый самым надежным поводырем — страхом, но тут, не достигнув середины, он словно задумался на миг и грузно, неуклюже плюхнулся в воду. Его накрыло с головой, он выпрямился, вода не достигла подбородка. Нина, испугавшаяся было, стала хохотать, глядя на его мокрую, облепленную водорослями голову.

— Держи документы! — крикнул Павел Алексеевич. Достал из нагрудного кармана куртки измокший паспорт, водительские права, членский билет Союза художников, сложил и швырнул на берег.

— Ты образцовый гражданин, — с издевкой сказала Нина, подбирая рассыпавшиеся документы, — в такой момент помнишь о бумажках.

Павел Алексеевич не ответил. Он попытался достичь другого берега вброд, но только нахлебался воды. Нина протянула ему корягу и помогла выбраться. С него стекала желтая вонючая вода.

Нет, он не мог собрать себя нацельно, как ни старался. Нина что-то говорила, кажется предлагала поискать другой путь. Зачем им на ту сторону, ведь они не шли через реку, и еще что-то о грибах, что их придется бросить. Какие грибы, при чем тут грибы?.. Голос ее все отдалялся, словно скрадывался расстоянием, а рядом, у самого уха, у виска, готовая вонзиться ему в голову, в глаза, в лоб, лязгала и лязгала железная лопата, вгрызаясь в каменистую землю, в которой он был похоронен. Но он уже знал, что не умер, нет, не умер, хотя весь земной шар, расколотый фугасом, рухнул на него чудовишной массой и закопал в себе. И все-таки он не умер. Он был слеп, недвижим, на него давила невыносимая тяжесть, груди было не подняться для вдоха, и как он вообще дышал, когда рот и нос были забиты землей, но он дышал, он жил, потому что слышал. Он слышал лопату, вгрызающуюся в землю, и понимал, что его откапывают, хотят спасти, но могут перерезать тоненькую ниточку, которой он еще привязан к жизни. Он хотел крикнуть, предупредить, но голоса не было, голос был заперт в груди навалившимися глыбами, заперт земляным кляпом во рту. Он хотел отвалить глыбы, хотел выплюнуть землю, но не мог двинуть ни рукой, ни ногой, ерзнуть, шевельнуться, не мог даже разомкнуть спекшиеся губы. Он был скован, скручен, спеленат, как мумия, в этом земляном мешке. И тогда он заорал внутри себя, заорал, чтобы лопата скорее нашла его висок или горло и освободила от непереносимого ужаса... Он задохнулся в своем беззвучном крике и потерял сознание. Никита и старшина Сергунов, откопавшие своего командира, и те восемь человек, что оста-

лись от взвода после взятия стратегической высоты, условной, воображаемой высоты, не видимой глазом, не чуемой дыханием и неосязаемой под ногами, когда ее брали, не значащейся ни на одной географической карте, но нужной для России, увидели, что он мертв, и не поверили этому. Они вернули ему дыхание и отправили в полевой госпиталь, где он через сутки очнулся. Но в каком-то смысле он навсегда остался в земляной могиле, ибо все, что напоминало ее ощущение безвыходности, насылало на него нечеловеческий ужас. И с годами ужас перед замкнутым пространством не шел на убыль, а все усиливался. Запертые двери были могилой, толпа у театрального подъезда была могилой, метро, ночные поезда, маленькие автомобили, лес, из которого нет выхода, — все это могилы. Но лес, ночной, глухой, без прогляда, без спасительного огонька, и впрямь мог стать могилой, — такого ему не выдержать, лучше разломить башку о дерево — хоть в смерть, но все-таки выход. И не было на земле силы, которая могла бы ему помочь, когда он слышит у виска лязг лопаты и тяжесть земли давит на сердце, мозг, на самую субстанцию жизни.

...Он схватил корягу, отломил мешающий сук и превратил в шест. Опираясь на шест, двинулся по стволу, осторожно ставя ноги, чтобы не оскользнулись подметки. Шест сломался на середине реки, он рухнул в воду, чудом не распоров лица о впившийся в вязкое дно обломок. Острый кончик скользнул по щеке, по веку и поцарапал бровь. Кровь из ранки потекла на глаз.

И опять он выбирался на берег, с трудом выхватывая ноги из илистого засоса, цепляясь за палку, протянутую Ниной; палка обломилась — все здесь было от сырости гнилым, трухлявым, непрочным, — по счастью, он успел ухватиться за тонкие, похожие на бледно-розовых червей корни, свисающие с торфяного среза берега.

Лопата лязгала и лязгала у виска. Нина опять что-то говорила, но лишь одно слово "грибы" проникло в охваченный недугом мозг. Он схватил корзины за ручки и устре-

мился по стволу быстрым, семенящим шагом канатоходца. И тяжелые корзины послужили баластом, он достиг противоположного берега и рухнул на землю.

Он смахнул кровь с глаза, утер рукавом лицо. Он еще не спасся и не знал, спасется ли, но какой-то рубеж был взят, и лязгающий звук чуть отдалился от уха. Обернувшись, он увидел, что Нина переходит реку. Она шла медленно, прижимая к груди полиэтиленовые мешки с грибами и не глядя под ноги, словно забыв, что под ней река.

— Брось мешки! — крикнул он, вскакивая на ноги.

С какой-то балетной грацией тяжеловатая Нина легко продвигалась по стволу, еще шаг — и она ступила на берег. Он заметил, что у нее странные глаза — широко открытые и неподвижные. Но краткая передышка уже кончилась, лопата залязгала у самого уха, что-то черное, душное навалилось, зажало со всех сторон, и, спасаясь от смертельных дисков, он безотчетным движением подхватил корзины и метнулся прочь от реки.

Нина безмолвно последовала за ним. За речкой оказалось другое болото. Она видела, как оступался, проваливался и падал Павел Алексеевич, как тяжело волочил нагруженные торфом ноги к очередному просвету, такому же обманчивому, как и все предыдущие; мнимая щель обернется стволами берез или осин, а за ними станет лес стеною, и зачавкает болото, и река заворотит излучину поперек пути, и так до наступления ночи, а что будет тогда — она боялась думать.

Она уже поняла, что Павлом Алексеевичем сейчас владеют какие-то иные силы, не имеющие ничего общего с бытовым страхом. Он не властен над собой, неуправляем, лишь изредка его воспаленность пронизывает краткая остынь, и тогда он делает что-то разумное, и тут же вновь его захлестывает необъяснимый, мистический ужас. Она не верила в сверхчувственное, этому должно быть разумное объяснение, но сейчас не до того, надо выбраться из леса, выбраться до прихода тьмы. Если б она могла точно определить, какого направления держаться, но в том-то и горе, что шоссе давно

уже посылаало сигналы с разных сторон, и пропала уверенность, что она вообще слышит шоссе. Павел Алексеевич сбил ее с толку, а она слишком поспешила отпраздновать свою глупую, стыдную победу и нарочно выпустила вожжи из рук. А теперь и сама потеряла ориентировку. Хоть бы куда-нибудь вывел их проклятый, заколдованный лес!

Нужно найти выход. Помочь бедняге, выбивающемуся из сил впереди нее. Она прибавила шагу. Если быть внимательной, то можно ступать по сухому: где кочка, где пенек, где просто крепь, а Павел Алексеевич не разбирает дороги и поминутно проваливался...

Нина нагнала Павла Алексеевича уже за краем болота, под ногой затвердело, красноватый свет солнца просачивался из-за опушки. За орешником так же безнадежно вздымались сосны и ели, но справа и слева в кустах будто виднелись воротца, и он заковылял к ближней сквознине. Нина опередила его. Прямая, как стрела, просека врезалась в зеленую мглу. По ней тянулся слабый, едва различимый след тележных колес. "Лесная дорога. Куда она может вывести? — лихорадочно соображала Нина. — Они ее не пересекали, значит, дорога находится в глубине леса, и по ней едва ли попадешь на шоссе, где оставлена машина. Так куда же ведет эта дорога и сколько придется идти по ней, чтобы хоть куда-нибудь выйти? И выдержит ли Павел Алексеевич, когда так быстро темнеет?" Впервые Нина испугалась, но тут же сказала себе, что все равно выведет его. Если надо, понесет на себе. Сил у нее хватит. А Павел Алексеевич, поставив корзины на землю, вытирал лицо скомканным грязным носовым платочком и улыбался виновато и счастливо.

— Что ты, Паша? — Она достала чистый носовой платок, промокнула его сочащуюся кровью бровь и прижала ранку.

— Выбрались... — сказал он. — Все-таки выбрались.

— Да разве мы выбрались? — Ранка не кровоточила, и она стала вытирать мужу лоб, глаза, рот. — Только на дорогу вышли. А что это за дорога?..

— Не важно... Каждая дорога куда-то ведет. Остальное не важно.

— А если мы дотемна не успеем? — пыталась она.

— Не важно. Небо видно. И в оба конца — выход.

Она начала догадываться.

— Это что — война, Паша? Или ты не хочешь говорить?..

Он не хотел говорить, она сразу поняла, но иногда приходится говорить независимо от того, хочется или нет.

— Война.

— Но... ты же резал по линолеуму?..

— Это потом. Сперва я нормально служил. В пехоте.

— Ты был ранен?

— Засыпан землей... Меня откопали.

— Почему ты никогда не говорил мне об этом?

— Одна женщина назвала меня эксгумированным трупом.

— И ты расстался с этой женщиной?

— Да.

— Но я не такая женщина.

Он как-то странно взглянул на нее и промолчал.

— Может, я плохая женщина... только не такая...

— Ты прекрасная женщина! — сказал он искренне. —

Но ты была очень молодой женщиной, собственно, ты даже еще не была женщиной. И я подумал, зачем наваливать это на молодую душу? Если и не очень молодая не выдержала... Наверное, я был неправ. Нельзя ничего строить на лжи. Но мне казалось: немного осторожности, всего лишь несколько ограничений... Откуда я мог знать, что мы попадем в этот чертов лес?..

Наверное, следовало остановиться, но она знала, что они уж никогда больше не вернутся к этому разговору.

— Скажи, а поезд?..

Он кивнул.

— И театр?..

Снова кивнул.

И наконец, вот оно — главное:

— И ребенок?..

Он опустил голову.

— Врачи говорят, что это не передается по наследству. Но можно ли им верить? А если один случай на тысячу?.. Не десять, на сто тысяч?.. Какое я имею право?..

Каково же ему приходилось, если его страшит даже ничтожно малый риск!

— Понимаешь, в сущности, я совершенно здоров. Это же чепуха — одна-единственная неверная связь в мозгу.. Когда меня откопали.. я потом очень болел, дергался, не владел своим телом и, кстати, долго не мог резать по линолеуму. Меня держали в армейской газете из милости, — я не хотел ехать домой, мне казалось, что со мной все в порядке. До первой бомбежки. Надо идти в убежище, а я не могу. Мне под бомбами лучше. После, как налет, меня стали назначать дежурным по части.. Ведь обидно, — сказал он с горечью, — научись врачи разрывать эту связку, и все — нет такой болезни. Но ведь сейчас наука одерживает успехи только на Луне.. И чего я так разболтался? — перебил он себя.

Разрядка, реакция на пережитое. Прежде его отпускало сразу, как только находился выход, и без малейших последствий: утихало сердце, отливала кровь от головы, высыхал лоб, и в глубоком покое, который охватывал его, совсем не хотелось ворошить то, что было. Отлетело, сгнуло — и черт с ним!.. Крепко же его припекло, если он так распустил язык!

— Сто лет молчания, — услышал он голос Нины. — Надо когда-нибудь и заговорить.

Справедливо, но пора подвести черту.

— Мне не хотелось тебя нагружать, вот я и молчал.

"О Господи, а мне как раз нужно было, чтобы меня нагружали! Коли женщине не пришлось узнать малой тяжести ребенка, то нужен, просто необходим какой-то иной груз".

— Будем выбирать, — решительно сказала Нина. — По-моему, нам налево.

— А по-моему, направо. — И словно бы тень пережитого страха проскользнула по его лицу.

Может быть, ей это только показалось, но она сразу перестала спорить. В конце концов, дорога в оба конца куда-то выходит. И они пошли. Просека, как и глубина леса, то и дело обманывала намечавшимися впереди просветами, но если там игру вели березы, то здесь — заглядывающее сверху небо.

Они шли долго. Так долго, что Нина начала тревожиться. Похоже, ночь все-таки застанет их в лесу, пусть и на просеке, и, вопреки бодрым заверениям Павла Алексеевича, давешнее может вернуться, ведь темнота — Нина уловила это из некоторых его обмолвок — то же замкнутое пространство, темница, недаром же — "темница".

Ей все время хотелось взять его за руку, она пыталась это сделать будто ненароком, споткнувшись, из шалости, из шутового товарищества, но он, верно догадываясь об истинном смысле жеста, мягко, но решительно отнимал руку. А потом не выдержал:

— Ну что ты, ей-Богу?.. Я же не боюсь.

Это детское слово "боюсь" толкнулось ей в самое сердце. Она все-таки получила ребенка, старого, больного, беспомощного, как бы ни притворялся он взрослым и самостоятельным, своего ребенка...

Лес наполнился густыми испарениями. Болото и речка выдыхали набранное за день солнечное тепло. И стало исчезать зеленое вокруг. Трава, листья, хвоя сосен смешивали на себе медь с лиловым, елки совсем почернели. Стволы берез погасли, подернулись серым, а из оврагов, буераков, кустов, из-под густых игольников зримо и бесформенно выползал мрак. И только впереди, в конце просеки, в воображаемом конце, ибо бесконечен лесной коридор и они будут идти по нему до последнего дыхания, мерцала светлая точка.

Они не заметили, как точка стала окошком, просто не поверили яркому свету в окружающем мраке, а потом лес будто вытолкнул их из себя в прозрачный, сохраняющий

свои краски день. И солнце, хоть и стояло низко, еще не было закатным, это чаща выбирала багрец из его лучей, чтобы приблизить долгожданную ночь.

Перед ними было широкое, с синеватым отливом, хорошо укатанное шоссе, но не то шоссе, где они оставили машину, а основное, идущее под прямым углом к нему и соединяющее "зону отдыха" с автострадой. Вот почему они слышали гул машин то слева, то справа, их затащило к стыку двух шоссе, а потом, закружив, уволокло в глубь леса, к болоту и реке. И конечно, надо было идти по просеке влево, тогда бы они вышли к своему шоссе. А теперь до машины, может быть, с десятков километров. Впредь ей будет наука: не потакать. Похоже, Павел Алексеевич уже понял свою ошибку и поглядывал виновато.

— Ничего. — Голос Нины источал спокойную уверенность. — Сейчас я остановлю военный грузовик, тебя подбросят, а я подожду здесь с грибами.

— Так он тебе и остановится!

— Можешь не сомневаться.

Она знала что говорит. Большой грузовик-фургон со снятым брезентом, — в кузове стояли впритык солдаты, в кабине, рядом с водителем, прямил спину молоденький, очень серьезный лейтенант, полузадушенный тесным воротничком кителя, — сделал все возможное, чтобы объехать заступившую ему дорогу женщину, но сник перед бесстрашным упорством и остановился, уткнувшись жаром мотора ей в грудь.

— Товарищ лейтенант, мы заблудились в лесу, а наша машина осталась возле карьера. Вы же туда едете, подбросьте моего мужа, очень вас прошу.

Смущенный излишней осведомленностью незнакомой гражданки о дислокации воинских частей, лейтенант молчал, размышляя и наливаясь густой кровью в своем воротнике-удавке.

— Машина военная, — отрезал лейтенант.

— Он художник, и у него больное сердце, — деловито сообщила Нина.

Это решило дело: юный лейтенант вспомнил, что является воином самой гуманной армии в мире, и распахнул дверцу кабины.

— А как же ты?.. — растерянно проговорил Павел Алексеевич.

— Жду! — Нина решительно подтолкнула его к ступеньке грузовика.

Павел Алексеевич плюхнулся на сиденье рядом с лейтенантом и тут же испачкал ему рукав кителя.

— Простите, Бога ради!.. Я весь грязный.

— Ничего, ничего!.. — пробормотал лейтенант, деликатно отодвигаясь.

— Трогай!.. — крикнула Нина и отступила к обочине.

Грузовик тяжело двинулся.

— Я в речку упал, — оправдывался Павел Алексеевич. — И в болоте извалялся.

— Как же это вас угораздило? — с улыбкой спросил смуглый шофер-сержант.

— Заблудились... Вот в этом лесу.

Шофер перестал улыбаться и тихонько присвистнул.

— Так вас в Берендеев лес занесло!.. Ну, знаете!.. В него даже местные не ходят.

И тут Павел Алексеевич вспомнил, что Берендеевым лесом (тогда еще подумалось, что это образ, к тому же весьма избитый, а не название) пугал их Никита в день приезда. Он не придал значения болтовне Никиты, в каждой сельской местности есть свои легенды: лесные, озерные, речные, кладбищенские.

— Тут зимой двое отдыхающих на лыжах заплутались, — продолжал словоохотливый водитель, — так их цельные сутки искали. Воинская часть лес прочесывала.

— Нашли?

— Чуть живых. Насилу снегом оттерли.

— Оттерли, и все! — строго сказал лейтенант, которому показалось, что сержант болтает лишнее.

Павел Алексеевич задумчиво глядел на темные спокойные деревья, хранящие свою тайну. Берендеев лес заплутал их, но он же и вывел..

Нину удивило, что приключение, такое значительное для них, не произвело на Никиту и Варю никакого впечатления. А ведь Никита, как никто другой, мог бы представить себе, что там происходило. Но Никите, поди, раз и навсегда было велено забыть о некоторых обстоятельствах, связанных с Павлом Алексеевичем, и, человек на редкость исполнительный и преданный, он забыл так крепко, что вроде и сейчас не вспомнил. Люди вообще умеют стойко переносить чужие неприятности, а если неприятность к тому же не состоялась, то смешно требовать от них повышенного внимания. К тому же простодушный Никита был взволнован другим: Борис Петрович получил долгожданный вызов из Ленинграда, физики уезжают завтра рано утром, а сегодня дают отвальную. Сейчас они помчались в город за вином и закусками. Никита тоже весь в хлопотах: Варя затеяла пироги с грибами, надо сбегать в деревню за зеленым луком, а у него мясо для шашлыков не приготовлено. Павел Алексеевич предложил свои услуги — он же на колесах. Никита обрадовался, попросил купить чесноку, огурцов, а если открыт магазин, помидоров и хлеба. Павел Алексеевич уехал, даже не переодевшись.

А когда вернулся, то сказал Нине, что в проводах не сможет участвовать, поедет на ночную рыбалку.

— С чего это вдруг? — опешила Нина.

— Меня давно звали, да леж не клевал.

— А сейчас клюет?

— Деревенские рыбаки говорят: клюет. Я — с ними.

— Возьми меня.

Павел Алексеевич покачал головой:

— Прости, в лодке нет места.

— Тогда я тоже не пойду на провода.

— Как знаешь. Только зря. Зачем обижать людей?..

Запотелый колокольчик, всего лишь раз подавший голос за всю бесконечно долгую ночь, да и то под утро, отчетливо высеребрился в расцедившейся тьме. Колокольчик тренькнул, когда Павел Алексеевич перестал ждать, смирился с неудачей, и коротенький жестяной звук обернулся довольно крупным, тяжелым окунем. Уже снулый, он порой всплескивал на поводке под берегом, всплывал, сразу переворачиваясь белым брюхом кверху.

А он загадал: если тренькает колокольчик и он вытаскивает рыбу, конечно не леща, да леща и в помине не было, но такую рыбу, что не стыдно принести домой, значит, все было правильно. Ребячество, глупость?.. Конечно! Но надо же хоть чем-то занимать себя в неподвижные, как жернова в безветрие, ночные часы.

Ночь поначалу была глухой и влажно-теплой, затем вызвездилась, остыла, из-за леса выкатился месяц и пошел низом, цепляясь за лесной окоем озера. Вскоре небо со всеми звездами поднялось высоко, и пришло ощущение простора. У других рыбаков позвякивало, а у его колокольчика язычок будто приварился к стенке. Ночь отмякла, померкли звезды, а колокольчик все молчал.

В промозглый предрассветный час, когда рыба вовсе перестает клевать перед жадным утренним жором, колокольчик глухо тренькнул. В самой этой неурочности проглянуло знамение. Он спокойно, зная, что не сорвется, подсек, вывел к берегу и снял с крючка холодного, как снег, окуня. И тут же сделал последний ход в игре: ты зря мучаешься, ничего там не было, да и быть не могло. Следовало сказать это себе, чтобы сразу с презрением отбросить пустое самоуспокоение. Считай, что было все, и прими это так, как приняли твою болезнь и твою многолетнюю ложь, ведь утаивание — та же ложь. А боязнь замкнутого пространства не однозначна и возникает не только в земляной могиле... Ладно, начинается день, и надо жить дальше...

# ПЕРЕКУР

Климов не ожидал, что этот захудалый поезд еще совершает свой томительно долгий, кружной путь к Ленинграду. Он думал, что нудный рейс — такое же уродливое и необходимое порождение войны, как “пирог с хлебом”, “яичный порошок” или “филичевый табак”. Он уже совсем было собрался ехать “стрелою” в Ленинград, чтобы пересесть там в местный поезд на Неболчи. Оттуда двенадцать с небольшим километров пешим ходом до разъезда, и рукой подать — Ручьевка, зримая крышами с железнодорожной насыпи. На всякий случай он все же наведалься на Савеловский вокзал и навел справки. Оказалось, что рейс сохранился, и нет никакой нужды ехать с пересадкой, а потом еще топать по шпалам. Разъезд стал маленькой станцией, и пассажирский поезд делал там минутную остановку. Это и обрадовало и огорчило Климова. Обрадовало потому, что ему не хотелось перебивать душевный настрой ленинградскими впечатлениями,— он слишком остро и сильно ощущал этот необыкновенный город; огорчило же потому, что в превращении разъезда в полустанок проглядывали иные, куда более грозные перемены. Внезапно вся затея стала казаться бредовой и ненужной. Впрочем, бредовой она была с самого начала. Он едва отваживался думать о том, что ждет его в Ручьевке.

И пока поезд тащился на север по прекрасной средне-русской земле, убранной последним октябрьским золотом, причаливал к ветхим вокзалам старинных русских городов, к пахнущим свежим деревом платформам новых поселений, к печальным полустанкам, обитаемым, казалось, одним-единственным человеком в железнодорожной фуражке, Климов упорно вызывал прежний образ Маруси, не

делая поправки на минувшие годы, на трудную крестьянскую долю ее, на то, что деревенские женщины вообще рано стареют. Точно так же не брал он в соображение, что Маруся могла покинуть Ручьевку или жить там иным укладом — в замужестве и при детях, похоронив память об их давней короткой любви. Он сознательно цеплялся за прошлое, пренебрегая движением времени. Даже малая серьезность, слабое размышление мгновенно обнажали ребяческую безрассудность, заведомую несостоятельность его поступка. Прежде чем пускаться в путь, следовало бы списаться с Марусей или хоть с ее семьей, соседями, разузнать о ней, а не действовать наобум. Но тоска, зревшая в нем — как ему теперь представлялось — все двадцать лет, вдруг стала нестерпимой. От нее болело сердце, кровь приливала к голове, ломалось дыхание, и Климову не раз казалось, что вот-вот наступит смерть. Надо было ехать — в этом единственное спасение. Пусть даже не спасение, ну хоть передышка. В армии это называлось перекурком. Может, после станет еще хуже, но пока — отдохновение, сладкий дым, тишина, отвлеченность. А коли и станет хуже, так по-другому...

Пока что отдохновения не получалось, он всю поездку тревожился, маялся, томился, не мог уснуть. Зато сердце не сжималось ужасом пустоты, и на том спасибо. В дороге он делал разные мелкие открытия. Выяснилось, что двадцать лет — мотыльковый срок жизни. Он не мог реально представить себе, что не видел Марусю целых двадцать лет. Они расстались от силы на прошлой неделе — этого вполне достаточно, чтобы затосковать. А ведь двадцать лет — треть человеческой жизни! Неужели он швырнул кошке под хвост треть своей жизни? Значит, коль все удастся, он будет счастлив лишь тот же смехотворно короткий срок? От этих мыслей мороз подирал по коже... Но, может быть, все дело в относительности времени? Он не жил эти годы, а лишь готовился к жизни, потому и мелькнули они в своей незначительности и неценности со скоростью ракеты, а

двадцать лет с Марусей будут идти, как этот вот поезд, только не в раздражающей, а в пленительной медлительности, дающей возможность приглядеться к милому образу, ко всем явлениям окружающего мира и к собственной душе? И тогда окажется, что двадцать лет — огромный срок: тут успевает свершиться все, ради чего человеку дается жизнь, и ты полностью осуществляешь себя в любви, в работе, в творчестве, во всем взаимодействии с миром.

Поначалу, возбужденный путешествием, зрелищем желто-красных лесов, зеленых и бурых полей, голубого чистого неба, птиц, сбившихся в громадные предотлетные стаи, горько-радостным предчувствием перемен, разлитым в осени, он воображал себя молодым и свежим, таким рыцарем, издалека возвращающимся к возлюбленной. Он много суетился в вагоне, спрыгивал на каждой остановке, покупал ненужную снедь — ему кусок не шел в горло — коричневые яблоки с темными примятинами и сухие бутерброды у ларечниц, пироги с картофелем и топленое молоко в четвертинках у баб. Он вскакивал на ходу в поезд, цепко хватаясь за шершавые железные поручни и легко бросая тело на высокую ступеньку, рывком взмывал на вторую полку, чувствуя свои крепкие мускулы, и тут же спрыгивал вниз, к пыльному окошку в коридоре. Мимо — в уборную и обратно — курсировали женщины с детьми, мужчины с тазиками для бритья, и ему казалось, что они тоже чувствуют его молодую лихость и даже проглядывают романтический смысл его поездки. И верилось, верилось, что Маруся осталась той, прежней, какой он впервые увидел ее, когда, споткнувшись на пороге и рассмеявшись над собственной неловкостью, вошел в ее дом...

Его вызвали из офицерского резерва противоестественно быстро: на фронте было затишье, и люди месяцами ожидали назначения. Но поначалу ему и в голову не пришло, что это сработало медицинское начальство на фронте. Он ушел из госпиталя самовольно, с плохо зажившей раной и недолеченным желудком. Он знал, что должен вернуться на фронт, и

не хотел бессмысленной оттяжки. Окружающим это казалось проявлением высокого боевого духа, сам же он в глубине души называл это по-иному. Он не верил, что уцелеет на войне. В день получения повестки из райвоенкомата он отчаянно рыдал в глухом углу двора своего детства, прощаясь навсегда с отцом, домом, товарищами, девушками, которые ему нравились, с двором, голубятней, надеждами стать вторым Станиславским (он учился в театральном институте), с любовью к животным и деревьям, к спорту и воде, к Лемешеву и Остужеву, к своему маленькому письменному столу, набитому всякой всячиной — предметами его последовательно менявшихся увлечений: фантиками, марками, деталями “Мекано”, географическими картами и атласами, кастетами и закладками, — и такое было! — химикалиями и пробирками, брошюрами по психоанализу, блокнотами и клеенчатыми тетрадями с размышлениями, ракетками для пинг-понга и лопнувшими целлулоидными мячиками, дневниками, написанными для мнимодоверительного показа “возлюбленным”, и письмами от них.

Это были последние его слезы. Он не плакал, получив на фронте известие о гибели отца в народном ополчении, не плакал, когда на глазах его под Колпином мучительно умирал от раны друг его детства Котик Зимин...

Климов считался храбрым командиром, но из-за своей замкнутости, молчаливости, равнодушия к скудным благам трудного Ленинградского фронта не был любим в части. После гибели Котика у него не осталось друзей, но он не страдал от этого, скорее чувствовал облегчение. Котик Зимин, каким-то чудом оказавшийся у него во взводе, нес на себе печать довоенной нереальности, о которой лучше было забыть. С его гибелью тревожный образ былого окончательно погас в Климове.

На Ленинградском фронте ко всему, что положено нести солдату, добавлялись голод, цинга, желудочно-кишечные заболевания, дистрофия. До дистрофии дело у него не дошло, но цинготная кровь из шатающихся зубов солила

рот, и в ожидании сигнала атаки он оплевывал кровью снег вокруг себя. А потом он поднимал кверху руку с нагном, застуженным, хрипатым голосом не кричал, а сипел: “За мной!” — и нес навстречу немецкому огню свое обху-давшее, легкое и все равно тяжелое тело, больной ноющий желудок, изжогу и цингу...

Он читал в армейской газете, что бойцы и командиры идут в бой с мыслью о Ленинграде, чье трудное дыхание ощущается у них за спиной, с мыслью о любимых, о родной стране, о березах и прудах, подернутых ряской. У него в атаке ни разу не возникло ни одной отвлеченной или сколь-нибудь значительной мысли. Чаще всего он просто ни о чем не думал, за него думало тело, твердо знавшее свою задачу: достичь того или иного пункта (обычно это не удавалось — немцы были тут слишком сильны), иногда мелькала какая-нибудь случайная, пустейшая мыслишка или серьезная, деловая — если он вдруг переставал чувствовать за собой бойцов. Тогда надо было поднять их и вести дальше, что он и выполнял словом и действием. Но он искренне удивился, прослышав, что его считают жестоким, — даже малой злобы не испытывал он к отставшим, залегшим, трусившим. Оттого что он никогда не думал ни о березах, ни о девчонках, с которыми когда-то знался, ни о заросших прудах, он казался себе каким-то недочеловеком, и это примиряло его с возможной гибелью. Порой ему хотелось спросить бойцов или знакомых командиров: правда ли, что они думают во время боя о таких далеких и красивых вещах, но он стеснялся. А потом ему пришло на ум, что пишут в газетах люди, которые сами в атаку не ходили, да и в обороне не сиживали, а потому не стоит им особенно верить...

Однажды их атака увенчалась успехом, они заняли немецкие блиндажи. Тут он впервые услышал обращенные к нему слова: “За проявленное мужество и героизм...” — и содрогнулся от неожиданности их применения к себе. Мужество... Героизм... Это когда в душе что-то действенное, сознательное, это жертвенная красота поступка, а он воевал,

не веря в то, что уцелеет. Он, если на то пошло, своим так называемым героизмом только ускорял развязку.

Вскоре его ранило, и он по ледовой раскисшей Ладожской дороге был отправлен в госпиталь на Большую землю. За госпиталем последовало короткое пребывание в резерве: самогон, скучные разговоры, домино, шашки, старые газеты — и неожиданное назначение в какую-то фантастическую тыловую часть.

Он не предполагал, что существует такой род войск, который не уничтожает противника, а изучает его моральное состояние и заманивает в плен с помощью газет, листовок, радиопередач — все, разумеется, на немецком языке. А он кумекал по-немецки, хотя учил язык только в школе, у него была сильная механическая память. Начальник госпиталя получил медицинское образование в Германии. Случайно обнаружив, что Климов владеет немецким, он стал приходить к нему в палату поболтать на “языке своей юности”. Его восхищение Германией, пусть и догитлеровской, раздражало Климова, в отместку он допекал военврача рассуждениями, что немцы всегда были не Бог весть чем. Военврач сердился, краснел, потел, клеймил рассуждения Климова “расизмом наизнанку” и в конце концов отомстил ему, натравив на него сотрудников седьмого отдела. Климов вскоре догадался, что это его работа. Борьба оказалось невозможным, ибо он временно числился “годным к нестроевой”. Конечно, если б контрпропагандисты не напали на его след, он сумел бы вернуться на фронт, а так он был связан по рукам и ногам. Видимо, врачу очень хотелось излечить его от “расизма навыворот”. Если б он знал, что Климов болтал просто для подначки!..

— Ну, браток, у тебя начинается серьезный перекур! — с завистью сказал Климову сомученик по резерву, майор-танкист. Климов пожал плечами, он верил, что “перекур” не затянется.

Назначение ему дали в Неболчах, и на случайной дрезине он добрался до безымянного разъезда, неподалеку от

деревни Ручьевки, большой, красивой, не тронутой войной. Он без труда отыскал свое новое начальство: печального еврея с каракулевой головой, в звании батальонного комиссара. Тот спросил по-немецки с удручающим акцентом, владеет ли Климов языком активно, и, получив утвердительный ответ, сказал по-русски, но с тем же акцентом: “До этого вы убивали немцев, теперь у вас другая задача — помочь им сохранить жизнь”.

— А вы уверены, что я действительно убил хоть одного немца? — спросил Климов.

— Но вы же командир взвода! У вас боевые ордена! — беспомощно сказал человек с каракулевой головой.

— Ах, вы это теоретически выводите! — разочарованно сказал Климов. — Я-то думал, вам точно известен мой боевой счет!

Но, видно, не глуп был этот батальонный комиссар с печальным лицом, он сразу догадался, что его провоцируют на вспышку, за которой должно последовать откомандирование дерзкого лейтенанта назад, в резерв. Он кликнул дневального, пожилого бойца в ватных штанах, и приказал ему определить на постой лейтенанта Климова.

— Отдыхайте, — сказал он лейтенанту мягко, — завтра поговорим.

— Может, их к художнику подселить? — предложил дневальный. — Самый чистый дом.

— Очень хорошо! — И каракулевая голова склонилась над бумагами.

Они вышли на широченную деревенскую улицу, обсаженную плакучими березами. Все дома были под железом, стояли широко и крепко; в палисадниках — кусты смородины, сирени, круглые желтые цветы. Посреди деревни возвышался бугор, на нем торчал столб с чугунным билом — сельское вече. Они обошли бугор. Солнце, до этого скрытое за белым толстым облаком, высвободилось и ударило в них светом и жаром.

— Задница у тебя не прет? — спросил Климов бойца.

— Ишиас у меня, товарищ лейтенант,— отозвался тот чересчур жалобно.

— Ты же по возрасту нестроевик,— заметил Климов,— зачем придуряешься?

— А кто его знает, нынче нестроевик, а завтра самый распередовой строевик...— засомневался боец.

Возможно, Климов продолжил бы этот увлекательный разговор, но тут боец круто свернул к большой нарядной избе с красивыми синими наличниками и резным просторным крыльцом. Потом Климов не раз удивлялся недогадливости, непроницательности человеческого сердца: ни тени предчувствия, ни слабого сжатия в груди от встречи с судьбой не испытывал он, когда вслед за бойцом поднялся по ступенькам свежего, чистого крыльца, на миг ослеп в сумраке хорошо пахнущих сеней, споткнулся на слишком высоком порожке, скрыл неловкость в коротком, чуть принужденном смешке и оказался на кухне, а в открытой двери, у окна чистой горницы, увидел золотую швею.

Солнце било в нее из окна и превращало в золото пшеничные волосы, слабый охряной загар, белое городское платье и полотняную ткань, из которой она что-то шила, обнаженные по плечи полные руки в светлом пушке и круглые гладкие колени. Это было так неожиданно и здорово, что Климов опять засмеялся, глупо и радостно, а боец в ватных штанах сказал:

— Маруська, матери нету? К вам еще одного подселяют.

— Лейтенант Климов! — представился подселяемый, и это прозвучало как-то уж слишком по-лейтенантски.

— Устраивайтесь,— сказала девушка равнодушно.

Жители прифронтовых деревень давно перестали чувствовать себя хозяевами в собственных домах.

Она забрала свое шитье, коробку с иглками-нитками и хотела выйти из комнаты.

— Да работайте тут, ради Бога! — воскликнул Климов.— Вы мне ничуть не мешаете.

Девушка молча вернулась на свое место и вновь окунулась в солнце. Выше среднего роста, довольно полная, но легкая, с тонкой гибкой талией, с серо-голубыми глазами и большим свежим ртом, она была красива той широкой, броской красотой, что бьет сразу и наповал. И Климов вдруг обнаружил в себе очень много горячей и жадной жизни. Он знал, что ему не уйти от войны, что перекур рано или поздно кончится, но сейчас просил “миледи смерть за дверь подождать”...

Он прошел в комнату. Маруся вставляла нитку в иголку, чуть прищуриив серо-голубые глаза и приоткрыв от внимательности рот. Что-то перевернулось у него внутри...

Обычно, вспоминая о своей встрече с Марусей, Климов строил ее лишь из солнца, Марусиной прелести и своей мгновенной — до боли, до муки — очарованности ею. Но здесь, в поезде, не нужно было никакой игры, здесь память строила из настоящего материала жизни и не пугалась и того низкого, юношески жестокого, что нахлынуло на него при этой первой встрече...

— В Ленинград? — голос пробился к нему откуда-то издалека.

Женщина с ребенком на руках, в незастегнутой кофточке — видно, только что кормила — глядела на него безулыбчивыми, красными от недосыпа глазами.

— Что — в Ленинград? — не понял Климов.

— В Ленинград, спрашиваю, едете? — Вопрос был задан так серьезно, озабоченно, будто ей и впрямь было до этого дело.

Может, она рассчитывает на помощь? Одинокая женщина с ребенком, с вещами...

— Нет, — сказал Климов, — к сожалению, не в Ленинград.

— Куда ж тогда? — Она вдруг принялась трясти своего младенца, видимо получив тайный сигнал, что он сейчас проснется и заорет.

— Вы не знаете... Под Неболчи.

Сколько ей лет? По виду почти старуха. Серая сухая кожа, провалившиеся глаза. А спроси, окажется, и сорока нет. Неужели и Маруся могла так измениться?..

— Отчего же не знать,— чуть обиженно сказала женщина.— Очень даже знаю, у меня муж из тех мест.

— А деревню Ручьевку вы знаете? — замирая, спросил Климов.

— Нет, не слыхала... А вы кем работаете?

Да нет, не ждет она от него никакой помощи, просто захвачена обычной суетностью, заставляющей людей вступать в ненужное общение, говорить множество лишних слов, совершать массу лишних поступков.

— Я работаю в кино.

— Артистом? — уважительно спросила женщина и опять затрясла младенца.

— Режиссером,— ответил он, удивляясь своему неистребимому педантизму — ну сказал бы: да, артистом, и делу конец, а теперь...

— Это, к примеру, как понять? — продолжала спрашивать женщина без всякого интереса в усталых, запавших глазах.

— Я картины ставлю... кинофильмы.

Он смутился. Пока что он поставил одну-единственную картину, к тому же еще не вышедшую на экран. Правда, как это нередко бывает в кино, обычно варящемся в собственном соку, судьба картины уже состоялась, а с нею решилась — весьма счастливо — и его собственная судьба. Картина, поставленная на одной из окраинных студий, нежданно-негаданно оказалась событием. Посланная на второстепенный международный фестиваль, она получила Гран-при, была расхвалена в газетах, и Климова пригласили работать на крупнейшую столичную киностудию. В малом мире кинокартина явилась событием первостатейным, но что стоила вся эта мышьяная возня в большом мире человечества? Картина, в общем, удалась, в ней была правда, простота и сила, на фестивале она буквально оше-

ломила и зрителей, и членов жюри, но обязана она была этим прежде всего самому материалу действительности, мало кому знакомому, своеобразному, жгуче-горестному. Про себя Климов грустно шутил, перефразируя Флобера, что “жемчужное не получилось”. С большим же багажом едет он к Марусе — с одной картиной, чья реальность может быть подтверждена лишь газетными вырезками, да и тех он не захватил. Конечно, Маруся поверит на слово, что фильм хорош, а он — подающий надежды молодой (это в сорок-то с лишним лет!) кинорежиссер. Но что же делал он остальные годы?.. По окончании войны немецкий язык еще раз “подвел” его, он на пять с гаком лет застрял в Германии. Потом учился в киноинституте, много лет полз по иерархической кинолестнице: от ассистента до режиссера-постановщика. В середине пятидесятых годов картин ставилось мало, когда же производство фильмов резко возросло, он уже прочно завяз в болоте второй режиссуры. Молодые ребята, окончившие ВГИК, получали самостоятельные постановки, а он, опытный производственник, работавший с крупнейшими мастерами, не мог добиться даже короткометражки. Режиссеров-постановщиков на студиях — хоть завались, а хорошие вторые режиссеры ценились на вес золота. Приходилось считать сказочным везением, что его отпустили на маленькую окраинную студию, где ему была обещана самостоятельная постановка. Права поговорка: обещанного три года ждут. Ровно столько пришлось ждать Климову. Но он дождался. А все-таки жемчужное не получилось...

Он зря боялся, что женщина спросит, какие фильмы он ставил, ее интересовало нечто более существенное.

— И много за это платят?

Климов хотел сказать “нет”, но смекнул, что женщине его зарплата может показаться значительной, и ответил уклончиво:

— Кому как.

— Вам, к примеру, сколько же?

— Я получал сто восемьдесят рублей.

— Господи, целая куча денег! Муж у меня бригадиром грузчиков работает и то столько не берет. А ихняя бригада за звание коммунистической борется.

— Нам приплачивают за вредность производства,— пошутил Климов.

— А-а! — Женщина немного успокоилась.— Вроде как на химкомбинате. И молоко дают?

— Нет,— с сожалением сказал Климов,— молоко у нас не в почете.

— А зря,— посочувствовала женщина,— наши только им и спасаются...

Этот нудный, бессмысленный разговор чем-то растревожил Климова. О причине своей тревоги он догадался вечером, когда пошел умыться перед сном. В узенькой поездной уборной, где качало, как в шторм, и дребезжал сам воздух, он увидел себя в мутноватом зеркале, висящем сбоку от умывальника. То ли верхний свет, черно наливающий тени, то ли качество зеркальной глади были тому виной, но до чего же старым и поношенным показалось Климову собственное лицо! Морщинистый лоб, темные подглазья, подбородок потерял былую жесткость, стал круглее, мягче, терпеливей.

Климов погрустнел. Пустившись в эту поездку с бывлой лейтенантской лихостью, он верил, что способен начать новую жизнь. Но бледное, обобранное лицо, глянувшее на него из сортирного зеркала, убивало всякую надежду. И самое печальное в этом лице — не морщины, не подглазья, а какой-то неуловимый налет примиренности, покорности, что ли... Типичное лицо неудачника. Неужели он сдался? Да нет же! Бредовость этой поездки — лучшее доказательство, что в нем еще хватает жизни и безрассудства. А может, он заварил эту кашу ради самообмана, чтобы доказать себе: я еще могу?.. Нет, неправда! Никакой игры с собою тут не было. Маруся стала так неотвязна, что с этим нельзя было дальше жить. Лучше убедиться, что она потеряна безна-

дежно, и освободить душу. А так с ума сойдешь. Но он верил: если Маруся жива, то пойдет за ним, не может не пойти, тому залогом прошлое, не увядшее в нем за двадцать лет. В нем... Но разве Марусина душа была беднее?..

Климов не верил в неразделенную любовь. Он считал, что настоящая любовь всегда добивается взаимности. Неудачи бывают, лишь когда человек заблуждается в силе и глубине своего чувства. Самоубийство на почве неразделенной любви — ложь, причина тут в оскорбленном самолюбии, психической неполноценности, бессилии жить дальше, маскирующемся под душевную драму.

Климов еще раз посмотрел на себя в зеркало. Он был без рубашки, и зеркало ничего не могло поделать с его сильным сухим торсом: все мышцы выделялись так отчетливо, что хоть анатомию изучай. И, будто непричастное к этому отличному мускульному аппарату, устало желтело лицо...

— Что это вы шьете? — спросил он девушку.

— Да так...

Даже удивительно, насколько его приход не произвел на нее впечатления. А ведь он как-никак лейтенант, и два ордена на гимнастерке, да и собой не урод.

— Художник где спит?

Она показала на кровать, стоявшую изголовьем к окну, возле которого она шила. Стало быть, ему предназначается кровать у стены напротив окон, нарядная, с атласным покрывалом и горой подушек.

— А куда девать всю эту красоту? — он кивнул на роскошное ложе.

Маруся отложила шитье, бережно и ловко сняла покрывало, свернула и спрятала в комод. Затем убрала и всю остальную постель. Раздетые подушки в мелких перышках по лоскутному ситцу выглядели некрасиво и как-то обидно.

— Знаете,— сказал Климов,— когда я был маленький, то называл почему-то эти перышки хеками и ужасно их боялся... По правде говоря, я их и сейчас боюсь.

Девушка не потрудилась улыбнуться.

— У вас постельного белья с собой нету? — Это прозвучало не ахти как любезно, но с готовностью помочь, и на том спасибо.

— В окопах оно, знаете ли, без пользы... (“И чего это я выпендриваюсь, будто на складе служил?”)

Она молча достала простыни, наволочки, правда, другие, не такие белые, не крахмальные, и с жесткой профессиональной хваткой постелила постель, где надо подогнула, где подоткнула, где заправила.

— Спасибо,— сказал Климов.— Вы что — в госпитале работали?

— С чего вы взяли?

— Больно стелете ловко.

— Я в домработницах жила, в Ленинграде. Хозяйка была строгая — быстроты требовала.

— А я, знаете, из-под Ленинграда.

— Правда? — Она впервые поглядела на него с вниманием. — Как он там?

Спросила, словно о близком человеке, и Климову стало не по себе, лучше в этой разведывательной беседе оставить Ленинград в покое...

— Живет и борется! — отрубил он.

— Да это всем известно! — В голосе ее мелькнула досада. — Я про город. Как улицы, дома?.. Людей-то мы иногда видим, плохи они, так плохи!.. А город, есть он еще?

— Город есть,— сказал Климов,— и даже не очень пострадал...

Будь он в ином настроении, он мог бы рассказать, как по утрам к ним на передовую заползали ленинградские дымы: тощие, тающие дымки железных печурок и могучие, проходящие верхом, как облака, дымы Кировского завода. Боец Савельев, охтинский парень, приговаривал: “Видали, немец вон где, а наш городок знай себе покуривает”. Климов вдруг умилился этой фразе, которая прежде раздражала его, как всякое слюнтяйство.

— Эх Ленинград! — вздохнула Маруся, вновь принима-  
ясь за шитье.— Кто раз увидит, сроду не забудет.

Святая правда, но ему не хотелось вести бой на этом  
плацдарме, и поскольку ничего толкового не приходило на  
ум, он спросил:

— Здесь можно курить?

— Господи, еще спрашивает! У нас же проходной  
двор! — засмеялась она. Ее смех и признавал законность  
творящегося вокруг, и вместе отвергал как постоянный укла-  
д жизни.

— А где все ваши?

— Мать с сестренками на току, отца убили, братишка в  
армии...

Сколько захожего военного люда обращалось к ней с  
одними и теми же вопросами, и она выбрасывала ответы  
механически, как касса — чеки. Интересно, что принято  
спрашивать еще? На каком фронте воюет брат?

— Брат на здешнем, Волховском,— опередила его воп-  
рос Маруся.— Он двадцать четвертого года.. сестренка одна  
— двадцать шестого, другая тридцать пятого, а я уже ста-  
рая.— Касса явно испортилась и выбрасывала чеки беспре-  
рывно, сама по себе.

— Какая же вы старая? — услышал Климов будто со  
стороны.— Вы — в самый раз!

(Господи, неужели он сказал эту пошлость?)

— Нет, наше дело пожилое. Все в прошлом! — Она  
говорила машинально, по привычке, думая о чем-то совсем  
другом, может быть, серьезном и печальном, но некото-  
рый смысл все же содержался в ее словах, и Климов вскоре  
догадался, что она несколько поспешно, но честно и прямо  
определяет их дальнейшие отношения: не тратьте даром  
сил и времени, молодой человек!..

“Ну, это мы еще посмотрим! — обозлился Климов.—  
Прежде всего, никаких предложений я не делал, и отши-  
вать меня рано. А что, если делал?.. Наверное, делал, сам  
того не замечая. А она куда взрослее меня, сразу это поня-

ла. Что за чушь? Я старше года на три, и у меня уже были женщины...” Но, вспомнив этих “женщин”, он погрустнел: институтские девчонки, такие же глупые и застенчивые, как он сам. Здесь же валом валит военная бражка, привыкшая ловить счастье на лету, и Маруся научилась распознавать этих ловцов с первого взгляда. “Но я-то на самом деле вовсе не такой,— подумал он с внезапной обидой.— У меня на войне никого не было, мне это и в голову не приходило. А что вообще-то у меня было? Вера, с которой мы сразу расстались, потрясенные отвратительностью того, что люди называют любовью; Верина двоюродная сестра, подхватившая меня Вере назло, и Женька, милая, нежная, но мне, как это говорится, не удалось ее раскрыть, и она оставила меня, вышла замуж, но и мужу не удалось ее раскрыть, и мы опять стали встречаться, только без прежней радости, нам было стыдно друг друга и этого дурака, ее мужа, а бедная Женька так и не сумела раскрыться...”

Он чувствовал себя почти оскорбленным нечистой Марусиной пронизательностью. Если б можно было прямо сказать: давай начнем с начала, никакой я не бабник и не лейтенант с пистолетом, я просто мальчишка и ни черта ни в чем не смыслю. Но ты мне нравишься, мне никто никогда так не нравился — ни Вера, ни ее двоюродная сестра, ни даже Женька. Только не надо меня сразу гнать, а то я не успею к тебе. Мне так хочется поцеловать тебя, прежде чем сдохнуть. Ну хотя бы поцеловать, я не решусь на большее...

Маруся отложила шитье, пососала уколотый палец и убрала работу в комод. Солнце покинуло окна, комнату наполнял спокойный тихий свет, и Маруся стала в нем еще лучше. Климов удивился выражению терпеливой человечности на этом почти детском лице. Эта, вечерняя, Маруся знала о жизни гораздо больше, чем золотая швея, она была сложнее, задумчивее — лихой, бравый лейтенант тут совсем не подходил, но это давало надежду Климову, ведь он был дальше от лихого лейтенанта, чем от жалкого, растерянного мальчишки, так недавно плакавшего в глухом углу двора своего детства.

Маруся вышла из комнаты, предварительно забрав у Климова банку из-под консервов, полную окурков. Банку она опорожнила в помойное ведро, ополоснула и вернула Климову, ни разу не взглянув на него. Новый постоялец скользнул мимо ее души...

А вечером Климов пил разведенный сырец со своим соседом по комнате, художником Заборским. Художник пришел в сопровождении кареглазой связистки и, хотя присутствие Климова явилось для него полной неожиданностью, не смутился и не огорчился.

— Нюсенька. Моя пе-пе-же,— представил он связистку.

Девушка засмеялась:

— Ну и хам! Вы видели таких хамов?

— Нарушаешь! — рявкнул художник.— Я разве разрешил тебе обращаться к лейтенанту?

— Товарищ интендант третьего ранга, разрешите обратиться к товарищу лейтенанту?

— Разрешаю,— важно сказал художник.

— Товарищ лейтенант, разрешите доложить, что товарищ интендант третьего ранга — ужасный хам!

— По форме правильно, по существу — поклёп,— изрек художник.— Наряд вне очереди! К исполнению!

— Да где же я достану? — жалобно сказала связистка.

— У Васьки Шведова, в обмен на одеколон.

А когда связистка побежала выполнять боевое задание, художник сказал, как-то разом постарев широким рязанским лицом:

— Не принимай всерьез мою трепотню. Люблю я ее. Да ведь — молодая, надо строго держать.

Он поднялся и вышел в кухню, Климов услышал его голос:

— А Маруся где?

Ему что-то ответили, он огорченно выругался: “А, черт!”

— Не везет вам,— сказал он Климову.— Хотел вас с хозяйской дочкой познакомить. Такие вам и не снились. Это, доложу я вам...

— А мы уже познакомились!

— Вон что... Любаша! — вдруг гаркнул художник во всю силу легких.

И сразу, как лист перед травой, перед ним встала босоногая голенастая девочка, лет шестнадцати, лицом и красками вылитая Маруся, но иной, удлиненной породы.

— Чего вам, Виктор Николаевич?

— Ничего! — рявкнул художник. — Довольно тебе хорошеть. Брысь отсюда!

Девочка рассмеялась, кокетливо поглядела на Климова и скрылась.

— А-а?.. — сказал художник, и красноватое лицо его стало вишневым. — Какая прелесть! Даже лучше Маруси. И сколько в России таких красавиц! Чудное поколение созревало. Жалко девчонок. Пустоцветы растут. Не хватит нашего брата на всех... — Он достал из-под кровати холст, набитый на подрамник из хаоса мазков проступало нежной охряной смуглоты Любашино, а может, Марусино лицо...

— Начал писать, да времени нет, — пожаловался художник. — Все Гитлера портреты творю, чтоб ему повывазило! Ох и надоел мне Адольф! Всем надоел, а мне особенно. Такая прелесть на холст просится, а я знай рисую чуб да усищи проклятые.

— Это Люба или Маруся? — спросил Климов.

— Любаша, конечно! — даже обиделся художник. — Неужто вы тон не чувствуете? У нее же все краски теплее... Кстати, насчет Маруси особо не обошайтесь. Сюда старший лейтенант похаживает. Серьезный мужчина, голова как ядро, такой не отступится.

— А неплохо вы тут отдыхаете, — заметил Климов.

— Не говори! Рай, суший рай!.. Когда мы в Вишере стояли, нас бомбили в хвост и в гриву. Раз прямо в наше присутствие угодило — двоих в лоскутья. А в Лоре, под Вишерой, бомбили редко, зато клопы зажрали — тоска зеленая! Хуже бомбежки. Боже мой, чего я только ни делал: и огнем их жег, и керосином прыскал, и ДДТ

обсыпался с ног до головы — ни черта не помогло. У них этот порошок вонючий за пудру шел. Ставил ножки кровати в банку с керосином, так они, гады, заползали на потолок и оттуда на меня падали. Барабанили по простыне, как град по крыше. Вскочишь ночью — все тело в огне, простыня красная и шевелится. И такая злоба и бессилие, хоть плачь! Коробка два спичек изведешь — минут на десять сна выиграешь... А здесь ничего похожего, быт северный, чистый, люди с уважением к себе и к окружающим живут... А Маруся будет наша! — И он потянулся стопкой к Климову.

Вошла Нюсенька с чугуном вареных картошек.

— Предупреждаю,— сказал художник,— нам с Нюсенькой передислоцироваться некуда, будем жить а-труа... Нюсь, ты как думаешь, будет он иметь успех у Маруси?

— Конечно,— серьезно и убежденно сказала Нюсенька.— Какое может быть сомнение?

— Почему вы так думаете? — удивился Климов.

— Так у вас же волосы темные! — усмехнулась Нюсенька.

Как ни странно, это качество и в самом деле чрезвычайно ценилось в Ручьевке. На следующий день, довольно рано вернувшись из присутствия, как назвал художник редакцию газеты для войск противника, Климов случайно подслушал разговор деревенских девушек, пришедших в гости к Марусе.

— А он — ничего? — допытывались девушки.

— Худой, а так хорошенький,— это сказала Люба.

— Худой? Он нешто с Ленинградского фронта?

— Ага... Сейчас-то из госпиталя.

Почему Люба так осведомлена на мой счет? Неужели жизнь сыграла одну из своих обычных злых шуток и подарила мне сердце младшей сестры? Дар напрасный, дар случайный... Вернее, дар опасный...

— Дистрофик? — продолжали допытываться девушки.

— Не-а! Вполне в себе, не опухлый.

— Как звать-то?

— Алексей Сергеич... Алешенька! — нежно пропела шестнадцатилетняя Люба и засмеялась.

— Не вахлак?

— Темноволосый! — веско, голосом, за которым ощущалась высокая, просторная грудь, сказала Маруся.

— О-о!.. Вон-на!.. — уважительно отозвались девушки.

Климов уже успел заметить, что здешний народ — сплошь и прекрасно светловолос, еще немного, и быть бы ручьевцам альбиносами, но они успели вовремя остановиться на самой последней грани и не обрели при белесости волос ни бледной, мертвячьей кожи, ни кроличьей красноты в глазах, ни бесцветья бровей и ресниц. Верно, ощущая эту альбиносию опасность, они ценили темные краски, что было на руку смуглому брюнету Климову с монгольским разрезом темных, ночных глаз.

— Здравия желаю! — послышался из кухни вежливый мужской голос.

Затем сочно закрипели хорошие, новые сапоги. Девчата отозвались вразнобой: “Здор’во!.. Наше вам!.. Привет!.. Здравствуй, Федя!..” При всем дружелюбии голоса их звучали равнодушно, без подъема. Появившийся человек был тут привычен, признан, но особых восторгов не вызывал. Климов сразу решил, что это и есть старший лейтенант, о котором говорил накануне художник. Он припомнил, что не слышал Марусиного голоса в общем хоре, и это равно могло быть хорошей и дурной приметой: то ли небрежность, то ли не нуждающееся в громком свидетельстве взаимопонимание.

Девушки не разошлись, а продолжали свое вяловатое общение. Насколько Климову было известно, по правилам деревенской вежливости жениха и невесту принято оставлять вдвоем. Впрочем, все сведения о деревенской жизни носили у него книжный характер и касались в основном дореволюционной деревни. С приходом старшего лейтенанта разговор о новом постояльце прекратился, да и о чем было говорить

после исчерпывающего заявления Маруси?.. А тут явился по-жилой боец в ватных штанах и потребовал Климова к начальству. Климов надел ремни, пилотку и отправился в "присутствие". Минуя кухню, он поздоровался с девушками и сидящим за столом, на лавке, спиной к окошку, круглолицым старшим лейтенантом. Тот, хоть и находился в помещении, пилотку не снял и мог по всей форме ответить Климову. Опрятно, даже нарядно выглядел старший лейтенант, ничего не скажешь: свежая летняя гимнастерка, красивая португепя, блестящие хромовые сапоги, а у Климова — гимнастерка зимняя, ношенная-переносенная, ремни истерлись, на ногах — кирза, стоптанные каблуки. Зато щеголевато сидящая на круглой крепкой голове старшего лейтенанта новенькая пилотка открывала редкие белесые волосы короткой стрижки. Он принадлежал к жалкому племени рано лысеющих бесцветных блондинов, и тут уж едва ли поможет ладная фигура, хорошее правильное лицо, нарядная, только что со склада одежда...

Редактор вызвал Климова по важному поводу: нужно было перевести два письма немецких военнопленных.

— А я думал, наступление началось,— заметил Климов.

Редактор задумчиво посмотрел на Климова.

— Мы на войне, товарищ Климов.

— Да нет же,— нахально сказал Климов— Мы в деревне Ручьевке. Война происходит совсем в другом месте.

— Я вижу, вам очень хочется туда?

— Да,— сказал Климов,— это правда, товарищ батальонный комиссар.

— Но вам придется поработать здесь,— не повышая голоса, продолжал редактор.— И лучше нам скорее найти общий язык.

— Не играйте со мной в войну,— сказал Климов. — Я понимаю, надо держать в напряжении вашу команду, чтобы окончательно не разложились, но со мной это лишнее. Не надо меня дергать.

“Чего я, собственно, взъелся на него? Больше года никому не возражал. Мне приказывали — я выполнял. С чего я так разошелся? Мне же не хочется, чтобы меня выгнали отсюда. Вчера еще хотелось, а сейчас не хочется. Я только вхожу во вкус перекура, я давно не курил”.

— Вы не обращались к невропатологу? — спросил редактор.

— Меня осматривал невропатолог перед выходом из госпиталя.

— Ну и что он сказал?

— Рекомендовал не нервничать.

— Я присоединяюсь к нему. Переведите из писем лишь места, характеризующие настроение немецких солдат, и все, связанное с Ленинградом, если там будет о Ленинграде.

— Есть перевести! Разрешите?

Редактор прижал к груди большие костлявые руки.

— Минутку! Очень прошу вас, хотя бы когда мы вдвоем, обходиться без воинского жаргона, у меня от него трещит голова. Я ведь штатский человек, историк.

— Хорошо,— улыбнулся Климов.— Спокойной ночи.

Когда он вернулся, в доме танцевали под патефон. Крутилась знакомая со школьных лет, через всю юность проходившая “Китайская серенада”. Маруся танцевала с высокой, белобрысой даже на местном светлом фоне девушкой, Любаша — с вертявой, на возрасте, почтальоншей, художник — со своей Нюсенькой. Старший лейтенант не танцевал, он как привязанный сидел на том же месте за столом, прямой, щеголеватый и бессмысленный. Маленькая, рано постаревшая Марусина мать наблюдала с печки за танцующими. Возле нее притулилась стриженная под мальчишку младшая Марусина сестра.

Климов не успел шагу ступить, как его перехватила бойкая почтальонша.

— Идем танцевать, мёдочка, нечего компанией брезговать.

— Никто и не брезгует. А почему старший лейтенант не танцует?

— Нога болит, на мину наступил. Ну веди меня, мёдочка, что ты квелый такой.

Климов повел почтальоншу. Она сообщила ему, что ее зовут Лида и что она хорошая девочка. Климов привык считать, что танцует неплохо, но почему-то они все время ошибались.

— Ты елочкой не умеешь? — спросила почтальонша.

— А черт ее знает! Может, и умею, только не знаю, что это такое.

Видимо, Климов все-таки не умел танцевать “елочкой”, потому что с “седой” Асей и с тонкой, легкой Любашей тоже сбивался, а вот Марусю пригласить он так и не отважился. Когда он вторично повел почтальоншу, она вдруг сказала:

— Чего же ты Марусю не пригласишь?

— Жениха стесняюсь.

— Федьку-то? А чего его стесняться? Подумаешь, жених... Таких женихов, знаешь!.. А что он сюда ходит — вольному воля.

— А Марусе он нравится?

— Ну, это ты, мёдочка, сам у нее спроси. Пригласи и спроси, тебе же хочется, — добавила она с неожиданной злостью.

Откуда она знает? Художник, что ли, сболтнул? Или я сам себя чем-то выдал? Я почти не гляжу в Марусину сторону, не обмолвился с ней и словом. Может, как раз этим? Маруся — местная королева, и если человек так старательно ее избегает, значит, дело не чисто. Наверное, и старший лейтенант кое-чего смекнул своей круглой крепкой головой. Значит, и Маруся знает?.. Вот было бы здорово! Я совсем не умею объясняться. Впрочем, в подобных обстоятельствах пронизательность окружающих куда выше, чем самих действующих лиц. Маруся одна может ни о чем не догадываться. Надо все-таки пригласить ее...

Но пока Климов собирался с духом, танцы прекратились и патефон голосом знаменитого тенора Печковского стал прощаться с каким-то чудным краем:

Прощай, чудесный край, невозвратимый,  
Тебя навек я с грустью покидаю...

Пластинка кончилась, и все дружно пристали к Марусе сыграть “Васильки”. Маруся сняла со стены гитару с бантом, села прочно, нога на ногу, и, склонив голову к деке, чуть неуверенно взяла аккорд, потом запела, и хор с воодушевлением подхватил апухтинские “Васильки”. Пели с отсебятиной:

Я ли тебя не любил, я ли тобой не гордился,  
След твоих ног цепова-ал, чуть на тебе не женился...

Они старательно, истово спели до конца очень длинную — еще длиннее апухтинских стихов — песню, и Маруся сразу начала другую, и тут уже ей не подпевали:

Средь полей широких я, как лен, цвела.  
Жизнь моя отрадная, как река, текла.  
В хороводах и кружках — всюду милый мой  
Не сводил с меня очей, любовался мной...

Климов вдруг разволновался, какие-то интонации Марусино го голоса задели его за живое. Черт возьми, оказывается, художественная литература бывает похожа на жизнь! “Casta diva” Обломова, соната Вентейля, вернее, одна ее фраза, мучительно-сладко ранившая Свана! Мне нравилось читать об этом, но я не верил, что музыка может так пронзать человека, не верил, наверное, потому, что сам я недостаточно музыкaлен. Но сейчас со мной творится что-то странное, еще немного, и я разревусь. Этот переход во второй строке...

Все подружки с завистью все на нас глядят,  
“Что за чудо-парочка!” — старики твердят...

Ах, Боже мой, мне счастливо, как никогда не бывало, и мне жалко всех, кого я потерял. Бедный отец... бедный Котик... и мама бедная, умерла совсем молодой... Мне хочется поцеловать Марусю. Поцеловать в голову, в щеку. Она

милая, нежная и умная, если может так петь. А ведь она едва владеет аккомпанементом, да и петь-то не умеет, но она прекрасно поет, она поет сердцем, так, кажется, принято говорить...

Когда Маруся допела песню, он попросил:

— Можно еще раз?

И она сразу, нисколько не удивленная и не ломаясь приличия ради, запела:

Средь полей широких я, как лен, цвела...

Ему хотелось попросить ее спеть и в третий раз, но тут откуда-то возникла стриженная под мальчика, городского обличья пожилая женщина и вырвала у Маруси гитару.

— Дай, ну дай же! — твердила она, хотя Маруся без сопротивления отдала ей гитару.

— Садитесь, Вера Дмитриевна,— ласково сказала Маруся, уступая ей место.

Женщина села, в зубах у нее тлела самодельная замусоленная сигарка. Она подкрутила колки, выплюнула папиросу, ее худые скулы кирпично вспыхнули, и, тряхнув серыми волосами, она запела хрипло, но очень музыкально шансонетку нэповских времен: “Разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам”, — билось в уши и в сердце Климову. Иногда такие вот дурацкие песенки пела его мать, вспоминая свою молодость, но она пела их насмешливо, а эта женщина с серыми волосами и голодными скулами — мрачно и странно. “Без мужа жить — сплошной обман, а с мужем жить не стоит вам. Разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам!” Запавшие глаза ее сухо блестели, бледный рот кривился.

— Ленинградка,— наклонившись к Климову, шепотом сказала Маруся.— Вся семья у нее с голоду погибла.

Через некоторое время Климов спохватился: почему Маруся заговорила с ним, да еще так доверительно? Он ни о чем не спрашивал, даже не глядел в ее сторону.

Когда уже все расходились, ленинградская женщина подошла к Климову и спросила отрывисто, словно бы недовольно:

— Ленинградец?

— Нет, москвич.

— Врете! По лицу вижу, что ленинградец.

— Уверяю вас...— начал Климов и вдруг сообразил что к чему.— Я, правда, с Ленинградского фронта...

— Ну вот, зачем же спорить? Я ленинградский штемпель сразу узнаю. Табачку, земляк, не найдется?

Табак у него был, сейчас он курил мало. Женщина взяла пачку “Кафли”, понюхала тонкими беспокойными ноздрями.

— После войны сочтемся...— Она со странным кокетством поглядела на Климова.— “Разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам”... Уехал, можешь себе представить, земляк, навсегда уехал! По делам... И ведь не заменишь, нет, никем не заменишь!— Серая голова странно задергалась.

— Уходите! — прикрикнула на него Маруся.— Чего уставились?

Она обняла женщину за плечи, что-то зашептала ей на ухо и повела к дверям. Та шла послушно, держа в опущенной руке, худой и старой не по возрасту, пачку “Кафли”.

Климов стянул сапоги и прилег на кровать. В комнате было темно, лишь в неплотно прикрытую дверь проникал свет керосиновой лампы. Художник и Нюсенька куда-то отлучились. Климов был рад их отсутствию, ему хотелось разобраться в своих впечатлениях. Он прикрыл глаза. Кто-то тронул его за плечо.

— Спите или притворяетесь? — услышал он Марусин голос.

— Притворяюсь.— Ему казалось, что он слышит, как набатно-громко бьется в нем сердце.

— Вы не подумайте чего не надо,— заговорила Маруся— Она очень хорошая женщина. Очень умная и интеллигентная.

— А что я мог подумать? — растерялся Климов.

— Да вот с табаком,— неохотно сказала Маруся, словно досадуя на его недогадливость.— Просто это привычка такая. Она для своих собирает. Забывает, что они погибли. А потом, как вспомнит, все назад раздает, только не знает, у кого что брала, и опять мучается. И не надо так на нее смотреть, будто она не в себе. Вы лучше поговорите с ней, увидите, какая она умная и начитанная. И на гитаре играть я от нее научилась. Она и на пианино играет!.. Вам принести лампу?

Климов отказался, и Маруся вышла.

“Ну что ты дрейфишь, идиот? — спросил он себя. Хоть бы за руку взял, хоть бы сказал что-нибудь...”

И тут сразу пришел художник и стал поздравлять Климова с успехом.

— Марусенька выскочила отсюда в чрезвычайно приподнятом настроении. Молодец, пехота!

— Слушай, богомаз,— сказал Климов тем особым голосом, какого у него не было до войны.— С этой минуты ты о Марусе со мной не говоришь. Только если я сам начну. Понял?

Художник удивленно присвистнул.

— Мог бы то же самое по-другому сказать.

— Так вернее,— оборвал разговор Климов...

Этой ночью Климов спал тревожно, просыпался и, наконец совсем проснувшись, поднялся с постели. В непроглядной темноте согласно и трогательно дышали художник и Нюсенька. Климов попытался нашарить ногой сапоги, но не нашел их. Босой, держась за спинку кровати, он добрался до двери и распахнул ее в сонное тепло кухни. Кухня глядела окном в сторону фронта. Там вспыхивали медленными зелеными зарницами осветительные ракеты. И, отзываясь на далекий свет, в кухне посверкивала стеклянная утварь в простенькой горке, цинковое корыто на стене, никелированные шишечки на кровати, на которой спала хозяйка с младшей дочерью, и еще какие-то метал-

лические, неугадываемые во тьме предметы. Ситцевая занавеска над печью хранила еще два дыхания — Марусино и Любашино. Семья спала глубоко, набираясь сил для нового дня: четыре женщины от пяти до пятидесяти, а хозяин, создавший эту семью, построивший этот большой дом, насытивший его вещами, был убит пришедшими из чужой страны неприятелями. Теперь второй, и последний, мужчина этой семьи, восемнадцатилетний Марусин брат, пытается помешать врагу убивать дальше, и его тоже, скорее всего, убьют или искалечат, у рядового пехоты мало шансов уцелеть...

Климов вышел на крыльцо и удивился холоду этой летней ночи. Холод полз над землей со стороны фронта, обтекая голые ноги Климова. Казалось, он зарождается в ядовитой зелени, растекающейся над передним краем. Климов закурил. Что-то мокрое, холодное, шерстяное прижалось к его ногам, заставив вздрогнуть, и завертелось в коленях, касаясь кожи чем-то влажно-горячим. Хозяйский пес, спущенный на ночь с цепи, признал нового постояльца. Климов нагнулся и погладил его по шишковатой, в репьях, голове...

Печаталась немецкая газета и листовки в типографии-поезде, стоявшем в лесу на специально проложенных туда рельсах. Этот поезд принадлежал к мощному хозяйству фронтовой газеты, а седемьотдельцы числились в бедных родственниках. Однажды редактор попросил Климова отнести в типографию текст новой листовки и проследить за набором. Климов заглянул в текст, по обыкновению обещавший добровольно сдавшимся в плен немцам жирный суп, в буквальном переводе это звучало как "толстый суп" (*dicke Suppe*), вздохнул и пошел выполнять приказ.

Сразу за деревней начинался густой цветущий луг, простиравшийся до темного, глухой стеной стоявшего сосняка. Луг крепко пах ромашками, тропинка почти исчезала в рослых цветах и травах. Ромашки яичным желтком пачкали сапоги, темно-бордовые цветы — будто с десятков крошечных гвоздичек унижали тонкий клейкий стебель — ос-

тавляли на руках липкий след. Над лесом большая и, видать, старая ворона преследовала молодого сокола. Тот уходил от нее, изящно планируя, с перепадами высот, но злобная и настырная старуха, неуклюже и сильно взмахивая громадными крыльями, снова настигала его и норовила клонуть в голову. Что он ей дался? Может, на добычу посягнул или охоте ее помешал? Соколог не решался принять бой, он только уклонялся, уходил и, казалось, в своей беспомощности и унижении старался сохранить непринужденность. А ворона вовсе не заботилась о таких тонкостях, ей только бы долбануть сокола железным носом в зрак, в золотой, блестящий кружочек. Ненависть тяжелой кровью прилила к голове Климова: эх, ружье бы сейчас! Высыпал бы черно-серой разбойнице по первое число! Почему злоба так упорна и последовательна? Может быть, потому, что она, злоба, — не вспышка, не приступ слепой ярости, не судорога бешенства, а нечто тягучее, как смола, и, как смола, клейкое — и хочешь, да не отлепишься. Вот и ворона не могла отлепиться от сокола. Он, как с горы, скользнул бочком влево, к высоковольтной линии, и ворона замахала крыльями и, будто спотыкаясь о незримые воздушные ухабы, пустилась за ним следом, и они скрылись за деревьями. Забьет или не забьет она сокола?..

Климов вошел в лес, душистый, пахучий и паркий. Тропку окаймляли хвоши и папоротники, дальше густели сплошные заросли черники. Климов нагнулся и поворошил рукой кустики с крупными спелыми ягодами, будто прихваченными морозной сединой. Он с детских лет не собирал черники. Землянику, малину, костянику собирал, а вот черника ему как-то не попадалась, он даже вкус ее забыл. Климов набрал полную горсть ягод и сунул в рот. Черника прохладно и сладко заполнила рот. У нее был вкус детства. Решив, что на ходе войны не отразится, если он на полчаса позже сдаст в типографию листовку, заманивающую немцев “толстым супом”, Климов стал пастись на чернике, углубляясь все дальше в лес.

Для пехотинца ощущение, что за ним наблюдают, равносильно сигналу опасности. Климов замер с рукой, протянутой к ягодам, и медленно, не поворачивая головы, обвел лес глазами. С чернильно перемазанным ртом из-за березы глядела на него Маруся. И как только они встретились взглядами, Маруся рассмеялась и вышла из укрытия.

— Чего вы смеетесь? — спросил Климов.

— Уж больно чудно вы осматривались, будто зверек какой — зырк-зырк!..

— Лучше на себя посмотрите, — сердито сказал Климов, — как школьница-замарашка — вся в чернилах!

— Думаете, у вас лучше! — огрызнулась Маруся и, плевав на ладонь, стала вытирать губы и подбородок.

Климов тоже принялся тереть лицо платком, предварительно смочив его слюной. Так они стояли друг перед другом, плевались и оттирали лица, пока, вконец не обесилев, оба одновременно не прекратили эту тяжкую работу. У Маруси лицо было чистым, только губы приобрели странную синюшную бледность.

— А вам влетит, — сказала Маруся.

— За что?

— Вам воевать положено, а вы чернику собираете.

— Я разве не оттерся?

— Оттерлись. Только губы синие.

— И у вас.

— Мне что! Я человек вольный.

— Я тоже, — сказал Климов, недоумевая, почему она не уходит и длит их пустую перепалку. Что это, свойство ее натуры — вступать с каждым встречным и поперечным в смешливую игру или тут дело лично в нем, Климове? Наверное, она чувствует, что небезразлична ему, а это всегда льстит женщинам.

— Вы откуда? — спросил он.

Маруся кивнула на лесную глубь, скрывавшую поезд-типографию.

— Путь укрепляли. Оползает.

— А сейчас домой? (“И найдя же ты, парень, прямо Казанова!”)

— Ага! — сказала она радостно.

Ну же, глупец, скажи что-нибудь живое, веселое, дерзкое... Или обрушь на нее свою пылкую страсть. Ведь она нравится тебе, как никто никогда не нравился, у тебя все дрожит внутри, и в башке какой-то гул. Может, и не будет другой возможности, кругом все время люди, да и белобрысый старший лейтенант несет свою вахту. Милая моя, какие у тебя губы мягкие, какие нежные волосы, какая ты вся новенькая, чистая, даже в этом заношенном, выгоревшем сарафане. Ты моя радость!.. Радость ты моя!..

Маруся тоже молчала, с какой-то странной полуулыбкой смотрела на него, будто чего-то ждала, и вдруг нежным, доверчивым движением взяла за руку и тихонько пожала, словно впрямь дождалась нужного ей знака и была благодарна ему за это.

— Ступайте, а то вас заругают.

— Да, да! — закивал он головой.— До вечера. Вы будете дома?

— Куда же я денусь? — засмеялась Маруся.

Они разошлись. Климов выбрался на тропинку и быстро зашагал вперед, вспугивая птичью мелочь: дроздов, щеглов, красноголовых дятелков. Порой папоротники глушили тропинку, лес казался дремучим, необитаемым. Человечье становище предупредило о себе запахом: к хвойным и травяным ароматам примешивалась едкая воньца поездной гари, крапивных щей. Затем появился мусор, старые газеты, бумажные обрывки в жирной типографской краске, папиросные коробки, ржавые консервные банки, разбитые фанерные ящики, и вот в широкой щели жутковато возникло длинное, тихое, темное тело поезда...

Климов вручил текст листовки балагурам-наборщикам, и вольнонаемный начальник типографии, странно выглядевший в своем мосторговском костюмчике и галстуке веревочкой, повел его обедать в столовую под дощатым навесом. Хорошо

шли в лесу крапивные щи и пшенная каша с луком на техническом, как показалось Климову, густом оранжевом масле. Удовольствие от трапезы портили комары, тучей реявшие над столами. Климов натянул пилотку на уши, на фрицев манер, поднял воротник гимнастерки, закурил сигарету — ничего не помогало; комары впивались в скулы, губы, веки, нос, они падали в миску с кашей и погибали в ней — большие, с рубиновым от крови брюшком.

— У нас всегда мясное,— заметил начальник типографии, вылавливая из миски очередной комариный труп.— Еще один не вернулся на свою базу.

Климову казалось поначалу, что смутное, непонятное чувство тревоги, возникшее в нем с приходом в столовую, вызвано комариной атакой: у него была чувствительная кожа, бурно отзывающаяся на любое внешнее раздражение воддырями, пузырями, брусничной краснотой. Но шутка начальника типографии подсказала ему догадку.

— Вы плохо стоите,— сказал он.— Зачем такая широкая просека?

— А что? Нас не тревожат.

— До поры до времени. Разве это маскировка? Кинули по три веточки на вагонную крышу и думаете, вас не видно.

— Не каркай! — добродушно отмахнулся начальник типографии и звучно прищелпнул комара на толстой красной шее.— Еще один не вернулся на свою базу...

Климов как в воду глядел: той же ночью поезд-типография, а также деревня Ручьевка, приютившая ряд воинских частей, подверглись налету.

Еще во сне Климов услышал вой, и разрывы, и свист пуль крупнокалиберного пулемета, и редкий деревянный постук зениток. “Опять бомбят, мать их!” — подумал он, поворачиваясь на другой бок. Ему казалось, что он находится в своем блиндаже на переднем крае за Нарвской заставой. Зеленый свет вспыхивал в его закрытых глазах, он уткнулся лицом в подушку и удивился мягкости изголо-

вья. Повернулся на спину, открыл глаза и увидел черные кресты на слепящей яркости, рожденной взрывом. Вернувшаяся было тьма прорезалась короткими неяркими вспышками, и опять возникли кресты, хотя и не столь четко. Откуда кладбище?.. Он вдруг догадался, что это оконные переплеты, и сразу вспомнил про Ручьевку и обрел истинное место во времени и пространстве.

Как все фронтовики, Климов из всех видов вражеского огня больше всего ненавидел бомбежку. Он встал, натянул брюки и, по обыкновению, не нащупал под кроватью сапог. Он зашлепал босыми ногами к двери и тут вспомнил о своих соседях.

— Эй, молодожены! — крикнул он. — Бомбежку проспите!

Ответа не последовало. Он потрогал кровать художника — пусто. Любящая пара покинула избу. “Не хотели меня будить! — усмехнулся Климов — Впрочем, я тоже вспомнил о них в последний момент. Вся разница в этой малости, но разница все же существенная!” Он засмеялся и вышел на кухню. Дикий, всасывающий, вбирающий в себя все сущее свист, ослепительная вспышка, гром разрыва... Климову почудилась какая-то фигура, скорчившаяся в углу на лавке. Свет нового разрыва оплеснул угол, и Климов узнал Марусю. Она сидела, сжав лицо ладонями, в короткой городской рубашке. Ее голая нога мерно раскачивалась. Климов подошел, коснулся ее плеча.

— Маруся, пойдите отсюда.

Она не отозвалась и все продолжала качать ногой.

— Маруся, что с вами?

Климов сел рядом, попытался разнять ее руки. За окнами была нехорошая, оцепенелая тишина. Маруся изо всех сил прижимала ладони к глазам. Климов боялся причинить ей боль.

— Маруся!..

Она убрала руки и детским, беспомощным движением уткнулась ему в грудь.

— Как в Ленинграде!..— сказала она в отчаянии.

Два несильных разрыва ударили, похоже, через улицу — резко задребезжали стекла. И в лад с ними пронизалось дрожью Марусино тело.

— Пойдемте в огород, там безопасней,— сказал Климов.

Она не отозвалась, лишь сильнее прижалась к нему. Она вжималась в него, как в землю, ища защиты, но он не был землей, он был живой плотью, и близость ее теплого, нежного тела туманила ему мозг. Он обнял ее осторожно, чтобы прикрыть от осколков стекла, если вылетят окна. Она сама делала объятие тесным, когда наливался очередной свист; она впивалась ему в плечи и шею, когда в отдалении разрывались фугаски; она втискивалась, почти проникала в него, когда со звуком рвущейся струны впивались во что-то земное пули крупнокалиберного пулемета и осколки бомб. Она чуть отстранялась в минуты затишья, и Климов поймал себя на том, что ждет нарастания пальбы.. Но наступил момент, когда все исчезло в оглушительном грохоте, в незатихающих огневых сполохах, завладевших домом, но не даривших в\*\*\*дения, и Климов целовал Марусю в голову, шею и руки, которыми она опять закрывала лицо, в плечи, а потом в мокрые от слез глаза, щеки, дрожащие губы, а Марусины руки лежали на его затылке, держали его, как в капкане. Она отвечала ему сильно и неумело, и было немного больно зубам, встречавшим кость ее крепких зубов. (Вспоминая об этом на поездной полке, Климов стонал от жгучей памяти о том сильном, самозабвенном переживании. Многие было в жизни, а такого уже не было..)

Когда бомбежка прекратилась и за окнами вместо большого, безумного света остался лишь тусклый красноватый отблеск какого-то пожарища,— Маруся, будто проснувшись, сказала: “Пусти” — и не резко, а как-то очень осторожно высвободилась из его рук. Она прошла к рукомойнику ополоснуть лицо.

— Маруся?

— Что тебе? Ступай спать.

Она говорила ему “ты”, как бы узаконивая случившееся между ними.

— Ты больше не боишься?

— Чего бояться-то? Теперь все...

— Ты в Ленинграде под бомбежкой была?

— Была.

Разговаривала Маруся, несмотря на доверчивое “ты”, отстраняюще. Она не сердилась на него, быть может, воздвигала преграду на будущее? Он почувствовал себя оскорбленным. Его не в чем было упрекнуть. Окажись на его месте какой-нибудь бравый молодчик с лейтенантскими звездочками!.. Он еще надеялся, что Маруся обмолвится добрым словом, но, умывшись, она забралась на печь и задернула занавеску.

Громко переговариваясь, с улицы вернулось все население избы: Марусина мать, сестры, художник со своей Нюсенькой. Единственной жертвой ожесточенного налета оказалась старая рига за деревней. Ни поезд-типография, ни Ручьевка не пострадали. Так, впрочем, нередко бывает во время ночных налетов: треску много, а толку мало.

На радостях решили устроить небольшую пирушку.

— Если хочешь, Нюсенька пригласит своих боевых подруг,— предложил художник. Он чувствовал вину перед Климовым и не знал, как подлизаться.

— Думаю, лейтенант не нуждается в них,— отозвалась Нюсенька.

— Нет, отчего же? — неожиданно для самого себя сказал Климов.— Зовите ваших подруг.

— А как же Маруся?

— Она, конечно, тоже будет. Одно другому не мешает.

— Смотрите,— предупредила Нюсенька,— у нас девочки такие... Закрутят — оглянуться не успеете.

— Не бойтесь за меня,— самоуверенно сказал Климов.

Он и сам не отдавал себе отчета, зачем ему понадобились связистки. Скорее всего, в пику Марусе за ее холод-

ность, в расчете блеснуть перед ней с невольной помощью городских девчонок, разбудить ревность...

Скромная пирушка неожиданно приобрела широкий размах. Кроме связисток, в ней приняло участие несколько певцов "толстого супа", местные девушки, старший лейтенант Федя и давешняя странная ленинградка.

Маруся надела то самое белое платье с черным бархатным пояском, что и в день их знакомства, да, верно, у нее и не было другого выходного платья. Она сидела справа от Климова, а слева помещалась коренастая рыжеволосая связистка Вика, девушка с необычной внешностью: плечи борца и тонкое, просвечивающее, какое-то тающее лицо. Она была вовсе не в его вкусе, эта Вика, но из-за нее весь вечер полетел кувыркком. Вначале Климов и внимания не обратил на коренастую связистку. Он просто радовался застолию, бутылкам, той легкой бестолковости, когда кому-то чего-то не хватает, все галдят и без конца пересаживаются, словно отыскивая свое единственное место,— это напоминало московские студенческие вечеринки. Когда же суматоха надоела, Маруся приняла на себя хозяйскую ответственность и мгновенно навела порядок. Климова умиляла та расторопность, с какой хозяйничала Маруся, он гордился ее памятью, ладными сильными движениями. Да, у Маруси не было другого платья, но она по-новому заколола волосы, убрав их за уши, надела на шею бусы из ракушек и стала совсем иной, нарядной, праздничной, немного чужой, и Климову не верилось, что он целовал ее. А потом, когда усилиями Маруси за столом воцарился порядок и была выпита первая чарка за победу, в Климове началась какая-то порча. Вино и всегда-то неважно на него действовало. Ему начинало казаться, что он видит потайную, скрытую от других суть явлений. Вот и сейчас почуял, что между Марусей и старшим лейтенантом Феей происходит непрерывный внутренний разговор, слышный лишь им двоим. Ему и прежде казалось невероятным, что все их

отношения сводятся к ежевечернему молчаливому дежурству Феди на лавке у окна. Не было случая, чтобы они обменялись словом. Правда, Федя вообще был из породы молчунов и все же порой перекидывался немудреной шуткой с почтальоншей или с “седой” Асей. Надо полагать, что до появления Климова у Феди бывали разговоры и объяснения и с Марусей, но сейчас между ними как будто порвались провода. Чепуха, они прекрасно обходились беспроводной связью, теперь он это твердо знал, у них шел безмолвный разговор — только не для такого свержувственного слуха, каким его наградили несколько стопок вонючего самогона...

За столом Маруся все время заботилась о Климове: подкладывала ему на тарелку еду, спешила наполнить стопку, пододвигала то соль, то хрен, то горчицу, приносила холодную воду в кружке, но, осененный своей дьявольской проницательностью, Климов понимал, сколь ничтожна эта внешняя, показная заботливость по сравнению с глубинным общением, что связывает Марусю с тихоней Федором. И он решил проучить Марусю. Пусть убедится, что и он может быть кому-то упоительно интересен.

Вика легко откликнулась на призыв. Она была москвичкой, и это дало им возможность предаться сладостным воспоминаниям о московских улицах, театрах, бульварах, катках. Сами названия звучали волнующе и — что особенно важно — непонятно для Маруси. Разве могла она постигнуть красоту таких словосочетаний, как Тверской бульвар, Столешников переулок, Кузнецкий мост, каток на Петровке, Патриаршие пруды, Китайская стена, Красные ворота?! Маруся прислушивалась к их разговору, морщила лоб, пытаясь разгадать то ликование, с каким они произносили непонятные названия, готовно улыбалась, безуспешно подстраиваясь к их радости. Климов торжествовал. Дальше пошло еще лучше. Вика оказалась страстной поклонницей Блока, а Климов помнил многое из Блока. Он стал читать, и после каждого стихотворения Вика делала восторженное

лицо и утверждала, что это ее “любимое”. У Климова зародилось подозрение, что она вовсе не любит да и едва ли знает Блока, но это тоже не имело значения, ведь читал он вовсе не для нее. Блоком он сокрушал старшего лейтенанта Федора, карал за тайную измену Марусю. Он не переставая пил и, поскольку действительно любил Блока, получал все большее удовольствие от своего чтения и эту им самим создаваемую радость, с привкусом грусти, относил к связистке Вике. Порой туман, застилавший его сознание, пронизывала мучительная память о Марусе, но стихи влекли дальше, прочь, в большие восхищенные Викины глаза, и еще до того, как встали из-за стола, он знал, что любит и всегда любил только Вику.

В кухне пели, крутили патефон, танцевали, но Климов и Вика остались верны поэзии и не приняли участия в общем вульгарном веселье. Какие-то бредовые видения посещали его помутненный мозг. Сын машиниста сцены и домашней хозяйки с четырьмя классами гимназии, он воображал себя молодым аристократом, одарившим вниманием простую крестьянскую девушку. Но вот появилось очаровательное существо, принадлежащее его кругу, и сельское наваждение развеялось как дым, его чувства вновь обрели должную ориентировку. Порой ему казалось, что нечто подобное уже случалось с кем-то — возможно, с одним из его друзей-аристократов или же с ним самим, ну и пусть, в жизни все повторяется. Он пытался объяснить Вике ту ответственность за него, которая отныне легла на ее широкие терпеливые плечи, и Вика радостно кивала головой, охотно соглашаясь на роль спасительницы. “Светские люди друг друга понимают с полувзгляда”. И Вика кивала изо всех сил. “Как я жил в этой глуши без вас?” — удивлялся Климов, и Вика тоже не могла этого понять. Неожиданно Климову захотелось проводить Вику домой. Она робко протестовала: “Еще так рано!” Но Климову нужно было пройти с ней через кухню на глазах у всех, и он решительно подавил ее робкий бунт. Однако триумфа не получилось. Маруся настраивала

гитару и не заметила их, а старший лейтенант Федор уже ушел.

Климов долго и как-то исступленно целовался с Викторией возле ее дома, затем шаткой поступью потащился назад, испытывая сильные позывы к рвоте. Возле сельского вечера он наткнулся на почтальоншу и “седую” Асю, возвращающихся домой.

— Хорош! — сказала Ася.— Надо же так надраться!

— Что же ты, мёдочка, ведешь себя кое-как? — спросила почтальонша.

— А что?

— Маруся плачет... Я, говорит, думала, что наш праздник, а он вон какую пулю отлил.

— Плачет?..— тупо повторил Климов.

— А то нет?.. Свинья ты, мёдочка, как есть свинья!

— Разве можно так с Марусей? — сказала Ася.— Она нежная.

— Да что с ним разговаривать? — вдруг разозлилась почтальонша.— Налил морду водкой, и ни бум-бум!..

Подруги скрылись в темноте.

— Плачет?..— вслух произнес Климов, и тут его начало рвать.

С мокрым лицом, с дрожащими коленями, трезвый, слабый и несчастный, Климов поднялся на крыльцо. Он хотел попить воды из кадки и уронил деревянный ковш. Стал нашаривать его на полу и вдруг почувствовал у себя на затылке чью-то руку.

— На, попей,— сказал в темноте Марусин голос.

Он не слышал, как она подошла, подняла ковш, зачерпнула воды. Влажное дерево ткнулось ему в подбородок, он двумя руками, чтобы не пролить, взял ковш и жадно выпил холодную свежую воду.

— Худо тебе?

— Маруся!..

— Да ладно!.. Я все понимаю. Ляжь, поспи, и все пройдет. Помочь тебе раздеться?

— Ну что ты!.. Маруся!..— И вдруг Климов заплакал, как сопливый мальчишка.

— Перестань, успокойся. Ну чего ты? Перестань! Это водка в тебе плачет.

Маруся взяла его голову и прижала к своему плечу. И странное дело, теперь Климов уже не стыдился ни этих слез, ни своего пьяного, глупого поведения, все находило искупление в безмерности доверия, которое он испытывал к Марусе.

— Ты не сердисься?

— Я сначала злилась. А потом поняла, что ты для меня же старался.

— Правда? — удивился Климов. — Как ты догадалась?

— Я ведь тоже поплакала. А после слез всегда все яснее становится. Я и подумала: неужели он такой плохой, несамостоятельный? Быть не может. Ну а тогда зачем он так? Выходит, ради меня. То ли проучить хотел, то ли выставиться.. Если проучить, то не за что.. Вот..

Маруся все же не до конца разгадала жалкий спектакль, разыгранный Климовым, но ему не хотелось признаваться, что спьяну приревновал ее к старшему лейтенанту..

На другой день Климов проснулся легким и свежим, будто и не пил накануне. Умывшись свежей водой во дворе, он долго стоял там в радостном бездумии и вдруг увидел себя как бы из временного отдаления, из далекого будущего. Словно на дне глубокого колодца, он различал очень молодого человека, почти мальчика, и впервые понял, что все происходящее с ним сейчас является жизнью незрелой души. Когда-нибудь он вспомнит о себе нынешнем с насмешливо-снисходительной улыбкой. Это показалось ему обидным. Неужели безмерно важное ныне будет казаться ничтожным в будущем? Нет, Маруся никогда не обесценится в его душе, как бы ни сложилась дальше жизнь. Если же и впрямь самое сильное его переживание окажется преходящим, как прыщи у подростка или юношеская тоска,

значит — в мире вообще нет настоящих ценностей, все зыбко, текуче, бессмысленно. А может, и на этих размышлениях стоит неприметное клеймо: “незрелость”? К черту, из себя не выскочишь, надо просто жить как живется...

Когда он вернулся в избу, то вдруг услышал на печи за ситцевой занавеской ровное и сильное дыхание спящего человека. Он стал на лавку и отдернул занавеску. Там лежала навзничь, закинув руку на лицо, Маруся. Он окликнул ее, она не отозвалась. Подтянувшись на руках, он забрался на печь и лег рядом с ней. Она спала. Здесь было жарко, оттого и дышалось ей тяжело. На лбу у нее выступила испарина. Он обнял девушку и прижал к себе. Она все спала, и дыхание щекотало ему щеку. Она чуть застонала и откинула голову, но не проснулась. Он прижался к ней сильнее. Исчезла печь, занавеска, паркая духота. Было небо, воздушный корабль, тугие паруса...

Когда он вернулся из дальних странствий, то увидел открытые, ясные глаза Маруси.

— Не надо так,— сказала она.— Никогда не надо. Что ты, будто вор?.. Обнимаешь, швыряешь, а я сплю...— Она улыбнулась. — Ой, как я спала!.. Уже слышала тебя сквозь сон, уже знала, что это ты, а очнуться не могла. Сроду я так далеко не спала. Ну,пусти меня, на работу пора...

С тех пор им почти не выпадало быть вдвоем. Марусин труд — фронт на ремонте железнодорожных путей — превратился в постоянную работу. Она уходила чуть свет, а возвращалась с темнотой, смертельно усталая, и без сил валялась на печь. Климов тосковал и с неожиданной симпатией поглядывал на расчищенного до блеска старшего лейтенанта Федю, с прежней неуклонностью являвшегося каждый вечер, чтобы занять свой пост на лавке у окна. На Федоре лежал какой-то отсвет Маруси, и, конечно же, он тоже скучал по ней, и это делало их товарищами по несчастью. Правда, Федор отнюдь не испытывал встречной тяги к нему и не поддерживал попыток Климова установить более тесные отношения.

Однажды Климова послали с поручением в Неболчи. Надо было скинуть немецким солдатам в районе Мги листовку, грозящую им скорым и полным уничтожением, если они не предпочтут этому добровольную сдачу в плен. Графаретный конец не мешал листовке существенно отличаться от всех других. Несмотря на летнюю неудачу, ни у кого не было сомнений, что блокаду будут прорывать только в направлении Мга — Синявино, нигде больше. Знали об этом и немцы, судя по штабным документам, захваченным нашей разведкой; знали — и все-таки не спешили с подкреплением: видать, плохо у них обстояло с резервами. Листовку хотели напечатать большим тиражом и регулярно сбрасывать немцам в районе Мги, что на языке седьмоотдельцев называлось капать на мозги. Для вящей убедительности первую партию должны были сбросить сразу же после боя за господствующую высоту — предполагалось, что высоту мы займем. Пусть-де знают немцы, что с ними не шутят. Плоха ли, хороша ли задумка — трудно сказать. Но было известно на примере Спасской полости, Киришей, Вяжищ, что после поражения немцы охотно прячут за обшлаг рукава “Пассиршайн фюр ди Gefangengebete”<sup>1</sup>, выданный из нашей листовки. Словом, решено было перед наступлением наших войск провести планомерное наступление на психику врага.

Текст этой листовки, как и всегда, подлежал утверждению в седьмом отделе, в Неболчах. А единственный редакционный грузовик стоял без шин на четырех кирпичных подпорках. Редактор вызвал Климова и в своей обычной, глубоко штатской манере попросил сходить к начальству.

— Конечно, можно послать бойца, но вдруг потребуются какие-то изменения. Телефонной связи нет, а вы можете сделать их самостоятельно на месте. Получите подпись Гущина и скорее возвращайтесь, листовка должна быть на аэродроме не позже полуночи.

Как по-домашнему это прозвучало: не позже полуночи, не к “двенадцати ноль-ноль”, как сказал бы любой фронто-

вик, даже из подвалов АХО. “Полуночь” — чудесное гоголевское слово, от него веет колдуньим уютom, любовным шепотом, ведьминскими игрищами...

Был десятый час утра, когда Климов затопал по шпалам в Неболчи. Хорошее, крепкое, свежее утро, с той прочной синью, что продержится до исхода дня, с небольшим ветерком, дующим по верху орешника, высаженного вдоль полотна. Густо- и жарко-сини были рельсы, сходящиеся у обреза горизонта и доказывающие, что параллельные линии на самом деле пересекаются. Фронт молчал, опрятная тишина лежала на полотне, орешнике, болотных полях за ними, на проводах, унизанных сизоворонками, и казалось, воюющие люди, что-то поняв, разбрелись по домам. Климов шел, ни о чем не думая: ни о своем поручении, ни о будущем, ни о прошлом. И только Марусин образ — в наклоне головы, в повороте, в тишине спящих век, в озабоченности сведенных бровей, в беззащитной простоте уличной фотографии — неотвязно наплывал ему на душу. Ему нравилось, что она сама приходит к нему, без малейшего усилия с его стороны. Он мог следить за какой-нибудь сойкой, подсчитывать краски в ее оперении, а Маруся приближалась смуглым локтем закинутой за голову руки; мог считать шаги между телеграфными столбами или заниматься иным, столь же обычным для путника делом, а она подымалась из-за края насыпи, отмечала собой скрещение рельсов на горизонте,— а потом возникала прямо в ошеломляющей достоверности: старое, какое-то бурое короткое платьице, брезентовые рукавицы, марлевая, испачканная глиной косынка на голове, лом в руках,— ближайшая из десятка работавших на путях женщин.

Почему-то он думал, что Маруся работает по другую руку от разъезда. Он никогда еще не испытывал к ней такого чувства родности. Наверное, потому, что встреча произошла внезапно — ее не готовили ни уговор, ни тоска, ни желание,— Маруся во плоти, как и Маруся-призрак, родилась из воздуха, без всякого усилия, и сразу вошла в

него. Это было новое, странное чувство. Маруся всегда была вне его, почти враждебно вне, он хотел завладеть ею, подчинить себе, а сейчас она стала частью его, но как случилось это внезапное проникновение, он не знал, да и не нужно было знать. И свою родность ей Климов видел также и на ее доверчивом и радостном лице.

Его окружили ремонтницы, в большинстве ручьевские, знакомые Климову.

— Ты куда чапаешь, мёдочка? — спросила почтальонша.

— Угости папирочкой,— попросила “седая” Ася.

У него была с собой непечатая пачка “Беломора”. Женщины закурили, даже Маруся закурила, но сразу закашлялась и отдала ему папиросу. А потом женщины, как по команде, вернулись к работе, и почему-то все оказались лицом к Неболчам.

Но чтобы тихо посидеть рядом на теплом рельсе, им с Марусей не нужно было искусственное уединение.

И минула эта краткая вечность.

— Я скоро буду назад.— поднимаясь, сказал Климов.

Отойдя порядочно, он крикнул громко, с каким-то яростным вызовом:

— Ну и пусть убьют, мать их!.. Все равно я жил на этом свете. Жил!..

Назад он вернулся даже раньше, чем ожидал. Замещавший начальника седьмого отдела Гущина интendant второго ранга Хохлаков наотрез отказался подписать листовку, потому что на ней не было подписи редактора. “Но мы всегда так делаем,— пытался убедить его Климов.— Мы посылаем вам текст лишь с авторской подписью”. — “Я ничего не знаю!” — отмахивался Хохлаков, огромный, толстый, похожий на кашалота, с ускользящим взглядом бесцветных глаз. Климов хотел разыскать Гущина, но оказалось, тот выехал под Будогощь для инструктажа. Ничего не оставалось, как топать назад. Один из инструкторов предложил дожждаться попутной машины, но Климов боялся рисковать. Пешком он наверняка успеет обернуться, а машину можно прождать полдня.

“Хохлаков, пожалей лейтенанта, подпиши”, — попросил инструктор, но тот и бровью не повел.

Климов рванул назад хорошим спортивным шагом и меньше чем через три часа, с чувством нереальности происходящего, опустил на теплый рельс рядом с Марусей.

— Устала? — спросил он.

— Еще рано уставать, до вечера далеко.

— А я опять здесь пройду, — сказал Климов о себе, как о поезде, и Маруся уловила это сходство.

— Курсируешь, как рабочий состав. — И сердито добавила: — Загоняли совсем!..

— Маруся, выходи за меня замуж, — попросил Климов.

— Нашел где об этом говорить!..

— Может, в другом месте я и не решился бы.

— Чему ты усмехаешься?

— Не знаю. Странно мне, что я вроде жених. В детстве почему-то считалось, что жених обязательно дурак, а жениться стыдно.

— Нет, это хорошо! Невеста должна быть в красивом белом платье, а жених весь в черном!

— Ну да, как в песне: “Невеста была в белом платье, жених был весь в черных штанах”... Маруся, я тебя серьезно прошу.

— А твои родные?

— У меня никого нет.

— Я бы пошла за тебя. Правда! Да ведь война, Леша! — произнесла она жалобно.

— И черт с ней!..

— Ох, не говори так! Нельзя. Плохо будет. Страшно... Нельзя сейчас об этом думать.

Слова о женитьбе вырвались у Климова случайно, да и какой смысл имела женитьба, когда в любой день может кончиться его короткий перекур и так же может распорядиться Марусей трудовой фронт? Но сейчас ему представилось, что от Марусиного согласия зависят и его жизнь, и смерть, и все на свете. Он сказал:

— Часа через два я тут опять буду. Ты мне тогда дашь ответ. — И пошел дальше не оборачиваясь...

Редактора на месте не оказалось. Гуцин срочно вызвал его в Будогощь, и он ушел на аэродром, откуда стартовали грозные ночные бомбардировщики У-2. Листовку подписал ответственный секретарь газеты Смоленян, недавно эвакуированный из Ленинграда лингвист. “Ужасно неудобно вас гонять, но никого нет под рукой, а самому мне не дойти.” И он с грустью посмотрел на свои распухшие ноги...

— Леша, я все думала, думала и знаешь чего надумала? — В подступивших сумерках Марусино лицо казалось осунувшимся, в черноту бледным.— Давай так — я к тебе вышла и иду, а как приду, так и стану твоей женой.

— Когда же ты придешь?

— Да как война кончится, или...

— Ну, уж договаривай.

— Если, упаси Бог, ранят тебя сильно, я сразу приду. Только скажи... Ладно?.. И давай больше об этом не говорить, а то плакать хочется...

...Уже в темноте, подходя к бараку, где расположился седьмой отдел, Климов все думал о странном Марусином согласии-отказе. Почему бы им не связать свои судьбы сейчас, даже если его скоро отошлют и он не вернется назад? Хоть день, да их... Но, может, Маруся боится связать себя с ним именно не на смерть, а на жизнь? Может, она не верит ему до конца, боится, что он скоро ее забудет... Он так и не успел додумать все до конца, когда перед ним вновь выросла гора мяса, запихнутая в военную форму.

— Это чья закорючка? — спросил Хохлаков, подозрительно разглядывая подпись Смолина.

— Политрука Смолина.

— Почему не редактора?

— Его срочно вызвал в Будогощь батальонный комиссар Гуцин. Смолин — ответственный секретарь редакции, исполняющий обязанности, вернее.

— И. о! И. о! — заржал Хохлаков.— Громадная разница! Я не подпишу.

Климов зло засмеялся: он отмахал марафонскую дистанцию только для того, чтобы услышать этот панический вопль самосохранения.

— Да чего вы дрейфите! Сколько таких листовок уже вы пустили...

— Не забываетесь, товарищ лейтенант! — тонким голосом заверещала туша.— Перед вами старший по званию.

Это верно, у него две шпалы, он интендант второго ранга. А где ваше хозяйство, товарищ интендант, где склады, хранящие штабеля дубленых, сладко воняющих полушубков, жилетов на овчине, горы кирзовых сапог, ушанок из поддельного меха, консервы, концентраты, несъедобный комбижир, пачки отсыревшего табака? Спросить его о делах складских? Ох и взовьется этот кашалот!.. Не стоит, еще под арест угодишь, а листовка так и не выйдет.

Спокойно и обстоятельно, может быть, чересчур обстоятельно, почти с издевкой, Климов объяснил Хохлакову положение с листовкой.

— Я бы доставил сюда Смолина, да ведь листовка тогда опоздает.

— Куда еще опоздает? — грубо спросил Хохлаков.— Успеете сбросить...

— Да ведь надо же сразу после боя!

— Какая разница? — пожал жирными плечами Хохлаков.— После или до боя, лишь бы не вместо! — Это была шутка, интендант второго ранга хотел кончить дело миром. Он не решался подписать листовку, ему был ненавистен даже малейший риск, но и ссориться с этим мальчишкой-лейтенантом тоже не улыбалось Хохлакову, как-никак тот был с передовой, а оттуда все возвращаются малость с "приветом". Еще чего выкинет!.. Хохлаков чувствовал глубокую ответственность перед своим огромным, тяжелым и слабым телом, в котором заключалась величайшая драгоценность, венец творения, начало и конец мироздания —

его родимая и жалостная суть. Нельзя позволить, чтобы в эту нежную, незащищенную мякоть стреляли. А на войне чуть что — начинают стрелять, свои почти столь же легко, как и чужие. Если б не эта омерзительная привычка, существование на войне было бы вполне сносно. Но за ошибку могут послать туда, где стреляют, могут и на месте шлепнуть. Поэтому не надо ошибаться, а значит, не надо брать на себя никакой ответственности. Но на войне опасен каждый, ибо у каждого на боку висит оружие. И этот молодой псих вполне может схватиться за шпалер. Зря он полез в замы, думал, там спокойнее. Остаться бы ему рядовым инструктором.

Климов с новым интересом рассматривал сидящего перед ним человека. Оказывается, заместитель начальника службы контрпропаганды ни в грош не ставил свой род войск. “До боя, после боя — какая разница?” Ему, Климову, простительнее было бы так думать, слишком глубоко въелось в него убеждение: “Хороший фриц — это мертвый фриц”. Но сидящий перед ним человек не имел права так думать. Его для того и держат здесь, вдали от пуль и снарядов, чтобы он “делал” не мертвых, а живых фрицев. Пусть и ничтожен шанс, что грохот проснувшихся после долгой спячки орудий в сочетании с “идеологическим” нажимом заставит каких-то фрицев задуматься о возможности выйти живым из бойни, — надо верить в такой шанс. Если хоть один фриц добровольно или полудобровольно сделает “хенде хох” — это уже выигрыш. А этот вонючий кашалот, эта сволочь бормочет: “какая разница”.

— Разрешите обратиться к начальнику Политуправления?

— Да вы с ума сошли! — замахал руками Хохлаков. — Тревожить Шаронова из-за такой ерунды?

— Ерунды?.. Тогда подпишите эту ерунду.

— Кругом! — неуверенно сказал Хохлаков.

После Климов с удивлением думал: что его так заклонило? Сколько раз на войне он без звука подчинялся распоря-

жениям, столь же безответственным, но чреватым худшими последствиями. Там игра шла напрямую на человеческие жизни. Но он говорил: "Есть!" — и делал как приказано. И прошло какое-то время, прежде чем он понял, что в этот вечер он впервые почувствовал свою ответственность.

— Я иду к дивизионному комиссару и скажу, что вы срываете оперативное задание.

— Он в это время отдыхает,— беспомощно сказал Хохлаков.

— Разбужу!

Хохлаков опустил голову: то, чего он смертельно боялся, подступило вплотную в образе этого настырного поганца. Шаронов тоже чокнутый, он может загнать на передовую. За что?.. За что?.. Он не сделал ничего плохого!.. Эту паршивую, никому не нужную листовку не подмахнул? Но ведь никто не предупредил его о ней. И все же поставить подпись на клочке серой волокнистой бумаги с несложным немецким текстом было для него так же невозможно, как подписать собственный приговор. Он с юности усвоил от родителей золотое правило: никогда ничего не подписывать.

— Идите...— сказал он упавшим голосом.

Но Климову не пришлось будить начальника Политуправления. Нежданная помощь пришла в лице давешнего сострадательного инструктора. Растерзанный, неопрятный, осыпанный пеплом человек с безумным и добрым лицом случайно слышал конец их разговора и накинулся на Хохлакова:

— Ты с ума сошел? Большой дивизионный за такое голову снимет. Дайте сюда листовку, я сам подпишу. А тебя, Хохлаков, здесь не было, понятно? Ты в сортире сидел.

Он размашисто подмахнул листовку.

Было очень темно, тучи заволокли небо, но рельсы светились в темноте, ловя какое-то невидимое глазу небесное сияние, и Климов, хоть и спотыкался, все же довольно быстро одолевал финишную прямую. Просветлели новенькие шпалы, уложенные Марусей и ее товарками. Значит, это

на самом деле существует: он, и Маруся, и эти девушки, и шпалы, и война, где могут убить?.. Климов не заметил тогда, что изменил привычной формуле, вместо положенного “меня убьют” сказал: “могут убить”, — он уже оставлял себе какой-то шанс...

Тонкий, но резкий, пронзительный звук за его спиной, напоминавший свист снаряда, заморозил лопатки. Миг он пребывал в неподвижности, затем прыгнул под откос. Со стороны Неболчей, со стороны фронта, надвигался загадочный синий свет, подобный таинственному свечению целебной лампы, направленной в сгусток тьмы. Климов засмеялся — это был поезд. Тишина и пустынность протянувшихся через весь его день рельсов заставили забыть, что перед ним — действующая железная дорога. Поезд проплыл — громадный, медленный, темный, словно мертвый внутри. Это был пассажирский поезд, и самое невероятное — он шел в Москву...

В поезде-типографии Климова ждали: и.о. ответственного секретаря Смолин, наборщик и печатники. В пульмане, где помещалась ротационная машина, горел свет. Никто не сомневался, что он выполнит поручение.

— Вы, наверное, здорово устали? — сказал Смолин, растирая свои опухшие ноги. — Сколько раз взад-вперед мотались. Оставайтесь ночевать, мы соорудим вам ложе за кассами.

— Спасибо, — засмеялся Климов — Я все-таки пойду домой. У кого найдется фонарик?

Он едва дотащился до дому. Последние два-три километра дались труднее тех многих, пройденных за день.

— Кто там? — раздался голос Марусиной матери, когда он с великими предосторожностями и почти бесшумно проник из сеней в кухню.

— Да я... — прошептал он. — Спите, спите...

— Ты, Леша?.. — Голос ее сник.

Она часто не спала по ночам и упорно ждала сына, ей почему-то казалось, что он придет обязательно ночью, когда все спят, и никто его не встретит...

“Перекур” кончился раньше, нежели ожидал Климов. Его послали в командировку в 59-ю армию, которая после форсирования Волхова топталась на правом берегу реки, то занимая, то уступая какие-то условные высоты и мелкие населенные пункты. Среди прочих дел ему надлежало организовать работу радиопередвижки, только что полученной фронтом из Москвы. Текст передачи, занимавший пятнадцать машинописных страниц, ему вручил исполненный авторского волнения интендант второго ранга Хохлаков, и Климов, дисциплинированный воин, выдал немцам передачу от первого до последнего слова. Это заняло полчаса, после чего побитая осколками машина надолго вышла из строя. Оказалось, что в здешних условиях — безлесная равнина — передвижка могла работать безнаказанно от силы десять минут, но Климову это было невдомек. Поскольку Климов не был введен в командование машиной, он не являлся материально ответственным лицом и авторское тщеславие Хохлакова ударило по карману поарма. Климова тут же отстранили от обязанностей радиодиктора, ему остались совсем скучные дела: разбор немецкой почты, наставление инструкторов политотдела да обучение бойцов, желающих подразнить фрицев, несложной брани в адрес Гитлера. Армейские политработники добродушно посмеивались над Климовым за то, что его прислали на спящий участок фронта, когда в самом непродолжительном времени, возле Ладоги, произойдет решительное сражение. Это была всеобщая уверенность, и Климов знал, что в таких случаях ошибка исключается. Писарь и ездовой узнают о готовящемся наступлении почти одновременно с командованием фронта. И, занимаясь здешними непервостатейными делами, он думал, что пора возвращаться на *свою* войну. Если и впрямь идет подготовка к прорыву блокады, строевого командира не станут удерживать во втором эшелоне. Он любил Марусю и теперь не хотел смерти, его в холодный пот бросало, когда он думал о смерти.

Он представить себе не мог, что еще недавно без страха шел в бой. И при всем том он не променял бы нынешний страх смерти на былое бесстрашие...

...А в Марусин дом нагрянула беда, получили похоронку на ее брата Борьку. Он погиб близ озера Ильмень. Похоронная пришла с неделю назад, когда Климов находился в командировке. В доме уже привыкли к мысли, что Борьки нет, и все же Марусина мать будто специально поджидала Климова, чтобы насвежо пережить свою потерю. Почему-то ее особенно угнетало, что во время атаки Борькины товарищи видели, как он снял с головы пилотку, и в ней остались все его отросшие на передовой волосы. Страх и муки сына, испытанные им перед гибелью, терзали ее сильнее, чем сама его смерть, которой она, быть может, еще не постигла до конца. Климов целовал ее седую голову, и внутри у него стучало: "Пора... пора... пора".

В тот же день у него произошел разговор с редактором. Неожиданно для Климова тот не стал его удерживать.

И Маруся оставляла дом. Их ремонтную бригаду перевели на казарменное положение, теперь они будут тоже чем-то вроде воинской части, им даже обмундирование обещали выдать. В Марусе появилось что-то новое, какая-то отчуждающая серьезность, и Климову подумалось, что она заранее освобождается от него, не желая лишнего горя. Их последний вечер был похож на все другие вечера — в избу набилось много народу, Маруся пела "Средь полей широких", а ленинградская женщина — своего обычного "Турка", "седая" Ася и почтальонша плясали, и с каменным лицом восседал на лавке старший лейтенант Федя, надранный, как палуба военного корабля на параде. И хотя Климов никому не говорил, что уезжает, откуда-то это стало известно.

— Что же ты, мёдочка, покидаешь нас? — вздыхала почтальонша. А ленинградская женщина сказала:

— После войны мы должны встретиться у меня в Ленинграде. Кирпичная, семнадцать, квартира тридцать че-

тыре. У нас прекрасный инструмент. Мы будем петь, танцевать и пить вино. Очень сухое шампанское. Я приглашаю всех присутствующих. У вас не найдется табачку, лейтенант?

Гости ушли, по обыкновению, сразу и все вместе. Климова не переставала удивлять эта местная особенность: никто заранее не сговаривался, но будто иссякал завод, и люди торопились разойтись. И, как всегда в эти последние минуты, у старшего лейтенанта Феди был такой вид, словно он вот-вот заговорит, объявит о каком-то важном решении, откроет некую тайну,— он улыбался, вздыхал, но рождения слова так и не происходило, и, козырнув, щелкнув ярко начищенными сапогами, он выходил, прихрамывая. А у ленинградской женщины делалось потерянное и жалкое лицо: она боялась темноты, одиночества долгой ночи в чужом доме, и почтальонша обнимала ее за плечи: “Пойдем, мёдочка, людям спать пора”, и вводила ее, трепещущую, чуть не плачущую. Но, как ни быстро расходились гости, художник со своей Нюсенькой успевали исчезнуть еще раньше. Они удивительно быстро, легко и дружно засыпали. Климов еще ни разу не застал их бодрствующими. Спали они и сейчас, когда Климов вместе с Марусей вошел в комнату.

Это произошло как-то само собой, когда Марусина мать пригасила керосиновую лампу, прилегла к младшей дочери, а Любаша забралась на печь. Маруся сама пошла к нему, будто так было условлено. Она пошла прощаться с ним, и Климов понял, что кажущаяся отчужденность ее — печаль, а не холодность. Они сели на его кровать, а потом легли рядом, и это тоже произошло как-то само собой, и Климов опять стал просить Марусю стать его женой, а Маруся сказала: “Ну, считай меня женой, что тебе — загс нужен”? И они стали целоваться, как еще никогда не целовались, и Климов забыл о войне. Он чувствовал, что между ними нет преград, но боялся обидеть Марусю нетерпением или грубостью.

Вспоминая об этом последнем их вечере, он не мог понять, как случилось, что он заговорил о своих жалких связях. Хотелось ли ему очистить близость с Марусей от памяти о других девушках, или то был предлог — полубессознательный — показать ей, какой он зрелый мужчина, — осталось для него тайной. И Маруся ответила ему такой же откровенностью. Старший лейтенант не первый тут женится, и до него появлялись претенденты на ее руку и сердце, но она всем дала от ворот поворот.

— Я даже не целовалась ни с кем! — с гордостью сказала Маруся, и его покорило, что она ставит это себе в заслугу.

— А у тебя вообще была в жизни любовь? — спросил он.

— Вот те раз! — Голос ее прозвучал обидой, и она чуть отстранилась от Климова. — А у нас с тобой что же?

— Нет, до меня.

— Такой — нет. Был у меня один человек в Ленинграде, но, конечно, тут никакого сравнения!

— Кто же?

— Да мой хозяин, у кого в домработницах жила, — с жутковатой искренностью призналась Маруся. — Мне из-за него и пришлось уйти, хозяйка заревновала.

— Сколько же тебе лет было?

— Почти восемнадцать.

— Девочка!.. Вот сволочь!

— Нет, он хороший был человек, добрый и невезучий.

А я рано вызрела.

— Слишком рано... — пробормотал Климов. Пустота и холод были в нем. До чего пошлая история: домработница путается с пожилым хозяином! Уж лучше бы с Федькой... — И у тебя не осталось зла к нему?

— Да нет... Тебе неприятно? — спросила она обеспокоенно и нежно. — Знаешь, когда мы будем по-настоящему жениться, я к тебе чистой приду. Есть одна женщина в Неболчах, она девушек лечит.

...Как я был счастлив еще несколько минут назад! Черт меня дернул соваться в ее прошлое! Да нет, куда от него

денешься? Она молодец, честно все рассказала. Не каждая решилась бы. Она до конца искренна со мной, наверное, правда любит. А ведь такой лопух, как я, сожрал бы любую ложь. Она могла ничего не говорить, я все принял бы как должное. Но я не испытываю ни малейшей благодарности к ней за эту откровенность...

Так и кончилась ничем их последняя нежная ночь. Он еще целовал Марусю, но делал это без души и радости, между ними затесался хороший и невезучий ленинградский человек. И сколько ни твердил себе Климов, что это не имеет никакого значения в их теперешнем положении и Маруся ни в чем не виновата, он должен уважать ее за доверие и честность, — что-то в нем намертво захлопнулось. Он говорил себе, что когда-нибудь горько пожалеет о своей холодности, о глупой ревности к призраку, — ничего не помогало. Она вдруг приподнялась, поглядела на него сверху вниз, тихо, медленно поцеловала в губы: “Ну, ладно!” — рывком поднялась и вышла из комнаты.

Она ушла, оставив на подушке свое тепло и запах. Он прислушался к себе и понял, что не должен ее звать.

Что же было потом? Сейчас, на тряской полке вагона, вспоминая свою жизнь, он готов был сказать: “Ничего не было”. Маруся ушла в то же утро, он прожил в деревне еще несколько дней, ожидая назначения, и каждый вечер, как ни в чем не бывало, являлся чистенький, с иголки, старший лейтенант Федор и садился у окна, забегали “седая” Ася и почтальонша, приходила ленинградка и, страдальчески кривя губы, пела про странного турка, а уходя, спрашивала: “Табачку не найдется, земляк?” — но в отсутствие Маруси все словно умерло, сохранилась лишь внешняя видимость лиц и поступков.

Пока Климов оставался дома, он лишь скучал о Марусе и жалел — как жалел! — о своем дурацком поведении в последнюю ночь; настоящая тоска пришла позже, когда морозным, солнечным осенним синим утром он

покидал Ручьевку. Дома не было ни души, он сложил на столе только что полученный командировочный доппакет, две пачки табаку для ленинградки и оставил прощальную записку. В дверях он обернулся и посмотрел на пустой стул и край стола, за которым в день его прихода работала золотая швея, и шагнул за порог, как в омут, в отчаянную тоску.

Чтобы не разреветься, он до самого разъезда орал во все горло тот самый неаполитанский романс, который исполнял тенор Печковский:

Прощай, чудесный край, невозвратимый,  
Тебя навек я с грустью покидаю...

...Так что же все-таки было потом? Была война, бои, прорыв блокады, госпиталь, и новая война, и много страшного. Но он был хорошим лейтенантом, не идущим ни в какое сравнение с тем, кто прежде по глупости не боялся ни пуль, ни снарядов. Вот только перекура больше не случилось... И он кончил войну в Берлине капитаном, а потом его оставили на долгую, хлопотную и нудную службу в Германии. А потом институт, работа, случайные связи — одна из них, с замужней женщиной, длилась шесть лет, все равно оставаясь случайной; попытки добиться самостоятельной работы, обиды и разочарования, отъезд в Среднюю Азию... В общем, ничего не было, какая-то не своя, случайная жизнь. Да, вот так оно нередко бывает — сперва все откладываешь свою жизнь, а потом и вовсе перестанешь жить. Он откладывал жизнь, откладывал Марусю, находя схожих с ней жестом руки, взмахом ресниц, поворотом головы. И за все эти годы он так и не написал Марусе. Вернее сказать, он написал ей много писем мысленно, но такие письма не доходят. А потом он не то чтобы забыл Марусю, он перестал о ней думать. Она принадлежала безвозвратно ушедшему времени, а надо было существовать в настоящем, которое упорно не складывалось, хотя было и творчество или его суррогат, давший суррогат удачи. Нако-

неу наступило то, что привело его на эту вагонную полку, и на этот раз уже не было суррогатом...

...Он спрыгнул на низенькую асфальтовую платформу. Впереди исходил паром старый трудяга-паровоз. Не нынешний куцый, аморфный, бесшумный и какой-то беспольный электрический возница, а мужественный, хоть и малость запыхавшийся, припотевший от усталости, совсем как из дней его детства, трубастый, рычагастый локомотив. Прекрасный старинный звук паровозного гудка ушел в осенний простор; состав дернулся, лягнул сцепкой и отправился дальше в путь, к Ленинграду, через Неболчи — Будогощь. Открылась другая сторона разъезда: припорошенный гарью орешник, почти облетевшие березы и устье проселочной дороги, убегавшей к Ручьевке. Самой деревни не было видно даже крышами, так разрослись деревья между нею и разъездом. Как и прежде, устье дороги было отмечено плоской лужей с радужно-глянцевитыми берегами — сюда стекало с путей паровозное масло. А вот просеку, где некогда хоронился поезд-типография, Климов не мог обнаружить, как ни вглядывался. Прежде она угадывалась с разъезда. Видно, лес заштопал и эту прореху. В остальном разъезд не изменился: те же кусты, березы, будка стрелочника, семафор, вот только щербатая асфальтовая платформа да вокзалец, чуть побольше будки, принадлежали новине, но не они же были повинны в том, что Климов чувствовал себя чужаком, не находил себя здесь. Он ждал, что к нему сразу хлынет его юность, слившаяся с этим закоулком вселенной, с любовью к Марусе, с коротким счастьем посреди войны. Но юность и не думала возвращаться, она тихо покоилась на кладбище времени, и Климовым овладела растерянность человека, вдруг обнаружившего, что он сошел не на той станции.

Климов поглядел в ту сторону, куда ушел поезд. Рельсовый путь стрелой врезался в лес, и казалось, вдалеке лес смыкается, съедая полотно. И поезд, скрывшийся там, ло-

мил напролом, сквозь чашу, и пар его перетруженного дыхания плыл назад, к полустанку. Когда-то Климов дважды, без передышки, отмахал по этим шпалам до Неболчи и обратно ради дела и любви. Он смотрел на рельсы, на лес, вспоминая, что за лесом будет долгое пустое пространство — заболоченные ярко-зеленые луга, а потом пойдет другой лес — жидковатый ольшаник, и не верил, что действительно вышагал все эти долгие версты. А тогда он шел и посвистывал и был горько счастлив, хотя и злился на Хохлакова, на его чиновничью трусость. Он уже предчувствовал разлуку, но так был полон своей любовью, что не страшился разлуки, даже не исключал для себя будущего, пехотный лейтенант, командир стрелкового взвода, отпущенный войной на перекур. Мог ли он думать, что никакой встречи не будет, хотя война обойдется с ним на редкость милостиво, и что не на роковых поворотах судьбы, а в мелочах случайной жизни растрясет он короб своей юности и любви! И оттого совсем дико выглядит, что, перешагнув за сорок, он вдруг пустился за призраком бывшего. Но, может, жизнь человека лишь на поверхностный взгляд кажется непрерывной — будто человек последовательно втекает в юность из детства, в зрелость из юности, а в старость из зрелости. На самом же деле это замкнутые в себе, не признающие преемственности сферы. Так и Маруся исчерпала себя для него, завершилась в юности и вовсе не сопровождала Климова всю жизнь. Но что же тогда погнало его сюда, в Ручьевку? Вероятно, нечто присущее данной поре его жизни, поре постарения, а Маруся и вся его ребяческая любовь — просто удобная предпосылка. А впрочем, кто его знает! Живешь с самим собой, как с таинственным соседом, которого и в глаза никогда не видел, хотя все время чувствуешь, что он здесь, рядом, шебуршит за стеной... Какая тоска! Когда же все-таки приходит понимание себя, да и приходит ли оно вообще? Быть может, это судьба всех бездарных, слабовольных людей — существовать вдалеке от себя, подчиняясь мгновенным импульсам, а не истин-

ным, познанным велениям своей глубинной сүти? От всех этих сумбурных мыслей Климов вдруг почувствовал усталость, просто физическую усталость, словно он не на поезде сюда ехал, а вновь топал по шпалам из самых дней юности. Он перешел железнодорожное полотно и остановился, словно у стартовой черты, над радужной лужей. Окружающий мир отражался в ней значительно и грозно, как перед гибелью: прозрачно-голубое легкое небо погожей осени обретало в тонкой темной воде мрачную, бледно-свинцовую озаренность, жидкий орешник был там не порослью, а черной каменной стеной, и косо опрокинулась в большую белесость удлиненная и печальная фигура незадачливого искателя минувшего.

Так чего же ты хочешь, чего ждешь, друг мой Климов, от пожилой крестьянки, которая двадцать с лишним лет назад девушкой Марусей целовалась с молоденьким лейтенантом, твоим тезкой и однофамильцем? Пожалуй, одного лишь: чтоб Маруся *была*, какая угодно, только бы была. Прижаться седой башкой к ее плечу, хоть руки ее поддерживать, и на том спасибо. Климов все понимал и не ждал чуда — только закодированные царевны сохраняют молодость на десятилетия, не простые женщины. И пусть — куча детей, пусть муж — выпивоха, лишь бы она была. Нет, жизнь человека не рваная цепь, чепуху он себе наговорил... Ну а если Маруси не окажется, Климов узнает, где она, и поедет дальше. Он все равно ее найдет, а что будет потом — то уже другая жизнь, о ней еще ничего не известно. Все будет так, как должно быть... Ну, пошел, самое трудное — первый шаг...

Орешник остался за спиной. Климов шел по гати, проложенной через необширное болотце. Он и забыл, что здесь была гать, в памяти сохранилась твердо нахоженная дорога. Она и началась за бугром, поросшим ивами, совсем зелеными, будто лето в разгаре. Дорога шла по равнине. Далекий лес за ней казался морем — синим и вертикальным, как и всегда море издали. И даже долгий пригляд не унич-

тожил иллюзии — темно-синие, слоистые, громоздящиеся ярусами кроны стеною далекого моря уходили в небо.

Грачи сбивались в стаи, готовясь к отлету. Несколько больших стай Климов видел, когда еще шел по гаченой дороге, а здесь, в поле, они чернели облаком. Громадное облако пересыпалось в себе самом, расслаивалось, и слои двигались навстречу друг другу, но во всей этой кутерьме не было хаоса, сложное перемещение птиц управлялось какими-то законами, правилами движения, более строгими и точными, чем на городских улицах. Беспорядок вносили никуда не улетающие, невзвесть зачем примкнувшие к стае вороны. Они замешивались в грачиную рать, бессмысленно трепыхались в ней, а затем с печальным, разочарованным карканьем отваливались прочь. А может, это стая выжимала их из себя, как постороннюю нечисть.

Климов забыл, что дорога вдруг отворачивалась от поляны и втискивалась в мелколесье. Ее устилали виннокрасные листья осин и желтые — берез. У подножия янтарного соснового пня толпились сороки и вороны. Они кричали, подпрыгивали с угрожающим видом, словно играли в зловещих хичкоковских птах. Неспроста затеян был весь этот кагал: к пню прижалась боком огненно-рыжая лиса. Видать, она чем-то провинилась перед птицами, и сейчас пришла расплата. Появление Климова вспугнуло стаю, птицы стали с шумом разлетаться, стреляя в человека злобным взглядом из круглого темного зрака. Обалдевшая от страха лиса очнулась, внимательно поглядела на Климова и, вытянув палкой хвост, метнулась прочь. Раз-другой огнисто вспыхнула рыжей шубой и сгнула.

Редкий сквозной лесок искусственной посадки, прорезанный длинными коридорами, упирающимися на востоке в тусклую бледность, на западе — в розово-ясный свет, был густо населен. Зимние птицы покинули чащу, чтобы с наступлением морозов перекочевать в деревенские палисадники, огороды и колхозные дворы. Синицы — лазоревки в синих беретиках, синицы-гаечки с черным хохолком, большие

синицы с черными бархатными щечками, помазанными сметаной, чечетки в красных ермолочках, акробаты-поползны трудолюбиво искали скудный корм в редняке. Климов давно не бывал в осенней среднерусской природе, и ему стало нежно от вида лесной хлопотливой жизни. На худой конец можно считать, что он вот за этим и ездил: за грачами, строящими отлетные стаи, за пискливыми синицами и поползнями, лишенными представления, где верх, где низ.

Навстречу ему попала старуха в темной плюшевой жакетке и белейшем, тщательно повязанном платке, открывавшем смуглое, гладкое на скулах и подбородке, изморщенное вокруг глаз живое маленькое личико. По деревенскому вежливому обычаю старуха поздоровалась с Климовым: “Здравствуй, милый человек”, — и улыбнулась пустым ртом. И вот ради этого он ехал сюда, ради этой старухи...

С боковой тропки вышла нестарая, похоже, женщина — Климов не заметил ее лица — и пошла шагах в десяти от него в ту же сторону. Климов сразу понял, что он ехал и ради этой статной женщины. Ради нее в первую очередь, думал он радостно, глядя на нее, всю как из одного куска слаженную, с мускулистыми ногами в сапогах, красиво обрезающих краем голенищ крепкие икры, с тишиной и надежностью округлых сильных плеч. И было привлекательно то спокойствие, с каким она шла под взглядом следующего по пятам мужчины. Женщины всегда чувствуют, когда им слишком пристально глядят вслед, это мешает им, сбивает походку. Но эта плевать хотела на Климова, она шла легко и свободно, крепко дав сапогами палую сухую листву.

А вдруг жизнь решила сделать ему неожиданный подарок и вместо безнадежно потерянной Маруси прислала эту прекрасную женщину? Возможно, они были прежде знакомы, хотя, скорей всего, была она тогда сопливой девчонкой. Климов прибавил шагу и почти нагнал женщину. Та, конечно, слышала его быстрые шаги, но не оглянулась, не остановилась, чтобы пропустить спеша-

щего человека, а продолжала идти также широко, легко и отрешенно, как прежде. Теперь Климов видел ее словно в увеличительное стекло: светлую полоску на загорелой шее за краем шелковой, по-городскому повязанной косынки, штопку на локтях вязаной старой, видно, рабочей кофты, дырку на чулке и нежную, беззащитную кожу в этой дырке, закрученные руки с тоненьким обручальным колечком на безымянном пальце.

Климов еще прибавил шагу, обогнал женщину и резко повернулся. Он увидел круглое загорело-обветренное лицо с темными, лиловыми губами, немного запавшие светлые глаза, прядку золотых с проседью волос на чистой крутизне лба — он увидел Марусю.

— Алексей Сергеич! — сказала она своим совсем не изменившимся, звонким голосом. — Какими судьбами?

— Вот... приехал. — Климов откашлянулся и повторил: — Приехал вот.

— Господи, надо же! — Она смешно, как-то укоризненно всплеснула руками. — Леша приехал!

С возрастом все меняются, особенно в приближении старости: появляются седина, морщины, редеют волосы, блекнут глаза. У женщины раньше всего стареет, дряблеет шея. Все это в порядке вещей, но и в старце проглядывает ребенок, каким он когда-то был. С Марусей же произошло что-то невероятное, какое-то физиологическое перерождение, о ней даже нельзя было сказать: постарела — она стала другой. Прежде всего, изменились краски, северные — на южные: коричневая кожа, багрец на скулах, лиловый рот и темно-серые, с просинью, а не серо-голубые, как прежде, глаза. Волосы, правда, обесцветились, но это лишь подчеркивало горячие краски лица. И она как будто выросла, наверное, оттого, что похудела, подобралась, стала уже и суше в теле. Да и черты лица обострились, пожесточали. Он был готов к встрече с постаревшей, подурневшей, утратившей всякую прелесть Марусей, но никак не ожидал встретить эту незнакомую меднолицую красавицу.

— Вы по делу здесь? — спросила Маруся.— В командировке или как?

Она утратила свое старательно-городское произношение и говорила с обычной местной певучестью.

— Я к вам приехал,— сказал Климов, бессознательно перенимая от нее это “вы”.

— Как это понять — к нам? В колхоз или ко всей местности?

— Да нет. К тебе я приехал.

Маруся засмеялась. Она даже остановилась, чтобы отсмеяться вволю. Красивой темной рукой вытерла повлажневшие глаза.

— Зря смеешься. Я правду говорю.— От неловкости это прозвучало резко.

— Шутите! Веселый! — сказала медноликая женщина, притворявшаяся Марусей.— Раньше вы таким не были. Вас тут “грустным лейтенантом” звали.

— Да какой же я был грустный? — искренне удивился Климов— Я никогда больше таким веселым не был.

— Ну что вы? Молчаливый, задумчивый, глаза печальные-печальные. Как у Лермонтова! Я вас и полюбила-то за грусть. Нет, правда!. Каким ветром вас сюда занесло?

— Тебя хотел увидеть, ничего больше,— без всякого подъема сказал Климов.

— Да будет вам! — В голосе ее прозвучала усталость.— Сколько лет прошло. Небось, и не узнали бы меня, если б на людях встретили.

— Ты правда очень изменилась.

— Постарела. Годы идут.

— Нет, не то. Просто совсем другой стала.

— В такую уж, верно, не влюбились бы? — Маруся снова засмеялась. Это тоже было новое в ней, прежде она и улыбалась-то редко, а смеха ее он почти не слышал.

— Ну почему?..— любезно начал Климов и вдруг с удивлением ощутил, что любит не ту далекую девушку Марусю, а эту жарколицую, с лиловым ртом и алыми скулами, с

суховато-крепким, рабочим телом немолодую женщину.— Ты мне опять прекрасна, Маруся,— сказал Климов.

— Будет вам! — Она махнула рукой. — Наслушалась я этих слов, верила им...

— Скажи еще, что всю жизнь ждала...

— Ждала!.. Видит Бог, ждала!.. Хоть письмишка, хоть весточки какой. Я уж думала: убили. А потом мне кто-то сказал — в Берлине вас видел. Да это Виктор Николаич, помните, художник, он рисовать потом сюда приезжал.

— Ну и ты, конечно, хранила мне верность, отказала всем женихам, осталась одна-одинешенька?

Она усмехнулась:

— Муж у меня, пацан уже большой. А у вас кто?

— Никого. У меня нет семьи.

— Да как же? — испуганно произнесла она.— Разве так можно?

— Выходит, можно. Не сложилось. Я очень тебя любил, после так не случалось, а без любви кой толк в семье?

— Очень даже большой толк! — сказала она убежденно.— Знаете, говорят: стерпится — слюбится. Без семьи, без детей — жизни нету, одно баловство.

— Не тебе об этом судить.

— Кому же, как не мне? Как я любила тебя, Леша, ты и вообразить не можешь! И верила, и ждала. А потом поняла — не будет тебя и смирилась. Жить и без счастья можно.

— Это мне известно.

— Нет, я о другом говорю. С детьми жизнь полная. И живешь хорошо — сердцем... Бабьего счастья нету, ну и Бог с ним!. В памяти есть такой уголочек, куда никто не заглянет, и на том спасибо. У других и того нет, а живут.

— Ты что же, не любишь мужа? — Это спросилось не легко, но, слава Богу, спросилось.

— Ну, уж и не люблю! Как так можно — жить с человеком и вовсе не любить? Конечно, люблю... уважаю... ценю... в жизни ни на кого другого не взглянула, нельзя меня уп-

рекнуть... Но врать не хочу, чего к тебе у меня было — к нему нет. Не люблю я его. Разве можно дважды любить?

— Наверное, нет,— сказал Климов.— Я вот не сумел. Теперь ты веришь, что к тебе ехал?

— А я сразу поверила, только признаться себе боялась— Она заглянула Климову в глаза.— Плохо тебе, Леша? Нету успеха в жизни?

И странно, когда она так спросила, все последние события его жизни, которые справедливо было бы расценивать как удачу: международная премия, возвращение в Москву, новая работа,— представились Климову настолько ничтожными, что он без тени фальши сказал:

— Плохо, Маруся.

— Бедный... Ну а работаешь где?

— В кино. Режиссером. Я долго не мог пробиться, но сейчас все в порядке. Не с работой у меня плохо, с душой. Я по тебе затосковал...

— Нет, Леша,— сказала она строго,— ты меня не запутывай... Не по мне ты затосковал, по молодости, а может, и по семье... Значит, верил ты в мою любовь? Почему же отказался от меня?

— Не знаю,— сказал Климов.— Я ничего не знаю. И не отвечаю за поступки того человека, каким был когда-то.

— А я вот за все свое отвечаю,— тихо сказала Маруся.

— Завидую.

— Ну а зачем ты все-таки приехал? — как будто и не было всего их разговора, спросила Маруся.

Наверное, надо было сказать: я приехал за тобой, но он не отважился произнести эти слова. Он испытывал странную робость перед этой новой Марусей.

— Неужели не понятно?

— Нет.

— Я уже сказал. Мне надо было увидеть тебя.

— Ну вот, теперь видишь, а дальше что?

Если б она хоть улыбнулась, задавая эти короткие, резкие вопросы, но ее лиловые губы были сомкнуты плотно и жестко.

— Да что ты со мной как судьба?

— А я и есть судьба,— так же жестко сказала она.— А ты подсудимый. И сужу я тебя сразу за нас двоих... Да нет, Лешенька, чепуха все это! Мне тебя не судить. А и судила б, все равно оправдала... Только приезжать тебе не стоило. И опять не то говорю... Значит, нужно было, коли через двадцать лет собрался. Слава Богу, что приехал, хотя увиделись перед смертью.— Она остановилась.— А мы ведь еще и не поздоровались толком. Здравствуй, Леша.— Она обняла его и прижала твердый рот к его губам.

..Ручьевка совсем не изменилась: те же дома и палисадники, то же чугунное било на бугре, тот же вид опрятности, прочного быта. По пути он расспрашивал Марусю о ее родных и тех немногих общих знакомых, какие у них были. Маруся отвечала, как-то странно и радостно спохватываясь при каждом вопросе, хотя порой и не было повода для радости. Мама? Давно померла мама, лет десять тому назад. Сестры? Любашка учительница, замужем за директором школы тут, в Неболчах, а Нинка в самом Ленинграде обосновалась, она корабельный институт окончила. “Я одна в семье необразованная”, — улыбаясь, сказала Маруся. Она работала на ферме телятницей. Муж ее — колхозным электриком. Больше ничего о муже сказано не было, да Климов и не расспрашивал. Ленинградская женщина уехала еще во время войны, может, в Ленинград вернулась, может, померла. “Седая” Ася здесь живет, теперь она и взаправду седая, пятерых детей растит, а муж от желудка прошлым годом помер. Почтальонша Лида совсем беззубая стала, замуж так и не вышла, но веселая, заводная, как прежде. Маруся называла имена еще каких-то своих подруг, уверяя, что Климов должен их знать, они бывали в доме на посиделках, но лица их не оживали в памяти.

— А на гитаре ты еще играешь? — спросил Климов.

— Замужним на гитарах играть не положено. Это для молодых да холостых занятие.

— Почему? Какая тут связь?

— Ну, это в городе так. А у нас не принято. Вдовы, холостые есть даже на гармошках играют. А коли ты жена, так уж соблюдай себя. Гитара — она чтоб завлекать. Помнишь, как я тебя завлекала? — Маруся звонко и громко засмеялась.

“Какой прекрасный у нее смех! — растроганно подумал Климов.— Только очень хорошие, чистые душой люди могут так смеяться!”

— А ты помнишь “Средь полей широких”?

— Вон что ты помнишь! Видно, и впрямь запали тебе в сердце ручьевские дни.

— И ночи.

— Вот ночей-то у нас с тобой не было. А жаль...— Она искоса, насмешливо посмотрела на Климова.

— Были и ночи, ты забыла.

— Разговоры... Да еще на приступочке целовались. И ничего у нас не было. А почему, Леша?

— Наверное, потому, что я любил тебя очень...

— Нет... Тут другое... Повернулось в тебе что-то или сломалось тогда, не знаю. Ну, дело прошлое... Слушай!

Средь полей широких я, как лен, цвела,  
Жизнь моя отрадная, как река, текла.  
В хороводах и кружках — всюду милый мой  
Не сводил с меня очей, любовался мной.

И снова, как тогда, на переходе ко второй строфе сладко оборвалось в нем сердце и захотелось совершить какой-то добрый, жертвенный поступок. Боже мой, человек меняется до неузнаваемости, но что-то сохраняется в нем навечно, и это “что-то” уходит корнями в его подпочву, в основу основ. А Маруся стала петь еще лучше, голос у нее налился, заполнил грудь.

— Ты неправду сказала, что петь бросила.

— А я и не говорила. Я под гитару не пою. А так все время пою, особенно на ферме. Телята мой голос обожают.

Все подружки с завистью все на нас глядят,  
“Что за чудо-парочка!” — старики твердят..

И уже не спела, а проговорила с шутливым вздохом:

А теперь желанный мой стал как лед зимой  
И все ласки прежние отдает другой..

— Вот уж чего нет так нет,— сказал Климов, но ему трудно было поддерживать этот шутливый тон.

Ему хотелось быть таким, каким он ощущал себя на самом деле: серьезным и печальным, ведь все происходящее было исполнено главной печали жизни — невозполнимой утраты времени. Ему хотелось, чтобы Маруся уехала с ним, но он не верил, что может сказать ей об этом. Она вела себя с ним так, будто прошлое не истратилось в ней до конца, она целовала его, говорила нежные слова, он чувствовал ее волнение, и все-таки сказать ей простое и вовсе небивное: “Маруся, уедем со мной” — он не мог, в странной убежденности, что все сразу рухнет — доверие, откровенность, милая и любовная игра, в которую она пыталась его вовлечь. Наверное, трудно в минуту решиться на то, что откладывалось двадцать лет.

Но почему Маруся кажется ему сильнее, спокойнее и увереннее, словно она наверху, а он внизу? Ну, замуж вышла, ну, ребенка родила. Для этого, как известно, ума не требуется. Сестер в люди вывела? Это посерьезнее, хотя по условиям деревенской жизни и не так уж сложно. Здесь люди растут естественно, сами собой, как деревья или трава, думалось Климову. Уж если правду говорить, ему, коренному москвичу, приходилось в родном городе куда труднее..

Но потом ему стало легче, и все же он не выходил ничьей судьбы. Он всегда отвечал лишь за одного человека, за самого себя, но долго же не удавалось ему наставить этого человека на правильный путь. Да и удалось ли вообще?.. В чем же дело? Неужели он так же боялся жизни, как некогда смерти? А ведь Маруся вывела его тогда из смертного оцепенения, пробудила желание жить. Быть может, и сейчас он приехал сюда за исцелением? Его холостяцкий эгоизм безнравствен, в

душевной пустыне ему никогда не создать ничего жемчужного. Но неужели во всем мире только она, Маруся, может исцелить его? Да, потому что он любит ее. Хочет держать ее за руку, хочет выплакаться ей в колени, все время быть с ней вместе, хочет, чтобы она стала его женой перед Богом, и людьми, и загсом, и чтоб была свадьба, и на Марусе белое платье, а на нем дурацкий черный костюм, и чтоб пьяные, равнодушные гости орали им: “Горько!”, словом, хочет всей этой чепухи, которую раньше и в грош не ставил...

Они подошли к Марусиному дому, она пропустила его вперед. Климов поднялся на крыльцо, прошел в сени и легко нащупал в полутьме железную холодную ручку двери. Сейчас он войдет в просторную чистую кухню с русской печью, большой и белой, как корабль, и увидит у окна комнаты золотую швею, и набело переживет свою жизнь, окажется единственным человеком, которому дано исправить все ошибки, вернуть все утерянное, исключить все случайное, отделить истинные ценности от мнимых...

Он распахнул дверь — все было как прежде, не хватало лишь золотой швеи, девушки в горячем солнце с головы до ног. Вместо нее из комнаты появился крупный головастый мальчик лет двенадцати.

— Булку купила? — требовательно спросил он.

— Чернушкой обойдешься, — ответила Маруся. — Знакомьтесь: мой Вовка-дармод.

— Здравствуй, — сказал Климов, протянув руку.

Мальчишка хмуро поздоровался, и Климов почувствовал его недобрую настороженность.

Но и ему был опасен этот большеголовый хмурый мальчишка. Ему здесь все было опасно: и городская мебель в чистой комнате, и весь отчетливый достаток дома, приобретенный трудом, годами, терпением. Это не то что его городское барахло, которое он разом купил по случаю из постановочных. Тут каждый стул, и этот вот радиоприемник, и проигрыватель несут печать хозяйских усилий.

— Раздевайся,— сказала Маруся— Хочешь умыться?

...Климов чистил свою электрическую бритву, когда вернулся с работы Марусин муж. Он услышал, как Маруся радостно сказала:

— А у нас гость — Алексей Сергеич Климов!

— Понятное дело,— странно отозвался муж. Климов вышел на кухню поздороваться. Перед Марусей, чуть потупив круглую крепкую голову, почти лысую на темени, стоял коренастый человек в спецовке, резиновых сапогах, ватнике, и Климов понял, почему тайный инстинкт не дал ему спросить раньше о Марусином муже. Оказывается, в глубине души он знал, что встретит старшего лейтенанта Федора. “Высидел-таки!” — вскричалось в нем с завистливым восторгом.

— Здравствуй, Федя. Сколько лет, сколько зим!

— Здравия желаю! — бесшумно щелкнул тот резиновыми каблуками, опустив руки по швам, и Климов решил, что Федор нарочно спаясничал, чтобы избежать рукопожатия.

Ему стало обидно: сколько лет минуло со времени их соперничества, а Федор все еще держит сердце против него. “О чем это я? — словно проснулся в самом себе Климов.— Тоже еще — “фронтовой корешок” явился! Я приехал отобрать у него жену. Неужели он это понимает? Чепуха! Подумаешь, провидец! Мало ли почему я мог оказаться здесь, приезжал же художник на этюды. Да нет, он любит жену, а это делает догадливым; быть может, он еще не осознал случившегося, но по-звериному безошибочно ответил на скрытую угрозу моего появления: избежал физического соприкосновения. Да, мне будет весьма и весьма неуютно, мужчины этого дома раскусили меня”.

И тут к нему пришла неожиданная помощь.

— Сейчас пообедаем,— хозяйским голосом сказала Маруся.— После Алексей Сергеич отдохнуть ляжет, а ты ступай за Аськой и Четвериковой. Кто тогда еще в деревне был? Всех зови. Скажи, “грустный лейтенант” о нас вспомнил... И вина побольше купи, слышишь?

— Понятно, товарищ начальник! — отозвался Федор почти весело.

“Маруся — глава дома! — обрадовался Климов.— Да иначе и быть не могло, Федор же ее добивался! Хотя бывает порой: перед невестой благоговеют, а жену кладут под пресс. Слава Богу, здесь этого не случилось, наш старый друг Федя довольствуется ролью мужа-подкаблучника”...

Все так и было, как распорядилась Маруся. К вечеру явились две пожилые женщины “седая” Ася, ставшая совсем белой, и смешливая почтальонша с беззубым старушечьим ртом. Обе обрадовались Климову до слез, а может, то были обрядовые слезы, но скорее всего ритуал бессознательно сочетался с искренней печалью о минувшей молодости. Еще пришли какие-то мужики, которых Климов начисто не помнил, а они вели себя как старые знакомые, хлопали его по плечу, насмешливо упрекали за седину, хотя сами были лысые.

Старые “девчата” с помощью хозяйственного Вовки стали накрывать на стол, Федор с серьезным, терпеливым лицом с трудом извлекал тугие пробки из горлышек винных бутылок и легким пинком под зад открывал “малышей”. Маруся куда-то отлучилась, а когда вернулась, на ней было белое платье с черным поясом, совсем как в дни юности. И тогда Климов выхватил из кармана папиросы и кинулся в сени, якобы не желая дымить в комнате, и там, в темноте, долго стоял, прислонившись лбом к какой-то балке, и ждал, когда перестанут течь слезы.

Много ели, много пили и поднимали тосты за военные годы и за всех присутствующих, за Климова в первый черед. Федор только пригублял, за весь вечер и с одной стопкой не справился, но заботливо следил, чтобы у всех было полно. Как только Климов ставил пустую стопку на стол, он немедленно тянулся к нему с бутылкой. Он вовсе не желал напоить Климова, а почитал угощение своей хозяйской обязанностью.

Климова расспрашивали о Москве — сами ручьевцы тяготели к Ленинграду и о столичных делах были мало

осведомлены. Их интересовало, как там сейчас с предметами широкого потребления и еще почему-то жилищное строительство, хотя вроде никто в Москву переезжать не собирался, а еще больше — новый Кремлевский дворец и гостиница “Россия”. Люди жили здесь, видно, широко, не утыкаясь носом в собственный плетень. Но особенно до тошно ручьевцы расспрашивали Климова о его жизни и работе и делали это в такой прямой, серьезной, дружелюбной, но и строгой манере, что нельзя было ни уклониться от ответа, ни отшутиться. Они дружно осудили бессемейность Климова, но и пожалели его за одиночество; удивительно отчетливо поняли сложности его кинематографического пути и порадовались, что теперь он в работе сам себе голова. Так же одобрительно отнеслись к тому, что он опять московский житель, при квартире и машине. Последнее поведалось как-то случайно, и Климов пожалел о своем невольном хвастовстве. Но тут выяснилось, что один из присутствующих, заведующий фермами, недавно сменил “Москвич-407” на “408”, и Климов успокоился. К тому же он вдруг понял, что Марусе нравится, когда он говорит о себе хорошо. Пожалуй, ей было бы по душе, если б он еще щедрее расписал свои достижения. Поначалу ей, наверное, казалось, что он пришел сюда добытый жизнью, приполз за спасением к старому порогу. А сейчас она гордилась им и собой гордилась, что вовсе не душевным погорельцем явился он к ней через столько лет. Но тут она ошибалась, в каком-то смысле Климов все-таки был погорельцем.

Потом играли на баяне, пели, и “девчата” что-то все приставали к Марусе. И она вдруг сказала:

— Ладно, сыграю, подумаешь, дело какое! — ушла в сени, долго там чего-то искала и вернулась с пыльной гитарой.

— Боже мой! — Климов сразу узнал старую знакомую.— А ты не разучилась?

— Да я ж толком и не умела никогда.

Она обтерла инструмент тряпкой, долго настраивала, потом села, знакомо положила ногу на ногу, наклонилась к деке:

Средь полей широких я, как лен, цвела..

Впервые Федор улыбнулся доброй, скуповатой улыбкой, показав темные, прокуренные зубы. Не о самом лучшем времени напоминала ему эта песня, но, любя Марусю, он радовался каждому движению жизни в ней. Вот она играет, поет, вспоминает молодость, ей хорошо сейчас, и Федор счастлив. Климов с удивлением обнаружил, что почти любит бывшего старлея Федю. За то, что он так предан Марусе, верно служит ей, делит горе и радость, за то, что при нем изо дня в день свершается тихая прелесть Марусиной жизни...

Климову было нежно и грустно, и к концу вечера он совсем уже не жалел, что предпринял путешествие в прошлое хотя бы ради этого сельского банкета. Покидая дом, гости целовали Климова, и он растроганно целовал табачные рты мужчин и сухие губы стареньких “девичат”. Хорошо посидели...

Когда он уже лежал на раскладушке на кухне с полупогасшей папирсой в руке, вошла Маруся в своем белом платье с черным поясом, но уже с распущенными на ночь волосами и сказала, не особенно понижая голос:

— Помнишь черничный лесок, где мы раз встретились? Приходи туда завтра к полудню.— Коснулась его руки и притворила за собой дверь.

Он проснулся поздно, с тяжелой головой, в пустой избе, вспомнил о назначенном свидании и утратился его..

...Климов не сомневался, что без труда найдет то место в лесу недалеко от опушки, где некогда повстречался с Марусей. Он несколько опасался коварства разросшейся, изменившей свои очертания Ручьевки — это она только притворялась вчера, будто осталась прежней. Деревня, спутав его раз-другой обманно знакомыми проулками, вскоре выпустила за околицу — и вот когда начались

неприятности. К лесу полагалось шагать густым разнотравьем, а тут темной стенкой стал молодой сосняк искусственной лесопосадки и сразу сбил с толку. Деревца были иглистые, пушистые и не мелкие — в полтора человеческого роста. Климов намаялся, пока одолел сосняк, а там — новая неожиданность. Перед ним простиралась стерня, присоленная поплывшим на солнце утренником, а ему эта земля помнилась в ромашках, колокольчиках и тех клейких цветочках с бордовыми метелками соцветий, что обычно сопутствуют колокольчикам. За стерней лес казался другим — выше, реже, прозрачнее, он проглядывался далеко вглубь. А вдруг он вообще не найдет назначенного места?

Тропки, что вела к поезду-типографии, и впрямь не оказалось, как ни искал он ее. В лесу всякая трава уже умерла, и в бурых, сухих, съезжившихся кусточках никак не угадывался пышный черничный ковер. Климов стоял в раздумье, глядя, как пластаются на земле желтые березовые листья, прилетая сюда невесть откуда, — вблизи не видать было берез. Пахло нежно и горько, как и положено пахнуть одиночеству.

Пойти напролом, куда глаза глядят? Ввериться бессознательным велениям памяти, авось они приведут его к цели? В конце концов, не так уж трудно найти друг друга в сквозном, словно расплзающийся шелк, лесу. Странно, что Маруся так неточно назначила место встречи. Да нет, ей думалось, что он так же хорошо знает это место, как и она, никуда отсюда не уезжавшая. Но это не в ее обычае, она, человек верного сердца и верных поступков, не могла заставить его так жестоко ошибиться.

Марусины руки — он сразу узнал их — легли ему на глаза. Он стоял не шелохнувшись, переживая счастье ее прихода, прикосновения и своего спасения. Затем медленно разжал кольцо ее рук.

— Не надо целовать, у меня руки плохие стали, — сказала Маруся.

— Как ты нашла меня? Тут все переменялось, я ничего не узнаю.

— А я и не искала. Ты сам пришел куда надо.

— Да нет же, тогда мы встретились в глубине леса.

— Тут высоковольтную вели и сильно порубили лес по краю. А мы как раз где надо сошлись.

Маруся рассчитывала на ту его глубинную память, о которой он в себе и не подозревал. Его поразило: неужели она и такое знает о человеке?..

— Пойдем,— сказала Маруся и взяла его за руку.

Они пошли лесом. Порой деревья разъединяли их, но всякий раз она снова брала его за руку, словно боясь, что он потеряется. Шаги были не слышны, их глушила влажная прель мертвых листьев, игл и трав.

Они шли и шли, куда-то сворачивали, пересекали просеки, и трудно было поверить, что есть какой-то толк в этом кружении по лесу. Но толк был — вскоре они оказались на круглой поляне, посреди которой чернел стог.

— Пойдем в сено,— сказала Маруся,— там тепло.

Они надергали сухого сена и сели, прижавшись спинами к на гретому солнцем стogu.

— Ну, здравствуй еще раз.— Маруся крепко обняла его и стала целовать.

Климов не ждал этого, он сидел неудобно, она зажала ему руку, а другой он упирался в землю, чтобы сено меньше кололо шею и затылок.

— Да погоди...

Она поняла, что ему нужно, и стала помогать устраиваться поудобнее: освободила ему руку, подтянула к себе, как-то подалась телом на него. Затем расстегнула кофточку на груди, стянула косынку, дав волю волосам. Она делала все это легко и деловито, словно они были мужем и женой, встретившимися после долгой разлуки, и Климову было радостно и жутко, он чувствовал, что она готова уничтожить все преграды. Но ведь он не этого хотел, не только этого. Он был в смятении, понимая бестактность всяких

слов и в то же время невозможность для себя молчать. А она в каждом его случайном прикосновении видела желание близости... Он с усилием оторвался от нее.

— Ты будешь моей женой?

— Ох, помолчи! — Она поморщилась, словно от боли.

— Я прошу тебя стать моей женой. Мы уедем вместе.

— Да помолчи! Что ты все рушишь?!

— Слушай,— сказал он с тоской,— я люблю тебя, я тебя все годы любил, я не жил их, уж если правду говорить. Я не вором приехал к тебе через двадцать лет. Ну что мне это свидание, когда я тебя на всю жизнь хочу? А так стыдно даже, еще до мужа твоего дойдет.

— А он знает,— прозвучало с жуткой простотой.

— Что знает?!

— Я сказала, что нам поговорить надо.

— К чему все это? — почти с отчаянием спросил Климов.

— Зачем мне из него дурака делать? — отозвалась она обиженно.— Сколько лет прожили, мне ли его унижать?

— Постой... А разве это для него не унижение?..

— Нет, пускай он сам решает, как ему дальше жить — принять меня назад или бросить.

— Не понимаю...

— Да чего тут непонятного?.. Он же знал, что я за него без души пошла, знал, что тебя любила... Он, если хочешь, все время ждал, что или ты объявишься, или я сама искать тебя пойду. Ему вроде облегчение, что ты наконец пришел.

— Да в чем же тут облегчение?

— А в том: налетело, закружило, да и отлетело! — сказала она со вздохом.

— Так ты не уедешь со мной?

Она несколько раз повела головой из стороны в сторону.

— Ну почему? — томился Климов.

— Неужто сам не понимаешь! Здесь — мое все, а там что?.. Я уже старая. Раньше надо было.

— Что за... — начал Климов, но она властно зажала ему рот рукой и повлекла к себе.

Но он не мог быть с ней, она сама виновата, лучше бы не говорила, что Федор знает об их встрече. Как он посмотрит ему в глаза, если между ним и Марусей будет близость? Зачем она сказала?.. А ведь подобное уже было.. было у них однажды. Тогда она сказала, что он не первая ее любовь. И тоже все испортила, отторгла от себя... Зачем она это делает?! Она живет по каким-то другим законам, чем он. Ей кажется, что она поступает сейчас справедливо; может, она и права, но у него нет сил следовать за ней...

Она почувствовала его холодность и отстранилась. Подобрала волосы и стала повязывать косынку.

А когда они поднялись, она сказала без укора, обиды или гнева, но с глубокой печалью:

— Ах, Леша, Леша, снова ты от меня отказался.

— Нет, это ты... — пробормотал Климов.

— Дурак ты, Леша. Или головной очень? — Она искренне пыталась понять его изъян. — Сделанный ты какой-то...

— погоди! — вскричал Климов. — Это нечестно. Теперь ты притворяешься, что если б у нас все было, то...

— замолчи! — Впервые голос ее стал сердитым. — Ну разве я знаю, что было бы? И как же так получается, что я, баба, на все готова, а ты, мужик, задаток требуешь? Не ушла бы я с тобой, не ушла, можешь не казниться... А Бог меня знает! — со страшной болью вырвалось у нее. — Вдруг бы и ушла...

“Я — дерьмо!” — твердо и печально сказал себе Климов...

На станцию его провожал Федор. Климов не понимал, зачем ему нужен провожатый, но Федор сам схватил его легкий чемодан с болгарскими наклейками и первым выскочил из дома. Все, что предшествовало этому, сотворилось быстро и словно бы в тумане. Они вместе вернулись из леса, лишь у самой деревни Маруся немного опередила его, как бы отдавая дань приличию, а не маскировки ради.

И Федор, и Вовка были дома. Федор сидел в кухне на лавке, на своем прежнем, военных лет, месте, спиной к свету, и был точь-в-точь тот самый терпеливый старший лейтенант. Мальчик сидел на другой лавке, под углом к первой, в ватничке и сапожках, и был разительно похож на отца, Марусиного ничего в нем не проглядывало. “А он не пошел бы с нами!” — мелькнуло у Климова.

— Вот, погуляли...— сказал он с насильственной улыбкой.

Никто не отозвался.

Он рассчитывал, что Маруся сгладит неловкость, но она не обмолвилась ни словом. Федор сумрачно глядел в какую-то свою даль, а мальчик — в перекрест отцова взгляда.

— Ну я поехал,— сказал Климов прямо и грубо, он уже проиграл свою игру, а эти двое, похоже, ждали от него каких-то новых ходов.— Как раз к поезду успею.

И тут Федор сразу поднялся, нахлобучил кепку, подхватил его чемоданчик и вышел, чтобы не мешать прощанию. И мальчик поднялся, только не спеша, зачерпнул ковшом воды из кадки, глотнул, полив себе на подбородок, и тоже вышел из дому. Но прощания не получилось. Маруся недвижно стояла в дверном проеме между кухней и чистой комнатой и шагу не сделала ему навстречу.

— Вот когда мы навсегда прощаемся,— сказал Климов, страдая и все же не находя живых слов.— Теперь все...

— Кто его знает! — вздохнула она равнодушно.

— Ну, до свидания! А вернее — прощай! Жалко, что так получилось.

Она не ответила, только слегка наклонила голову. Большая, красивая, с медным лицом и светлыми волосами женщина, на какие-то мгновения слившаяся с девочкой Марусей, стала от него дальше, чем во все эти годы, когда он не знал даже, жива ли она. Он понял, что и в самом деле это конец, никакие слова не нужны, ему не прикрыть отступления, не сделать его достойным и значительным. Жемчужное снова не получилось. Но, быть может, “из тяжести

недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам”?.. Вот и утешайся, а сейчас катись вон!.

И он выкатился, держа в горле комок слез, и мимо Федора устремился на улицу. Следовало попрощаться с мальчиком, передать поклоны старым “девчатам”. Да кому это нужно?.. Все надо начинать с начала. Но хоть— что-то было? Что-то подлинное? Он опять ничего не дал Марусе, даже короткого забвения, а она дала ему слезы, стоявшие в горле. Это немало. Слезы и жизнь нерасторжимы. Он ушел от нее тогда “хорошим лейтенантом”, что, если... Опять ищешь выгоды!

А за околицей была звонкая, кованая осень, в перепаде дня крепко похолодало, все лужи пошли ледяными стрелками, синицы и воробьи нахохлились, храня тепло маленьких сердец, закожанела сохранившаяся край дороги трава. У Федора каблуки были подкованы железом, они звонко цокали о землю, в которой вся влага стала ледком. Климов остановился.

— Не надо меня провожать.— И протянул руку за чемоданчиком.

— Идите, идите,— невозмутимо сказал Федор, напирая на него плечом.

Климов усмехнулся и пошел вперед. “Прощай, чудесный край, невозвратимый”...— в который уж раз вспомнилась пластинка Печковского. Комок рвался прочь из горла, но за спиной звучало упрямое, жесткое цоканье, и он не мог позволить себе единственной разрядки. Да чего Федор топает за ним, словно конвойный за арестантом?.. Его охватило бешенство. Федька и прежде был упрямой скотиной, привык брать на измор. Он повернулся к Федору:

— Может, ты домой пойдешь? Ей-Богу, лишнее это.

— Лишнее, говорите?..— хрипло переспросил Федор и стал громко, грубо отхаркиваться. Прочистив горло, добавил: — Такого дорогого гостя проводить совсем не лишнее. “Да он издевается, что ли?” — вспыхнуло испуганно. Не то чтобы Климов физически боялся Федора, но не хотелось

ему добавочного груза чужой душевной жизни, хватало и собственной мути.

— Может, ты все-таки домой вернешься? — повторил он спокойно и холодно.

— Давай, давай, так вернее, — проговорил Федор, по-прежнему нажимая плечом.

Лишь мгновенно вспыхнувшая догадка, что Федор не даст сдачи, помешала Климову нанести удар. Он разжал кулак. Федор был сейчас, пожалуй, потяжелее, да и покрепче его, но именно поэтому и не вяжется в драку. Маруся не простит ему, если он хоть пальцем тронет Климова. Да и за что бить Федьку? За то, что он охраняет свое счастье? Он хочет убедиться, что Климов действительно уедет в Москву, а не повернет назад или не отправится в Неболчи, чтобы продолжать оттуда свои домогательства. Климову стало как-то жалко этого серьезного, терпеливого, тихого человека, который всем жизненным напастям противопоставляет лишь свою непоколебимую верность. Не такое уж это могучее оружие в нынешнем хитром, изошренном, исполненном всяческих соблазнов мире. Ему захотелось по-доброму расстаться с непрошеным провожатым, в конце концов он вел себя честно, и это дает ему право если не на дружбу, то хоть на уважение Федора.

— Ты зря со мной так, Федя, — сказал он искренне. — Я перед тобой ни в чем не виноват. Дай руку!

— Идите, идите, не то опоздаете!

— Ты что — не хочешь и руки протянуть?

— Шагай, шагай, времени в обрез.

— За что?.. Ведь у нас с Марусей ничего не было.

Лицо Федора стало как кулак.

— Чего было, чего не было, не вам судить.

— Вот те на!..

— Вот и на! — злобно передразнил Федор.

— Ну, дай руку! — Климов сам почувствовал, как жалко это сказалось.

Теперь остановился Федор.

— Как я тебе руку дам,— он обращался к Климову на ты, но не из приятельства, а по какой-то жутковатой доверительности,— когда, может, той же рукой из тебя жизнь выну?

— За что?.. Что я тебе сделал?

— Что сделал, то прошло. Но если вернешься — не жди пощады.

— Не бойся, не вернусь.

— Хорошо бы..

Главное было сказано, и Федор отбросил его за пределы своей душевной жизни.

Он проводил Климова до самого полустанка. Дождался поезда и, лишь когда Климов стал на ступеньку вагона, вручил ему чемоданчик. Тут Климов сделал последнюю попытку к рукопожатию, но Федор не поддался, и Климов прошел в тамбур. Поезд тронулся, однако Федор не ушел с платформы. Климов заметил, как напряглось его лицо, когда поезд поравнялся со стрелкой, здесь была последняя возможность спрыгнуть на ходу, дальше поезд резко набирал скорость. Климов наблюдал все это, и Федор вовсе не казался ему смешным, скорее — величественным. Поезд рванулся вперед. Федор снял кепочку и носовым платком вытер бледный, незагорелый лоб с острыми клиньями белизны на лысоватом темени и пошел через полотно домой.

Промелькнула заросшая просека, приютившая некогда поезд-типографию. Слева, в глубине простора, возник лесок, где сороки и вороны хотели посчитаться с разбойницей-лисой. Климов все не шел в вагон. Он стоял, прижавшись щекой к пыльному стеклу. Ему хотелось завыть дурным голосом, как воют провожающие мужей на фронт солдатки, когда задвигаются двери теплушек.

## О ТЫ, ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ!..

Он велел подать себе фрак. Старого слугу Фридриха это не удивило: уже перевалило за полдень, а г-н тайный советник Гете, случалось, надевал фрак и к завтраку, когда что-то внутри него требовало торжественности. При этом он вовсе не ждал, что домашние последуют его примеру и облекутся в парадные одежды. Его щегольской, странный и строгий вид являл резкий контраст с утренней небрежностью и покойной советницы, которой после ежевечерних танцев до упаду и обильных возлияний было не до туалетов — дай Бог как-нибудь натянуть капот на жирные тела сына Августа, франта, но только не спросонок, когда голова трещит с похмелья, и пребывающей в рассеянном утомлении от балов и поклонников невестки Оттилии, и ее вздорной, всегда прибранной сестры — бедняжка слегка повредилась головой, уроненная в вальсе нерасторопным кавалером. Г-н тайный советник, вовсе не строивший из себя аскета — он много и со вкусом ел, любил общество и ежедневно осушал две-три бутылки рейнского вина, как бы противопоставлял свою подтянутость, порядок внутри себя распаду близких людей. А может, хотел вдохнуть в них бодрость, уверенность: мол, продолжайте в том же духе, дорогие, я крепок, я на посту. Относясь с удивительной снисходительностью к людским слабостям, он не делал исключения и для родственников, прощая им все заблуждения, ошибки, даже пороки.

Старый Фридрих так долго находился при Гете, что в конце концов научился думать. Он и сам не мог сказать, как проникла в него эта зараза, но вместо прежних вялых

видений, обрывков каких-то воспоминаний, всплывающих со дна памяти, которые он не пытался ни продлить, ни сочетать с другими, дабы получить цельную, законченную картину смутных образов, вдруг возникающих из тумана и вновь поглощаемых им, ныне под черепной крышкой свершалась непрерывная работа, причинявшая немалое утомление, но вроде бы и удовольствие, когда в результате крайнего напряжения он приходил к каким-то выводам. Фридрих не отдавал себе отчета, зачем ему это нужно, — чуждый лакейским сплетням, мало-общительный, он все свои наблюдения, соображения и умозаключения хранил про себя, но, если бы даже захотел сейчас, не смог бы остановить беспокойного, изнурительного шевеления в голове. И, положив руку на сердце, едва ли б согласился вернуться к прежнему умственному сну, дарившему невозмутимое спокойствие. Наблюдать за г-ном тайным советником было интересно, а еще интереснее — разгадывать загадки его величаво-ровного со стороны, на деле же весьма странного и непредсказуемого поведения.

Казалось бы, свет не видывал лучшего семьянина, чем г-н Гете, столь внимательного, снисходительного, заботливого, готового — при всей загруженности государственными делами — вникать в каждую мелочь домашней жизни, если это могло помочь его ныне покойной жене или новой хозяйке г-же Оттилии, равно и столь деликатного, когда его вмешательство не требовалось. Фридрих, впрочем, сомневался, можно ли считать Оттилию, на редкость безразличную к дому, мужу и семье, новой хозяйкой, скорее уж на это звание претендовала ее сестра — до того как ее уронили на скользком паркете. И во дни Христины, которую г-н тайный советник, спасая свое изнемогшее в скорби сердце, даже не проводил до места успокоения, и в нынешнее междуцарствие он охотно погружался в хозяйственную жизнь дома — пустейшая кухонная забота казалась ему стоящей внимания, и при этом мог без подготовки и предупреждения разом все бросить и уехать надолго в Иену,

где у него было холостяцкое убежище, или на курорт. Он, правда, и оттуда не оставлял советами брошенное семейство, но коли собственное присутствие не способствовало поддержанию порядка в расплывающемся доме, то уж по-давно бессильными оказывались наставления издалека.

После смерти жены г-н Гете стал проводить по полгода в Карлсбаде, куда уезжал еще до открытия летнего сезона, а возвращался осенью, в последнее же время сменил карлсбадскую клубящуюся испарениями целебных источников скалистую щель на плоский, как лепешка, Мариенбад — не из-за лечебных свойств этого преимущественно женского курорта, а ради темных глаз юной Ульрики Левецов, дочери энергичной дамы, которую он некогда дарил своим вниманием. Наверное, в ту далекую пору, думал Фридрих, эта дама занимала более высокое положение в обществе, а сейчас, будучи владелицей большого и мрачного дома, содержала гостиницу, служившую, как болтали злые языки, и для скоротечных свиданий.

Вспомнив о г-же Левецов в этот солнечный мариембадский полдень, когда г-н тайный советник потребовал фрак, Фридрих привычно присовокупил к ней недавно узнанное от гостей хозяина и пленившее его выражение: следы былой красоты. Слова эти околдовали развившийся ум Фридриха; приглядываясь к гуляющим по нарядным улицам модного курорта удрученным женскими болезнями дамам, Фридрих отыскивал в их чертах следы былой красоты. И он научился угадывать даже самые слабые, занесенные прахом лет и недугов знаки минувшей прелести на увядших лицах. Но на просторном и чистом лице г-жи Левецов следы эти были столь очевидны и щедры, что Фридрих искренне недоумевал: зачем его господин хлопочет, точно шмель, над нераспустившимся цветком — над девятнадцатилетней Ульрикой, когда к его услугам чуть пожухший, но еще пышный и яркий бутон — старшая Левецов? В конце концов, г-н тайный советник, первый министр Великого герцогства Веймарского, далеко не юноша...

Фридриха огорчало, что язык того светского круга, в котором он преимущественно вращался, обслуживая друзей и гостей хозяина, остается ему зачастую непонятен. Ускользало одно-единственное слово, а с ним терялся весь смысл. Фридрих налег на справочники и толковые словари, которые брал из хозяйской библиотеки. Они расширяли кругозор, обогащали множеством ненужных сведений, но чаще лишь сгущали туман. Фридрих прослышал, что в пору своего увлечения старшей Левецов г-н тайный советник называл ее Пандорой. И прозвище сохранилось по сию пору. Обратившись к энциклопедическому словарю, Фридрих выяснил, что Пандора — имя женщины, созданной Гешефтом (так ошибочно прочиталось имя Гефест) и наделенной наряду со множеством достоинств и редкой красотой, хитростью, любопытством и коварством. Ее послали на землю, чтобы погубить род людской, снабдив ящиком, наполненным всякой мерзостью. В словаре не было объяснено, знала ли Пандора о своем предназначении и о содержимом ящика. И почему его открыла — из неумного бабьего любопытства или по сознательной злобе. Так или иначе, она выпустила наружу всю нечисть, а на дне осталась лишь обманчивая надежда. Что имел в виду г-н тайный советник, назвав г-жу Левецов — в пору своего увлечения — Пандорой, оставалось неясным: то ли ее избыточные прелести, то ли тайное криводушие, то ли готовность дамы выпустить в мир омерзительных чудищ. Нынешнее сближение его господина с семейством Левецов тревожило лакея Фридриха...

И сейчас, в последний раз обмахивая метелочкой из черных страусовых перьев тугую гладкость фрака, прекрасно сидящего на крепкой фигуре хозяина, Фридрих изо всех сил напрягался мыслью, чтобы постигнуть то новое, что исподволь вызрело в размеренной мариенбадской жизни и достигло критической точки сегодня, когда г-н Гете после визита к нему герцога Веймарского Карла-Августа, которого, пользуясь старой дружбой, принимал по-домашнему,

хотя величал даже с глазу на глаз ваше королевское высочество, потребовал подать весь парадный доспех.

Он придирчиво осмотрел черную пару, атласный жилет, рубашку и шейный платок, велел убрать звезды и усыпанный алмазами орден на шелковой ленте, глазами показал на несколько седых волосинок, приставших к воротнику, и с обычной неторопливой энергией принялся одеваться. Помогая своему господину, Фридрих жадно следил за ним, но тайный советник ничем себя не выдал: движения его сохраняли обычную механическую четкость, он сразу попадал в штанины и рукава, садился, когда надо, и, когда надо, вставал, гибкое тело безотчетно облегчало работу слуги. Но что-то необычайное все-таки было... О да, блеск, лихорадочный блеск, вспомнил Фридрих подходящее выражение, темных, глубоких глаз г-на тайного советника.

Поразительно, что семидесятичетырехлетний старик сохранил такие живые, горячие, черно-сверкающие глаза. Впрочем, г-н Гете и вообще замечательно сохранился. Ему даже вино шло на благо, нежно поддурмянив чистую кожу мясистого, но ничуть не обрюзгшего лица с крупным, решительным носом и тронутым лишь над бровями долгой тугой морщиной высоким, крутым лбом, слегка потеснившим к темени плотные белые волосы, красиво вьющиеся на висках и затылке. Прямая спина, неторопливый твердый шаг, гордый постав головы придавали ему величавость.

Но сегодня г-н тайный советник не просто выглядел моложаво, он и впрямь был молод и сам чувствовал в себе эту молодость. Он напрягал икры, что было заметно сквозь тонкоплотную ткань панталон, поводил плечами, выпячивал грудь, его переполняла жажда движения. Но выйти из дома он почему-то не мог. Наверное, кого-то или чего-то ждал. Он ненавидел пустой расход времени, того мешкания, до которого столь охочи все несобравные люди, особенно женщины. Человек уже давно собрался, а все не может сделать решительного шага, мнется, мельтешит, шарит по карманам, хлопает ящиками бюро, открывает и

закрывает дверцы шкафа, но он ничего не ищет, просто страшится переменить обстановку. Нет, г-н тайный советник Гете всегда знал, чего хочет, и находил кратчайший путь к цели. Если он собирался из дома, то был готов к выходу в ту же секунду, когда заканчивал сборы, никогда ничего не терял, не забывал, хотя делал сотни дел, держал в памяти весь предстоящий день, наполненный работой, диктовкой секретарю произведений изящной словесности, научных трудов, деловых бумаг, распоряжений, встречами с разными людьми, официальными и светскими визитами, прогулками — пешком и на коне — и Бог весть еще чем. День г-на Гете был неизмеримо насыщенней и словно бы длиннее дня любого другого человека. Вынужденный прервать диктовку, порой не на минуты, а на часы, он продолжал с того самого места, на котором остановился, хоть с полуфразы. Фридрих изо всех сил старался сделать свой ум таким же цепким и ясным, но, хотя забот у него было куда меньше, ничего из этого не вышло. Стоило одному делу наложиться на другое, и Фридрих настолько терялся, что забывал оба дела.

Господин тайный советник, конечно же, и сейчас не испытывал колебаний и сомнений в отношении того, что ему делать дальше, он просто ждал. Неторопливо ждал какого-то известия, чтобы начать действовать, но известие запаздывало, и это нарушало его спокойствие. Сама собой тугая, медленная, но не сбивчивая мысль Фридриха связала нетерпение хозяина с той переменой в его жизни, которая с некоторых пор стала казаться неизбежной.

Когда умерла старая хозяйка, Фридрих мог бы кошелек, набитый талерами, поставить на заклад против кружки пива, что г-н тайный советник навсегда останется вдовцом. И вовсе не потому, что он так пламенно и верно любил жену, с которой прожил почти тридцать лет. Конечно, ее смерть явилась для него тяжелым ударом, он даже изволил пролить слезу, впрочем, слеза была тем единственным напутствием, которым он провожал в небытие

самых близких людей: жену, баронессу фон Штейн, г-на Шиллера... Не было случая, чтобы он хоть взгляд бросил на дорогие, но уже заострившиеся черты. То ли г-н тайный советник хотел сохранить живой образ усопшего, то ли боялся смерти, то ли слишком презирал ее. Возможно, он считал, что там, где начинается держава смерти, кончаются его солнечные владения, и прекращал всякие отношения с теми, кто предпочел госпожу Смерть его обществу.

Отдав дань извинительной слабости, омыв — и смыв — слезой дорогой образ, г-н тайный советник возвращался к делу жизни с особой энергией, словно бы освеженный и помолодевший. Что касается покойной советницы, то задолго до ее кончины он предоставил и себе, и ей полную свободу: ей — веселиться, танцевать до упаду и кутить в обществе бравых офицеров (шампанское пенилось вокруг г-жи Гете, как пена морская вокруг Афродиты), себе же оставил уединенный труд, государственные заботы, встречи с замечательными людьми, красное вино и летом — восторженный щебет молодых женщин.

После смерти жены г-н Гете словно принял на себя оброненную ношу усопшей, обрел вкус к балам, пикникам, повесничанию и долгому уединению с юными красавицами. Казалось бы, что может быть лучше такой жизни, дающей все радости и почти ничего не требующей взамен, но с некоторых пор рассеянный свет его внимания собрался, как в фокусе, на юной Ульрике Левецов. Это не было похоже на другие, быстро проходившие увлечения. Крепко запала в душу Фридриха фраза, оброненная как-то г-ном Гете за семейным обедом, когда несдержанный, всегда раздраженный Август в очередной раз сцепился с откровенно презиращей его Оттилией: “Вся беда в том, что наш состав неполон”. Занятые своей ссорой, молодые люди пропустили слова главы семьи мимо ушей, они и вообще не баловали его почтительностью, а может, сочли бессильной жалобой вдового старика, лишь повредившаяся в уме сестрица Оттилии метнула в его сторону короткий злобный

взгляд. А им стоило бы прислушаться, ибо г-н тайный советник впервые — и сознательно — проговорился о своих намерениях.

Смущало Фридриха лишь одно: наивность этого заявления, — неужели великий ум может настолько заблуждаться в своих близких? Появление новой тайной советницы внесет такой же мир и лад в смятенную жизнь дома, как содержимое ящика мифической Пандоры. И даже обманчивой надежды не останется. Конечно, Август и Оттилия объединятся в ненависти к новой мамочке, ущемляющей их наследственные права, но едва ли об этом мечтает г-н Гете.

Ныне Фридрих склонен был фразу, услышанную за столом и оставленную без внимания молодым поколением, связать с лучезарно-беспокойным обликом г-на тайного советника. Не должно ли сегодня решиться то, что сделает полным семейный состав, принесет мир и покой дому, — кошмар и ужас, твердо определил будущее своего хозяина научившийся мыслить Фридрих. Для себя лично он не ждал перемен, ибо принадлежал к тому священному и неприкосновенному обиходу г-на тайного советника, который был исключен из домашних потрясений. И все-таки ему было не по себе...

Ну а как же иначе? Ведь не было у Фридриха другой жизни, кроме той, что уже несчитанные годы незаметно день за днем проходила в доме г-на тайного советника Гете. Бывает, что слуги, при всем своем зависимом положении, не только влияют на домашние и прочие дела хозяина, но и направляют их, — поведение советника полиции Бруннера в семье и на службе целиком зависит от того, с какой ноги встал и как обиходил его красноносый лакей Михель, брюзга и пьяница, с которым хозяин не расстался бы за все блага мира. Фридрих не пользовался влиянием на своего хозяина, и никто другой не пользовался: г-н тайный советник умел закрывать глаза на домашние безобразия, но не плясал под чужую дудку. Фридриху достаточно было наблюдать и делать выводы — совершенно бескорыстно,

ибо он и так имел все необходимое для душевного довольства: четкий круг необременительных обязанностей, сносное жалованье, независимость, обеспеченную подчинением лишь одному человеку, добрый стол с хозяйским вином, крепкий табак, опрятную постель, хорошее платье и достаточно свободного времени, чтобы посидеть в погребке и перекинуться шуткой с какой-нибудь Кеттхен или Лизхен. Будучи лишь немногим моложе хозяина, Фридрих, подобно ему, не держал двери на запоре. Он знал, что г-н тайный советник неисповедимыми путями — доверительных разговоров меж господином и слугой не велось — осведомлен о его галантных похождениях и относится к ним с одобрением. Г-ну Гете было по душе всякое проявление жизненной силы, но омерзителен, как бы ни скрывал он свои чувства, пьяный, грубый разврат Августа.

Фридрих желал счастья своему господину, но неужели тот действительно верит, что избалованная девочка поможет обуздать бешеного Августа и своенравную Оттилию? Эта мысль так озаботила Фридриха, что он перестал обмахивать веничком плечи г-на тайного советника и замер с поднятой рукой, сжимающей букет из облезлых страусовых перьев.

— Я разрешаю вам обратиться ко мне с вопросом, Фриц, — с улыбкой — не губ, а глаз — сказал г-н тайный советник.

— С каким вопросом, ваше превосходительство?

— Не лукавьте. Вас давно томит вопрос: уж не хочет ли барин жениться?

Взгляд Гете вдруг отдалился, затуманился и вовсе покинул остекленевшие глаза. Непостижимым образом Фридрих угадал выпадение своего господина из данности, вслед за тем с легкой дурнотой ощутил, что и его затягивает, заверчивает странная, не из яви воронка и брезжит что-то не имеющее ни образа, ни подобия, из какого-то чужого обихода, с чужими запахами, чужим воздухом, чужой заботой, он понял, что это барин затащил его туда, где ему вовсе незачем быть, и тоска давила сердце.

А Гете, не в первый раз пережив мгновенное погружение в стихию иного времени, иного бытия, предстоящего ему, видимо, после износа этой жизни и этого образа, опять, как и во всех прежних случаях, кроме одного-единственного, относящегося не к будущему, а к прошлому, где он оказался могучим туром, зазывно трубящим в золотистой лесной просеке, тщетно пытаясь ухватить тот сдвиг, из которого возникла странная, не свойственная ему фраза. Снова ничего не получилось, он уловил лишь, что там была не Германия, может, и вообще не Европа, но и экзотикой не повело, самое же поразительное, что рядом с ним по-прежнему находился Фриц, другой, как и он стал другим,— новая ипостась Фрица. Неужели возможно такое вот спаренное перевоплощение?.. По чести, он предпочел бы, чтобы не Фриц, при всех его несомненных достоинствах, сопутствовал ему в новом существовании... Ах, если бы договорить, доспорить с Шиллером!.. А увидеть вновь юную Фридерiku, доверчивую, трогательную Фридерiku, которую он так внезапно бросил, не воспользовавшись плодами победы, спасая себя от нее, а ее — от себя,— почему в молодые годы им владела неодолимая страсть к разрывам? Наверное, то было безотчетное, самосохраняющее чувство: кто-то в нем, более умный, нежели он сам, знал, что чудо жизни даровано ему не для того, чтобы изойти томлением и восторгом у женской юбки. Но как они были прелестны! И Фридерика, навек запечатлевшаяся в нем тонкой болью, и нежная Шарлотта Буфф, ставшая г-жой Кестнер и тем подарившая ему и веку Вертера, и страстная, смелая Лили, так бурно любившая, готовая бежать с ним в Америку, и стойкая, гордая, измучившая его больше всех женщин, вместе взятых, прежде чем подарить своей близостью (неудивительно, что перетянутая струна вскоре лопнула), баронесса фон Штейн, и обреченная пленять всех, кто неосмотрительно приближался к ней, Минна Херцлиб — сам Эрот придумал эту фамилию, и даровитая, таящая пламень под личиной холодного прекраснотушия Марианна Виллемер, с которой он вновь стал Вертером,

правда, умудренным годами и застрахованным от поражения. Но все самое нежное, трепетное и одухотворяющее сосредоточилось в его последней любовнице — Ульрике Левецов, нет, все же не любовнице, хотя были и поцелуи, и объятия, такие пылкие! — а ведь ей всего девятнадцать, это он, седовласый, разбудил невинное создание для чувственной любви. Да будет с ним лишь она, одна она, во всех последующих превращениях, его душенька, его богиня, которую он вскоре назовет женой перед небом и людьми.

Гете не сомневался в чувстве девушки, да и не было такого, чтобы его страсть не вызвала ответной страсти. Даже Шарлотта Буфф, кладезь немецких добродетелей, невеста честного Кестнера, олицетворение долга, порядочности, житейской трезвости и расчета, потеряла на миг голову, ясную и озабоченную голову, спокойно и прямо сидевшую на крепких плечах юной хозяйшкн большого дома овдовевшего отца, и так ответила ему на воровской поцелуй, что сладостный его яд обернулся выстрелом Вертера.

И все-таки тогда он потерпел поражение. Впрочем, он сам отступился от Шарлотты — из дружеской преданности Кестнеру, так это выглядело, на деле — все из той же самозащиты, ведь, разрушив их помолвку, он брал на себя обязательства, которых втайне страшился, как и всю жизнь страшился официального закрепления связи; он и на брак с Христиной решился после восемнадцати лет совместной жизни, когда погасла страсть и вошел в возраст сын-бастард. А сейчас он открыто и радостно готовился к таинству брака, призванного увенчать его последнюю и самую большую любовь. Правда, последняя любовь всегда казалась ему самой большой, то было заблуждение незрелости, но в семьдесят четыре года чело-век не обманывается в своих чувствах. Благодетельная природа сотворила для него великое чудо, воскресив его сердце, наделив второй молодостью, не только душевной, но и физической. У нас будут дети! — думал он горделиво. — И я уже не упущу их, как упустил бедного Августа.

В Ульрике с ее тугими локонами, удлиненными, широко расставленными глазами, глядевшими то с детским доверчивым удивлением, то с проникательностью мудрой, хотя еще не осознавшей себя души, таинственно сочеталась наивная непосредственность с той глубокой женственностью, что важнее опыта и ума. Без этого дара женский ум даже высшего качества сух, бесплоден и несносен. Вечно женственное обладает бессознательной способностью проникать в скрытую суть вещей и явлений, перед его интуитивной силой пасует просвещенный, систематический ум мужчины.

В Ульрике поражала отзывчивость — на мысль, слово, чувство, прикосновение. Ее все захватывало: минералогия, ботаника, зоология, физика, химия, лингвистика, история; никому и никогда не излагал Гете с таким удовольствием и уверенностью, что его поймут, свою теорию цвета, как этой девятнадцатилетней девочке; а как обрадовала и воодушевила ее идея о прарастении, над которой все издевались, — видимо, тут что-то соответствовало ее жажде цельности и художественной завершенности мироздания; музыка и стихи елозили в уголках ее широко расставленных глаз, а когда Гете прикасался губами к ее ароматной головке, она вздрагивала, прижималась к нему легким телом, сжимала отвороты его сюртука и полу-открытым, прерывисто дышащим ртом искала его губы. Если б он меньше любил Ульрику, то сделал бы своей, но зачем ему ворованное наслаждение, раз они скоро свяжут судьбы?

Никогда, даже в расцвете лет, Гете не пользовался таким успехом у женщин, как в пору, которую люди слабодушные и невыносливые считают угасанием, хотя, быть может, только тут человеческая личность находит свое окончательное воплощение. И потому разница в возрасте ничуть не смущала Гете — он был уверен в себе и в Ульрике, и если попросил великого герцога Веймарского быть его сватом, то единственно из легкого недоверия к г-же Левецов. Конечно, Пандора была его другом, некогда другом весьма нежным, она знает ему цену и, надо полагать, осве-

домлена о чувствах своей дочери, но кто поймет этих мамаш! Может, у нее на примете другой претендент, не уступающий Гете ни богатством, ни положением, но обладающий — в глазах глупцов — преимуществом молодости; нельзя исключать и чисто бабьего расчета: Пандоре может взбрести в голову, что бывшему возлюбленному уместнее взять в жены ее, коли уж приспичило жениться, а Ульрику получить в дочери — с бюргерской точки зрения это куда естественней; наконец, она может возревновать к дочери или просто не поверить в окончательную серьезность намерений старого ловеласа, каким считает его курортное общество, или же посчитать молодой блажью склонность дочери к седому поэту. Короче, нужна гарантия серьезности, чистоты и достоинства его намерений. Державный сват явится достаточно веским поручителем.

Старый бурш, как называл Карла-Августа умный и насмешливый Меттерних, был одним из самых взбалмошных, распущенных и непутевых немецких князей; любивший пуще души охоту, вино, баб и войну, он к старости не только остепенился, но удивительным образом преуспел во всех своих непродуманных начинаниях. Ввязавшись в войну с Наполеоном, испытав жестокое поражение, позорное бегство, потерю всех земель, он в конце концов оказался в стане победителей, а его заштатные владения расширились и стали Великим герцогством; сочетая распутство с многолетней влюбленностью в красивую, но малоодаренную и вздорную актрису Ягеман, он, овдовев, женился на ней и возвел на великокняжеский трон; проведя полжизни на кабаньей и оленьей охоте, беспощадно вытаптывая крестьянские поля, он вдруг дал своей стране конституцию и привлек к управлению третье сословие; то ссорясь, то мирясь с Гете, сместив его в угоду Ягеман с поста директора театра, он сумел намертво привязать величайшего немца к Веймару, превратив свою крошечную столицу в духовный центр Европы, место всесветного паломничества, и, наконец, не только сохранил при своей

особе многолетнего друга-врага, но и оказался его доверенным лицом в самом деликатном деле. Что это — набор случайностей, стечение обстоятельств, колдовство, влияние тайных сил или характер? Наверное, тут намешано всего понемногу, но в одном не откажешь Карлу-Августу, — в отличие от всех немецких князей, он способен быть не мелким.

Гете хотелось так думать сейчас. Чем крупнее казался ему Карл-Август, тем сильнее вера, что посольство его удастся. А разве может оно не удалиться? Неужели Пандора не поймет всех выгод этого брака — и сейчас, и особенно в будущем?..

Благообразное лицо Фридриха, исполненное почтительного внимания, напомнило ему, что он так и не получил ответа на свой шутивно-странный вопрос.

— Я, кажется, спросил вас о чем-то, Фриц?

— Не смею беспокоить ваше превосходительство своим недостойным любопытством, — с политической уклончивостью, достойной Меттерниха, отозвался Фридрих.

— Напрасно, Фриц. Вы живете в моем доме, и вас не могут не интересовать предстоящие перемены. Так вот, друг мой, ваш господин женится.

— Разрешите принести свои поздравления, ваше превосходительство.

— Спасибо, Фриц. Я уверен, что вы сами давно обо всем догадались. Вы тонкая бестия, Фриц.

— Премного благодарен, ваше превосходительство, — поклонился слуга.

Своеобразный демократизм Гете состоял в том, что он относился с интересом к каждому человеку и уважением — к каждому труженику, если тот знал свое дело (Фридрих был образцовым слугой), но как только эти люди собирались вместе для любого действия: протеста, защиты своих прав, тем более восстания, участия в каком-то выбранном органе или даже для выражения верноподданнических чувств, — так тут же становились для Гете толпой, и он

со вкусом повторял изречение Аристотеля: Толпа достойна умереть прежде, чем она родилась. Было вне сомнений, что Фриц никогда не сольется с толпой, презирая ее своим лакейским сердцем едва ли не сильнее, чем его господин — бюргерским, и Гете испытывал к нему ту полноту доверия, которая позволяла говорить о вещах интимных. А сейчас он как никогда нуждался в собеседнике, чтобы заговорить растущую тревогу, поскольку Карл-Август задерживался.

К сожалению, Фридрих был слишком вышколенным слугой и слишком осторожным человеком, чтобы позволить втянуть себя в чересчур доверительный разговор, о котором хозяин рано или поздно пожалеет. Гете сердила лакейская хитрость Фридриха, хотя он понимал, что ничего иного нельзя ждать от человека, всю жизнь находящегося в услужении. Было бы дико, если б Фридрих вспыхнул вдруг захлебной откровенностью своего тезки Шиллера или рассыпался в доверительно-сентиментальных сарказмах Гердера.

— Жизнь нашего дома изменится, Фриц, сильно изменится! — Гете распахнул свои огромные пламенные глаза, словно пораженный величием предстоящих перемен, но не поколебал каменной невозмутимости лакея. — Молодость войдет в наш дом, Фриц! — неискренним — от раздражения — тоном продолжал Гете. — Нам обоим придется помолодеть.

— Ваше превосходительство и так хоть куда! — отважился Фридрих на уместную, как ему подумалось, фамильярность. — А мне позновато.

— Что вы мелете? — вскинулся Гете. — Вы же моложе меня на шесть лет.

— Не равняйте себя с другими людьми, ваше превосходительство. У вас другой счет времени.

— Что это значит, Фриц? — серьезно спросил Гете, пораженный замечанием лакея, которое не могло родиться в его черепной коробке.

Фридрих и сам почувствовал, что высказал нечто сверх своего разума, но, доверясь странной несущей силе, про-

должал, не вдумываясь в смысл произносимых слов, входивших в него словно из нездешнего бытия:

— Вы каждый день проживаете целую жизнь, ваше превосходительство, но время не имеет над вами той власти, что над другими людьми. Для вас у него иная длительность. Вы не старше меня на шесть лет, а моложе на четверть века. Время — не абсолютная категория, ваше превосходительство.

“Этот шельмец обставит меня в каком-то очередном воплощении”, — с досадой подумал Гете.

— Как можете вы все это знать, Фриц? Где вы набрались такой премудрости?

“А и верно, где? — удивился Фридрих. — Черт его знает, что лезет в башку! Надо подтянуться. Не хватало еще слуге наставлять господина. Такого господина!.. Это плохо кончится. Но и господин тайный советник хорош — зачем принуждать подневольного человека к неподобающим рассуждениям?! У каждого свои обязанности, его, Фридриха, дело — чистить платье и убирать в комнатах, а для умных разговоров есть господин Эккерман. Хорошо бы улизнуть. Иначе пытка доверием до добра не доведет”.

Фридрих так и не понял, откуда явилось спасение. Но взгляд пламенных глаз, ставший вдруг нестерпимым, словно ему открылось нечто недоступное зрению простого смертного, соскользнул с его скромной особы, унесся ввысь и потерялся там, а широкая белая кисть Гете дважды сделала нетерпеливый и недвусмысленный жест, означавший: пошел вон!

Фридрих поспешно ретировался, благословляя неведомого избавителя, но и чуть досадуя на старческие причуды своего господина, прежде за ним не наблюдавшиеся.

А Гете видел Ульрику. Видел так ошеломляюще ясно и материально, что на мгновение ему почудилось, будто он может коснуться ее рукой и ощутить тепло округлой щеки и розовой просвечивающей мочки. Он видел черные точки в кобальтовых радужках, ямку в уголке губ, приютившую порошину темной родинки; двойная нитка кораллов обвивала стройную шею и убегала за обшитый кружевами

корсаж. Жаркое легкое девичье дыхание чуть вздымало и опускало шелковую ткань на груди, и он застонал, потому что благость облика его любимой стала болью. Как мог он сравнить ее с другими, кто промелькнул прежде в его жизни, точно с этой его любовью могли сравниться все прежние бедные влюбленности. Да, всего лишь влюбленности, потому что любил он впервые. Наверное, так и должно быть с тем, кого природа лишь насыщала и совершенствовала с годами, ничего не отнимая, кроме заблуждений, и укрепляя в главном — творческой силе и даре любви.

— Его королевское высочество!..— Голос Фридриха, грубо ворвавшись в очарованную тишину, будто подавился самим собой, зная, принцу оттолкнул слугу от двери.

— Я никудышный сват! — вскричал Карл-Август.— Напрасно вы доверились мне.

Гете поглядел на красное лицо старого кутилы и борзятника с узкогубым брезгливым ртом, так не соответствующим жизнерадостному настрою своего владельца, с цепкими, очень неглупыми глазками и не понял смысла сказанного.

— Простите, ваше королевское высочество...

— Ох, старина, хоть бы в такую минуту — без китайских церемоний! — с досадой сказал Карл-Август.

Его раздражал принятый Гете с некоторых пор обычай величать его этим пышным титулом; мнимая почтительность скрывала дерзость, ибо устанавливала между ними дистанцию, которую герцог не признавал, стремясь вернуться к прежней короткости, но старый упрямец неизменно отгалкивал его от себя.

— Слушаюсь, ваше королевское высочество...

— Несносный старик! — в сердцах сказал Карл-Август.— Так получайте: вам отказали.

— Что это значит? — отшатнулся Гете. Герцог посмотрел на задрожавший рот, на смятение, охватившее величавое еще миг назад, прекрасное лицо, и впервые по-человечески пожалел Гете.

— Пандора открыла свой ящик... Правда, сделано это было весьма деликатно, не придерешься, но гады выпущены на волю. А если без иносказаний — мне объяснили, что Ульрика слишком молода и сама не знает своего сердца. Ей нужно время, много времени, чтобы разобраться в собственных чувствах.

— Но Ульрика?.. Почему не спросили ее?

Карл-Август колебался. Он думал, что Гете примет отказ с большим мужеством и гордостью и не захочет знать подробностей этой, в общем-то, унижительной истории. Он отошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу и услышал первые такты Турецкого марша Моцарта.

— Я не знаю,— он говорил, стоя спиной к Гете,— было ли у них отрепетировано заранее или старая Левецов решилась на экспромт. Конечно, на экспромт, хорошо подготовленный. Ваше предложение не явилось для нее неожиданностью, она ждала его. Смутила лишь фигура свата. Но отдадим должное Пандоре — она быстро овладела собой и сама позвала Ульрику.

— А Ульрика?..

— Сказала, что всегда относилась к вам только как к отцу.

— Но это неправда!..

— Ах, старина! Вы же сами знаете, каким влиянием пользуется Пандора на свою дочь. Ульрика — мягкий воск... Если б мать захотела, Ульрика сразу поняла бы, что ее привязывает к вам совсем не дочернее чувство. Но у матери другие планы, и бедная девочка всерьез поверила, что дарила вам лишь детские поцелуи. Ульрика совсем не бунтарка, ее очарование — в готовности принять любую форму. Этим она вас и прельстила. Но авторитет матери выше. Поймите это и смиритесь. Господи, да что, на ней свет клином сошелся? Кругом столько красоток!..

Гете не отвечал, и Карл-Август, незаметно для себя перешедший на игривый тон, бодро обернулся, но то, что он увидел, потрясло его крепкую солдатскую натуру. Вместо

величавого вельможи перед ним был согбенный старик с пергаментной кожей обвисшего лица и потухшим взором.

— Боже мой!.. Что с вами? — вскричал пораженный Карл-Август.— Нельзя же разваливаться из-за юбчонки! Да будьте мужчиной, черт побори! Вы испытаны в страстях, как оперная дива, возьмите себя в руки!.. — Гете молчал.

Похитить Ульрику и обвенчать их тайно? — пронеслось в голове старого бурша.— А хрычовку мать припугнуть, чтобы не подымала шума. Да не пойдет на это наш поэт. А жаль!..

— Может, тряхнем стариной? — предложил Карл-Август.— Помните, как мы повесничали в старое доброе время? Плюнем на этот тухлый Мариенбад и махнем в Вену. Инкогнито.

— Вы очень добры, ваше королевское высочество,— слышался тихий, но уже окрепший голос.— Примите мою глубочайшую благодарность, а также искренние извинения, что я обременил вас столь неловкой просьбой, но я должен сам объясниться с Ульрикой.

“Он будет жить! — восхитился Карл-Август.— Это железный старик!”

..Восемь дней осаждал Гете Ульрику Левецов, и лучше не было бы этих восьми дней в его жизни. Он оставил попытки говорить языком страсти, ибо Ульрика тут же превращалась в обиженного несмышлениша. Он укротил чувство и положился на разум. Бесплодное и мучительное занятие: подавляя крик боли и страсти, доказывать девятнадцатилетней девушке языком железной логики полезность и даже необходимость брака с семидесятичетырехлетним стариком. Изощряясь в казуистике, он вбивал в хорошенькую и смекалистую головку мысль о тщете, безнадежности сопротивления избирательному сродству, так открыто заявившему о себе в их случае. Потраченного им ума, вдохновения и волевого напора хватило бы, чтобы закончить вторую часть Фауста, растянувшегося на всю его жизнь, но великое, изощреннейшее витийство разбивалось

о глухое упорство девушки, не желающей покидать страну, название которой юность.

Впрочем, Гете казалось, что Ульрикой правит не внутреннее веление, а посторонняя сила, которую можно одолеть, ибо неодолимо лишь то, что вне рассудка, вне разума. Пророк Моисей говорил, что ему ведомо все, кроме одного — что происходит в голове сумасшедшего, поэтому тут кончается его власть. Сфера чистой эмоции сродни безумию, она непостижима и неуправляема, но Ульрикой, как он думал, двигала чужая воля. Он отнюдь не преуменьшал влияния Пандоры; у нее были преимущества места — всегда рядом с дочерью, пола и крови. Перед всем этим оказывается бессилён ум. Ну а сила личности, а гениальность?.. И он стал гениален, отдав этой девочке больше, чем всему Западно-восточному дивану, но не продвинулся ни на шаг, хотя чувствовал порой, как загорается ее отзывчивая душа. Что-то намертво развело их. Что?.. Нет смысла ломать голову. Пандора могла выпустить из своего ящичка таких гадов, что и думать о них противно. Но зачем это нужно Пандоре? Быть может, она боится, что необузданный Август и далеко не кроткая Оттилия разрушат помолвку или сделают жизнь его молодой жены невыносимой? Такая тревога оправданна. Но почему бы ей не сказать ему об этом? Он бы ответил прямо: я возьму в руки кнут и усмирю их. Я никогда этого не делал, но сделаю ради Ульрики. Может, объясниться с Пандорой, развеять ее материнское беспокойство, дать какие-то гарантии? Этого не принимала душа. Получить Ульрику в результате сговора? Да будь дело только в его семейных сложностях, практичная г-жа Левецов давно бы навела разговор на волнующие ее обстоятельства, но она и не подумала этого сделать. Нет, она просто не хочет его для своей дочери, и все тут! Осилить ее можно было бы лишь с помощью Ульрики, но ту словно подменили. Неуловимая, недоступная и оттого лишь более желанная, она утратила свою горячность и непосредствен-

ность, стала рассудительной, осторожной, контролировала каждое слово, каждый жест. Даже позволяя порой увлечь себя мыслью, образом, полетом воображения, она все время оставалась начеку. Когда же ему изменяла выдержка и он не мог сдержать гневной боли, она остужала его чужими, заученными словами:

— Не надо сердиться. Будьте моим добрым, мудрым другом.

И он отступился, поняв, что ему не пробиться к маленькому, сжавшемуся в тугой комок сердцу...

Прощаясь с Ульрикой перед отъездом — карета ожидала его у дверей, Гете заметил промельк смятения в кобальтовых, с черными крапинками глазах: пусть на мгновение, но тайная душа ее проговорила о чем-то таком, чего не знало дневное сознание девушки. И в недобром прозрении он сказал:

— Если б вы были только красивы, только очаровательны и по-женски умны, Ульрика! Я был бы спокоен за ваше будущее. Но вы слишком значительны и слишком глубоки для обычной женской доли. Вы еще сами не понимаете этого, но, когда поймете, будет слишком поздно. Вы обрекаете себя на безбрачие, бедное дитя мое. Нет ничего грустнее бесплодной смоковницы. Прощайте, мы никогда больше не увидимся.

Ульрике было грустно расставаться с Гете; до чего же нелепа жизнь, если нельзя сохранить его в качестве друга, собеседника, наставника, нет, главное, в качестве друга, очень, очень близкого друга! — ей так нравилось целовать темные огненные глаза, заставляющие забывать о его годах, но прощальная угроза задела женскую гордость, и, хотя у нее хватило вкуса, такта и снисхождения промолчать, даже потупить с печальной покорностью: мол, что поделаешь, раз такова моя участь, в душе она посмеялась над пророчеством Гете, не знавшего ни о смуглом кудрявом сыне соседа-аптекаря, ни о байроническом гофрате из Дрездена, с которым она познакомилась на последнем балу, дав из-за него отставку стройному, элегантному геттингенскому студенту...

Чуть приоткрыв занавеску, Ульрика смотрела, как старый рослый лакей Фридрих тяжело подсаживал в карету своего будто обезножившего господина.

— Бедный, бедный дедушка!..— вздохнула Ульрика, рассмеялась и вдруг заплакала...

...Трясущийся на козлах рядом с кучером Фридрих с тоской поглядывал на корчмы, трактиры и гостиницы, то и дело мелькавшие по сторонам дороги. Курортный край был насыщен первоклассными заведениями, где усталый путник мог утолить жажду и голод, дать отдых истомленным членам. Они находились в пути уже более семи часов, а Гете и не думал дергать за шнурок, конец которого был привязан к мизинцу Фридриха.

Конечно, любовный голод вытесняет мысли о пище телесной, и г-н тайный советник в своем теперешнем состоянии не вспомнит о грубой материи жизни до самого Веймара. Но Фридрих не был ни влюблен, ни отвергнут, в животе у него урчало, глотку саднило, а голова упрямо клонилась к груди, но голод и жажда отгоняли спасительный сон. Не знал сердечных ран и кучер, но этот здоровяк с каленым лицом настолько привык к дорожным лишениям, что в нем не найдешь союзника. Надо полагать, что и ехавший сзади в двухместной карете секретарь тоже не понес любовного поражения, но разве осмелится он потревожить высокий покой или скорбное томление г-на тайного советника! Оставалась одна надежда на малорослых лошадок с лоснящимися крупами. Крепенькие и резвые, но порядком забалованные, они привыкли к бережному отношению и недвусмысленно выражали свою обиду, то и дело сбиваясь с ходкой рыси на фальшивую трусцу, и кучеру приходилось покрикивать на них и даже взмахивать кнутом. Это ненадолго помогало, но, когда он по-настоящему пустит его в дело, лошади наверняка взбунтуются.

Фридрих вообразил себя лошадью, уже восьмой час идущей в упряжке, взявшей с натугой множество подъемов, круто осаживавшей на спусках, отчего хомут налезает

на уши, он ощутил напряжение в паху и подмышках, лому в крестце, услышал, как екает в брюхе селезенка и как зудит кожа, накусанная слепнями, чешутся глаза, облепленные мелкими мушками,— проклятые твари норовили выпить зрак, и Фридрих сгонял их, хлопая жесткими ресницами; ягодицы ему натерла шлея, он ерзал, чтобы утишить резь; огромный, шершавый, закоженевший язык не помещался в пересохшем зеве, и он свесил его наружу через нижнюю губу... Тут кучер, видать, дернул вожжу. Фридрих, послушный конь, хотел взять вправо и чуть не свалился с козел. Он очнулся и обнаружил, что его дергают за мизинец. Они тащились мимо старой гостиницы с потемневшей от времени черепичной крышей, замшелыми деревянными стенами и черными кирпичными трубами, исходившими сытым дымом.

— Стой! — гаркнул Фридрих и на ходу соскочил с козел. Он остутился, подвернув ногу, прихрамывая, заковылял к карете, но тут дверца распахнулась и г-н тайный советник молодого прыгнул на землю, не дожидаясь, когда Фридрих опустит ступеньку. Из второй кареты уже спешил секретарь, на его узком бледном лице Фридрих увидел отражение собственной ошеломленности. Только с г-ном Гете возможны подобные превращения: его плоть обладала куда большей пластичностью, нежели у доктора Фауста, с которым он так долго возится, тому понадобилось заключить сделку с нечистым, чтобы вернуть молодость, и бесконечно долгие годы, чтобы вновь ее изжить,— г-н тайный советник в течение одного дня мог стать дряхлым старцем и вновь возродиться юным, подобно фениксу, из пламени внутренних сил.

Бодрый, свежий, словно не испытывавший крушения надежд, не похоронивший любви и не намаившийся более семи часов в тряской карете без пищи и питья, он быстро зашагал к гостинице, на ходу отдавая распоряжения:

— Устройте нам вкусный ужин, Фриц. На закуску двадцатка устриц. Проследите, чтобы подали свежайшие. И холодный мозельвейн.— Затем секретарю: — Вы взяли свои

письменные принадлежности?.. Отлично! Мы пройдем в гостиную и кое-что запишем. Фриц, велите подать туда по кружке светлого. И сухих вяленых рыбок.

Позже, когда Фридрих пришел доложить, что ужин подан, секретарь читал своим мелодичным голосом, так понравившимся г-ну Гете, только что записанные под диктовку стихи, сочиненные, как понял слуга, в карете. Вот почему они так долго не делали привала.

.....  
Там у ворот она меня встречала  
И по ступенькам шатким в дом вводила  
Невинным поцелуем провожала,  
Вдруг кинувшись вдогон, иной дарила.  
И образ тот в движенье, в смене вечной  
Огнем начертан в глубине сердечной...

Фридрих не любил стихов, но тут пожалел, что не слышал начала.

— Любопытно,— сказал Гете секретарю, у которого подозрительно поблескивали глаза.— Возраст все-таки чего-то стоит. В юности понадобился Вертер, чтобы уцелеть, сейчас обошлось одним стихотворением.

..Ульрика Левецов прожила очень долгую жизнь. Она дотянула до нашего века. По свидетельству современников разных поколений она до седых волос сохраняла тонкую юную красоту, и даже в глубокой старости лицо ее удивляло трогательной миловидностью. Пророчество Гете сбылось — она так никогда и не вышла замуж; на могильной плите почти столетней старухи было выбито: Фрейлейн Левецов. В женихах не было недостатка, иным удалось затронуть ее сердце, другим — разум, понимавший, что пора наконец сделать выбор и зажить естественной и полноценной женской жизнью. Но что-то всякий раз мешало, останавливало у последней черты. Быть может, память о старике с огненными глазами, но кто это знает?..

# ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ УТРО

Пушкин проснулся мгновенно, и таким свежим, будто не было одури семичасового сна. И сразу почувствовал свое худое, крепко стянутое в суставах, горячее тело. Он спал голый, под одной лишь простыней, да и та неизменно сби- валась комом в ногах, а утра последних майских дней сля- дили приморозком распахнутое окошко, и все же кожа была так сухо-горяча, будто ее нажарило летнее солнце. И до чего же приятно водить прохладными ладонями по мускулам груди и узким бедрам, остужая тело и согревая руки, и знать, что это ты, твоя суть, которой ты хозяин и верный слуга.

Он вскочил резко, упруго и бесшумно, как хищный зверь, окунул полотенце в ведро с водой, стоявшее в тумбочке ночного столика, и обтерся с головы до ног. Натягивая пан- талоны, носки и рубашку, он прислушался к тишине спя- щего лица.

За перегородкой крепко спал уравновешенный, спокой- ный Пушиц, он просыпался на том же боку, на каком и засыпал, но снились ему неизменно — по собственному признанию — нагие девы; тихо дремал Дельвиг, днем он пребывал в полусне, ночью — в полуяви; беспокойно и шумно — с возгласами, бормотаньем и всхлипами — спал Кюхельбекер; образцово спал аккуратный Корф и барствен- но, с носовыми руладами — сиятельный Горчаков. Каждый спал, как умел, по устройству своему, привычке и жизнен- ному положению, но сейчас важно было другое: как обо- шелся Морфей с дядькой Леонтием.

Дядька спал всегда по-разному, и порой казалось, что он — вольно или невольно — пародирует сон воспитанни- ков. То он дремал вполглаза в Дельвиговом пошибе, то выл,

вскрикивал, рыдал и хохотал почище самого Кюхли, то был сдержан, как Модест Корф, то разливался самоуверенной княжеской трубой. Это зависело от того, сколько и чего было выпито на протяжении дня — крепость и качество напитков по-разному окрашивали его сон. Сейчас Леонтия не было слышно, но в каком образе он пребывал: безопасном или чутком — сказать трудно...

В последнее мгновение Пушкин все же чуть не остался дома, и, конечно, не из страха перед дядькой. Он случайно глянул на конторку с оглодками перьев и черноизмаранным листом бумаги — незаконченный ноэль, который он обещал прочесть вечером друзьям своим — гусарам. Но образ ждущей, обмирающей от страха, трепещущей Натальи пересилил.

Держа башмаки в руках, Пушкин осторожно отворил дверь. Его комната была крайней по коридору и находилась рядом с каморкой дядьки. Дверь туда была открыта. Леонтий спал непробудным сном. Значит, нагрузился предостаточно отечественной сивухой — лишь ей удавалось так вот, намертво, укладывать крепкого к выпивке дядьку.

Пушкин обулся и бесшумно направился к двери в другом конце коридора. Несмотря на ранний час, многие лицеисты не спали. Кто-то молился — монотонно и упрямо, кто-то напёвал сквозь зубы, видимо бреясь, кто-то бормотал стихи. И рифмованные строчки, как всегда, приманили Пушкина. В каждом молодом стихослагателе он чувствовал брата, даже в гладеньком и чем-то гаденьком Олосеньке Илличевском, даже в кривляке Яковлеве, хотя его поэтические опыты были случайны и ничтожны, не говоря уже о близком всей кровью, одаренном, пусть и чертовски ленивом Дельвиге или благородном безумце и добряке Кюхле.

Пушкин верил: когда Господь еще качал колыбель новорожденного человечества, люди говорили стихами — это проще, красивей и более соответствует высокой, неуниженной сути человека, нежели спотыкливая проза. Лишь когда человек окончательно отвернулся от неба и утратил

свободу духа, он перестал петь свои мысли и чувства и забормотал презренной прозой. Еще в Гомеровы времена речь людей была ритмически оперена, хотя гекзаметр являет собой первое движение в сторону прозы. Адам и Ева до грехопадения разговаривали четырехстопным ямбом, самым легким, воздушным из всех размеров. С тех пор люди мучительно продираются друг к другу сквозь корявую, затрудненную прозу, ничем не помогающую говорящему и слушающему — ни ладом, ни полетом, облегчающими охват нужного слова, ни ритмом, строящим речь. Но придет время, и люди опять заговорят стихами, и то будет возвращение изначальной гармонии.

Наверное, память о праречи человечества и заставляет юные, послушные естественным велениям души выражать себя через поэзию. Вот и Олосенька, зная, услышал тайный зов. Пушкин сдержал шаг возле его двери и прикоснулся слухом к журчанию ручейкового гладкозвучия. Но слово “древо” в описании отнюдь не библейского, а чащобного, прелого, мохового русского леса мгновенно обозлило его (неужели, живя посреди царскосельских садов, Илличевский так и не научился различать деревья?), а дикий глагол “вопить” заставил по-обезьяньи вздернуть верхнюю губу и отскочить прочь.

Он оказался против комнаты самого незадачливого и непризнанного из лицейских поэтов — Кюхля. В отличие от других воспитанников, Пушкин не чувствовал отвращения к корявой музе Вильгельма, хотя с присущей ему внушаемостью нередко поддавался соблазну злоязычия и отпускал в адрес доверчивого и влюбленного в него друга “вицы”, выделявшиеся среди поверхностного лицейского острословия не только своим ядом, но и способностью намертво западать в память. И бедный Кюхля претерпел от понимающего его и даже по-своему ценящего Пушкина куда больше уязвлений, нежели от всех остальных остряков-недоброжелателей.

Со всегдашним чуть досадливым сожалением прислушивался Пушкин к тяжеловесным виршам — Кюхля слов-

но камни ворочал. Казалось, надо особенно расстараться, чтобы из несметы слов выбрать самое неуклюжее, угловатое, не терпящее никакого соседства. Как же должен он любить поэзию, если способен на подобный сизифовой безнадежности труд!

Если б мне слова и созвучия давались с такой мукой, я бросил бы поэзию. Каждое стихотворение, когда оно отделилось от автора,— это что-то живое, несущее бремя собственного существования. А Кюхля знай себе плодит уродов. Какое мужественное, бесстрашное и стойкое сердце! Его обвиняют в подражании Клопштоку. Но разве у нас нет отечественных бардов, не уступающих немецкому поэту непроворотом громоподобных словес? На каком страшном, дремучем языке писали не только замордованный всеми Третьяковский, но и такие властители дум, как Сумароков, Петров, Озеров и даже великий Державин, чья колоссальная художественная сила прорывалась сквозь трясину и бурелом чудовищных слов. А разве нынешние лучше? Один напыщенный и темный, как могила, Ширинский-Шихматов чего стоит!..

Кюхля глух как тетерев. Может, и другие российские пииты тути на ухо и не слышат живой народной речи? Вот упоительный Батюшков и Жуковский, чье вдохновение вспыхивает особенно ярко от чужого огня, вовсе не глухи, но они не потрафляют так сердцу ревнителя русской поэзии, как дряхлый Державин или допотопный Озеров. А что если люди просто не узнают поэзии, когда она выражается не высокопарным языком богов, под стать торжественной зауми древних акафистов, а живой человеческой речью?

Беда в том, что литература пошла за Данииловым риторическим велеречием, за этим сладкоглаголивым последователем древнего плетения словес и подражателем Екклезиаста, а не за житейщиной пламенного протопопа Аввакума, вспоенного здоровой мужицкой речью. Митрополит Даниил обнаруживал свою растерянность перед словом в самой неспособности к отбору, он бессильно громоз-

дил совпадающие понятия: “также клеветал, осуждал, облыгал, насмехался, укорял, досаждал...” Так и льется звон-пустозвон, а где смысл, точность, простота, прикосновенность к человеческой душе? То ли дело Аввакум! Вон как обращался к несчастной боярыне Морозовой, потерявшей сына: “И тебе уже исково четками стегать, не на ково поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке неково погладить, помнишь ли, как бывало?” Ведь слеза точит, когда повторяешь эти безыскусственные слова.

Ах, Господи, стоит ли терять на это время, когда Наталья ждет не дожидается в своей каморке! Ждет, а сердечко колотится все сильнее, ведь рядом, через стену,— ее хозяйка, фрейлина Волконская. Эта костлявая коза беспокойна и зломнительна. Ей вечно мерещатся привидения, духи, разбойники и насильники. Но вместо того чтобы запереться покрепче, она в развевающемся капоте выскакивает из спальни навстречу воображаемой опасности в тщетной надежде, что померещившийся ей шум обернется не призраком, а вполне телесным уланом, юным пажом или хотя бы дворцовым истопником.

Пушкин еще раз оглядел длинный коридор, серые двери пронумерованных комнат, где на узких железных кроватях спали юные князья и бароны, отпрыски помещиков и служилых дворян, будущие чиновники, воины, мореходы, поэты, бунтовщики, — каждый уже прозревал свой путь, члены незабвенного лицейского братства, и неожиданно для самого себя сказал вслух, хоть и негромко:

— Спите, дети!.. Бог да хранит вас!..—И выскользнул за дверь.

Можно было пройти через двор, сунув трингельд в привычную ладонь швейцара, но Пушкин решил воспользоваться внутренним переходом — через арку и хоры дворцовой церкви. Правда, в темноте там немудрено и шею свернуть, зато меньше риску быть замеченным!

Ему повезло. Двери послушно и бесшумно поддавались легкому нажиму пальцев. В арке с выбитыми стеклами узких

окон его хорошо и крепко прохватило студию утренника — снаружи травы и цветы были в седой припушке. Вскоре иней растает и выпарится туманом, а зелень станет зеленой и яркой. Прежде чем нырнуть в густую, пряную, ладанную темь церкви, он посунулся грудью к пустой оконной раме и принес Наталье свежесть подмороженного майского утра.

Пушкин слышал, как испуганно колотилось и обмирало в ней сердце. Он ласкал ее, успокаивал, говорил, что он с ней и не даст в обиду. Хотя что он мог, недоросль, лицеист, которого лишь недавно освободили от унижительного хождения в паре? Пусть только покусятся на его милую! У него острые зубы и когти, крепкие кулаки и дар неоглядной ярости. Но ведь никто не посягает на нее, не мешает их уединению и счастью, и прочь злые мысли!..

— Тише, Александр Сергеич, ну, тише же! — молила Наталья.— Ох, Сашенька, погубите вы меня!..

— Почему ты плачешь? — спросил Пушкин.— Перестань! Дай я вытру твои глаза. Ну что ты, глупая?

— Не знаю,— низким от слез голосом сказала Наталья.— Не сердитесь. Я сама не знаю, чего плачу. Хорошо мне с вами, вот и плачу.

— Мы всегда будем любить друг друга,— сказал Пушкин, веря своим словам.

— Да будет вам! — Наташа рассмеялась странным и отчужденным смехом.

Неприятен был этот взрослый смех, отбрасывавший его в детство. Наташа словно враз стала старше, она знала то, чего не знал он, прочно, сознательно и коротко жила данностью. Это было грустно, обидно и скучно. И еще скучнее стало, когда Наташа невесть в какой связи, а может, и вовсе без всякой связи, принялась рассказывать о своей подружке Маше, актрисе на выходах домового театра графа Толстого, и обмолвилась, что она тяжела от графского племянника, улана. Было жалко девушку, Пушкин смутно помнил круглое лицо, наивно приоткрытый рот и ореховые глаза, но к жалости примешалось раздражение.

— Тяжела — гадость! Улан ее обрюхатил,— сказал он резко.

— Фу, Александр Сергеич, ну и язычок у вас! Мы простые, и то говорим тяжела, а вам приличнее выразаться беременна.

— Брюхата! — вскричал Пушкин.— Неужели ты сама не слышишь? “Брюхата” — полно и кругло, беременна — блекот какой-то! А тяжела — вовсе мертвечина.

— Ну ладно! — сердито сказала Наташа.— По мне, как ни называйте...

Пушкин резко отстранился.

— Куда же вы? — жалобно спросила Наталья.

— Пора...— сказал Пушкин, чем-то смутно озабоченный. Нет, не бедою Маши и улана, а чем-то другим, возникшим раньше, а сейчас зашевелившимся на дне души, не обретая отчетливого образа.

— Погодите!..— сказала Наташа и выскользнула из комнаты. Движения Пушкина были медленны, затрудненны, хотя он и не отдавал себе в том отчета. Ему нужно было поймать какую-то реющую возле виска, тревожную мысль, но это никак не удавалось. Ну и Бог с ней! Важная мысль сама всплывает рано или поздно, а неважная — пропади пропадом.

Он вышел в коридор — непроглядно темный после солнечной комнаты Натальи. Вытянув вперед руки, он двинулся к выходу, и тут бесшумным белесым призраком навстречу ему метнулась Наталья. Нежданное виденье ее разом уничтожило возникший было холодок. Пушкин принял ее в свои объятия, ощутил незнакомую худобу под ладонями, в ужасе отстранился, и тут же истерический вопль: “Помогите!” — растерзал тишину дворца. Фрейлина Волконская дождалась своего насильника.

Пушкин стремглав кинулся в долгую тьму коридора, пронизал ее, нигде не споткнувшись, скатился по лестнице и выскочил наружу. Прижимаясь спиной к стене, скользнул под арку и очутился по другую сторону дворца.

Но лишь выбежав в сад, почувствовал он себя в безопасности. Едва ли это приключение сойдет ему с рук. Ей бы помолчать, старой козе, и вкусить от запретного плода, вернее, кочана, доставшегося по ошибке. Небось, переполюшила весь дворец. Теперь пожалуется Елисавете Алексеевне, та — государю, начнется дознание, и, как всегда, подозрение падет на лицеистов. Ему не выкрутиться, да и не умеет он врать.

В парке было сыро и солнечно. Чесменская колонна то исчезала, то вычернивалась в реюющем тумане. От пруда тянуло холодом. А высокая лестница Камероновой галереи купалась в солнечных лучах, косо падавших из прозоров меж ветвями старых рослых лип. Не чувствовалось даже слабого ветерка, а листья лип ворочались на черенках, подставляя солнцу то лицо, то рубашку. И уже поблекли пурпурные и лазоревые цветы медуницы, лесного копьеца, значит, всерьез взялась весна.

В стороне Китайской деревни, что за Малым Капризом, щелкал соловей. Да и не просто щелкал, а обучал бою и трелям молодого соловья. Старший был великим мастером, он даже в учебное, замедленное “тех, тех, тех” вкладывал поэзию, а молодой напоминал Илличевского — с легкостью подхватывал любую ноту, выводил любое колечко, но только пусто у него звучало, без тайны и чуда дивного птичьего сердечка, так созвучного сердцу человека. Где творился этот музыкальный урок? Похоже, в сиренях за обиталищем Карамзиных. И сильный полный голос соловья-учителя пронизывал утренний непрочный сон Катерины Андреевны, пошли ей счастья, Боже, а мне смирения... Ты предала меня своему умному, образованному, безукоризненному мужу, отдала в его холеные, спокойные руки мое безумное письмо. И он ограничился отеческим внушением с усмешкой почти невысокомерной, но лучше бы он вонзил мне нож в сердце. Вы обошлись со мной, как с напалавившим мальчиком. Но я совсем не мальчик. Просто я не умею защищать свое достоинство, зато я

умею помнить обиду. Но тебе я все простил, даже свое унижение, а ему не прощу достоинства. Ты ничего не поняла во мне, взрослая женщина. Бог тебе судья. Быть может, ты восплачешь обо мне! Заплачешь,— поправился он.— Нет, восплачешь, здесь — восплачешь. Простота поэзии — это не простота прозы...

Он сам не понял, что заставило его мгновенно обернуться и замереть в заслоне толстого ствола. Спасаящее движение опередило испуг. Прижавшись щекой к жесткой влажной коре, он с неправдоподобной, словно под лупой, отчетливостью увидел возле Камероновой галереи рослую, закутанную в плащ фигуру императора, треуголку, надвинутую на лоб ниже положенного артикулом, но все же не закрывающую бледно-голубых меланхолических и лживых глаз. Белые пухловатые щеки, маленький, надменный, с чуть всосанной нижней губой рот — каждую черточку этого сызмальства знакомого лица разглядел он с зоркостью, дарованной ненавистью.

Пушкин ненавидел Александра всеми фибрами души, ненавидел его двоедушие, позерство, удачливость, глухоту, люто ненавидел этого плащ-майора под личиной либерального монарха, сентиментального отцеубийцу и первейшего лукавца Европы.

Самодержец вел себя странно, он явно хотел остаться неузнанным. Пожалуй, слишком явно. Скрывайся он всерьез, все выглядело бы иначе: можно так закутаться в плащ, что тебя не то что издали, а нос к носу никто не признает, если к тому же заменить примелькавшуюся всем треуголку гусарской фуражкой. Можно, наконец, прятаться за деревьями, а не лезть на свет и не озираться так часто, с таким наигранным, но соблюдающим достоинство смущением. Императору отлично известно, что не только лицеисты, но и дворцовые служители, дежурные офицеры, расквартированные в Царском Селе гусары и уланы ходят в царские сады как к себе домой, назначая там свидания фрейлинам, актрисам, служанкам, дочкам городских обывателей и даже почтенным супру-

гам их, и весь его условный маскарад гроша медного не стоит, да и не маскируется он вовсе. Во всем лукавец и паяц, он хочет попасться кому-то на глаза и стать героем передаваемой на ушко сплетни, что у галантного императора опять завелась интрижка.

И Пушкин поклялся никому не говорить, что видел Александра в образе любовника, спешащего на свиданье. Это будет моей мезтью. Фальшивое видение умрет во мне, и твой обер-сплетник врач Вилье не нашепчет тебе о щекочущем самолюбие слушке. Кстати, почему в царской семье говорят: врач пользует? Откуда такая галантерейщина?! Лечит, лечит, врач лечит, господа, а не пользует! Смутное недовольство, испытанное им у Натальи, определилось: в столице государства Российского никто не умеет говорить по-русски — от крепостной горничной до императора, от лицейского стихоплета до первого барда все врут в языке, безжалостно и беспардонно. И все ж язык не умер. Натуральная русская речь, мудро и неспешно обогащаемая общим течением жизни, сохранилась вблизи своих истоков... Ах, Господи, стоит ли трудить всем этим душу в такое чудесное утро!..

Пушкин быстро зашагал, а потом побежал по дорожке вдоль озера, свернул на росную тяжелую траву, забрызгавшую до колен его светлые панталоны, перепрыгнул через скамью и оказался в лиловой аллее. Он чуть задержался у Девы, разбившей кувшин, и в который раз подивился изяществу ее горестной позы.

Теперь он мчался по аллее, ведущей к искусственным руинам. Солнечная полоса сменялась тенью, кожа успевала почувствовать прикосновение теплого луча и skleпий холод, где застило деревом. Он бежал все быстрее, наслаждаясь ветром у висков и хрустом песка под башмаками и ничуть не боясь, что его обнаружат. На нем была шапка-невидимка, он мог не только носиться по аллеям парка, но и вбежать во дворец, проникнуть в царскую опочивальню и наполнить ночную вазу играющего в блуд императора.

Достигнув опрятных руин, созданных дисциплинированным гением одного из царскосельских зодчих, он повернул назад к пруду, но теперь бежал вдоль аллеи, по траве и желтым цветам. Как быстро менялось все в природе! За немногие минуты трава успела обсохнуть, лишь в манжетках покоились серебристые расплюснутые капли росы, туман рассеялся, и обвитый цепями и стрелами Чесменский столп гордо вознесся над водой, заблиставшей всем зеркалом. И в миг наисильнейшего восторга перед утром и солнцем, перед всем весенним напряженным миром и своим причастием чуду жизни Пушкин вдруг ощутил свицовую усталость. Колени подогнулись, он почти рухнул к сухому изножию развесистого клена.

Случалось, он засыпал легко и быстро, с осязаемым удовольствием погружаясь в сон, но такого блаженства никогда еще не испытывал. Он словно возвращался в защищенность и безответственность своего предбытия. Он был свободен, чист, ничем не обременен, покоен высшим покоем животной безгрешности. Он никогда еще не прятался так хорошо от окружающих и самого себя, как в этот сон посреди разгорающегося царскосельского утра. Там его и взяли...

Не стражники, не дворцовая прислуга, не первые праздношатающиеся.

Деревья — они были зачинщиками. Они окружили его, шевеля листвою, скрипя сучьями, потрескивая нутром стволов. И он услышал их Мольбу: “Назови нас, назови...” — “Но вы же названы”, — удивился он и затосковал во сне. “Не так!.. Не так!.. — мучились деревья. — Наши имена забыты...”, “Я вяз, Пушкин, а не дерево”. — “А я — клен!..” — “А я — липа!” — “Я — береза!”

Но едва он начал привыкать к грустным и добрым голосам деревьев, как послышался змеиный шип, и малая трава вокруг, обернувшись бескрайним, колышущимся волнами, как в предгрозе, то взблескивающим, то притеняющимся полем, засипела: “И траву не забудь, Пушкин! Я не

травы-муравы, я вся разная. А мурава — спорыш!” И зазвенели цветы, зажужжали летучие и ползучие насекомые, и кто-то черный подковылял на широко расставленных ногах и, зыркнув железным зраком, прокартавил: “Я ворон, ворон, а не вран, и я сам по себе, а не вороний муж”. И разные морды высывались из-за деревьев, пялились из травы, нависали с сучьев. Всяк требовал себе настоящего имени, всяк хотел быть назван по существу своему и достоинству, и пруд возжелал из глубины громадного чрева быть поименованным по чину, и сизое облако, и само солнце, и — ради этого на миг посмерклось небо — все ночные светила, а дальше пошло такое, что хоть в голос кричать: “Стойте!.. Пощадите!” Не только живые создания, предметы и явления, но сами обиженные слова долбили в мозг нищенской клюкой, все сущее, и подразумеваемое, и называющее суть хотело стать самим собой, воплотиться в точное, не искаженное, не униженное косноязычием иль чужеземным налетом слово. И все верили, что ему, спящему мальчику, под силу этот титанический труд.

Он отринул от себя всю душную навалю и вырвался из сна. У него были мокрые глаза. Он вытер их рукавом и вдруг заплакал. Отчего? От провидения судьбы и ноши, ему уготованной? Эта ноша была непосильна его юношеским плечам. Ему хотелось жить, любить Наталью, поклоняться Карамзиной, писать легкие и дерзкие стихи, жалеть старых друзей и восхищаться новыми, побеждать на всех ристалищах, чувствовать в лопатках подъемную силу крыл, а не взваливать на себя грехи всех словообидчиков, не сумевших угадать имена населяющих мироздание. Почему он должен расплачиваться за чужую глухоту? Сблизить слова со смыслом, выловить в хаосе звуков истинные обозначения вещей и явлений, дать литературе живую речь, искаженную непрошеными зашельцами, церковниками, немецкими профессорами. — разве по плечу такой труд одному человеку?

Он плакал, потому что кончилось детство. Для тех, кто еще томился в душных спальнях на четвертом этаже ли-

цейского здания, для юных честолюбцев, мечтателей, поэтов, умников и простофиль детство продолжалось, он один выделен судьбой. Прежде ему казалось, что детство кончилось, когда он впервые обнял Наталью в тесной ее каморке, но дух его остался волен. На нем не было ответственности, а лишь это и есть взрослость. И что бы он теперь ни делал, как бы ни бесчинствовал, ему не убежать от своей ноши. К трубочному табаку, к искрящемуся шампанскому, к обжигающему пуншу, к сладости женских губ будет пришиваться горечь взятого на себя — когда и перед кем? — обязательства...

...Не только близкие Пушкину люди, но и наблюдавшие его со стороны — в гостиных, на гулянье, в кругу друзей, за пиршественным или карточным столом — подмечали странную особенность поэта вдруг выпадать из окружающего, проваливаться в какую-то угрюмую бездну, куда не достигали голоса живых. И так сделалось с того царскосельского утра, с того вещего сна, когда кудрявый мальчик узнал, кто он и зачем явился.

## ОТ ПИСЬМА ДО ПИСЬМА\*

Уезжая в конце августа 1830 года из Моемы в Болдино, Пушкин отправил Петру Александровичу Плетневу, издателю, поэту и критику, впоследствии ректору Санкт-Петербургского университета, печальнейшее письмо:

“Сейчас еду в Нижний, т.е. в Лукоянов, в село Болдино. Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха 30-летнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думая о заботах женатого человека, о прелести холостой

---

\* В Болдине посетителям показывают пушкинскую усадьбу с тщательно обставленным барским домом, конторой, службами, парком. При этом не скрывают, что дом стоял на другом месте и выглядел, скорее всего, иначе, что обстановка собрана по признаку типичности для помещичьего быта средней руки тех давних лет, что парка вообще не было. Но это помешает тысячам людей благоговейно взирать на приблизительно вычисленный пушкинский мир и чувствовать свое сближение с великой тенью.

Если в мире веско материальном допустимы варианты, тем более дозволены они в сфере духовной. Много неосвященных углов в болдинском бытии поэта, но со временем, надо думать, все прояснится. Давно уже местным людям было известно имя Февроньи Виляновой, но лишь в самое последнее время начинает выступать из глубокой тени красивая, рослая дедушка, болдинская любовь поэта. У меня нет никаких документальных подтверждений тому, что все было так, как представляется моему воображению, но я твердо убежден (по немногому, ставшему уже известным о Февронье), что связь с этой необычной девушкой не могла остаться нейтральной к самочувствию поэта, к тому поразительному сдвигу в его настроении, который произошел в первые болдинские дни. И я предлагаю свой вариант случившегося, ничуть не менее допустимый, чем материальный вариант пушкинского быта, воплощенный в мемориале “Болдино”. — *Примеч. автора.*

жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери — отсело размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения,— словом, если я и не несчастлив, по крайней мере не щастлив. Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает,— а я должен хлопотать о приданом, да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню. Бог весть, буду ли иметь время заниматься, и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Качановского. Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о щастии как-будто я для него создан. Должно было довольствоваться независимостью”.

Со скромной гордостью Плетнев говорил, что был для Пушкина другом, поверенным, издателем и кассиром. Ему посвящен “Евгений Онегин”, ни с кем, кроме московского Нащокина, не был Пушкин в зрелые годы так прост, откровенен и доверителен, как с Плетневым. Унылое письмо друга огорчило добрейшего Петра Александровича до слез. У занятого сверх головы литератора мелькнула шальная мысль: бросить все да и махнуть в забытое Богом и людьми Болдино. Останавливало одно — Пушкин не терпел непрошеного вмешательства в свои дела, это позволялось — по юношеской памяти — одному Жуковскому. Если надо, Пушкин без обиняков просил своих друзей дать займы, защитить от журнальной травли, заступиться перед властями, секундировать на дуэли. Но непрошеного доброхота мог отбрить. Плетнев пребывал в томительной растерянности, когда пришло другое письмо, уже из Болдина, посланное дней через десять после предыдущего:

“...Теперь мрачные мысли мои порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня холера морбус. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще

Цензора Щеглова язык и руки связывает... Сегодня от своей получил я премиленькое письмо: обещает выдать за меня без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву — я приеду не прежде месяца... Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; ездят верхом, сколько душе угодно, пиши дома, сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготоваю всячины, и прозы, и стихов”...

Плотнев возликовал: Пушкин доволен, Пушкин спокоен и весел, ему пишется, значит, кончился долгий застой!.. Непонятно лишь, чем вызвана столь внезапная перемена в его настроении. Быть может, его осчастливило “премиленькое письмо” невесты, готовой обойтись без приданого? Но говорится об этом шутливо — Пушкин знает, что его избранница не вольна распорядиться собой. Ему весело ударить от невесты, он вовсе не спешит на зов: “приеду не прежде месяца”. Похоже, и холера ему не холера, это при его-то мнительности! Нетрудно вообразить, какую прелесть являет собой затерянная на краю Новгородчины, глухая, разоренная деревушка. Но он радуется, что кругом ни души, что можно до усталости скакать по голой осенней степи. Что ж, остается принять новый образ друга — Пушкин-отшельник, Пушкин-схимник. Поразительная метаморфоза!..

...От Владимира они взяли направо к Мурому. Прямым было быстрее, но Пушкину не терпелось расстаться с “дорогой в одну сторону”, как называли Владимирский тракт, которым, с тех пор как Россия разжилась Сибирью, шли несчастные: осужденные на каторгу, в ссылку и переселенцы. Этой дорогой шли декабристы, шел Пущий — первый друг... И он вздохнул свободнее, когда проклятая Владимирка скрылась из глаз.

Пушкин похвалялся, что проезжает пятьсот верст за двое суток. Как раз столько было от Москвы до Болдина, но дай Бог ему доехать за время вдвое большее. Прошли дожди, и дорога, не имевшая водостоков, уподобилась набитому грязью корыту с глиняными стенками. Колеса засасы-

вало по ступицы, старые, костлявые лошаденки, надрыва-  
ясь, растягивая паха, оскальзываясь стершимися подкова-  
ми, из последних силенок выдирали карету из вязкой гли-  
ны,— Господи, быть русской лошадьё еще страшнее, чем  
двуногим обитателем Богом избранной страны! Пушкина  
кидало из угла в угол, сбрасывало с сиденья, а по полу ело-  
зила, больно придавливая ноги, вместительная шкатулка,  
обитая черной кожей. В нее он сунул перед отъездом во-  
рох бумаг: черновики, наброски смутных замыслов, разроз-  
ненные строки — все, что начинал, бросал или откладывал  
в последнее, не располагавшее к работе, судорожное вре-  
мя. Манила слабая надежда, что в болдинском уединении  
на него найдет “дурь”, “дрянь”, так он называл вдохнове-  
ние, и хоть какие-то видения обретут завершенную форму.

Случалось, дорога шла на вздым и там крепчала под  
солнцем и ветром. Ямщик пускал тройку рысдой. Раздра-  
жение чуть отступало, он переставал клясть российское  
бездорожье, алчность будущей тещи, преступную беспеч-  
ность отца, допустившего разорение болдинской вотчины,  
и прикидал к окошку. Экая пустота вокруг!.. Леса пропали  
где-то за Кулебаками, сиротливо сквозили березовые к оси-  
новые рощицы; редко-редко попадались деревеньки, еще  
реже — село с церковью и погостом, и хоть бы один про-  
хожий человек!.. И деревни казались необитаемыми, а ведь  
полевые работы кончены, куда же весь народ подевался?  
До чего пустынна Россия, как необжиты ее все ширящие-  
ся пространства!..

Дорога пошла под уклон, в низину, и сразу испорти-  
лась — грязь, рытвины, ухабы. Пушкин отстранился от окна.  
Шкатулка с бумагами вновь заелозила по полу. Он попы-  
тался удержать ее своими крепкими ногами завязанного хо-  
дока, и какое-то время это удавалось, но потом ему надое-  
ло, он поджал ноги. Обретя свободу, шкатулка окончательно  
разнузданась, она подскакивала под самую крышу каре-  
ты. Вышвырнуть вон?.. Жалко, она была верной спутницей  
в его скитаниях, да и стоит глянуть, что там напихано,

прежде чем уничтожить... Почему-то вспомнилось, что Наталия Николаевна равнодушна к стихам. А зачем ей стихи, она сама поэзия. Она ценит в нем не случайный дар, а самую его суть, это лестно, но есть тут какая-то хрупкая неправда. Умный Вяземский говорил о браке первого русского поэта с первой красавицей России, в его словах — глубина. Конечно, достоинство женщины не исчерпывается красотой, а достоинство мужчины — умением рифмовать, но у них особый случай. Она — Мадонна, совершенство, он — поэт, в коем явлен дух России. Он немеет от ее красоты, она зевает над его стихами, а надо бы, чтобы плакала. Если идея, скрытая в словах Вяземского, не воплотится, они будут несчастливы. Натали еще дитя, ее ум и чувства не развиты, от него зависит... Думать об этом не хотелось. Думать и вообще не хотелось, потому что все нынешние мысли горчили — он переживал неудачную пору. Можно найти утешение в том образе, который он давно лелеял: первый бал. Он входит с молодой женой в бальный зал, трепещущий свет тысяч оплывающих свечей отражается в ее открытых плечах. Все взгляды обращаются к ним. Его некрасивость подчеркнута чистой прелестью ее лица, он кажется еще ниже ростом об руку с высокой женой, но все это ничего не значит, тем больше чести победителю. И как бы ни бесились завистники, как бы ни шипели, ни злобствовали скрытые и явные недоброхоты, все невольно склоняются перед союзом Первого поэта и Первой красавицы. И это будет его реванш...

Еще не померкло в наплывшей мгле сверкание белых плеч Гончаровой, а мысль, неведомыми путями, устремилась к угрюмо-важному — к новому бременю, которое он принял на свою шею, согласившись стать помещиком. Иного выхода не было: из литературных доходов ему не извлечь те одиннадцать тысяч, которые загадала будущая теща дочери на приданое, будь оно неладно! Пугала канцелярская волокита, но загвоздка не в ней: рано или поздно он сладит с чернильным племенем, вступит во владение “двухсот душ

мужеска пола” и тут же заложит их, да ведь эти крепостные “души” обладают живыми человеческими душами, и теперь он за них в ответе. Тут не помогут вольнолюбивые эскапады бездумной юности. Он — русский дворянин-землевладелец, самой историей поставленный в определенное положение в экономической системе государства Российского. Благосостояние помещика и крестьян тесно связаны. Оброк взаимовыгоден помещику и крестьянину, беда в том, что между ними затесался посредник — язва всех поместных отношений, независимо от того, как он называется: управляющий, приказчик, бурмистр или староста. Тяготы Пушкина усугублялись тем, что в болдинских старостах ходил вор Калашников, отец его старой любви Ольги и дедушка курчавого байстрючка с родовыми ганнибаловскими чертами. Выгнать “дедушку” не станет духа, значит, надо как-то ограничить его хищническую злодеятельность. Калашников разоряет зажиточных мужиков, добрых работников, возлагая на них все поборы и подати, которые должны распределяться между всеми тяглецами. А в пору рекрутского набора ставит в солдаты их сыновей, чтобы содрать выкуп. А ведь рекрутчину можно обратить в регулятор экономической жизни деревни. Сдавать в солдаты надо только бездельников, пьяниц, воров, телесно ущербных — словом, неработников, это очистит деревню, сохранит ее производящие силы и помешает старосте обирать справных мужиков. И тут Пушкин услышал внутри себя дробный издевательский смешок. Опять она!.. С некоторых пор он обнаружил, что в нем поселилась маленькая злая обезьянка. Она может днями, неделями, месяцами не напоминать о себе — и вдруг, в патетическую минуту, в разогреве серьезных размышлений, в подъеме чувств или принятии важнейших решений высунет морщинистую морду с желтыми острыми зубками и гнусно захихикает. Он негодует, злится, бесится, но это не производит впечатления на ехидную тварь, и кончается тем, что он сам фыркает и обретаёт свободу — пусть временную — от высоких

чувств и размышлений “басом”. В памяти возникла великолепная сцена из шекспировской хроники “Генрих IV”, где толстый Фальстаф набирает рекрутов для своего разлюбленного друга принца Галля. Воины Фальстафа носят выразительные клички: Лишай, Бородавка, Мозгяк, Тень! Похоже, он хочет распространить на Болдино метод циничного рыцаря\*.

Можешь скалиться сколько угодно,— сказал Пушкин зубастой насмешнице,— меня не собьешь с толка. Каждому овощу свое время. Нельзя требовать от вчерашнего лицеиста мыслей и чувств зрелого, много изведавшего мужа, и безобразно, если будущий отец семейства сохраняет замашки и образ мыслей легкокрылого гонца. Шестисотлетнее дворянство — не шутка, Пушкины никогда не уклонялись от своего долга ни на бранном поле, ни в совете, ни при дворе, ни в сельских вотчинах... Обезьянка так и зашлась от хохота. Возможно, он немного перегнул: ни отец его, ни дядя отнюдь не обременяли себя заботами о сельских вотчинах. Он призван исправить их упущения. Противно, что все его мысли о браке, семейной жизни с тихими радостями... ну, и с балами иногда, должна же молодая жена ощутить упоение жизни, успех, поклонение, прежде чем дети и дом поглотят ее целиком,— словом, все его скромные мечты о счастье фатально

---

\* Через несколько лет так оно и станет. Вот список рекрутов, назначенных болдинской экономией в 1833 году: “Ефим Захаров — течет с ушей Педышев — рана в ноге Капралов — желтью болен Ананьев — палец левой ноги — крюком”.

Кроме того, против каждого помечено “вор”. Еще двое в списке были чисты от болезней и увечий, но один из них — Сягин — сбежал по дороге в Арзамас от отдатчика и скрылся в лесах.

Вот какие ратники украсили победоносное воинство русского царя. “Помещичьему” периоду жизни Пушкина мы обязаны не только суровыми крепостническими “Мыслями в дороге”, но и горестно-упоительной “Историей села Горюхина”, и незабвенным образом Ивана Петровича Белкина, подарившего нам пять бессмертных повестей. Как ни корезит гения — все во благо. — *Примеч. автора.*

связаны с жуликами управляющими, запашкой, оброком, пьяными, бездельными мужиками, рекрутчиной, закладными, ревизскими сказками, будто он не поэт вовсе, а тот ловкий и дерзкий проходимец, что скупал мертвые души. Прекрасный сюжет, но не для поэзии — для прозы, а это ему покамест не по плечу. Хотя проза давно манит, ох манит, как ни отмахивайся от нее и не брани “презренной”. Если б судьба даровала ему немного покоя, ведь сейчас его заветная пора, когда вся дурь рвется наружу!.. Да разве отпустит чертова карусель?.. К тому же такой сюжет жалко утеснять в маленькую повесть, а пускаться в даль свободного романа на прозаической ладье — боязно. Покой... покой... Покоя нет, покой нам только снится,— произнес он вслух и подумал, что стоило бы записать, тут пахнет стихами, да поленился — он не был крохобором, и слова забылись. Но не исчезли, они унеслись в пространство волнами безбрежного океана, имя которому эфир; оттуда, через много-много лет их выловит чуткое ухо другого поэта и дарует вечную земную жизнь...

Он вернул себе достоинство владельца двухсот душ мужеска пола, когда впереди возник на холме Арзамас лесами строящегося собора. Чем-то Казанский напоминает,— отметилось бегло. В другое время он наверняка бы задержался в старом русском городе, на скрещении важнейших торговых путей, исторических — тож, но сейчас даже не вылез из кареты, когда меняли лошадей. Он уже четвертые сутки находился в пути и не мог медлить.

А на выезде из Арзамаса путь пересекли обозы, тянувшиеся со стороны Нижнего. Оказалось, это Макарьевская ярмарка, удиравшая от холеры, что надвинулась на губернию с низовий Волги. Пушкин вспомнил, что и в Москве ходили слухи о холерной эпидемии, но он не придавал им значения. И сейчас не оставалось ничего другого, как махнуть рукой на очередную российскую напасть.

От Арзамаса до Лукоянова, скучного уездного городишка, шли хорошо, с ветерком, как любил Пушкин. На последнем же перегоне дорога опять испортилась. К Болдину

вел не большак даже, а проселок, тянувшийся по жирному чернозему, последнее могло бы порадовать сердце новоявленного помещика, но ленивые кистеневцы и с этой благословенной земли не собирали достаточно урожая, чтобы уплатить барину положенный оброк. И Пушкин досадовал на жирный тук, превративший дорогу в жидко-вязкое месиво. Они не катились, а волоклись, плали, ползли по иссиня-черной грязи. Ко всему из низкой серой тучи безостановочно сочился мелкий дождик, скрывший окрестности, которых, впрочем, и так словно не было. По сторонам ничего не виднелось: ни дерева, ни куста, ни стога сена, только мокрая земля. И так, в сером шепотливом дожде, втащился Пушкин в родовое владение, увидел маленькие, крытые соломой, редко — тесом, подслепые избушки, лепившиеся вокруг барской усадьбы, обнесенной завалившимся тыном, и пусто, скучно было на сердце. Вполглаза видел он посыпавшую с крыльца дворню, бородатого старосту Калашникова, мелькнуло бледное лицо Ольги, кажется, она что-то сказала, низко поклонившись, а он пробормотал: “Здравствуй!” На почтительном расстоянии грудилось десятка полтора утрюмых мужиков, баб и сопливых ребятишек. Была какая-то неловкая суета, ни во что не обратившаяся; Калашников, смахивая слезы, разевал рот, но слова застревали в бороде и усах, дурманно возник призрак Арины Родионовны — схожая с ней грузностью и крупным лицом ключница. Пушкин поднялся по шатким ступенькам и вошел в дом своих предков. Здесь пахло печами, сыростью от недавно мытых полов, самоваром и сухими травами. Он находился в историческом гнезде Пушкиных, но волнения не чувствовал, было грустно и неловко.

Проснулся он рано. За окнами занимался сумеречный свет непогожего осеннего утра. Шуршал тонкий, редкий, неиссякаемый дождь: так и будет он тихо сеяться весь день на почерневшие соломенные крыши, на жирную грязь, на рано облетевшие деревья, на русые головенки детей, платки баб, гречишники мужиков, на залысую шкуру кляч, на

весь этот покорно изнемогающий, забытый Богом мир. В воздухе держится влажный белесый кур, застилающий пространство. Из этого кура явятся мокрые, дурно пахнущие староста Михаила и болдинский грамотей, крепостной человек и ходатай по делам Петр Киреев. Первый — для отчета, оправданий и слезливой лжи, второй — в искренней готовности порадеть барину. Не знающий грамоте Михаила будет во всеоружии неопрятных бумаг и ревизских сказок с точным указанием, кому сколько выдано розог за воровство, пьянство, побитие соседа и старухи матери; Петр Киреев, небось, уже заготовил прошение на высочайшее имя (такова форма) с кудрявыми оборотами, немыслимой орфографией и без знаков препинания, и к этому образцу канцелярского велеречия, взыскующего кистевских душ, должен будет приложить руку Александр Сергеев сын Пушкин, 10 класса чиновник. Конечно, он не станет разбираться в волшебных ревизских сказках, фальшивых отчетах — все примет на веру, разве что пригрозит Михаиле от имени отца лишением доверия, если и впредь будет утаивать и задерживать оброк; не сможет он дочитать до конца бумагу о “введении во владение” и тем заранее отдаст себя в руки своих подчиненных. Впрочем, о Кирееве он слышан как о честном малом, беда, что русский администратор даже самого мелкого пошиба тяготеет к усложнениям. А блудный тесть — неизбежное зло, тут уж ничего не попишешь. Да Бог с ним, авось как-нибудь все уладится. Пусть хоть ненадолго оставят ему эту прекрасную, дождливую, голую, серую осень с чудными запахами сырых березовых дров, мокрой шерсти и сладкого тления...

Все так и было, как он представлял себе, без неожиданностей. И виновато-фальшивое искательство Михайлы с промельками дрянной доверительности (тестюшка-дед!), и бодрая готовность поверенного Киреева, и тоска ревизских сказок и списков с добросовестным перечнем всех палок, выданных нарушителям сельской тишины (тут

Михаила ничего не врал), и велеречивое прошение, которое он, конечно, подмахнул, не прочитав толком,— образец уездной письменности, где “Птицы и протчие Угодьи” писались с прописной буквы, равно как и чин автора: “прошение в черно сочинил и на бело переписал Крепостной Его человек Петр Александров, Сын Киреев”. Лишь “человек” шел с маленькой буквы. Впрочем, неожиданность оказалась, ее можно было предвидеть, зная легкомысленный характер Сергея Львовича: вместо того чтобы выделить сыну души цельным именем, не сведущий состояния своих поместий “Чиновник 5 класса и Кавалер” отдал ему дворы, разбросанные по всему обширному и беспорядочному Кистеневу. Киреев настоятельно советовал Пушкину ознакомиться на месте с будущими, весьма дробными владениями — новая докука!..

Когда они уже уходили, Пушкин спросил Калашникова, есть ли верховая лошадь. “А как же, барин, небось помним, как вы в Михайловском скакать извоили! — осклабился староста и тут же пустил слезу, намекающую на то, что Пушкин не только скакал по живописным берегам Сороти, но и предавался менее безобидным утехам.— Прикажете подать?” — “Не надо. Я сам. Укажи, где конюшня”. Калашников показал. Пушкин натянул сапоги и вышел на заднее крыльцо. Дождь сеялся, как сквозь мелкое сито. За какой-нибудь час его всего измочит до нитки, но не хотелось отступать. Пусть измочит, пусть он схватит простуду, это скрадывает время, задергивает мир туманом жара, и незаметнее минут часы и дни.

Во дворе стоял нерослый, плотно сбитый мальчик лет семнадцати — на каких харчах он так укрепился? — то ли дворовый, то ли просто зевака. Сняв драную шапку, он приветствовал барина. “Ты кто такой?” — спросил Пушкин. “А никто,— ответил мальчик, добродушно улыбаясь.— В карауле ходил. Меня Михеем звать”. — “Ну, Михей,— сказал Пушкин, ничуть не подозревая, что разговаривает с первым народным пушкинистом, который, все так же добродушно

усмехаясь, будет рассказывать людям невообразимого двадцатого века о легендарном для них болдинском барине.— Подсоби-ка оседлать лошадь”.

Парень оказался расторопным, усердным и даже хотел посадить Пушкина в седло. Это оскорбило ловкого наездника и демократа, не терпящего угодничества. Но Пушкин удержался от тумака — в движении сытого парня не было низкопоклонства, лишь добрая услужливость младшего старшему. “Не убейся, барин, дорога склизкая”, — сказал парень озабоченно. “Я крепок в седле”, — и Пушкин тронул коня.

Прогулка не оставила приятного впечатления: опасностей он, правда, избежал, но не в силу своего искусства, а по удивительной робости коня, который слушался повода, лишь когда намерения его и всадника совпадали. А быстрый бег по скользкой грязи его намерениям явно противоречил. Пушкин не признавал хлыста, но тут отломил ветку ивы и стал крепко нахлестывать скакуна. В ответ на каждый удар конь обращал к Пушкину недоумевающее и укоризненное лицо, но шага не прибавлял. “Мужицкая закваска!” — подумал Пушкин и перестал требовать невозможного.

Из всей поездки запомнилась лишь встреча с трудолюбивым селянином в близлежащей рощице. Мужик споро, хватисто и серьезно, как и вообще действуют работающие трезвые крестьяне, когда стараются для самих себя, валил барскую березу. Он поверг ее на глазах подскакавшего всадника и принялся обрубать сучья. Занятия своего порубщик не прекратил и когда Пушкин его окликнул. Оказалось, он слыхом не слыхал о приезде барина. “Нешто б сунулся я в рощу? — истово говорил мужик.— Хотя, вот те крест, ваше благородие, деревцо позарез нужно. Слепнем в темноте, хошь бы лучинку в светлен сунуть!” — “Ради одной лучинки ты валишь молодую березу? Ей же полета нету. Вот что, братцы! — сказал Пушкин, словно обращался не к одному лесокраду, а к целой сходке.— Подождали бы, право, рубить. Роща молодая — настоящий лучинник, вам же на

пользу пойдет.— Он улыбнулся.— Так и скажи мужикам, слышишь?” — “Скажу, барин, все до словечка передам!” — заверил мужик, обрадованный, что сечь за парубку не будут. Но когда Пушкин отъехал, то вновь услышал постук топора,— да ведь не бросать же дерево, коль все равно повалено...

Встреча чепуховая, а разговор даже разумным получился, но почему-то настроение еще ухудшилось. К тому же промок он быстрее, чем ожидал. Грязный, иззябший, промокший до костей вернулся он домой, велел согреть воды и налить в чан. Он не ждал, что это поможет от простуды, у него с михайловских дней было заведено: после прогулки — горячая ванна. Вода имелась — для стирки грели, и чан нашелся, но распорядение Пушкина вызвало оторопь. Здесь мылись лишь по большим праздникам, в печи, и только у немногих зажиточных крестьян топилась баня — по-черному. О банном ублажении его лютого деда Льва Александровича преданий в народной памяти не сохранилось.

Горячая ванна взбудрила, но настроения не улучшила. Простуды тоже как не бывало. Ему предстояло в полной ясности, зверской тоске и раздражении чувств перемогать пустое одиночество...

Другой день его пребывания в Болдине почти ничем не отличался от первого. Все так же лукавил и фальшивил Калашников, озабочивался и бодрился Киреев, старалась мелькнуть бледным, смиренным, но в смирении своем требовательным лицом Ольга, створенная за лукояновского пьяницу чиновника, ключница певуче и заботно спрашивала, чем обедать будет? — хотя, кроме гречневой каши и картошки, в доме ничего не водилось. От скуки он принялся проглядывать кляузные бумаги, но скоро утомился перечнем однообразных провинностей и еще более однообразных кар; обращало внимание, что кистеневцев наказывали куда чаще и круче, нежели болдинцев, но и провинности их были крупнее. У болдинцев, отличавшихся приверженностью к горячительным напиткам, дальше дебоша

в питейном заведении или в собственном доме не шло, пьяные кистеневцы, оправдывая свое прозвание, пускали в ход кистени, ножи и топоры — проливалась кровь; они были охочи до общественной ржи, барского овса, гречи и конопли, постоянно злоумышляли против чужой собственности и отличались ослаблением патриотического чувства: от рекрутчины уклонялись, сданные в солдаты пускались в бег. Пушкин решил послушаться совета Киреева и съездить в Кистенево, дабы собственным глазом обозреть будущие владения и оживляющие их фигуры, равно и познакомиться с тамошним наместником, по намекам дворни, еще большим выжигой, чем Михаила Калашников.

Пока ему седлали лошадь, подошел давешний малый Михай и спросил со своей добродушной улыбкой:

— Барин, а зачем в чане полощешься?

— Для здоровья,— усмехнулся Пушкин.

— Вон-на! — подивился Михай и воздел горе доверчивые голубые глаза.

Когда Пушкин, завернув по пути к роднику с на редкость свежей и сладкой водой — кастальскому ключу, увы, не дарившему вдохновения,— прискакал в Кистенево и спросил прохожего старичка, где найти старосту, тот ответил ласково: “У конторе своей, ваше здоровье”. Как могло с такой быстротой возникнуть и разлететься по округе прозвище? Можно подумать, что улыбчивый Михай, обув семимильные сапоги, помчался в Кистенево с ошеломляющим сообщением, что барин для здоровья полощется в чане с горячей водой. Но ведь нужно время, чтобы родилось прозвище, и разные люди прокрутили его на языке, опробовали на вкус, лишь тогда, хорошо смоченное слюной, может оно затвердеть и навек присохнуть. Даже в городе, где все быстрее, молвь не разносится так стремительно. Без нечистой силы тут явно не обошлось. Прозвище не обидное, но и не уважительное, есть намек на чудаковатость молодого барина. Надо поскорее развеять заблуждение кистеневцев — барин приехал не шутки шутить. Пока

он размышлял, как обуздать кистеневцев, пока жевал свою ложь жулик староста, убедив лишь в одном: вникать в путаницу, созданную легкомыслием Сергея Львовича, нет смысла, важно лишь, чтоб шел оброк, а всякое соприкосновение с живым крестьянским обиходом только усугубляет неразбериху, у него угнали лошадь. Об этом восторженно сообщил белобрысый мальчонка, внучек старосты. Лошадь в конце концов отыскалась, вернули ее без выкупа, но Пушкин решил про себя: в Кистенево больше ни ногой.

Еще более огорченный и сбитый с толка неумным охальством замордованных сельских жителей, Пушкин по распогодившейся и сразу сыскавшей где-то багрец и золото, горьковато запахшей осени вернулся домой, принял “оздоровительную” ванну, пообедал щами с гречневой кашей и любимым печеным картофелем и сел к окошку, глядевшему на пустырь за домом.

То была обширная земля, заросшая жесткими высокими травами: таволгой, волчецом с сухими коробочками, набитыми ватой, иван-чаем, от которого остались мертвые метелки на ломких почерневших стеблях. Низкорослый кустарник — больше по краям — тщился вырваться из цепко опутывающих трав и обрести древесное достоинство. Посреди пустоши проглядывала голубым глазком вода заросшего прудишки. Пушкин с раздражением думал о своем деде Льве Александровиче, в котором ценил чистоту русского феодального типа: неверную жену сгноил на соломе в домашнем узилище, а соблазнителя-французика то ли повесил, то ли высек на конюшне; ну что бы старому бездельнику разбить на пустыре сад? Сидел тут, отверженный от двора Екатерины, с краю пустыря и хоть бы пальцем пошевелил, чтобы сделать свою жизнь наряднее и привлекательней. Понятно, почему забитая жена, презрев страх, кинулась на шею обходительному “мусью”. На что уж беспечен и неумел Сергей Львович, а и тот завел в Михайловском прелестный сад. Неужто старому ревнивцу не тошно было глядеть на эту пустоту? Хорошие виды открываются

из помещичьего дома: по одну сторону сопревшие соломенные крыши, по другую — бурьян, чертополох и “протчая” сорная растительность. Что стоило насадить яблони, вишни, разбить клумбу, увенчав ее стеклянным шаром, проложить песчаные дорожки и высадить вдоль них табачки, дивно благоухающие по вечерам, вырыть порядочный пруд и напустить туда золотых карасей? Чем он занимался томительно долгими днями? Травил зайцев, стрелял мелкую лесную дичь, объедался, пил горькую, сек дворню и наслаждался мучениями узницы-жены. Славный предок!.. Любопытно, что у Пушкиных и Ганнибалов схожие пороки и схожие добродетели, если легкомыслие, чрезмерную пылкость и склонность к виршеплетству можно считать добродетелями, впрочем, им не откажешь в верности, только не в семейной жизни. И среди Ганнибалов, и среди Пушкиных одни отличались бешеным нравом, другие неправдоподобной беспечностью и тягой к удовольствиям. Неудивительно, что древний русский род и не менее древний — африканский — тянулись друг к другу.

Запоздалое осуждение нерасторопности дедушки Льва и отсутствия в нем эстетического чувства не могло изменить пейзажа за окнами. Пушкин решил удовольствоваться тем, что есть, и прогуляться до запримеченной утром левады с молодой липушкой, сохранившей на верхушке несколько темных сердцевидных листиков. Он вышел из дома через черный ход, не спеша пересек пустырь и оказался на пасеке, о существовании которой не подозревал. Десятка три синих домиков стояло с края поля, была и опрятная избушка пасечника, крытая корьем, рядом — колодец, а дальше в земляном увале была вырыта скамья и покрыта дерном. Пушкин подошел к скамье, потрогал рукой — сухо, то ли солнце выпарило влагу, то ли унесли на одежде сидевшие тут люди. Он опустился на мягкий, упругий дерн, наконец-то в колючем здешнем мире оказалось хоть малое удобство. Ни в одном крестьянском дворе Пушкин не видел ульев, похоже, это занятие неведомо болдин-

цам: во владениях Сергея Львовича пасека тоже не числилась, меда к чаю не подавали. Откуда же взялось это медовое хозяйство, отличающееся не болдинской опрятностью и основательностью?

— Здравствуйте, барин Александр Сергеевич! — послышался молодой грудной женский голос.

Казалось, голос родился в дреме, он прозвучал не извне, а внутри Пушкина. Он провел рукой по глазам, тряхнул кудрями, поднял голову и увидел высокую, статную девушку в крестьянском сарафане, домодельного полотна рубашке и новеньких лычных писаных лапоточках. Обычная деревенская одежда была такой чистой, свежей, яркой, как будто девушка сошла с картины живописца Венецианова. Она казалась ряженой. Округлое доброе румяное лицо, удлиненные карие глаза и тонкие длинные черные брови, которые называют соболиными, — красивая девушка. Даже слишком красивая!.. Какая-то странная неправда была в ее красоте, как и в нарядной одежде. Под платком у нее угадывались уложенные коронкой девичьи косы, и они подсказали Пушкину, что незнакомка вовсе не так юна: по деревенским представлениям, тем паче болдинским, где шестнадцатилетние невесты идут за четырнадцатилетних женихов, она перестарок.

— Здравствуй, — сказал Пушкин. — Ты кто такая?

— Февронья! — Девушка засмеялась. — По-нашему — Хавронья.

— Февронья — прекрасное имя, старинное, сказочное. Хавронья — гадость. Любят у нас издеваться над именами: Елена — Алена, Флор — Хрол... А чего ты тут делаешь, Февронья?

— То же, что и вы, барин, — снова засмеялась девушка, — мечтаю.

Удивляла ее чистая, не деревенская речь, смелость и слабый привкус насмешки — над ним или над собой? А может, это маскарад и она — барышня, не крестьянка? В такой глуши ум за разум зайдет, вот и придумала себе

развлечение бойкая помещичья дочка: вырядиться крестьянкой и поморочить голову приезжему из столицы. Неплохой сюжет для повести. Но жизнь не настолько игрива и затейлива. Это простая девушка, живущая или жившая при господах и обучившаяся городском речи.

— Чья ты? — спросил Пушкин.

— Батюшкина,— она шутливо вздохнула.— Никого у меня больше нету. Матушка умерла, а замуж не берут. Вековуха. Его огорчило, что он угадал ее возраст.

— Я не о том спросил. Чьи вы с батюшкой?..

— Божьи!.. А были вашего дяди Василия Львовича крепостные люди. Батюшка выкупил нас за десять тысяч рублей.

— Твой отец выложил десять тысяч? Ну и ну! Хотел бы я иметь такие деньги.

— А вы попросите, Александр Сергеич, батюшка вам не откажет.

— Я подумаю,— пробормотал Пушкин. Он не улавливал ее интонаций — была ли тут только наивность с легкой примесью гордости — вон какой у меня отец, может и помещика выручить, или же Февронья вложила в свои слова насмешку над баринком с худым карманом?

Великий острослов, Пушкин, как никто, умел высмеять, отбрить зарвавшегося собеседника, но вся находчивость покидала его от чужой насмешки, особенно — неожиданной. Потом он придумывал множество блестящих ответов, едких шуток, разящих выпадов, но было поздно. Осадить Пушкина мог человек вовсе недалекий, простодушная женщина, ребенок. Он злился, что не сумел ответить, но девушка стала ему еще интересней. И что она здесь делает, ведь деревенские не прогуливаются в будние дни. Им нужна цель, чтобы идти со двора: по хозяйственной заботе, купаться на реку, в лес по грибы-по ягоды, в рожь или под стог — на свидание. Для всего этого сейчас не время, для меда — тоже.

— Откуда ты взялась? Я не видел, как ты подошла.

— Я из сторожки вышла,— сказала Февронья, глядя ласково и словно бы ободряюще.

— А чего ты там делала?

— Вас поджидала,— и опять не поймешь: насмешничает или всерьез говорит.

— Чья это пасека?

— Отца моего. Вилянова Ивана Степаныча.

— Тогда понятно! Значит, я вторгся в чужие владения?

Она улыбнулась.

— Почему ты молчишь?

— А что я должна сказать?.. Вы ведь шутите. Я улыбаюсь вашей шутке.

— Мудреная девушка! — Пушкин тряхнул спутанными кудрями.— А что в сторожке делала?

— Ведь сказала: вас ждала.

— Смела! Откуда ты знала, что я приду?

— А я и не знала. Просто ждала. Вчера ждала, сегодня, завтра бы опять ждала. Когда-нибудь пришли бы. Куда деваться-то?

— Ну, смела!.. Неужели я такой старый, что меня и бояться не надо?

— Какой же вы старый? — Она говорила серьезно, с желанием, чтобы он поверил.— Девушка к тридцати — перестарок, а мужчина еще молоденький. Волос маленько поредел на макушке, но вы — молодцом и на портрет свой похожи. Мне батюшка из Нижнего привез. Только вы...— она замаялась,— не сердчайте, махонький.

— Думала — гренадер?

— Ага. А вы мне по плечо.

— Не беда! — Он побледнел от бешенства и облизал враз пересохшие губы.— Обойдусь без лестницы.

Он стремительно шагнул к ней и крепко обнял, вложив в движение излишнюю силу, она и не думала отстраняться. Он почувствовал, как под руками что-то нежно хрустнуло, и ослабил хватку. Всем большим и теплым телом она приникла к нему, беспомощно навалилась, и пришлось напрячь мускулы, чтобы удержать ее. Он обонял молочный запах чистого тела и полотняной ткани. Пушкину хотелось поцеловать ее в губы, но

не дотянуться было. Тогда он стал отступать к дерновой скамейке и вдруг почувствовал сопротивление. Но теперь он верил ей и подчинился. Девушка не просто упиралась — сама влекла его куда-то. К сторожке. У порога Пушкин наклонился, поднял ее, ударом ноги распахнул дверцу и внес в пахнущий душистым сеном сумрак. Он угадал справа лежак, крытый рядом, и осторожно опустил на него Февронью.

Он ждал отпора, девушка была сильной, но ее готовность, неловкая, торопливая покорность отрезвили его. Все это уже было. Издалека наплыло жалкое, испуганное лицо Ольги Калашниковой. Потом Ольга полюбила его, так ему, во всяком случае, казалось, но в первое, страшное для девушки свидание ею двигала лишь тупая подчиненность барину, втемяшенная в слабую голову наказаниями Арины Родионовны. Он не хотел повторения. Не разумом, сама плоть воспротивилась этому.

— Прости,— сказал он хрипло.— Я забылся... Ты красивая, добрая. Дождись своего человека.

— Александр Сергеевич, милый друг,— сказала она вразумляюще, как ребенку.— Мне не нужен другой человек. Вы забыли — я же вольная.

Она угадала, что в нем происходит, это говорило о немалом душевном и, наверное, женском опыте. Волна накатила и захлестнула.

Потом Февронья тихо плакала, и он не удержался от ненужного вопроса:

— Почему ты не сказала?

— Зачем?

— Чтоб не плакать.

— Потому и не сказала. Я не честь свою оплакиваю, я — от счастья.

— Странная ты девушка.

— Женщина,— поправила она.

— Ты правда не жалеешь?

— О чем жалеть? Это мечта моя: подарить себя тому, кого полюблю. А я вас загодя полюбила. Вы не жалейте,

Александр Сергеевич, и ничем себя не упрекайте, не томите. Вы мне счастье дали.

— Что ты — как прощаешься?

— Нет, я не прощаюсь. Будут у нас встречи. Да ведь придется

— Придется. Чего мне тебя обманывать? Я — жених.

— Завидую я вашей невесте, Александр Сергеевич! — слышалось с лежака.

Пушкин расхохотался. И с этим громким, не циничным, но откровенно признающим свою человечью слабость смехом пришло к нему освобождение, великая, давно забытая легкость, спасавшая его душу во всех тяготах не столь долгой, но бурной жизни. Только сейчас он понял, как тяжело, кромешно, душно жил в последние годы. Духота была во всем: в испрашивании разрешения на каждый, дозволенный любому человеку шаг, в надзоре и слежке голубых мундиров, в вечных подозрениях и придириках властей: духота была в сватовстве, на которое он, человек не чиновный, не занимающий никакой должности, обязан был получить согласие царя; духота в отношениях с тещей — алчной угрюмой ханжой, в домогательствах патриарха семьи, Дедушки, впившегося в него, как клещ,— хотел загнать казне через Пушкина бронзовую Бабушку — статую Екатерины, отлитую в запоздалом угождении на гончаровских заводах, и даже в холодном совершенстве его невесты, замороженной Мадонны, которая когда-нибудь оттает, но только не для него, в сплетнях и пересудах, сопровождающих каждый его шаг, бешеной журнальной травле, а главное — в невозможности хоть на время вырваться из этой духоты и глотнуть свежего воздуха. Но самое печальное: он позволил себя затравить, он расчесывает ранки журнальных укусов — и они не заживают, он утратил тот сосредоточенный покой, в котором перемогалось житейское волнение; нервный, издерганный, легко плачущий, он стал на себя не похож. Но самым нетерпимым был заговор в доме на Никитской: оскорбительные нотации тещи, ее полуобещания-полуотказы, завершившиеся согласием, которому

не было веры, настороженность и отчуждение на прелестном лице той, которой он жертвует душевной свободой, своим единственным достоянием, она не дала ему и тени радости, не подарила и жеста доброты. Так бывает на сцене, когда бестемпераментность одного актера заставляет другого играть за двоих. На театре это изнурительно и докучно, в жизни — доводит до отчаяния. Лишь одного добился он: твердой уверенности, что счастье — не для него. Его сильное тело, обреченное на отшельническое воздержание, стало ему в тягость. Он, привыкший быть радостью для женщин, столкнулся с таким пренебрежением, что потерял уверенность в себе, порой казалось, что в доме на Никитской проведали о каком-то его тайном ущербе, уродливом изъяне.

А сейчас эта чистая, красивая, сильная девушка, отдавшая себя так щедро и полно, вернула ему веру в свое мужское достоинство, вернула к самому себе. И успокоившаяся плоть не докучала больше унижительным скулежом, он вновь был тем Пушкиным, который мог любой женщине подарить и забвение, и счастье. Благодарность, нежность, плавящая сердце, признательность — до горлового спазма — за ничем не заслуженную жертву слагались в чувство, близкое любви.

— Мы будем с тобой,— сказал он.— Долго будем. Каждый день будем...

— Пока вы не уедете,— тихо договорила она.

В сторожке пасечника, на краю левады занялась болдинская осень.

Плетнев раньше всех оказался сведом, что забил небывалый родник. Но он еще не знал, что первым выплеском из таинственных недр была созданная 8 сентября “Элегия”, быть может, вершина пушкинской лирики. В этом стихотворении — “программа” болдинских дней:

Порой опять гармонией упыюсь,  
Над вымыслом слезами обольюсь,  
И может быть — на мой закат печальный  
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

И было то невиданное чудо, которое вот уже полтора столетия не перестает поражать, волновать и томить загадкой всех, кто отзывается поэзии, и тех, кто, не отзываясь, ею ведает. В одухотворенной легкости трех дождливых месяцев обрели форму и завершение наброски, так небрежно брошенные в черную кожаную шкатулку, рождались новые стихи, проза, драматические произведения, критика, первозданными словами оплакивались старые разлуки, возник странный двойник автора — недалекий, смиренный, полуразорившийся помещик Белкин, пересказавший с чужих слов несколько грустных и веселых историй и ставший в поколениях куда реальнее своих современников из плоти и крови, с неутомного пера стекали эпиграммы, “шалости”, капли полемического яда. Победная легкость, овладевшая поэтом, верно, помогла быстро решить кистневские дела и разобраться в болдинской маете. “Ваше здоровье”, сохраняя шуточный тон с мужичками, несколько озадачил их твердым спросом по части повинностей. Даже произнося с церковного амвона проповедь о холере (во исполнение своего помещичьего долга), Пушкин вещал, что погибельная напасть послана мужикам в наказание за нерадение, пьянство и задержку оброка.

Холера меж тем, пощадив Болдино, неудержимо надвигалась на Москву, где в доме на Никитской невеста поджидала жениха. Не боясь холеры для себя, испытывая тот прилив душевной бодрости, которую московский генерал-губернатор Закревский считал главной защитой от заразы (граф оказался предтечей чреды российских администраторов, зрящих в социальном оптимизме панацеею от всех бед), Пушкин удобно придумал, что Гончаровы заблаговременно покинули угрожаемую столицу. Когда же убедился в своей ошибке, то заметался в жестокое беспокойстве. Да, он бесился, рвался в Москву, очертя голову расшибался о ближнюю или дальнюю карантинную заставу, возвращался назад и с поражающей легкостью входил в привычную колею с захлебным писанием, скачкой по раскисшим полям, горячей ванной и любовью Февроньи.

Опутанный запретами чуть не всю сознательную жизнь, Пушкин болезненно ощущал ограничение физической свободы — отсюда его непрестанная тяга к дороге, к перемене мест, создававшая дополнительные трения с Бенкендорфом, а стало быть — с державным цензором. Он был искретен в своем стремлении вырваться из карантинного кольца и соединиться с невестой в холерной Москве, но как странны его письма к Наталии Николаевне! За риторикой отчаяния плохо прячется отменное настроение, неотделимое у Пушкина от юмора. Он слишком много и хорошо острит для несчастного, отторгнутого от любимой, допускает небрежности, повторы. Наталия Николаевна не могла читать развеселых писем, которые он строчил своим друзьям одновременно с “отчаянными” письмами к ней, но в ней пробудилась женская пронизательность, позволившая уловить двусмысленность тона нетерпеливого жениха, так философски смирившегося с очередной отсрочкой свидания. Она приревновала его к толстой княгине Голицыной, у которой Пушкин разузнавал о холерных карантинах. Это было единственное женское имя, мелькнувшее в письмах из Болдина, и, за неимением ничего лучшего, Наталия Николаевна обратила ревнивый гнев на неповинную толстуху. Ошибка вполне извинительная, но точность женского чутья в юном существе, угадавшем суть происходящего в Болдине, замечательна! Пушкин с завидным достоинством отводил неуместные подозрения.

Одна Февронья ничего не требовала, не просила, не выгадывала — просто любила. И, отдавая себя всю, получала в награду счастье, единственное на всю жизнь.

Февронья Вилянова не могла слышать о другой девушке — немке Ульрике Левецов, жившей в одно время с ней, которую любил и хотел сделать своей женой гений немецкой поэзии Гете. Ульрике не хватало широты или бесшабашности, чтобы пойти навстречу року — она отказала Гете. В этом она отличалась от бесстрашной русской девушки, в остальном судьбы их поразительно схожи: обе

прожили долгую, длиною в век жизнь и умерли незамужними; обе не обмолвились ни словечком о просиявшем в их молодости свете. Ульрика обладала правом выбора — Гете был ей ровня, у Февроньи такого права не было. Зато она получила в подарок болдинские стулья и увезла их в свой арзамасский дом, а Пушкин занял у отца ее Вилянова десять тысяч рублей, которые не успел отдать за преждевременной смертью. Сергей Львович уплатил долг сына землей. Русская история, как положено,— с угаром, но она теплее...

Приблизился декабрь, и худо стало в летней, неотапливаемой сторожке, любовники дрожали от пронизывающего ветра, дувшего в щели, от сочившейся сквозь плохо пригнаные теснины снеговой воды. Они согревались друг о дружку, из двух остудий рождался жар. И все росло в душе Пушкина чувство вины и перед той, что обречена на разлуку, и перед той, что ждала его. Уже нельзя было оправдываться карантинном, путь на Москву был свободен. Он простился с Февроньей стихами, обращенными к покойной Ризнич — большой, величественной, как Афина Паллада, к ее челу просился сверкающий шлем воительницы — литература сильна и счастлива сублимацией. И Кастальский ключ иссяк. Живого прощания не было, Пушкин сказал только: — Я еще приеду...

Февронья не плакала, для этого она была слишком несчастна. Когда покидали Болдино и тяжелая карета, уже раз обрушившая гнилой мост через Сазанку, опасливо пересчитывала новые бревна, Пушкин спросил себя: куда и зачем он едет? Все было здесь: счастье, любовь, покой, неудержимо льющияся строки. Чего он ищет — ярма, забот, тревоги, самообмана, страшного опамятования? Все известно наперед, но ничего поделать нельзя, он был обречен.

# У КРЕСТОВСКОГО ПЕРЕВОЗА

Он говорил:

— Неужели вы хоть день не можете провести дома?

Она смеялась: “Ах, Дельвиг!..”

— Я вас прошу остаться! — Это строго. И умоляюще:  
— Я вас очень прошу!

— Ах, Дельвиг, ну какой ты, право!..

Она что-то делала со своим лицом перед зеркалом, со своим холодным, лживым, прелестным, все еще любимым лицом. Разъединяла булавкой кончики длинных ресниц — ужасная операция, от которой у него щемило позвоночник, длинным ногтем убирала помаду с темной вмятинки в уголке рта, трогала пуховкой подбородок и гладкий лоб, немного загоревший вопреки всем предосторожностям на скудном солнце петербургской окраины, — они опять снимали дачу у Крестовского перевоза, на тихой зеленой Котловской улице.

— Можете вы уделить мне минуту внимания?

— Несносный тиран!.. Я тороплюсь, опаздываю!..

— Куда вы опаздываете?

— Не скажу, тебе это неинтересно!

— Позвольте мне самому судить о том.

— Не судите, да и не судимы будете.— От неуважения она говорила первый пришедший на ум вздор. Сорила словами, не желая сделать ради него даже маленького мозгового усилия.

Внизу послышался шум подъехавшего экипажа и железный осклиз на булыжнике подков ссаженных лошадей. Хлопнула входная дверь, и дом наполнился свежим, грудным, самоуверенным и ненавистным голосом Анны Петровны Керн, спрашивающей прислугу, дома ли барыня и можно ли ее видеть.

— Иду!.. Иду!..— по-дачному бесцеремонно крикнула Софья Михайловна, но при этом осталась на месте и еще старательнее занялась своим лицом.

— А-а!..— сказал Дельвиг.— Теперь мне действительно неинтересно.

— Вот видишь...— уронила она рассеянно.

О вечная антитеза — поэзия и правда! Анна Петровна Керн, которая в поколениях станет воплощением поэзии, любви и красоты, была для Дельвига просто светской вертихвосткой (“Блудница Вавилонская” — называл ее полушутливо Пушкин), помогшей совращению его жены.

И все же, Дельвиг, признайся: утро любви было прекрасно!.. Да, ибо он сумел крепко закрыть глаза на то, что до него юная Софья Михайловна уже пережила бурный роман с неким Гурьевым и еще более пылкую любовь с Петром Каховским, будущим декабристом. Они замыслили бегство, но Софья Михайловна вдруг охладела к Пьеру Каховскому. И вовремя... Отец ее, Салтыков, галломан и “якобинец” — сочувствовал жирондистам, известный в “Арзамасе” как “почетный гусь Михаил”, напуганный темпераментом юной дочери, поторопился принять предложение небогатого и нечиновного Дельвига. Софья Михайловна была заинтересована и взволнована переменой судьбы, и Дельвиг наивно принимал это за ответное чувство.

Молодые поселились на Большой Миллионной в доме Эбелинга, и в холодном, чопорном Петербурге появился теплый угол, привлекавший Пушкина, Одоевского, Плетнева, Яковлева, позже Глинку и гостей столицы: Баратынского, Веневитинова, Вяземского. Молодое очарование и тонкая музыкальность хозяйки, ум, талант и доброта хозяина превратили скромный дом Дельвигов в настоящий литературный салон без пошлости, жеманства и претенциозности других столичных салонов. Да, то был истинный приют муз, ставший настолько необходимым многим достойным и одаренным людям, что Дельвигам пришлось упорядочить свои сборища, придав им форму постоянных литера-

турно-музыкальных сред и воскресений. Дельвиг был счастлив — начали сбываться взлелеянные с юности мечты об идиллическом, безмятежном, овеванном тонкой духовностью бытии об руку с любимой.

Когда пошли трещинами и пятнами белые своды семейной обители? Он и сам затруднился бы сказать. Похоже, с появлением Анны Петровны, вскоре поселившейся для удобства общения в одном с ними доме. Возможно, дело сделалось и до нее, и, познакомившись с Софьей Михайловной, опытная, сметливая “дама Керна” сразу поняла, что обрела верную подругу и сообщницу в своей вызывающе смелой женской жизни.

Все же — так уж он был устроен — Дельвигу и сейчас хотелось лишь одного: опять начать верить жене, взвалив ее грехи на красивую, стройную и выносливую шею Анны Петровны. Одно ласковое слово, одна уступка — никакого раскаяния, оно может лишь все усложнить, — и он забудет о своей ревности, муках, поздних ожиданиях, едких слезах, туманивших очки. Он был способен на большее, нежели прощение; мог выбросить из памяти сердца и памяти рассудка — по очаровательной и наивной классификации Батюшкова — все, что отравляло ему жизнь последних лет. Похоже, Софью Михайловну ничуть не занимали его душевные построения. У другого человека подобная непробиваемость могла идти просто от глупости, неразвитости. Но Софью Михайловну в глупости не обвинишь, ее поверхностный женский ум отличался и тонкостью, и остротой. Она любила общество, стихи, музыку и сама превосходно играла на фортепиано, была чувствительна, сострадала чужому горю, умилялась над животными. Но когда феи осыпали новорожденную Софи своими дарами, осыпали щедро, не скупясь ни на красоту, ни на таланты, ни на удачу, к младенческой колыбели не пришла лишь одна фея, та, которая увенчивает добродетелью, — скучная, красноногая, добрая фея морали. Но если отбросить шутки сквозь слезы, то несомненно: в пору, когда закладывается и строится че-

ловеческая личность, Софье Михайловне просто забыли объяснить некие общеизвестные и общепринятые правила. В бредовом доме Салтыкова такое вполне возможно. И бедняжка не знает, что в мире существуют определенные нравственные нормы. Манон Леско славного аббата Прево — вот ее тип! Женственность, очарование, нежность, безмерная прелесть — и никаких моральных запретов. Если она стала сейчас холодна, уклончива и неприятна, то лишь потому, что ее раз за разом загоняли в угол. А так ничего зловещего, никакой дьяволиады — убийство с улыбкой ка устах, безвинное убийство. Она знать не знает, что от этого умирают, и никогда не поверит, что ее удовольствия могут быть смертельными для другого человека. Пока она не научилась отмалчиваться, ускользать, ее большие, ласково-невинные глаза смотрели на разгневанного мужа с кротким, обезоруживающим удивлением. “Ну, что тут такого, Господи?” — читается в них. К ней не подступишься ни с какой стороны. И все-таки он сделал еще попытку.

— Малышка все время кричит, когда тебя нет.

— Чепуха! — сказала она резко. — Разве она понимает, здесь я или ушла?

— Может, у Даши не хватает молока? Она же кормит своего.

— Если у кормилицы нет своего, откуда взяться молоку? — усмехнулась Софья Михайловна, выщипывая крошечными щипчиками волоски на переносье. — Ты думал, я сама буду кормить?

— А почему бы и нет? Я считаю, каждая мать должна сама кормить свое дитя.

— Прекрасное правило домостря!! Вот бы и женился на Даше.

Она говорила просто так, отталкивая звуковые волны, насылаемые на нее мужем. Его соображения и чувства ничуть ее не занимали. Важно было лишь то, что ждало ее впереди. И тяга была столь велика, сокрушительна, необорима, что он мог бы на коленях молить ее остаться, ры-

дать, заламывать руки, грозить оружием, стрелять, наконец,— все тщетно. Пока в ней жива кровь, она все равно будет стремиться туда, раненая поползет, как собака с перебитым хребтом. То было явление природы, а не слабой человеческой сути.

— Можете вы раз в жизни исполнить мою прихоть? — сказал он измученным голосом.

— Какую еще, Дельвиг?

— “Еще”! Можно подумать, что я постоянно обременяю вас своими просьбами. Оставайтесь дома.

— Глупенький Дельвиг!..— Последний быстрый взгляд в зеркало, и вот она уже метнулась к двери, обдав его теплой волной.

— Когда ты будешь? — спросил он вдогон.

— Буду, милый, буду... Куда я денусь?.. Всегда буду с тобой... до гробовой доски...— Голос ее затух, затем всплеснулся, когда она увидела Керн, и дамы приветствовали друг дружку восторженными междометиями. Но вот замер их птичий щебет, натужно скрипнула пролетка, и цокнули копыта лошадей. Все!..

А ведь это счастье — так стремиться куда-то! И пусть в апофеозе безудержного порыва — пошлый фронт, или раздушенный камер-юнкер, или гусар, пропахший табаком и жженкой, правы французы: важно хмельное вино, а не бутылка. И в ключья все приличия, обязательства, в ключья сердце человека, которому ты клялась в любви, с которым стояла перед аналоем...

Дельвиг прошел в маленький кабинет, притемненный парусиновыми маркизами. Тяжелое, жаркое, несвойственное Петербургу солнце ломило сквозь плотную ткань, над письменным столом то набухало, то сокращалось пыльное светлое облачко. Он достал из ящика стола недавно написанное стихотворение: “За что, за что ты отравила неисцелимо жизнь мою”. Ему казалось, что грубая обнаженность только что разыгравшейся сцены заставит его переписать последнюю строфу, обесценивающую жгучую горечь цело-

го, но тешившую душу каким-то отрицательным проявлением силы. Он вдруг поверил, что может вырваться из рокового круга, очерченного его деликатностью и нескитанием с собой, если, отбросив все приличия, закричит в голос, завоюет так, что небу станет жарко, глядишь, и повернется, заскрежетав, ржавая ось его судьбы. Он перечел стихотворение, последнюю строфу вслух:

И много ль жертв мне нужно было?  
Будь непорочна, я просил.  
Чтоб вечно я душой унылой  
Тебя без ропота любил.

И понял, что никогда не переписет этих слов мольбы и смирения, ибо неоткуда взять ему иных чувств. Пусть он не большой поэт, но всегда оставался в стихах самим собой.

Тут внутри у него произошел некий прочерк, и он задумался о человеке, которым прежде ничуть не интересовался. О генерале Керне, одном из героев Отечественной войны. Когда Керн подымал свои полки в атаку, если только он вообще подымал полки, — Дельвиг не знал, в каком роде войск служил генерал, — где-то в усадьбе тихо расцветала прелестная девочка с огромными глазами. Затаив дыхание, она слушала по вечерам рассказы взрослых о злодее Буонапарте, о героизме русских воинов и, засыпая, по-детски мечтала о герое, увенчанном лаврами победы. Девочка стала прекрасной девушкой, и увенчанный лаврами герой предложил ей руку и сердце и свое незапятнанное, овеянное славой имя. Все это легко приняла очаровательная Аннет и стала госпожой Керн, как-то разом отлившись в победительной стати даму. И столь же быстро украсила чело мужа развесистыми рогами, в многочисленных отростках которых потерялся увядший лавровый веночек. И пал духом бесстрашный воин. С любезной, почти заискивающей улыбкой он пожимал руки шалопаям, открыто волочившимся за его женой, играл в карты с ее любовниками, почему-то всегда проигрывая, стал притчей во языцех светской черни, мно-

венно забывшей о его заслугах. И — о великая сила литературы! — воспетая дивными стихами Пушкина, Анна Петровна бесстрашно глядела в загадочное лицо вечности, ничуть не заботясь пересудами окружающих. А человек, славно послуживший Отчизне в трудную годину, стыдливо потуплял взор, будто знал за собой что-то дурное. Генерал Керн все же нашел в себе силы уйти от унижения, дав жене развод. Сам он отступил в тень, где не видать стало позорной его короны, и спас лицо. Но любил ли он по-настоящему Анну Петровну или же в нем затронуты были лишь второсортные чувства — самолюбие, тщеславие, гордость? Было ли его отречение смертной мукой или просто умным ходом опытного в житейских бурях человека? И разве Дельвигу лицо надо спасти? Сердце. Ведь он любит Софью Михайловну. Он любил ее на заре, когда видел в ней кладезь достоинств, и едва ли не сильнее любит сейчас, когда все достоинства оказались мнимыми: неверная жена, равнодушная мать, плохой друг.

В чем же тогда ценность и святость любви? В том, что она делает с тобой самим. Когда чужая жизнь становится важнее и дороже собственной, человек подымается над своей малостью, ограниченностью, освобождается от низкой земной тяжести. Все это высоко и прекрасно, но к его случаю отношения не имеет. Прославленное поэтами чувство не только не подняло его, напротив — втоптало в грязь.

Послышались странные, скрипучие звуки. Дельвиг вздрогнул, он никак не мог привыкнуть к сухому, старческому голосу, рождающемуся в нежной гортани его полуторамесячной доченьки Лизы. Каким образом мягкое вещество, составляющее нутро младенца, может исторгать такую ржавь? Да и больно ей, поди! Опять, небось, нянька заснула?..

Он спустился вниз и вошел в детскую, остро пахнущую младенцем. Окна были плотно затворены. Как будто можно простудиться при такой жаре. Да и хорошо ли ребенку дышать спертым воздухом? Надо бы с врачом посовето-

ваться, сам он не посмеет отменить распоряжений Софьи Михайловны. Молодая нянька с красным заспанным лицом старательно трясла Лизу и “приуткивала” фальшивым, набитым зевотой голосом.

— Опять ты спишь, Мотя?.. Ведь сколько раз говорили...

— Спишь, спишь... Это кто спит-то? Вечно напраслину возводите! — Мотя сразу взяла самую высокую ноту. Он заметил, что она не называет его “барин”. Как и все в доме: горничная, кухарка, кормилица, — эта новенькая Мотя полагала барыней лишь Софью Михайловну.

— Кормилица еще не приходила? — спросил Дельвиг, глядя на крошечное обезьянье личико своей дочери с кисло зажмуренными глазками и мучаясь безысходной жалостью к этому уже заброшенному существу.

— Нешто сами не видите? — вовсе дерзко отозвалась Мотя. — Придет, когда надо, — добавила снисходительно по юной доброте.

Дельвиг постоял еще, неловко повернулся и вышел. Полутемный кабинет, прогретый солнцем сквозь маркизы, подарил его ощущением свежести. Он взял гранки “Литературной газеты” и вернул запах детской — типографский набор всегда отдавал мочой. Прилег на диван и стал протирать футляром запотевшие очки. Гранки сползли на пол, он не заметил этого... Я мог бы посвятить себя дочери, родилась внутри него торжественная фраза. Но что это значит?.. Заходил бы каждые четверть часа в детскую, натываясь на грубость этой или другой Моти, задавал бы праздные вопросы и, надышавшись спертым воздухом, показывал няньке свою сутулую и невесть почему виноватую спину. Я мог бы следить за форточкой, чтобы ее держали открытой, за кормлением... Но, вспомнив громадную сизую грудь с лиловым расплывшимся соском, почувствовал дурноту и скорее перенесся на несколько лет вперед, когда Лизонька будет обходиться без услуг кормилицы. Сладко, до слез сладко помечтать о союзе двух обиженных: грустно-доброе, еще не старого отца и умненькой, много постигшей своим детским сердцем дочери. К чему

только тешить себя несбыточной идиллией? Дочь непременно станет союзницей матери, и, как бы ни напрягался грустно-добрый, еще не старый отец, ему не предотвратит женского заговора. Он слишком вял, толст и безрадостен, чтобы завладеть помыслами дочери. А мать красива, молода, победительна и маняща эфирным своим холодком. Отец-герой из него никак не выйдет, а только такому отцу по силам отторгнуть дочь от матери. Девочка очень рано поймет, на чьей стороне сила и удача, и, если у нее окажется доброе сердце, она удержится с домашним парией на той грани, где снисходительная жалость еще не переходит в открытое презрение. Если же она пойдет душою в мать, тогда держись, барон!.. Нынешняя жизнь покажется тебе раем..

Он вздохнул, водрузил очки на широкое переносье, подобрал с пола гранки и не удержал в руках. Их выхватило порывом сквозняка, взметнуло бумажными голубями к потолку, и в распахнутую дверь ворвался Пушкин. Дельвиг не слышал, как он подъехал, вошел, не притворив за собой уличной двери, взбежал по скрипучей лестнице, но Пушкин, живой и несомненный, скалящий белые зубы, и был перед ним, и весь кабинет, весь дом, вся окрестность, все мироздание заполнились Пушкиным.

При встрече и расставании они целовали друг другу руки. Этот обычай у них остался с юности, и Дельвигу всегда приятно было прикоснуться губами к мускулистой, хорошо пахнущей руке Пушкина и ответное прикосновение сухих, горячих пушкинских губ.

Пушкин был бодр, упруг и чуточку беспокоен. Последнее Дельвиг отнес за счет предстоящих тому перемен. В мае состоялась его помолвка с Наталией Гончаровой, и сейчас он должен был ехать в Москву для окончательного устройства разных дел, в том числе и самых досадительных — денежных.

— Могу ли я засвидетельствовать свое почтение баронессе? — с нарочитой чопорностью сказал Пушкин.

— Увы!.. — Дельвиг развел руками.

Но он вовсе не чувствовал сейчас горечи, столько доброго и радостного поднял в его душе неожиданный приезд Пушкина. Он не сомневался, что Пушкин появится перед долгим исчезновением — еще и в родовое Болдино собирался, — но не ждал сегодня, к тому же днем. Пушкин всего лишь месяц назад вернулся из Москвы, бывал у Дельвигов чуть ли не каждый вечер, принося свежие новости о революционных событиях в Европе, потом вдруг исчез, и вскоре пронесся слух о новом его отъезде. И как славно, что он нагрянул, будто свежим ветром продуло старый дом.

Дельвигом овладело то счастливо-бесшабашное настроение, что придает особый вкус самым обыденным разговорам, самым простым движениям. Они со вкусом поговорили о политике, со вкусом обменялись литературными новостями и сплетнями, со вкусом помянули нескольких добрых друзей, со вкусом пили ломящий зубы хлебный квас — после долгих и тщетных взываний к прислуге Дельвигом сам спустился в погреб, набив шишку на лбу и оплеснув ноги налитой всклень коричневой жидкостью, со вкусом цитировали наизусть статью Греча в “Северной пчеле”, и Пушкин блестяще импровизировал ответ.

Дельвигом не уловил, когда спал его короткий подъем и привычная в последнее время тоска вновь навалилась на сердце. Но он бодрился, громко смеялся, заинтересованно переспрашивал, даже хлопал себя по коленке — развязность, вовсе ему не присущая, лишь бы Пушкин не догадался о его омраченности. Но разве введешь в заблуждение человека столь пронизательного? Ведь Пушкин не слова слышит, не жесты видит, а то, что ими прикрито, всеми нервами чувствует исходящее от собеседника электричество. Речь его все так же играла и пенилась, так же красиво мелькали узкие смуглые руки, словно выписывая в воздухе фигуры словесных пассажей, но взгляд становился сосредоточенней, сузились, поугрюмили зрачки, он вдруг оборвал себя на полуслове и хмуро, в упор:

— Что с тобой, Дельвигом? Ты нездоров?

— А разве я был когда-нибудь здоров? — меланхолически отозвался Дельвиг— Мне всегда что-то мешало внутри. Помнишь, в лицее я не бегал, не боролся, не играл в мяч.

— Ты обращался к врачам?

Дельвиг пожал плечами:

— Что они понимают?

— Ты просто киснешь. Забрался в такую даль и даже на улицу не выходишь. Пишешь хотя бы?.. Есть что-нибудь новенькое?

— Так, кое-что...

— Читай, душа моя! Хочу твоих стихов! — с жадностью сказал Пушкин и простонародным жестом потер руки.

Дельвига всегда трогала и чуть удивляла горячность Пушкина к стихам друзей. Тут не было и тени притворства, он от души радовался их скромным удачам, не скупился на похвалы, и устные и письменные, и на справедливую критику, что подтверждало серьезность его отношения, проблески же чего-то большего, чем средний талант, приводили его в восторг. Ему нужны были эти стихи, не только Жуковского или Баратынского, но и князя Вяземского, и Языкова, и его, Дельвига, и поэтов вовсе слабых. И вдруг Дельвига осенила простая разгадка этого феномена. Пушкин больше всего на свете любит стихи, но в отличие от них всех лишен возможности читать... Пушкина.

— Не стану я читать,— подумав, сказал Дельвиг.— Все незаконченное.

— Ну вот! Опять лень-матушка?

— Ах, оставь ты эту лень! — вдруг рассердился Дельвиг.— Я вожусь с проклятой газетой, проворачиваю груды рукописей, редактирую, отвечаю на письма... Лень! В лицее мы все хвастались своей ленью, воспевали ее в стихах, но ко мне одному прилепилось клеймо ленивца. А я читал тогда больше вас всех и первым стал печататься. Я туп к иностранному языку, но с помощью бедного Кюхли одолел немецкий...

— Трудолюбивый Дельвиг!

— Да, трудолюбивый! — Дельвиг потянулся за гранками, но не завершил движения.— Эта ваша газета! Я даже не печатаюсь в ней. Несу вахту дружбы бессменную... А стихи всегда рождались у меня трудно, медленно. Я вынашиваю долго, как слониха. Но труд низания слов все время идет во мне...

Многие люди заблуждаются относительно Дельвига, считая его куда более простым, очевидным и покладистым, нежели он был на самом деле. Дельвиг не позволял заглядывать в себя посторонним, но Пушкин-то знал, что есть омуты в тихой речке. С Дельвигом творилось сейчас что-то неладное, но он таился, и Пушкин рассчитывал, что непривычная вспышка озарит потемки. Этого не случилось, Дельвиг разом выдохся, как проколотый пузырь, и безнадежно махнул рукой.

— И все-таки надо писать,— сказал Пушкин.— Ничего другого не остается.

— А зачем? — уныло спросил Дельвиг.— Чтобы подбрасывать дрова в печь недоброжелательства и злобы? Бес-тужев-Рюмин вон объявил, что поэта Дельвига вообще не существует: половина написана Пушкиным, другая — Баратынским.

— А разве это так плохо? — лукаво сказал Пушкин.— Я бы не обижался, если бы мои стихи приписали певцу Эдды и даже Пушкину.

— Я и не обижаюсь,— сказал Дельвиг кротко, не улыбувшись шутке.— Но все-таки забавно!

“Забавно” было любимым словечком Дельвига-лицеиста, и душа Пушкина поплыла к царскосельским аллеям и куртинам, где мальчик с сонными медвежьими глазками бормотал стихи и, вдруг загораясь, громоздил небылицы или тихо удивлялся незаслуженным обидам: “Забавно!” Ни в ком так чисто не сохранился лицейский дух, как в Дельвиге, пожалуй, еще в Мише Яковлеве. Но в Яковлеве, пока он не садился к роялю, переливалось и звенело лишь лицейское дурачество, от Дельвига же веяло поэзией и грустью тех давних лет.

— Надо мной любят потешаться друзья, женщины,— словно издаалека звучал тусклый голос Дельвига,— я уже не говорю о журнальной братии. Опять, как в добрые лицейские дни: “Это стихи? Хи-хи-хи!” “Вестник Европы” додумался, а “Северная пчела” радостно подхватила пороссячий визг.

— Ну а “Царскосельский альманах” посвящает тебе свои страницы,— мягко скачал Пушкин. Его не оставляла чувство, что Дельвиг уходит от настоящего разговора и вместо тяжкого, но облегчающего признания хочет просто выжалобиться, выплакаться, как деревенская баба, а тут любой повод хорош.— Там мной литографированный портрет — честь, которую оказывают немногим.

— Господь с тобой, Александр!.. Неужели ты думаешь, для меня это важно!

— Ну так скажи сам, что для тебя важно, почему ты уныл и печален, как дева над разбитым кувшином. Мы уже не так приближены друг к другу, как прежде, чтобы я сам мог догадаться. У меня и от собственных дел голова крутом, я должен быть счастливейшим из смертных, а во мне неуверенность, тревога...

Пронзительный гибельный вопль, донесшийся из детской, сбросил Дельвига с дивана. Он опрометью кинулся вниз. Ничего страшного — просто Лизонька перекочевала из колыбели на руки запозднившейся кормилицы. Наверное, все-таки ей причинили боль, иначе чего бы так кричать?

— Экая вы неловкая, Даша! — укоризненно сказал Дельвиг, с испугом отводя глаза от чудовищной сизой массы, исторгнутой кормилицей из корсажа? — Вечно ребенок у вас кричит.

— Есть хочет, вот и кричит,— равнодушно отозвалась Даша и воткнула личико младенца в страшное месиво.

Дельвига передернуло. Он хотел кинуться на спасение дочери, но вместо нового отчаянного крика послышалось умиротворенное чавканье. Он вздохнул и вышел.

Вернувшись в кабинет, он поразился перемене, происшедшей в Пушкине.

Обычно смугловатое лицо его казалось гипсовой маской в раме темных волос и бакенбард. И жутковато на этой белизне горели желтые глаза тигра. Он стоял возле письменного стола, полуотвернувшись от него, в неловкой, насильственной позе, как человек, не завершивший движения. Да он и не завершил отскока от стола, опереженный быстрым и неслышимым возвращением Дельвига. Его тело было вывернуто штопором, правая нога полусогнута, левая касалась пола носком узкого сапога. Медленно, будто освобождаясь от пут, Пушкин завершил телесное усилие, отторгся от стола, на котором лежал листок со стихами, адресованными Софье Михайловне. Не было никакой бестактности в том, что Пушкин их прочел, не прочел даже, а разом вобрал в себя — он обладал способностью мгновенного охвата стихов,— не было тут ни малейшей нескромности, ни нарушения дружеского доверия, так у них велось исстари — читать друг у друга открыто лежащее на столе, не спрашивая разрешения. Да к тому же Дельвиг обмолвился, что есть новенькое... Бестактность совершена Дельвигом, оставившим эти стихи на столе и вынудившим Пушкина к стыдному, да еще и несостоявшемуся бегству.

Дельвиг увидел, что Пушкин дрожит. Это не отнесешь за счет даже самого горячего дружеского участия. Так может отдаваться на поверхности лишь бушевание собственных глубин. Но Пушкин, слава создателю, не знает жалких и унижительных терзаний. Он любит и любим и будет так же талантливо счастлив в браке, как и в поэзии. Но отчего же?.. Неужели он вообразил себя на его месте? Когда-то он представил, что его обманывает далекая возлюбленная и, бессильный выговорить в словах свою ярость, захлебнулся многоточиями, судорожно онемев от бешенства и жажды мести:

Не правда ль: ты одна... ты плачешь — я спокоен;

.....  
Но если .....

“Господи! — взмолился Дельвиг.— Избави Пушкина от мук. Я сырой, слабый человек, размокну, растекусь, да как-нибудь выдержу, а и не выдержу — беда невелика, уйду

тихо, неприметно и только облегу других своим уходом. А с ним не так. Страшен, губителен будет его гнев, для него самого губителен. Он твой лучший подарок людям, Господи, защити и помилуй Пушкина! Нельзя испытывать такими страстями его душу. Дай ему покой, и радость, и безмятежное семейное счастье. Пронеси чашу свою мимо него, Господи!..”

— Ого!..— фыркнул Пушкин, глянув на часы. “Он презирает меня,— подумал Дельви́г.— И виноваты стихи. Он и так все знал, а если и не все, то многое, но отдаленно, холодным разумом, а сейчас — стихами — это проникло в него. И он не может простить мужчине того, что представляется ему позорной слабостью. Но я же не ты, Пушкин! — улыбнулся он своим внутренним лицом, в то время как зримое лицо его оставалось тихо-печальным.— Во мне не шумит африканская кровь и темные страсти твоих предков, убивавших неверных жен, я мягкий, лимфатический человек со слабым сердцем, нетвердой рукой, подслепыми глазами. И я не увижу своего противника, если выйдут к барьеру, и стану смешон. Меня убьют сперва смехом, потом пулей. Помнишь, в молодые годы я вызвал Булгарина, думая, что бывший солдат и офицер обрадуется возможности перейти от словесной брани к бранному делу. Но он отказался от поединка, заявив, что пролил в своей жизни больше крови, нежели я чернил. Трусу аплодировали за ловкий ответ, а надо мной посмеялись. Булгарин просто пачкун, и повод для дуэли был ничтожный, но создавать фарсу, когда трещит сердце!.. Нет!.. Ты сказал обо мне: “В очках и с лирой золотой”. Таков я есть, таким уйду. Попасть из кухенрейтерского пистолета я могу лишь в собственную грудь и, наверное, давно бы сделал это, если б не стихи. Так их не будет, Пушкин! В раю не нужна литература, и музыка небес не заменит мне земных песен, твоих песен, Пушкин!..”

Он исподтишка, но пронзительно глянул на Пушкина. Дельви́г недаром среди всех знавших его считался умным

человеком. Но он был куда умнее, нежели то мнилось окружающим, и, пожалуй, лишь Пушкин и Кюхельбекер знали истинную цену спокойному, охватистому и проникательно-уму своего друга. И сейчас Дельвиг понимал все, что происходило в Пушкине, как если б слышал его голос. “Надо драться! — хлопотало в том. — Мне известно все, чем может оправдываться застарелая леность духа, не подвигшая тебя ни на один поступок, кроме этой злосчастной женитьбы. Да и твой ли это поступок? Скорее всего взбалмошный Салтыков окрутил тебя с дочерью, чей пылкий нрав ему осточертел. Но ты взял ее, накрыл, как плащом, своим именем, так и неси за нее ответ на всех путях ее — правых и неправых. Никто не смеет думать, что она виновата перед тобой. И потому дерись, дерись хоть с целым светом!.. Я знаю, Дельвиг, что не трусость мешает тебе совершить единственно достойный мужчины поступок, но это не извиняет тебя в моих глазах”.

И Дельвиг ответил, не разжимая губ: “Спасибо хоть на этом, Пушкин. Тучи сгущаются над нашим литературным детищем, и мне вскоре понадобится все мужество, чтоб держать ответ перед взбешенными властями. Поверь, я не подведу тебя, как не подвел бы и у барьера, если б верил, что поединок — спасение”.

Пушкин. Да, спасение! Ты спасешь свою честь!

Дельвиг. Честь? А что такое честь? Неужели то самолюбленное, мелкое, собственническое, чем мы сами не распоряжаемся, что целиком находится в слабых, ненадежных руках женщины, и называется честью? Да какая ей цена? Цену имеет лишь то, чему ты сам хозяин...

Пушкин. Слова, слова, слова!.. В кровавом тумане я вижу лишь темную фигуру, подымающую на меня пистолет. Ах, с каким наслаждением всажу я в него пулю!..

Дельвиг. Ну, убью я его... Неважно кого: лицейского друга Мишу Яковлева, шалопая Вульфа или добрейшего Сергея Абрамовича Баратынского, влюбленного в мою жену и тоже обманутого ею, или другого, неизвестного, без лица и свойств,

просто жертву случая, и взойду победителем на опозоренное супружеское ложе, считая, что кровь чужого и, в сущности, неповинного человека смыла с него грязь?.. И ко мне вернутся доверие, радость, та безмятежность духа, без которой я не мыслю счастья?.. Забавно!..

Пушкин. Нам не столкнуться. Ты верен себе, и это тоже своего рода мужество. Но бывают обстоятельства, когда любой поступок, даже глупый, лучше самых мудрых рассуждений...

— Тебе пора? — опередив его, вслух произнес Дельвиг. Весь их беззвучный обмен был краток, как взмах ресниц.

— Да, да!.. — поспешно сказал Пушкин. — Надеюсь, мы еще увидимся. Если позволят сборы, я загляну к тебе перед отъездом.

Сборы тут ни при чем. Мы увидимся, если ты сумеешь вырваться из самого себя. Если сам согласишься тому, чем снисходительно оправдывал меня, не желая окончательно терять ленивого, много пьющего, толстого роконосца, не верящего, что щелк курка и вялая вспышка отсыревшего пороха возвращают человеку душу.

Они простились без обычного обряда. Дельвиг не успел решить, заняться ли ему гранками или пойти в детскую, где все еще царила кормилица, когда Пушкин вернулся.

— Едем! — сказал он с порога.

— Куда? — в меру удивленный, спросил Дельвиг.

— Какая разница? Едем! Я нанял замечательного извозчика, сам вылитый атаман Кудеяр, а в оглоблях — престарелый красавец с орловского завода.

Дельвиг рассмеялся и вышел одеться. Вот таким он особенно любил Пушкина: веселого, даже ребячливого, ласкового. Милый Пушкин!..

Извозчик глядел совершеннейшим разбойником: смуглое ножевое цыганское лицо, черные острые глаза, черная с просолом курчавая борода и такие же кудри из-под шапки. Конь был стар и тощ, но ни ямы над глазами, ни костлявый круп и торчащие ребра, ни залысины под сбруей не могли унижить

благородной стати чистокровного орловца, и какая-то грустная лошадиная тайна угадывалась за этим аристократом, впряженным в “гитару”, как называли петербуржцы маленькую линейку, на которой сидят верхом. Пушкин ловко оседлал узкое сиденье, а Дельвиг пристроился поперек, тесно прижавшись к спине друга. Его радовало все это: разбойные очи и борода возницы с просолом, загадочный конь, узкая, неудобная “гитара”, заставлявшая его притуляться к Пушкину, и вся их бессмысленная поездка по жарким, пыльным, плохо мощенным улицам петербургской окраины.

Поскрипывают качели в садах, заросших жимолостью и жасмином, из распахнутых окон рвутся зазорные звуки полочки, срываемые с фортепианных клавишей, кричат дети, смеется женщина, и вдруг, покрывая все летние шумы, высоко и жалобно разносится вопль разносчика: “Сморода красная!.. Кружовник!..”

Цыганистый возница, будто почуяв шалое настроение седоков, принялся настегивать своего Росинанта, и тот, подергав залысой шкурой и кинув крупом раз-другой, вспомнил о своей благородной крови и пошел мерить дорогу, циркульно-прямо выбрасывая передние неги. Золотым хвостом завилась пыль за “гитарой”. Разморенные жаром прохожие кто осуждающе, а кто сочувственно оборачивались вослед лихой упряжке. Они вынеслись на слепящий блеск Малой Невки, у перевоза взяли влево, в сторону залива, и, не доезжая речки Ждановки, свернули в темную липовую аллею, объявшую их прохладой. Здесь кончилась мощеная дорога, и ход “гитары” стал тих и плавен. Возница попридержал коня, перевел на прогулочную рысь.

Ах ты, ночь ли,  
Ноченька!  
Ах ты, ночь ли  
Бурная!..

— Стой! — крикнул Пушкин.

Возница натянул драные вожжи. На скамейке перед бревенчатой избушкой с лубяной крышей и резными на-

личниками, такой странной среди петербургских дач, словно забрела сюда из сказочной русской старины, уронив пшеничную копну волос на деку мандолины, рыжий парень изнывал Дельвиговой тоской:

И с тобой, знать,  
Ноченька,  
Как со мною,  
Молодцем,  
Грусть-злодейка  
Сведалась!

Голос у него был теноровый, шаткий, но с медовой приятней. Пел он как будто для себя самого, забыв обо всем на свете, но можно было поклясться, что его трепетно слушают и парень это знает.

И, безродный  
Молодец,  
На постелю  
Жесткую,  
Как в могилу,  
Кинешься!

И с чувством доиграл аккомпанемент. Пушкин соскочил с линейки и подошел к парню.

— Слушай, малый, какую песню ты пел?— Тот поднял крупную голову. Был он не петербургской заморенной породы, а сочной ярославской: чистая светлая кожа, ресницы золотыми дугами, синие глаза. И знал он себе цену: спокойно поглядел на вопрошавшего, оценил и лишь тогда почел за нужное встать — спокойно, без суеты: отложил мандолину, спрятал косточку в карман, поднялся, одернул ситцевую розовую рубашку с тонким кавказским пояском.

— Известно какую, сударь, нашу, русскую,— сказал, улыбаясь свежим губастым ртом.

— Сочинил ее кто?

— Уж, верно, не я! — играя синими неробкими глазами, сказал парень.— Завсегда была!

— Ладно тебе, “завсегда”! — рассмеялся Пушкин. Ему нравилась свободная повадка рыжего парня. Он и вообще

был за подогрев стылой северной крови ядерной средне-русской струей.— А слова чьи?

— Да ничьи... Люди сложили.— Пушкин кивнул парню и вернулся к линейке.

— И ты еще жалуешься, барон! — сказал с насмешливой укоризной...

Дельвиг потом все удивлялся, как щедро тратил себя на него Пушкин в этот столь печально начавшийся и столь радостно продлившийся день. Конечно, они расставались, но столько уж было разлук! И никто не думал, что поездка Пушкина так затянется и он на всю осень застрянет в Болдине в холерном карантине. Его не будет с Дельвигом в то страшное утро, когда распаленный болгаринскими доносами шеф жандармов Бенкендорф оледенит бешенством свой голубой ангельский взгляд и обрушит на издателя "Литературной газеты" омерзительную остзейскую грубость, "тыкая", будто мужика, грозя тюрьмой и каторгой. Но вся его безудержная ярость разобьется о твердое достоинство человека чести, и впервые всесильному сатрапу придется просить извинения. Не будет Пушкина и когда Дельвиг заболает...

Но это все потом, а сейчас они кутили. Возница доставил их в отличный трактир, где они вкусно поужинали и выпили ледяного шампанского. Гладкие, расторопные и несуетливые половые напомнили Пушкину о рыжем певце.

— Пройдут годы, минует век, и другой синеглазый парень запоем "Ноченьку". А наши муки, наши горести и радости, удачи и поражения — кому до них будет дело? И наверное, это справедливо. В конце концов, важны только песни...

В дымчатых сумерках, которые с уходом белых ночей завораживают Петербург на пороге тьмы таинственной тишиной, неподвижностью воздуха, безмолвием замерших деревьев, они расстались у дома Дельвига.

— До свидания, радость моя!

— До свидания, мой милый! Во всем тебе удача!..

Обряд целования рук. И замирающий шорох быстрых шагов. Можно греть спину у чужой славы, думает тот, кто

остался у дверей, и, ей-Богу, это не так мало!.. И спасибо ему за все его подарки: за этот день, за цыганский выезд, рыжего парня, певшего мою песню, за холодное шампанское, согревшее мне душу, и за то, что я ему еще нужен...

У Дельвига при огрузневшей фигуре был легкий, неслышный шаг. Он миновал прихожую, поднялся по лестнице и прошел в спальню, не родив даже малого шума в старом, разохшемся доме, и сохранил тоненький сон дочери, просыпавшейся с плачем от скрипа половицы, зудения комара, далекого собачьего лая.

Жена спала, раскинувшись вкось двойной супружеской кровати. Свеча, которую Дельвиг зажег в прихожей, выхватила из мрака ее обнаженное плечо и беспорядок локонов. Лицо она зарыла в подушку, отчего дыхание стало хриплым. Пригорно пахло духами, пудрой, потом, вином и чем-то чужим — сигарным дымом, который она принесла в волосах и складках одежды.

Дельвиг подошел и взял подушку — ляжет в кабинете. Она отозвалась на его движение легким стоном. Он поглядел на женщину, причинившую ему столько зла, и какое-то странное спокойствие было в нем.

— Друг мой,— прошептал он,— ты можешь сделать еще много дурного, можешь убить меня, но не унижить.

## ТРОЕ И ОДНА И ЕЩЕ ОДИН

Когда эти двое остановились в “Дарьяле”, владельцу гостиницы, старый, тучный, с опухшим, вечно небритым лицом и заспанными всевидящими глазами Шалва Абесадзе не почувствовал ни малейшей тревоги. Эти двое были мужчина и женщина, их следовало бы называть “парой”, но Шалва Абесадзе, чтивший институт брака, наверное потому, что сам оставался холостяком, лишь законных супругов считал “парой”. А эти двое не состояли даже в “гражданском браке”, как называют узаконенное согласием общества прелюбодеяние, иначе потребовали бы общий номер, на что Шалва никогда не соглашался. То была единственная дань приличиям, которую он платил по доброй воле, вернее, по внутреннему велению, в остальном же постояльцам разрешалось вести себя как им заблагорассудится. Но эти двое попросили смежные номера, чем избавили и себя, и владельца гостиницы от неприятных объяснений. Им отвели номера на втором этаже, в тупиковом отростке коридора, шутливо называемом “слепой кишкой”, где они были полностью отделены от остальных немногочисленных постояльцев.

“Дарьял” не принадлежал к числу первоклассных отелей Тифлиса, находился далеко от центра, в конце горбатой, немощеной, заросшей жесткой травой улицы, его достоинствами были дешевизна, укромность, терпимость, отличная восточная кухня и отсутствие всякой чопорности.

В тот раз Шалва Абесадзе, как и обычно дневной порой, потягивал вино за шатким столиком под старым платаном у входа в гостиницу. Приезжие, выйдя из пролетки, прошли мимо него. Шалва поймал их узкими щелками меж припухлых смуглых век, взвесил, оценил и выпустил. Иностранцы,

прекрасно одеты, с манерами людей из общества и большими чемоданами дорогой крокодиловой кожи. И его досадно удивило, когда они спросили отдельные номера. Шалва узнал об этом из громкого возгласа не поверившего своим ушам опытного портье. Безошибочный нюх впервые подвел владельца гостиницы, он принял их за “пару”. Уж слишком уверенно и свободно держались. Наверное, старая, прочная связь, огорченный промахом, думал Шалва, и уж конечно за ними нет ни ревнивого мужа, ни брошенной жены, они не б о я т с я. Но и не афишируют своих отношений, скорее же всего просто ищут уединения.

Особенно пришелся ему по душе мужчина: коренастый, плотный, с крепкой шеей; чистые светло-серые, слегка навывкате глаза и упрямый постав головы придавали ему какую-то воинственную респектабельность. Разумеется, Шалва не пользовался таким мудреным словом и определил приезжего просто: знает себе цену.

Хлопоты скорее могли быть с дамой, чей возраст Шалва затруднялся определить, и это уже настораживало, как и всякая неясность. Если ей под сорок, то она прекрасно сохранилась, но Шалву не удивило бы, окажись она куда моложе. В этом случае следовало признать, она знала жестокие ветры и бури. Стройная, легкая фигура, по-молодому вскинутая голова в ореоле пушистых светлых волос, четкий овал лица, а в широко расставленных глазах под тяжелыми веками — горечь знания и усталость, приспущены уголки узких, словно поджатых губ, морщинки на висках. Но, может, дорога ее утомила? А отдохнет — и явится в блеске молодости. Нет, не явится, с подавленным вздохом подумал Шалва, тонкий, хотя и бескорыстный ценитель женской красоты, молодость свою она крепко изжила. Из этих двоих она старше, и не только годами, но и жизнью. А хлопот не будет, и гарантией тому даже не характер спутника, а ее собственная усталость. Она вымотана не дорогой, а пережитым и хочет тишины, покоя. “И ты получишь это в моем “Дарьяле”, — благожелательно пообе-

щал он женщине. Так размышлял в тени платана Шалва Абесадзе, перемежая, что неизбежно в подобных внеопытных построениях, точные угадки с грубейшими промахами. А завершив мозговое усилие, сделал большой глоток терпкого вина и смежил толстые веки...

Приезжих отвели в номера, туда же доставили их небольшой багаж. Господин сунул мелочь в жесткую ладонь носильщика — он же швейцар, он же ночной сторож при гостинице — и постучался к даме.

— Войдите!..— У нее был звонкий, легкий голос, не подающийся усталости.— Ах, это вы, Баярд!

— Можно подумать, вы ждали кого-то другого.— В голосе серьезность, недовольство, шутки не получилось.

— Да, носильщика. Я думала, он вернулся за бакшишем.

— Тут не просят бакшиша,— все так же серьезно, но уже по-доброму сказал Баярд.— А обычные европейские чаевые он получил.

— Ну и прекрасно.— Женщина потянулась за портсигаром из слоновой кости, небрежно брошенным на ночной столик.

— Погодите,— сказал Баярд, пристально глядя на нее своими медно- и прозрачно-серыми выпуклыми глазами. Он словно вбирал, втягивал ее в себя.

— О нет, Баярд! — сказала она жалобно. — Прощу вас.. Не сейчас. Я устала. Должна вымыться. Я пропылилась, как старый ковер. Ну, будьте хорошим!..

Баярд не хотел быть хорошим и опрокинул ее на кровать. Женщина покорно помогла его неловким усилиям.

— Какой вы страстный! — сказала она, когда Баярд освободил ее и отошел к окну.

— Я нор-маль-ный мужчина,- сказал он подчеркнуто.

Женщина вздохнула. Она поправила одежду, но не встала с кроватями, а потянулась за папиросами. Сейчас он уйдет, и можно будет привести себя в порядок. Надо попросить

горячей воды, о ванне в такой дыре нечего и мечтать. Воды, воды, скорее воды, горячей, теплой, холодной, на худой конец, только воды! Быстрая и неряшливая близость усилила в ней ощущение своей нечистоты. Она была грязной, пыльной, липкой, пыль набилась в волосы, в уши, хрустела на зубах, кожа душно пахла пылью, к тому же еще чужой, тоже не свежий, дорожный запах — все это было невыносимо. Почему он так любит внезапные, бурные и неудобные соединения? Впрочем, когда-то и для нее время и место ничего не значили. Но теперь ей мила лишь тихая, опрятная буржуазность: с разобранной постелью, погашенным светом, неспешными ласками, глубоким и чутким сном между объятиями. Он настойчиво вынуждает ее к другому. Ему это, видимо, надо. Ее и прежде не привлекал “штурмунд дранг”, но она подчинялась чужому темпераменту, а также вынужденным обстоятельствам легко и естественно, без нынешнего брезгливого преодоления и разделяла порыв, а сейчас чаще всего подделывает соучастие. Но он настолько эгоцентричен, что ничего не замечает. Наверное, его жизни недоставало приключений, встрясок, и сейчас он усиленно наверстывает упущенное, обостряя их уже прочно сладившиеся отношения вспышками неудержимой страсти. Желание — истинное или головное — настигало его в самых неподходящих местах, в самые неподходящие минуты: в купе поезда перед остановкой, когда мог войти проводник, на каменистой тропе в горах, на пустынной набережной под дождем, в номере гостиницы, куда едва успели внести чемоданы. Может быть, и ее притягательность для него объяснялась тем духом авантюры, неблагополучия на грани катастрофы, каким она пропиталась в своей прежней жизни? Он никогда не признается в этом. Но несомненно что за его докучными порывами было нечто большее, чем прихоть каприз, и она безропотно подчинялась. Как странно, что любой пленившийся ею мужчина незамедлительно берет над нею верх. Один старый друг — друг или враг? — называл это высшей женственностью.

Баярд искренне хотел быть безукоризненным, но ему не хватало тонкости и способности заглянуть в чужую душу, иначе он понял бы, как невыносимо ей все, что отдает богемной лихостью. А ведь он и сам ненавидел ее прошлое, зачем же так назойливо напоминать о нем? В необузданность его темперамента что-то плохо верилось. Но не стоит растревать себя, в жизни и без того хватает горечи.

— Отдохните, Дагни,— милостиво сказал Баярд.— Я зайду за вами перед обедом...

Обедали они в гостинице, в ресторане, с очень порядочной европейской кухней, оставив на вечер острые и пряные соблазны духана, а кофе пили в крошечном кафе под платанами. Дагни попросила заказать ей “лампочку вина” — польское выражение, одно из немногих приобретений ее краковских дней, и бутылку местной минеральной воды. Баярд подозвал юного горбоносого официанта в заляпанной вином холстинной курточке, дождался, когда тот выполнит заказ, после чего церемонно откланялся и пошел в город менять деньги в банке.

Дагни потягивала разбавленное минеральной водой красное вино и курила папиросы одну за другой, рассеянно сбрасывая пепел мимо круглой керамической пепельницы. По косым взглядам сидящих за соседними столиками она догадалась, что делает что-то не отвечающее принятым тут правилам поведения. Видимо, не полагалось приличной женщине сидеть одной за столиком, пить вино и курить. В Берлине, Стокгольме, даже Осло, не говоря уже о Париже, никто бы и внимания не обратил, но в каждом монастыре свой устав. Наплевать ей с высокой горы, что о ней здесь подумают. Дагни ехала сюда без охоты, недоставало еще ради сомнительных удовольствий этого путешествия жертвовать своими привычками и маленькими удобствами. Да ей и вообще никуда не хотелось ехать. Но ехать надо было. В Европе слишком многие ее знали, она покрыла свою личность ненужной славой, и утомительно то и дело наткаться на гадко пытливые физиономии. Есть, прав-

да, тишина отчего дома, но отец не принял бы их, он старых правил. Все бредили Кавказом хотя почти никто там не бывал, и они подались на Кавказ.

Она была равнодушна к природе. Ну, в малых дозах еще куда ни шло: багряный закат из окна ресторана, синяя гладь фиорда с борта прогулочной яхты, кусты сирени в городских садах, заставляющие поверить в приход весны... Но когда природа обстает тебя со всех сторон, когда ты погружен в ее чрево и она лезет тебе в нос, рот, глаза, уши и некуда деваться, это утомительно, скучно, а порой и тревожно. К тому же все время ждешь неприятностей: дождя, грозы, ветра, горного обвала, пыльной бури, солнечного удара, ядовитого укуса летающей или ползающей дряни. Но Баярду хочется, чтобы она восхищалась девственным миром, его чистотой, свежестью, то нежной, то величественной красотой, ведь это он привез ее сюда, в тишину, покой и уединение, спас и скрыл от всех бед, и она должна радоваться. Кстати, если забыть, что не так-то легко, о горах, ущельях, водопадах, утомительных кручах, опасных спусках, назойливых мухах, всепроникающей пыли и беспощадном солнце, то Баярд в самом деле заслуживает благодарности, уехать было необходимо, и уехать далеко, где бы тебя никто не знал и не стремился узнать. И кажется, они нашли такую землю. За месяц путешествия ни одной встречи, ни одного дурно загоревшегося узнаванием взгляда, ни одной попытки завести знакомство. Признаться, она чуть опасалась Тифлиса — большой, людной город, много приезжих, в том числе из Европы, но Баярд, заботливый и верный друг, все разузнал, разведал и нашел это тихое пристанище на краю города. Здесь уютно, мило, за деревьями, если не задирать голову, горы не проглядываются. Она насытилась горами и ущельями до конца дней. Конечно, и здесь не избежать вылазок в живописные окрестности, уже прозвучало на губах Баярда зловещее и непроизносимое из-за тесноты согласных, как и большинство грузинских слов, название монастыря, связанного с великим русским

поэтом, убитым на дуэли, но не Пушкиным, а вторым номером, у нее никогда не было памяти на имена...

Как здесь тихо! День накалился, и все поспорили укрыться за ставнями в прохладных комнатах. Ушли и негодующие соседи по столикам, даже толстый хозяин гостиницы убрался, прихватив недопитую бутылку вина, кафе опустело, все реже промелькивали тени прохожих и царапал беглый осуждающий взгляд. Наступил час умиротворения. Задышливо прокричал ишак в соседнем дворе и смолк, только внутри него еще долго что-то скрипело и перекатывалось, не в силах утомониться, и, будто под землей, тоненько заскулил щенок. Какая-то жалкая жизнь в замученном зноем и духотой пространстве не хотела сдаваться, отстаивая свое право на жалобу, ворчбу, кроткое несогласие, просто на сотворение малого шума. Дагни смежила веки, оставив в щелках немного розового света. И тут слегка заикающийся мужской голос обратился к ней на скверном немецком языке, приветствовал и назвал “мадам Пшибышевская”.

С чувством скуки, но и с некоторым облегчением — только сейчас она поняла, что тишина, став чрезмерной, уже не успокаивала, а давила, — Дагни отпахнула ресницы и увидела господина со шляпой в руке: лысоватый потный череп, острая черная борода, пенсне. Допустила в силу безнадежной стандартности его облика, что знакома с ним, и небрежно бросила:

— А-а!.. Вы?.. Здравствуйте. Садитесь... Только я уже не мадам Пшибышевская.

Господин почтительно опустился на краешек плетеного стула.

— Я Карпов, петербургский журналист... Мы с вами встречались в Берлине, в “Черном поросенке”.

— Голубчик, с кем только я не встречалась!.. — Голос звучал рассеянно, небрежно, но это нелегко давалось сведенной гортани.

В сизой мгле, наплавившей вдруг на знойную, чуть мерцающую, дрожащую прозрачность тифлисского летнего дня,

в сизой слоистой табачной мгле “Черного поросенка” обрисовались три бледных, синюшно-бледных от дыма, вина и усталости мужских лица — Эдвард Мунк, Август Стриндберг, Станислав Пшибышевский.

— Нас познакомил Галлен-Каллела,— послышалось будто издалека.

— С кем только не знакомил меня Галлен-Каллела! Он обожал знакомить людей, ничуть не заботясь, хочется им этого или нет.— Лица истаяли в знойном мареве яви, и голос налился, окреп.— Но вы не смущайтесь. Пейте вино. Скажите, чтобы вам дали бокал.

— Спасибо, у меня почки...— застенчиво пробормотал петербургский журналист.

— Спросите кофе. Здесь готовят по-турецки.

— У меня сердце,— совсем смутился Карпов. Не в лад неуклюже-робкой повадке маленькие его глаза за стеклами пенсне горели алчным любопытством.

“Ничего не скажу! — злорадно подумала Дагни.— Ничегошеньки вы от меня не услышите, господин петербургский сплетник!” А сама уже говорила, как будто речевой аппарат несколько не зависел от ее воли, был сам по себе:

— Да, с Пшибышевским мы расстались. Он очень мил, талантлив и все такое, но жить с ним невозможно.

С большим правом Пшибышевский мог бы сказать это о ней. Но не тогда, когда они расставались, а значительно раньше, в пору Берлина и “Черного поросенка”. Но тогда он молчал. Он принимал зримое за галлюцинации, которыми страдал с юности, а галлюцинации за явь. Впрочем, в безумном их кружке, где женщин обожали и ненавидели, унижали и возвеличивали, возводили на трон и свергали, а более всего боялись, царили снисходительность и терпение, непонятные тусклым моралистам, мещанам духа. Но перетянутая струна в конце концов рвется. Произошла ужасная сцена, Пшибышевский грозил ей пистолетом и послал Эдварду Мунку вызов на дуэль. И распался берлинский кружок, на шумевший на всю Европу, Эдвард умчался

в Париж, Стриндберг в Осло, Дагни с мужем нашли приют у ее отца в Конгсвингере.

И там, в тихом захолустье, Пшибышевский будто разом забыл о “Черном поросенке” и всем пороссячестве, спокойный, добрый, мягко рассеянный, почти безразличный, он с головой погрузился в работу. Она была благодарна ему за это равнодушие. Слишком измучила ее берлинская дьяволиада. Тем более что Стриндберг не оставил ее в покое, преследуя то вспышками ненужной любви, то злобной и шумной ненавистью. Какой тягостный и страшный человек, какой душный вид безумия!.. Не оставлял ее и Эдвард, хотя не появлялся, не писал, канув невесть куда. Но он был в ее мыслях, снах, вернее, в бессоннице. Нет ничего ужасней, изнурительней бессонницы. Она не могла писать. Начинала и сразу бросала. А от нее ждали. Две ее жалкие публикации неожиданно произвели впечатление. Пшибышевский самозабвенно переплавлял свои мучительные переживания — ревность, боль, разочарование, униженность — в золото слов, а она бесцельно маялась, обреченная днем на одурь полудремы, ночью — на вертячку бессонницы. Что это — женская суть или просто бездарность?

Ну а в Кракове, в блеске молодой громкой славы, уже не обещающий талант, не бледный спутник ярких светил, а само светило, признанный мастер, властитель дум и чувств, Пшибышевский загорелся идеей реванша. Сложного реванша, непосильным бременем легшего на ее изнуренную душу. Он завел “глубокую” и страстную переписку с женой писателя Костровича, а Дагни должна была читать и его заумно-нудные высокопарности, и вымученные признания противной стороны. Эпистолярный головной роман этот был оснащен системой доказательств, наводившей на мысль о судебных прениях. Терпение Дагни истощалось. По приезде в Варшаву она оставила Пшибышевского, который, будем честны, не слишком ее удерживал, и через Прагу, где прихватила этого... Баярда, как бишь его — простое, распространенное имя, а не удержать в памяти, отправив-

лась в Париж. Но парижский воздух оказался слишком насыщен безумствами Эдварда, и они устремились на Кавказ. Да, так все и было, а разговоры о том, что Пшибышевский бросил ее,— ложь. Его жалкий бунт ничего не стоило пресечь. Но она устала от чужой гениальности, подавившей ее скромные способности, больных нервов, воспаленного ума, после всех пряных изысков ее потянуло к ржаному хлебу и молоку... Непонятно одно: зачем ей понадобилось посвящать в свою интимную жизнь малознакомого и отнюдь не привлекательного человека? Все ее проклятая женственность виновата!

— Здесь я с другом,— зачем-то сообщила она.— Он прекрасный человек, нам хорошо, но я слишком измучена, чтобы вновь принимать на себя обузу брака. Не знаю, может быть, потом...

Петербургский журналист угодливо закивал своей облезлой головой, а в маленьких глазах требовательно, даже нагло зажглось:

— ?!

— Ах, вы о Мунке! — догадалась она. Проклятая, проклятая женственность!

Конечно, большой беды в ее откровенности нет. Раз этот господин находился в Берлине в ту пору и был вхож в их круг, он и так все или почти все знает. Молодые, широкие, беспечные, они не умели и не считали нужным ничего скрывать, и вся их жизнь в перепутье сложных отношений была нараспашку. В неведении, довольно долгом, находился один Пшибышевский. “Муж узнает последним” — банальность, пошлость, но при этом правда. Впрочем, к их случаю вопреки очевидности эта поговорка отношения не имеет. Позднее прозрение Пшибышевского было мнимым.

— Пшибышевский вызвал Эдварда. Жест, достойный немецкого студента-забияки или подвыпившего бурша, скажете вы? Но все обретает иной смысл, иную окраску, когда затрагивает людей такого масштаба...

Начав столь высокопарно, она вдруг осеклась. Да состоялась ли эта дуэль или дело кончилось, как обычно, пшиком? Вызов был. Резкий, оскорбительный, как плевков. Дуэль не могла не состояться. Хотя Эдвард вовсе не был так виноват, как казалось оскорбленному мужу и всем окружающим. У Эдварда было внутреннее право не принять вызов, но никто бы этому праву не поверил. Отказ сочли бы трусостью. Значит, они дрались, хотя от нее это скрыли. Но почему она сама никогда не пыталась узнать, как там все произошло? А зачем? Она не нуждалась в подробностях. С сомнамбулической, провидческой отчетливостью нарисовала она картину кровавой сшибки. Ей не хотелось, чтобы жизнь с обычной бесцеремонностью испортила художественную цельность образа. Пшибышевский решил пощадить человека, но убить художника, и прострелил Эдварду руку, правую руку, держащую кисть.

— Наверное, Петербург — глухая провинция, мы ничего не слышали о дуэли, — промямлил Карпов.

Внезапная усталость пригнула ей плечи, налила свинцом голову. О господи, неужели так важно, была ли эта дуэль на самом деле? Почему людям непременно надо разрушать прекрасное, способное стать легендой? Они так цепляются за плоскую, жалкую очевидность, так неспособны воспарить над мелкой правдой факта, что душа сворачивается, как прокисшее молоко. Экая духота! Загадывай им загадки, закручивай чертову карусель, они все равно будут выхрюкивать из грязной лужи житейщины: было — не было? Да кто знает, что было, а чего не было! Бог наделяет своих избранных правом исправлять прошлое, если оно не поднялось до высших целей бытия. Настоящая художественная правда: дуэль состоялась и пуля раздробила Эдварду кисть правой руки. Но он не перестал писать картины, лишь потерял способность воссоздавать ее образ, поразивший его еще в детстве, да, в детстве маленький Эдвард ахнул и не по-детски застонал при виде крошечной Дагни Юль. Ее чертами наделял он всех своих жен-

щин, она и в “Мадонне”, и в “Созревании”, и в “Смехе”, в “Красном и белом”, в тройственном образе Женщины, хотя это ускользало от проницательного глаза Пшибышевского, но не ушло от бездонного взора Стриндберга. Эдвард заслужил такое наказание, он предал не дружбу, а любовь. Но об этом знают лишь они двое, их маленькая тайна, мешающая легенде, ничего не стоит. Жизнь пишет историю начерно, молва перебеливает ее страницы. Не надо путать молву со сплетнями, она всегда права, раз отбрасывает случайности, шелуху просчетов, ошибок, порожденных несовершенством человека; неспособностью его быть на высоте рока и судьбы. Ах, что за глупый фарс разыграл он тогда в мастерской!.. После всех долгих лунатических танцев в подвале “Черного поросенка”, таких долгих, что грезивший наяву Пшибышевский, обретая порой действительность и видя в полумраке вновь и вновь их покачивающиеся слившиеся силуэты (как прекрасно схватил это Мунк в своем “Поцелуе”: тела целующихся стали единым телом и лица, взаимопроникнув сквозь пещеры отверстых ртов, стали одним общим лицом), так вот, Пшибышевский полагал галлюцинацией зрелище забывшей обо всем на свете, презревшей все условности, отбросившей не только осторожность, но и память о жизни, погруженной в нирвану недвижного вальса влюбленной пары. И много, много времени понадобилось ему, чтобы признать убийственную материальность этих галлюцинаций. Но, ирония судьбы, его прозрение оказалось еще одним обманом. Как мог он быть таким наивным, доверчивым, непонимающим — самый их танец был преступлением, когда же замолкала музыка, они не размыкали объятий, ведь были не сцепом, а сплавом, и в тишине целовали друг другу руки, плечи, лица. Фосфоресцирующий в полумраке взгляд Пшибышевского, обращенный не вовне, а внутрь, оставался безучастным, как белый пуговичный взгляд брейгелевских слепцов.

Но она вела бы себя точно так же, если б он видел и ревновал и зеленел от гнева, столь истинным и справедли-

вым было все происходившее между нею и Эдвардом. Они полюбили друг друга с той давней детской встречи, и она вошла в его картины, быть может, неведомо для него самого задолго до Берлина, когда он стал писать ее портреты, когда он просто уже не мог написать другой женщины, когда в каждом женском образе, выходящем из-под его кисти, проглядывали неправильные черты ее просторного, скуластого, коротконосного, с широко расставленными глазами лица. Он заставлял ее полюбить собственное лицо, которое прежде не нравилось ей до горьких слез, заставил поверить в свое лицо, в себя самое, создал ее в единстве духовного и физического образа, явив новый поворот чуда Пигмалиона.

Но почему, когда они встретились в Берлине, он после первой непосредственной радости узнавания повел себя так скованно и уклончиво? Он и вообще человек сдержанный до робости, молчаливый, правда, пока не напьется. Тогда он способен на вспышку, на дебош, на любую дикую выходку. Но прав Стриндберг, считавший пьяные мунковские скандалы оборотной стороной его болезненной застенчивости. Все загнанное внутрь, спрессованное на дне души высвобождалось взрывом под действием винных паров. Довольно высокий, узкоплечий и узкогрудый — вот уж кто не был спортсменом! — он мог наброситься с кулаками на кого угодно, и такое безрассудство было по-своему прекрасно. Но, трезвый или пьяный — о, как они кутили! — Эдвард был с ней неизменно вежлив, тих, почтительно грустен и уклончив, без этого слова не обойтись. Он же видел, что она влюблена, и сам был влюблен в нее, на этот счет нельзя ошибиться. Говорили, что он боится женщин. Возможно. Только боязнь не мешала ему одерживать бесчисленные победы, которые он и в грош не ставил. Он был сказочно красив. Боги изваяли его крупную, гордо посаженную голову. Обманывал его крутой, волевой подбородок, и переливающиеся из сини в изумруд глаза тоже обманывали, их льдистый холод и сила ничему не соответ-

ствовали в его податливой, слабой душе. Полно, так ли уж он слаб и податлив? Разве не прорывалась в нем странная, упрямая сила и разве не сила — его художническая устойчивость, непоколебимо противостоящая брани, непониманию, чужим влияниям, щедрости дружеских советов, соблазнам легкого пути? В ту пору он еще не носил усов, и свежий, мягкий, молодой рот был нежно и наивно обнажен. Ей все время хотелось целоваться с ним, и они целовались, но дальше не шло. Гете говорил: от поцелуев дети не рождаются. Похоже, эти слова накрепко запали в Эдварда. “В нашей семье только болезни и смерть. Мы с этим родились”, — вздыхал он. Его навсегда потрясла ранняя смерть матери и старшей сестры Софи. Тоска по сестре стала картиной “Больной ребенок”. Из палочек Коха, сгубивших несчастную Софи, родилась ранняя слава Эдварда, на пронзительной нежности этого полотна сошлись все, даже те, кому Мунк был противопоказан. “Нам нельзя вступать в брак: ни мне, ни брату, ни сестре, — сколько раз говорил он. — Мы унаследовали от отца плохие нервы, от матери — слабые легкие”. Милый, чистый, наивный Эдвард, он считал, что они должны немедленно пожениться, если уступят страсти.

— Ну а?! — произнес петербургский господин Карпов, и ее все угадывающая женственность подсказала нужный ответ:

— Стриндберг?.. Он довольно долго не лишал нас своего общества, это было похоже на преследование. Ну а потом громогласно проклял меня. Ужасны люди, которые сперва пресмыкаются перед женщиной, а затем обливают ее грязью. Из просвещеннейшей, мудрейшей, обаятельнейшей Аспазии я превратилась в исчадие ада. И все потому, что отказала ему и стала женой Пшибышевского. Бог с ним, у меня нет зла на него, он достаточно наказан своим злосчастным характером...

В конце концов, она не на исповеди. Кто этот случайный, суетный, тусклый человек? Микроб, ничтожный знак миро-

вой суеты. А она допустила его в преддверие тайн. Такой, зная, стих на нее нашел — засиделась, да и не следовало Баярду оставлять ее одну. К тому же полуправда — это правда для непосвященных. Счет Стриндберга к ней куда больше и основательней. Их свел Эдвард, он же вскоре познакомил ее с Пшибышевским. Но, как ни скоро это произошло, Стриндберг, сразу влюбившийся в нее восторженно, тяжело и угрюмо, успел сделать ей предложение — он незадолго перед тем развелся и, разумеется, получил отказ. Не только потому, что ее сердце было занято Эдвардом, но этот непросветленный, чуждый эллинскому духу Перикл, без устали мычащий, стонущий, рычащий “Аспазия!. Аспазия!..”, был ей страшен. Он таскал пистолет в кармане куртки и однажды угрожал им, нет, не ей, а беззащитному Эдварду. Тот написал удивительный портрет Стриндберга, где преувеличенная мощь черепной коробки подавила некрупность заурядных черт. Впоследствии он литографировал этот портрет, но, по обыкновению, не буквально, и освободил лицо Стриндберга от груза лба и черепной крышки, отчего оно выиграло в благообразии, но потеряло в грозной значительности. Все же не искажение облика взорвало Стриндберга, для этого он был слишком умен, а странное прозрение художника, обравившего портрет зыбко-волнистыми линиями, таившими абрис женской фигуры. Стриндберг усмотрел в этом дерзкую попытку проникнуть туда, куда он никого не пускал, и на последнем сеансе вынул пистолет со взведенным курком и сказал глухо: “А ну без вольностей!” Так под пистолетом и дописывал Эдвард портрет. И было в этих опасных мужских играх что-то такое жалкое, бедное, что душа ее не выдержала. Конечно, ей пришлось сразу же раскаяться в своем добром порыве, Стриндберг не понял жеста милосердия, решил, что теперь обрел права на нее. Быть может, потому и поторопилась она выйти замуж на Пшибышевского, мягкого и взрывчатого, нежного и язвительного, всегда воодушевленного, искрящегося, а главное — доброго, доброго. О его болезни она ничего тогда не знала, но, если б и знала, не изменила бы своего решения.

Кто из окружающих был до конца нормален?.. Брак с ним разрубил страшный узел, почти стянутый Стриндбергом на ее судьбе. И еще один узел мог развязаться, хотя она никогда об этом прямо не думала, избегая цинизма даже в мыслях, но не запрещено же было надеяться в тайнике души, что с замужней женщиной Эдвард отбросит осмотрительную щепетильность. Супружескую верность не слишком щадили в их среде, к семейным добродетелям относились с насмешкой.

О горестный закон несовпадений! Она так же тяжело помешалась на Эдварде, как Стриндберг на ней. А Эдвард?.. Конечно, он не был равнодушен, иначе откуда такая одержимость ее образом? Она была для него и той девочкой-подростком, что затаилась на огромной кровати, потрясенная наступившей зрелостью, и вампиром, пьющим кровь из затылка жертвы, и крылатой когтистой гарпией над растерзанным мужским трупом, и прелестной невинной девушкой у окна, босоногой, в легкой рубашке, и той отчаявшейся, с распущенными волосами и обнаженной грудью, у которой остался лишь пепел чувства. Мучаясь загадкой женщины, Эдвард неустанно вызывал ее дух, словно лишь в нем чаял найти разгадку. Он мог смешать ее черты, изошренно затуманивать сходство, прятать его в наивных и злых искажениях, и все же она неизменно присутствовала во всех греховных, целомудренных, порочных, поэтичных, горьких и сладостных видениях Эдварда.

И оставалась музыка в ночном опустевшем танцевальном зале старого берлинского кабака, и бесконечный, почти неподвижный вальс, и поцелуи под мерцающим в полумраке незрячим взглядом Пшибышевского. И когда терпеливое смирение уже рвалось из груди сухим рыданием, Эдвард пригласил ее к себе в мастерскую.

В убогой студии с голыми стенами, обшарпанным полом и рухлядью вместо мебели был накрыт стол, золотилось горлышко шампанского. Эдвард, которому крайняя неряшливость мешала казаться элегантным, даже когда на

нем были хорошие модные вещи, на этот раз выглядел безукоризненно: светлый фланелевый костюм, крахмальная сорочка, галстук-бабочка. Хлопнула пробка. “За вас!” — сказал он, и глаза его потемнели. Она залпом осушила бокал. Он сразу налил еще. “За нас!” — успела она сказать.

Когда бутылка опустела, он провел ее в маленькую спальню с окном во всю стену. “Разденьтесь, прошу вас!” — странно, проникновенно сказал он и вышел. Заранее решив ничему не удивляться, она покорно сняла одежду. Он вошел, внимательно посмотрел на нее обнаженную. — Я только сделаю набросок углем.

Она ничего не ответила, закрыла глаза. В темноте слышала, как колотится под ребрами сердце и шуршит уголь по картону.

— Женщины Кранаха кажутся мне прекрасными,— сказал Эдвард,— но ты лучше женщин Кранаха. Сейчас я прибавлю краски.

Она быстро уставала и боялась, что это отразится на линиях тела. Долго ли еще продлится неожиданный сеанс? Очевидно, желание приходит к этому невероятному человеку через его искусство. Остается терпеть. И тут он сказал:

— Спасибо! О, спасибо тебе, Дагни. что ты пришла и была такой милой. Я никогда не забуду...— И деловитым тоном врача, окончившего осмотр: — Можешь одеться.

Она была так ошеломлена и подавлена чудовищным свиданием, что снизошла к Стриндберговой мольбе. Нужно было вновь поверить, что она еще женщина. И тут как раз Пшибышевскому зачем-то понадобилось выступить в классической роли мужа-лопуха. Поиграв не слишком убедительно пистолетом перед ее лицом, он послал вызов Эдварду. Это было глупо, и ей совсем не льстило. чтобы в ее честь началась пальба. Да еще по ложной цели. Это потом, когда все осталось позади, сгнуло в густом тумане, она выстроила картину дуэли, достойную стать легендой. А тогда она ничего не знала, не чувствовало, кроме смертельной усталости. Она разом постарела лет на десять.

Конечно, они много дали ей, эти люди, до встречи с ними она была зеленой девчонкой, несмотря на свои двадцать четыре года и все исписанные страницы. А с ними стала мудрой, аки змий, и узнала столько о величии и низости человека, что не снилось, не мерещилось всем ее норвежским сверстницам. Ее опажнуло могиальным холодом Стриндберговых пучин, жгучей болью мунковских кошмаров, мозг и душу напрягали патетика и молитвенный экстаз Пшибышевского, ей открылись миры Метерлинка, Гофмансталя, эротический фейерверк Ведекинда, утонченные символы Бердслея и ядовитые — Филисьена Рапса. Но какие-то загадки так и не разгадались, а запутались еще сильнее, переизбыток обернулся странным оскудением, и родники собственного творчества потухли. К тому же Эдвард поколебал ее уверенность в себе как в женщине. И она ошеломленно обнаружила, что эти богачи обворовали ее. Подобно гриммовскому закодированному корыстолюбу, они превращали в золото все, к чему ни прикасались. Им шло на пользу, когда их не любили, обманывали, унижали, заставляли страдать, мучиться. Они ничего не потеряли во всех передерягах проклятой и благословенной берлинской жизни. Они бражничали, бесчинствовали, бесились, страдали от любви и ревности, а в результате не растрачивались и приобретали. Эдвард овладел недоступной ему прежде графикой и сразу стал королем. Заблестали новые грани громадного таланта Стриндберга. А безвестный Пшибышевский взлетел на литературный Олимп. Она же, их муза, источник стольких озарений, радостей и мук, предмет неистовых воцделений и смертельных ссор, растеряла все, что имела, осталась нищей. Ну, конечно, она приобрела жизненный опыт. Но это благо для писательницы, а просто женщине, какой она стала, опыт ничего не дает, кроме привкуса горечи в каждом глотке.

— Нет, Пшибышевский пока один,— отозвалась она на не высказанный вслух вопрос.— Хотя тут мои сведения, возможно, и устарели...

Так протекал их разговор, который правильнее было бы назвать монологом, прерываемым паузами — для него почти неприметными, для нее весомыми, как та жизнь, что успевала нахлынуть и обременить сознание. И вдруг она не смогла понять, к чему относится знак вопроса в его расширенных любопытством зрачках.

Не найдя ответа внутри себя, она недоуменно повела глазами и увидела Баярда. Незамеченный и непредставленный, Баярд напрягся гневной обидой. До чего же утомительный человек!.. Как бишь его?.. Господи, ну почему его имя, словно мелкая монета, все время заваливается в какую-то щель! Ладно, а этого петербуржца как зовут? Он вроде бы назвал себя. Надо же быть такой рассеянной и беспамятной!

— Познакомься, милый,— сказала она на “ты”, нарочито хриловатым простонародным голосом, который должен был превратить нарушение приличий в эдакую “свойскую” манеру, якобы оживленную в ней посланцем юных дней.— Старый знакомый по Берлину, петербуржец, известный журналист, а главное, отличный парень.

И, поддаваясь гипнозу, человек, которого она не помнила, вскочил с радостным видом.

— Весьма польщен!.. Карпов... Николай Михалыч...

— А это мой Баярд,— сказала Дагни на басовых нотах нежности, какой сейчас вовсе не ощущала.— Мой дорогой, единственный... Мой белый рыцарь!..

Карпов собрался было сунуть руку белому рыцарю, но, остановленный ледяным полупоклоном, раздумал, часто закивал, словно китайский болванчик, и вытиснулся из-за столика.

— Разрешите откланяться,— бормотал он, отступая.— Очень рад, что удостоился... очень, очень рад...

— Кто этот господин и чему он так радуется? — деревянным голосом спросил Баярд, чопорно опускаясь на шаткий стул.

Она не выносила подобного тона, но сейчас испытывала благодарность к своему тягостному спутнику. Ей нравилось,

как решительно и беспощадно изнал он пронзительного господчика. Она уже сердилась на себя за глупую откровенность, к тому же слишком много сора взметнуло со дна души этим разговором. Жаль, что Баярд не пришел раньше. Какое все-таки счастье, что у нее есть этот простой и надежный человек. Владислав его зовут, вот как! А фамилия почему-то немецкая — Эшенбах, нет, Эмен... Да черт с ней, с фамилией! Человек важнее. Что имя — звук пустой. Человек. Мужественный. Прямой. Без вывертов. Земная персть, презрительно говорил Пшибышевский о слишком заземленных людях. Какая глупость! Значит, прочно связан с матерью нашей землей, а не парит в мистико-символических болотных испарениях.

— Владислав,— сказала она и повторила — авансом на будущее, когда опять забудет, как его звать: — О мой Владислав!.. Нет, мне не хочется называть вас так,— опять уместная предосторожность.— Это для других, а для меня вы Баярд, рыцарь без страха и упрека. Зачем вам этот человек, призрак из небывших времен?

— Я спросил, кто он? Вы не хотите говорить?

— Откуда мне знать? Маска. Икс. Нетаинственный незнакомец. Неужели вы хотите, чтобы я помнила всякую шушеру, которая крутилась вокруг нас в “Черном поросенке”?

Она еще говорила, а уже злилась на себя за промашку. Все было хорошо, но зачем “вокруг нас”, фраза существовала и без уточнения. Баярд немедленно придрался:

— Как высокомерно!.. “Вокруг нас”!.. Вы, конечно, считали себя центром мироздания?

— Выпейте вина.

— А если этот человек так ничтожен, зачем было сажать его за столик?

— Стоит ли придавать значение подобной чепухе?

— Вы отлично знаете, что это не чепуха. Вы готовы якшаться с кем попало, если он возился в той же клоаке... — Он осекся, поняв, что зашел слишком далеко.

Дагни многое осуждала в своем прошлом, но не любила, когда это делали другие. Особенно Баярд. Хотелось ве-

рить в его великодушие. Не так уж щедро взыскан он достоинствами, чтобы терять одно из них, быть может, важнейшее. Хорошо, что он замолчал,— значит, понял... Внезапно она вспомнила, что Баярд когда-то замешивался в свиту Пшибышевского. До встречи с ней он был вечным студентом. Трудно поверить, но что было — было. Это не редкость, когда человек не ведает своей сути, живет не свою, а чужую, случайную жизнь. Нужно какое-то событие, удар, болезнь, потеря, неожиданная встреча — словом, мощная встряска, чтобы он открыл самого себя и стал собой. А Владислав мог не спешить с самоопределением, он был богатенький и спокойно пропускал жизнь мимо себя. Знакомство с ней пробудило Владислава от спячки, вдохнуло душу в глиняный сосуд. Он сразу возненавидел Пшибышевского и весь его круг. За короткий срок шатун студентик неузнаваемо изменился не столь внутренне, но и внешне, его плоть налилась и окрепла под стать осознавшему себя и свою цель духу. Из неестественно задержавшейся юности он сразу шагнул в прочную зрелость. И когда она рассталась с Пшибышевским, он был вполне готов для роли спасителя. Ах ты, мой спаситель толстомордый!..

— Милый.— Дагни накрыла рукой его руку.— Вы устали? Это далеко? Почему вы не взяли извозчика?.. Такая жара!..

— Вы же знаете, я хороший ходок и не боюсь жары.— Голос уже отмяк.— Я все сделал, поменял деньги, они пытались надуть меня на курсе, но со мной такие фокусы не проходят. Договорился с проводником на завтра. Мы поедем осматривать Джвари.

— Что-о?!

— Джвари,— повторил он небрежно, гордясь тем, что так легко произносит слово, о котором можно язык сломать.— Это развалины древнего монастыря. А потом Светицховели.

— О господи! — Дагни беспомощно огляделась.— Как вы сказали?

— Светицховели. Старинный храм.

Она уже поняла, что он вычитал эти названия в туристском проспекте. У него была изумительная механическая память. Он свободно говорил на пяти-шести языках и помнил кучу всевозможной чепухи, но надо было продолжать восторгаться.

— Вы чудо!..— Слова не шли, и она сказала самое простое, что избавляло от дальнейших излияний: — Я люблю вас.— И чуть не расплакалась над обесценившимся вмиг самым дорогим на свете словом...

У них была нежная ночь. Ушел он под утро, ему необходимо хотя бы четырехчасовой сон, чтобы чувствовать себя бодрым и свежим. Ей же безразлично — спать много или мало. Пробуждение неизменно оборачивалось кошмаром, а бодрой она себя никогда не чувствовала. Но несколько рюмок вина и папиросы помогали ей держаться. Бледный свет просачивался в окно сквозь редкую ткань занавесок. Она раздернула занавески. В бесцветном пустом небе висел слегка подрумяненный по бледному золоту еще невидимым солнцем рожок месяца. Она вспомнила, что Эдвард не узнавал в месяце луну. “Куда девалась луна? — тревожно спрашивал он в одну из душных берлинских ночей, когда они возвращались из “Черного поросенка”, скребя тротуар заплетающимися ногами.— Я не вижу больше луны, только этот проклятый серп. Он хочет полоснуть меня по горлу”. — “Опомнись, Эдвард,— пытался вразумить его Пшибышевский.— Неужели ты не узнаешь молодую луну?” — “Какую еще луну? Где ты видишь луну? — закричал Мунк с отчаянием.— Луна круглая, это знает каждый ребенок. Луну украли!” И он зарыдал. Даже дикарю ведомо, что луна не только круглая, что она рождается из тонкого серпика и в серпике же изживает себя. А вот Мунк не знал, на то он и Мунк, чтобы знать скрытое от всех мудрецов земли и не знать то, что известно каждому. И Дагни заплакала. Она не плакала с детства, не умела этого делать. Grimасы плача причиняли ей боль,

слезы неприятно размазывались по лицу, из носу текло. Она плакала, как девочка-замарашка, и была сама себе противна. Но остановиться не могла...

А утром они отправились на экскурсию в сопровождении бронзово-смуглого поджарого проводника с узким, как лезвие ножа, интеллигентным лицом, хотя выглядел он бродягой: грязно-белый полотняный костюм, разношенные, спадающие с ног шлепанцы. Держался он свободно, на грани развязности, с откровенным восхищением смотрел на Дагни и плевать хотел на грозно хмурившего брови Баярда. Поняв, что вольного сына гор не проймешь, Баярд махнул на него рукой. Проводник прекрасно говорил по-немецки, но, верно, не был профессиональным гидом — слишком нерасчетливо тратил себя на восхваление окружающих красот и достопримечательностей. При таком энтузиазме настоящий гид давно бы выдохся и онемел, а этот тараторил без умолку, то и дело взбегал на какие-то кручи летучим шагом сухих оленьих ног, что-то выглядывал с высоты и длинными скачками устремлялся вниз. Он упоенно любил эту знойную каменистую землю и хотел, чтобы чужие люди полюбили ее.

Несмотря на ранний час, июньское солнце палило нещадно, от тропы валило жаром. Простор был повит знойной зыбью; так и не набравшее синевы небо поблескивало белыми слепящими точками, будто в нем что-то лопалось от перегрева. На скальном выторчке сизый голубь рылся клювом в грудных перьях, распластав металлическое, раскаленное крыло.

Пока Дагни и Баярд карабкались на холмы к монастырю Джвари, Автандил, так звали проводника, успел дважды взбежать на вершину. Он был очень возбужден, декламировал стихи по-русски — чуткое ухо Дагни уловило их энергию и музыкальность и два знакомых слова: “Арагва”, “Кура”, пел, размахивая руками, силясь заразить холодноватых чужеземцев своим восторгом. Дагни улыбалась ему, но что могла она поделать, коли душа ее отзывалась лишь современности и городу? Конечно, тут было красиво. Далеко внизу сливались

две воды, золотисто сверкали песчаные отмели, и большая птица недвижно висела в небе. Но водосточные трубы Парижа, решетка бульвара Сен-Мишель, осенний листопад над длинным Карл-Иоганном, даже узкая мутная Шпрее — река самоубийц — говорили ей куда больше.

И все же, когда они стали на вершине и взору открылись голубая лента Арагвы и желтая Кура, Военно-Грузинская дорога, уходящая в сиренево-розовую тайну гор, плоские крыши Мцхеты, сверкающий белизной собор Светицховели, скорлупа равнодушия лопнула — Дагни словно приподняло над землей. Она обернула к Баярду счастливое лицо. Тот не смог отозваться на ее радость — что-то записывал в блокнот под диктовку проводника. Он все время вел записи в дороге, но не показывал их Дагни. Правда, она и не любопытствовала, а стоило бы взглянуть, что он там царапает. Но сейчас ей не хотелось иронизировать над педантизмом Баярда, нравилась волевая определенность его природы, обязательность даже в отношении пейзажа и руин.

Переводчик рассказывал о Джвари, о его строителях, о первых христианах в Грузии, а Баярд прерывал его короткими вопросами: “В каком веке?”, “Год?”, “Кто именно?”.

Затем они вошли в прохладное, источающее легкий запах тлена нутро монастыря и осмотрели узкие высокие кельи с просквоженными солнцем ножевыми рассеками окон. Дагни тщетно пыталась растрогать себя мыслями о томившихся здесь и умерщвлявших плоть подвижниках новой веры, а мозг точило: упрямое безумие одних не дает счастья другим. Она завидовала Баярду, который осматривал монастырь так серьезно, озабоченно и придирчиво, словно намеревался его купить, сильная ее женственность обычно тускнела в присутствии Баярда, но сейчас она радостно откликалась каждому его слову, движению, жесту, даже недостатки его привлекали своей постоянностью. Он был другой, не такой, как прежние люди, водившие вокруг нее бесовский хоровод, но в том и заключалась его спасительная необходимость. И пусть он ощупывает ветхие стены хозяйской рукой, пусть задает не-

нужные вопросы проводнику и что-то царапает в своем блокнотике, он ее надежда, ее будущее...

А потом опять нагретое пахучее нутро извозчицей пролетки, теплый ветерок, благостная прохлада, опавшая на лица, когда переезжали мост через Куру, бульжная кривизна узких улиц Мухеты, тяжелая, истомившаяся зелень садов — а ведь лето только начиналось! — чуть захлебывающаяся речь проводника, воспевавшего древнюю столицу Грузии и ее собор, и странно легкая, погруженная в солнце громада Светицховели. Своим радостно-клекоцущим голосом переводчик сообщил, что в храме есть моргающий Христос.

— Что это значит? — строго спросил Баярд, не любивший мистики.

— Вы сами увидите, — засмеялся проводник.

Но Баярда это не удовлетворило, и тот вынужден был дать пояснения. Забытый за давностью лет даритель пожертвовал храму изображение Христа кисти неизвестного итальянского художника. Полотно, хоть и мастеровитое, особой художественной ценности не представляет, но отличается любопытным свойством: когда смотришь издали, глаза Спасителя кажутся закрытыми, но стоит подойти ближе, и Христос широко открывает свои темно-синие, опущенные густыми ресницами глаза.

— Какая чушь! — пожал плечами Баярд.

Дагни не терпелось увидеть таинственного Христа. Но проводник опередил ее. Не успела пролетка остановиться, как он спрыгнул на землю и со всех ног кинулся в манящий полумрак храмовых сводов. Забыв о Баярде, о своем возрасте, о всех приличиях, Дагни, как последняя девчонка, побежала следом за ним.

Между колонн в позолоченной раме висело традиционное для поздних итальянцев изображение Христа. Юноша с мягкой каштановой бородой и прикрытыми в дреме голубоватыми веками. Дагни быстро прошла вперед, и веки юноши распахнулись навстречу ей, показав синие, с чернотой в райках, печально-задумчивые глаза.

— Как это прекрасно! — воскликнула она, растроганная добрым символом.

Обернувшись простым, народным человеком, проводник звонко цокнул языком: такое увидишь только у нас!

Подошел Баярд, строго глянул на Дагни, недовольно на Автандила, по-военному одернул пиджак, и шагнул к Христу. Мускулы его лица напряглись. Он немного отступил, снова пошел на сближение и пренебрежительно отвернулся.

— Чепуха, он и не думает открывать глаз.

Дагни взяла его под локоть и медленно, видя, как приоткрываются синие с черными крапинками глаза Бога-Сына, подвела к Христу.

— Фантазерка! — снисходительно усмехнулся Баярд.

Она смутилась. А вдруг он прав и всему виной ее проклятая женственность, заставляющая бессильно покоряться чужой воле? Ну а проводник? Ему положено задурять головы приезжим.

В собор вошла русская семья: полная, рыжеватая, загорелая по желтизне веснушек женщина, большая девочка, похожая на борзую костлявой утонченностью спины и конечностей, белобрысый, серьезный, испуганный мальчик лет пяти. Семья остановилась возле них. Мальчик о чем-то спросил мать, показав пальцем на Христа.

— Дядя спит? — умильно шепнул Дагни Автандил.

Мать легонько подтолкнула сына вперед. Мальчик заупрямился, тогда мать взяла его за плечи и подвела к Христу. У Дагни замерло сердце, казалось, сейчас решится ее судьба. Лицо мальчика скривилось мучительным удивлением. А потом он засмеялся, захлопал в ладошки, закричал. Мать нахмурилась и приложила палец к губам. Дагни не нуждалась в помощи Автандила — Христос открыл свои глаза мальчику. Дагни стало легко и горестно. Она повернулась и вышла из храма.

— Я никогда не поддавался внушению, — жмурясь от солнца, самодовольно заявил Баярд.

— Бедный человек, — тихо сказала Даши, — бедный, бедный человек!

“Только не плакать! — приказала себе она.— На смей плакать!” Они подходили к пролетке, когда вывернувшийся невесть откуда Автандил шепнул ей в самое ухо:

— Иисус просто не выдерживает взгляда господина!..

Она оторопела от наглой догадливости проводника. Стоило его хорошенько проучить, чтобы не совал нос куда не следует. Ему не за это деньги платят. Но сильнее негодования была в ней мгновенно проснувшаяся жалость к Баярду. Бедный, в самом деле бедный, если уж проводник в грязных обносках позволяет себе подшучивать над ним. Она сделала вид, будто не расслышала ядовитого шепотка. Конечно, сам Баярд вовсе не считает, что потерпел поражение, напротив, окружающие кажутся ему жалкими фантазерами. Гордится, дурак несчастный, трезвостью своего уравновешенного ума. И ей захотелось возвысить Баярда, чтобы забылась глупая неудача, чтобы она снова поверила скромному превосходству его заурядности, но, не зная, как это сделать, безотчетно прибегла к простейшему способу — унизить перед ним других.

— Знаешь,— сказала Дагни, кивнув на белый рожок, будто заблудившийся в бесцветном небе.— Эдвард... Мунк,— поправилась быстро,— верил, что когда-то на небе было две луны. Но одна упала и до сих пор валяется на Северном полюсе.

Баярд, нахмурившийся было при упоминании Мунка, довольно оттопырил губы.

— Он что, совсем идиот?

— Ему сказал Стриндберг. Он верил всему, что тот говорил.

— Хорош!.. И Стриндберг тоже. Придумать такое!.. Ничего себе, умные у тебя были приятели... Нет, ты меня огорошила — луна упала на Северный полюс!..

А почему бы и нет? Ты-то откуда знаешь? Да, упала и лежит во льдах, одинокая, стынущая, и плачет по небу, которого лишилась, и по другой, оставшейся там луне.

— Почему только тебе не открылись его глаза? — произнесла она вслух.— Почему именно тебе?

— О чем ты? — не понял Баярд, все еще наслаждавшийся непроходимой глупостью Мунка.

— Не то страшно, что тебе не открылись его глаза, но то, что ты не веришь, будто они открываются другим. Ведь не веришь, не веришь? — спросила она жалким голосом.

— Веди себя прилично,— оглянувшись на проводника, прошипел Баярд.

Они не разговаривали до самой гостиницы. Воспользовавшись тем, что он стал расплачиваться с извозчиком и проводником, Дагни быстро поднялась наверх и заперлась в номере. Напрасная предосторожность — он не постучал.

После тщетных попыток заснуть Дагни сполоснулась над фаянсовым тазом и спустилась вниз. Она заняла давешний столик, спросила копченой бастурмы и бутылку цинандали.

Она только успела запить кусочек острого, приперченного мяса глотком холодного вина, когда мимо шмыгнул петербургский любознатель, сделав вид, будто не заметил ее.

— Вы!..— крикнула она, поперхнувшись.— Вы!.. Подите сюда! Мгновенно обернувшись, Карпов искусно сыграл радостное удивление.

— Садитесь! — приказала Дагни.— Пейте! — Она выхватила салфетки из высокого стаканчика и всклень наполнила его вином. — Знаю, знаю, у вас печень, почки, сердце, желчный пузырь. У всех печень, почки, желчный пузырь и прочая требуха, вот только насчет сердца не уверена. Плевать! Выпьем за свинство черного поросенка и за гибель больших свиней!

Бедная Дагни Юль, с молодых ногтей втянутая в эстетические бесалии самой утонченной литературно-художественной среды того времени, всерьез считала, что на сцене жизни положено играть лишь гениям, а всем остальным отведена роль толпы. Она не желала считаться с каким-то Карповым.

Неуверенно усмехаясь, Карпов сделал глоток, просмаковал, глотнул еще, улыбнулся Дагни не без игривости и залпом осушил стакан.

— Молодцом! Из вас еще можно сделать человека. Скажите. — Дагни приблизила свое лицо к Карпову.— Вам открываются глаза Иисуса Христа?

Неизвестно, заглядывал ли Карпов в собор Светицхове-ли, но он был не только петербургским журналистом, сомнительной столичной штучкой, прихлебателем на пиру небожителей, но и загадочным, многослойным, непрозрачным, со всякой всячиной русским человеком, он не удивился, не отпрянул, принял вопрос как должное, хотя, может, и не с того конца, и заерничал в ответ витиевато:

— Смирненным и кротким духом открывает Иисус бла-гость очей своих и сладостный вертоград божественного милосердия.— И жутковато добавил: — Жалки не сподобившиеся узреть очи Господни.

Неужели он догадался?.. Быть не может! И все-таки в этом скромнике сидит русский черт. Не зря его привечали в “Черном поросенке”. Ей-Богу, мы могли бы провести с ним отличный вечер. Необходимо встряхнуться после всех храмов, монастырей, ущелий, долин, пенных струй, наставлений, высокопарных банальностей плоских сентенций, перевести дух и набраться сил на будущее. Только бы нам не помешали!..

Но им помешали, и довольно скоро. Они приканчивали вторую бутылку, когда Баярд с сизым от гнева лицом возник у их столика и, не поздоровавшись с Карповым, бросил ей задышливо:

— Прошу вас!..

Надо отдать должное Карпову: он мгновенно подавил естественный порыв любезности и сделал вид, будто не замечает Баярда, но черты лица заострились готовностью дать отпор. Неужели опять пистолеты? Какая тоска! И только из отвращения ко всем этим петушьим делам она встала, кивнула петербуржцу и последовала за Баярдом...

Это был самый тяжелый разговор с начала поездки. Она умела отключать слух, и первые несколько минут

яростный захлеб оскорбленного себялюбца и собственника просто не достигал ее ушей. Но потом барабанившие по черепу слова стали проникать в сознание.

— Вы задались целью унижать меня. Вы кокетничаете с проводниками, с официантами, со всякой шушерой из номеров!.. Пора было вступать:

— И вы ревнуете меня ко всякой шушере? Вы — такой гордый!..

— Ваша ирония неуместна. Да, у меня есть самолюбие, есть гордость, наконец. Конечно, для вас, проведеншей жизнь среди богемы...— слово показалось ему то ли слишком мягким, то ли слишком поэтичным, а таким оно и стало с легкой руки Пуччини, и он придумал другое,— среди подонков, все это пустой звук.

“Милые подонки! — подумала она с внезапной нежностью— Даже в пьянстве, скандалах, ссорах, в распаде и безумии вы никогда не опускались до тривиальности. Ваша речь всегда оставалась драгоценной, вы и падали не вниз, а вверх”.

— Этих, как вы изволили выразиться, “подонков” знает весь мир,— устало произнесла она.

— А меня не знает никто! — подхватил он.— Они артисты, гении, а я “персть зем-на-я”. Так называет ваш бывший муж-дегенерат нормальных людей?

— Откуда вы знаете? — искренне удивилась она.— Неужели он говорил это при вас?

— Посмел бы он! Сказали вы в день нашего знакомства, когда шампанское порядком затуманило вашу слабую голову.

— Вы еще и злопамятны?

— Нет, просто у меня хорошая память. А скандальная известность ваших мужей и любовников претит каждому человеку со вкусом.

— Пусть так... Только причем тут мои мужья, я, кстати, была всего лишь раз замужем, и любовники, что вы вообще о них знаете?

— Достаточно, чтобы презирать всю эту нечисть! — Его трясло от бешенства.— Вы созданы ими... вы пропитаны их мерзким духом, как вокзальный буфет запахом пива и дешевых папирос.

Ого, он, кажется, разразился художественным образом? Жалким, под рукой лежащим, но все же... Лишь сильное, искреннее чувство может высечь искру из такой деревянной души. И она пожалела ревнивого, самолюбивого, ограниченного, но преданного ей человека.

— Это жестоко и несправедливо. Вы знаете, как я настрадалась. Если бы не вы...

Старый прием еще раз сработал. Он несколько раз глубоко вздохнул, краснота сбежала с лица.

— Я люблю вас, а любовь не бывает справедливой. “Боже мой! — вновь поразила Дагни.— Кажется, его осенила мысль! Настоящее обобщение! Прежде он способен был только на установление факта. Любовь и страдания развивают его, и это было бы прекрасно, если б не лишало меня тишины. Тогда зачем он мне?”

— Ваша любовь должна быть справедливой,— сказала она серьезно и мягко.— Оставьте судороги слепых чувств другим. Вы же не такой, вы рыцарь. Я так вам верю! У меня нет ничего, кроме вас.

— К сожалению, у вас есть прошлое,— сказал он ледяным тоном и сразу вышел, громко хлопнув дверью.

Впрочем, дверью хлопнул не он, а сквозняк. Окно было открыто, и белая занавеска на миг вспучилась животом беременной женщины. Не хватало еще, чтобы он хлопал дверьми,— омерзительный, ненавистный ей с детства жест, каким ее отец, слабый и раздражительный, завершал все объяснения с матерью. Было что-то символическое в вульгарном шуме, поставившем точку на злом и безнадежном разговоре. Но что значила его завершающая фраза и, главное, тон, каким она была произнесена? Желание, чтобы последнее слово осталось за ним? Боязнь, что он слишком рано капитулировал? Какое-то созревшее в нем решение?..

У Дагни разболелась голова — впервые после берлинских бдений под стреляющее в небо шампанское. От игристого этого напитка голова по утрам разламывается, и надо немедленно что-то выпить, дабы уцелеть. Эдвард говорил: по утрам пьешь, чтобы протрезветь, весь остальной день — чтобы напиться. Как только выдерживала она такую жизнь?.. Она приняла таблетку от головной боли, снотворное и до ужина избавила себя от мыслей, памяти, сожалений, страхов. Проснулась уже в сумерках, слышала, как он стучался, негромко, но настойчиво, и не отозвалась. Дверь не была заперта, в чем легко убедиться, повернув ручку. Конечно, он не сделал этого, ибо все равно не позволил бы себе войти без разрешения. Обычная деликатность вернулась к нему. Он выздоровел и опять был ее белым рыцарем. Жаль, что уже не скажешь: без страха и упрека. Прозвучали взаимные злые упрёки, страх поселился между ними. Она и сама не знала, почему не откликнулась на его терпеливый призыв. Ей очень хотелось есть, да и надоело валяться в душном, застоино нагретом за день номере. Даши осторожно, чтобы не скрипнули разошедшиеся половицы, подобралась к окну и ощутила слабый ток чуть остывшего воздуха. Прохлады еще не было, но вскоре ею повеет с повлажневших листьев дикого винограда, платанов, пирамидальных тополей. Хорошо бы окатиться холодной водой, надеть легкий костюм из холстинки и спуститься в духан, где пресные лепешки и кислое вино, молодая баранина на вертелах, пахучие травы я острые соусы, крепкий кофе в медных кувшинчиках, но лучше перемочь это желание и взамен соблазнительных яств принять еще таблетку снотворного, избавляющего от голода и жажды.

Она так и сделала, но сразу поняла, что сон заставит себя ждать. Недавнее тягостное, ничего не объяснявшее объяснение растревожило ее больше, чем можно было ждать. В речи проскользнули новые ожесточенные нотки, характер Баярда повернулся незнакомыми гранями, и озадачил уход, нарушивший традицию их размолвок. И было еще что-то остро неприятное, чему она не находила названия.

Дурные чувства не застаивались в душе Дагни. Она не держала зла на Баярда, и сейчас ее томили не злоба, не обида, а неодолимое, зудящее стремление разобраться в случившемся. Что-то ложное, не соответствующее его сути проглянуло в Баярде. Ну зачем ему тягаться с теми, великими и безумными? Ведь его главное преимущество в простоте и заурядности, не надо бояться этого слова. То и жизнеспособно на земле, то истинно служит делу жизни, что заурядно. Все отклонения, какими бы яркими, блистательными они ни казались, уродливы. Единственное оправдание исключительных личностей в том, что они развлекают обывателей. Как ни парадоксально, но дело обстоит именно так. И надо брать их прекрасное искусство, но Боже упаси сблизиться с человеческой сутью. Уж она-то знает, чем за это расплачиваются. Ее душа устала, она не хочет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало о них. И так они слишком властно, неумолимо властно лезут в память. А сегодня Баярд впервые грубо, прямо и бездарно да еще завистливо заговорил о них. Она-то думала, он их в грош не ставит, и презирала за тупое высокомерие и вместе ценила это его свойство, препятствующее появлению призраков. А он, оказывается, ведет счет с прошлым, и туда обращена его ревность. Случайные людишки, громоздящиеся вокруг,— лишь повод, чтобы устремиться ревнивым чувством к теням минувшего. Зачем он так усложняет свой образ? На своих широких плечах он должен нести мир тишины, добра и покоя, залитый ясным дневным светом. Лишь сойдясь так близко с гениями, начинаешь по-настоящему ценить простых людей. Упаси его Боже от заразы демонизма! В любом обличье демонизм невыносим, но нет ничего хуже заимствованного, поддельного демонизма.

Наконец она уснула...

Утром, за завтраком, они вели себя так, будто ничего не произошло. Вчерашнего не касались. Возможно, это было неправильно. Ведь были сказаны жестокие, ранящие слова, нарушены какие-то табу, что-то кончилось, что-то новое на-

чиналось, и разве можно с легкой или даже отягощенной душой молчаливо вернуться к прежней форме отношений? Ну а разве объяснения на холодную голову что-нибудь дают? Сказанное в запальчивости, в гневной схватке оправдывается раскаленным, неуправляемым чувством. Черствые именины ссоры куда опасней: тут правит ничего не забывающий разум. И возможно, они были правы, не выясняя отношений, не играя в испытанные игры: раскаяние, взаимопрощение, борьбу великодуший. Да ведь бывает в жизни и такое, когда любой путь ведет только к поражению...

Баярд был подчеркнуто внимателен и старомодно любезен, отточенно вежлив — эдакий джентльмен в викторианском духе. Дагни же чуть-чуть, в строгих пределах хорошего вкуса, притворялась девочкой, потерявшей в толпе мать. Каждому из них роль, взятая на себя другим, была удобна. К концу завтрака они загнали болезнь так глубоко внутрь, что оба искренне поверили в полное выздоровление.

Они ездили осматривать очередное ущелье, и Дагни заставляла себя не улыбаться голубоглазому красавцу проводнику, не прибегать к помощи его руки, плеча, чтобы переступить какой-нибудь завал, прыгнуть с камня на камень. Беспомощно звала она на помощь. Баярда, и он не заставлял себя ждать. Приятно было опереться на его твердое плечо. Поколебленное чувство надежности, защищенности вновь окрепло. Вернулось доверие, и душа ее стала нежной и легкой. А кто подарил ей эти мгновения упоительной беспечности после стольких лет терзаний и бурь? Милый, милый Баярд!

Порой она ловила на себе его странный, боковой, подозрительный взгляд. Ей становилось не по себе от этого подглядывания, но она гнала прочь беспокойство. Не надо копаться в мелочах случайных впечатлений, как воробей в навозной куче. Ну воробей хоть зернышко себе нахлопочет, а чересчур дотошный аналитик останется при навозе без съедобных зерен. Нельзя, нельзя так подробно жить, каждое лыко в строку ставить. Наверное, он хочет убедить-

ся, что она действительно отбросила вчерашнее, возможно, слегка завидует ее отходчивости, немелкости. Пусть смотрит, пусть удивляется, пусть завидует, ему это только на пользу. Надо уметь сметать мусор с души. Она это умеет, а ему предстоит научиться.

Дагни искренне была уверена, что до конца, до пылинки разделалась со всем дурным. Аксиома здравомыслия: ничто не исчезает в материальном мире. Дух, как известно, неотделим от материи и, стало быть, подчиняется тем же законам: ничто не исчезает в жизни духа, галка меняет форму. И если бы Дагни могла наблюдать себя со стороны, то, возможно, обнаружила бы в своем поведении, в еле приметных штрихах, а порой и в резких смещениях воздействие неких новых сил...

И в тот вечер в дымно-пахучём духане, куда их пригласили инженеры-железнодорожники (один из них оказался знакомым Баярда), Дагни, вновь охваченная радостью бытия, в привычной роли пользующейся успехом женщины была неведомо для самой себя немного другой Дагни, чем прежде, когда на стволе ее душевной жизни не насеклось последней зарубки. Она бы искренне удивилась, если бы узнала, что ее свободные, уверенные манеры отдают вызовом. Как будто она доказывает кому-то: да, я такая!

Она много пила, уверенная, что вино на нее почти не действует, лишь прибавляет блеска зрачкам и яркости улыбке. Возбуждал успех, восторженные взгляды мужчин, атмосфера вспыхнувшего между ними соперничества, сознание, что она вновь стала центром, вокруг которого вращаются миры надежд, вожделений, самолюбий. Она испытывала тот давно забытый подъем, который превращал ее не в красавицу — о нет! — в женщину полотен Мунка. И тот, кто хоть раз видел такое вот вознесенное лицо Дагни, потом уже не мог видеть ее другой: поблекшей, усталой, безразличной.

Ах, как весело было Дагни за длинным деревянным отскобленным столом, уставленным горами мяса и зелени, бу-

тылками и кувшинами! И пусть Баярд слышит, как поет ее ни в чем не повинная, но свободная, лишь добру покоряющаяся душа. Она радостно принимала пустоту велеречивых тостов, искреннее восхищение и двусмысленные комплименты, робкое и нагловатое ухаживание, слишком пламенные взгляды и слишком затянувшиеся для простой галантности поцелуи в запястье — в наказание за дерзкую выходку. Конечно, мужчины не были безукоризненны в своем поведении — шумны, развязны, чему способствовала и неясность семейного положения Дагни (в России с этим считаются), и раскованность ее манер, и самое место кутежа, и обилие крепкой чачи и красного вина. Дагни все это не смущало, ее прежние друзья тоже не отличались в подпитии сдержанностью, правда, и вульгарности в них не было. Но нельзя же требовать от кавказских инженеров тонкости Мунка или Пшибышевского. В них была своя грубоватая живописность. И трогала их мгновенная наивная влюбленность. Они хмелели не столько от возлияний, видимо привычных их крепким головам, сколько от ее присутствия. Быть может, не стоило старшему из них так низко наклонять к ее груди седеющий бобрлик, скашивая за корсаж темный маслянистый глаз; не стоило и другому, молоденькому, безусому, неловко — все заметили — подсовывать ей записочку, которую она тут же порвала не читая; да и другим следовало бы несколько умерить тщетный пыл. Но, радостно защищенная угрюмым прищуром Баярда и собственной неуязвимостью, она не считала нужным мещански одергивать назойливых ухажеров и даже шепнула молоденькому инженеру, готовому расплакаться от неудачи и унижения:

— В другой раз будьте хитрее,— чем спасла от отчаяния юную душу.

Вообще все кончилось куда благополучней, чем можно было ожидать по накалу страстей. Кого-то, наиболее шумного, увели, кого-то, наиболее ослабевшего, унесли, кто-то и сам ушел от греха подальше, остальным же пожилой инженер с бобриком, как-то разом протрезвев, скомандовал:

— Внимание, господа! Последний бокал за здоровье прекрасной дамы! Нам скоро в путь!..

И вот она уже в своем номере расчесывает перед зеркалом недлинные густые русые волосы. На душе как-то смутно после испытанного подъема, кажущегося сейчас несколько искусственным, к тому же Баярд, проводив ее до дверей, не вошел и даже не пожелал спокойной ночи, а сразу метнулся к своему номеру. Неужели он опять примется за вчерашнее? Господи, какая духота! Да нет, быть не может. Просто выпил лишнее. Он не умеет пить. Прежде его норму составлял бокал шампанского да рюмка ликера к кофе. Правда, поездка в Грузию расшатала этого трезвенника, да и кто устоит перед местной лозой! Он перебрал сегодня, а у него слабый мочевой пузырь. Освободится и придет. Никуда не денется. Прошлую ночь она спала одна, а Баярд слишком прилежный любовник, чтобы манкировать своими правами ради пустой обиды. И он действительно пришел, без стука, чего за ним сроду не водилось, бледный, всклокоченный, в расстегнутой сорочке, левая рука закинута за спину, в правой недоставало пистолета для полного сходства с дуэлянтом.

— Что с вами?..

— Так дальше продолжаться не может! — Его трясло с головы до ног.— Вы осрамили меня, втоптали в грязь мою честь!..

О господа! Почему он говорит готовыми фразами из второсортной беллетристики? Он же вращался в кругу Пшибышевского, посещал Ягеллонский университет, столько времени провел с ней. Ну, будь его гнев надуманным, притворным, куда ни шло, да нет же, он искренен, вот что ужасно!

— Перестаньте декламировать!.. Да еще так бездарно!..

— Ах, вот как!..

Пистолет был у него не в правой, а в левой руке, упрятанной за спину. Маленький, дамский пистолет.

Ну вот, наконец-то! Давненько она этого не видела. Что за страсть у мужчин к огнестрельному оружию? Это у них

с детства — мальчишеское увлечение пугачами. Интересно, всем сколько-нибудь стоящим современным женщинам приходится часто быть под пистолетом или только ей так повезло? Неужели ему не стыдно разыгрывать эту комедию? Что простительно безумцам, не отвечающим за свои поступки, то непроситительно здравомыслящему обывателю. У тех все было всерьез, глаза блуждали, на губах пузырилась пена, смертельная бледность заливала лицо, и при этом они никому не причинили вреда. Легенды оставим в покое. Их пули либо оставались в стволах, либо летели мимо, как и тяжелые вазы, куски мрамора, пущенные в голову друга, в мгновение ока ставшего злейшим врагом, как и проблескивающая мимо горла соперника или изменницы смертоносная сталь. Милые сумасшедшие, они не могли никого убить. И вовсе не потому, что им не хватало силы, смелости или умения. Стриндберг был смел и решителен, Пшибышевский ловок и быстр, у Мунка гибкая, как сталь, рука и острый глаз, просто они не могли отнять жизнь у дышащего существа. Она подняла глаза и словно впервые увидела пустое лицо человека, с которым жила как с мужем и которого вовсе не знала. Недаром же она никак не могла запомнить его распространенной фамилии: Эмерих.

“А ведь он может выстрелить! — вдруг поняла она, и чудовищная угадка на миг доставила радость.— Может убить!”

Так кто же все-таки сумасшедший: Мунк, Стриндберг, Пшибышевский или этот средний дурак, не ведающий ценности чужой жизни и вообще ценности чего-либо вне себя самого? Кого не страшит чужая боль, чужая кровь, чужая гибель. Так почему бы не выстрелить? Ведь это так приятно — выстрелить: гром, огонь, запах серы. С чего я взяла, что пахнет серой? Я же не знаю запаха выстрела. Сейчас узнаю. О нет, не успею узнать. Господи, я с ума схожу! Нет, нет, нет! Она любила жизнь, любила при всей своей усталости, измотанности, неудовлетворенности, при всех потерях и разочарованиях, но до той страшной мину-

ты сама не знала, что так хочет жить. Она испытывала не страх под навешенной на нее глупой и роковой игрушкой, а одуряющее, распирающее сосуды, рвущее сердце, безумное желание жить. Быть, быть в этом тягостном и прекрасном мире, где все страдания выдуманы, ничтожны, смешны перед величайшим счастьем — дышать, просто дышать воздухом жизни.

— Не надо!.. Не надо!.. Умоляю!.. Дорогой, милый, самый, самый любимый!.. Я буду хорошей, послушной, я так люблю вас! Я никого никогда не любила... Только вас, одного вас... Ну, миленький!..

Она рухнула на колени и поползла к нему, ломая руки. Человек, целившийся из пистолета, целившийся безотчетно, без какого-либо ясного намерения, вдруг очнулся. Он увидел безумный, унижительный страх женщины, вечно возносившейся над ним, и понял, что она ждет выстрела. Она допускает, нет, она уверена, что он выстрелит. Он обрел странную силу в этой ее уверенности. Теперь он понял, что может выстрелить, а раз может, то и должен выстрелить. И рассчитаться за все, доказать раз и навсегда, чего он стоит.

Он наклонился к женщине, отвел ее руку и выстрелил прямо в сердце. Как будто вылетела пробка от шампанского, так негромок был звук выстрела слабенького дамского пистолета.

Несчастный Владислав сам не ведал, сколь многому научился у Дагни Юль и трех ее незримых спутников. На другой день он покончил с собой в номере гостиницы.

Убитой было тридцать четыре года.

Август Стриндберг пережил ее на одиннадцать лет.

Станислав Пшибышевский — на двадцать шесть.

Эдуард Мунк — на сорок четыре года.

# РАССКАЗ СИНЕГО ЛЯГУШОНОКА

Лягушонок — это дитя, но люди привыкли называть так каждую маленькую лягушку, не заботясь ее возрастом. А я хоть и взрослый, но очень маленький, значит, — лягушонок. И я не синий, а бурый, как полый перепревший осиновый лист, когда совсем потухает на нем багрец и сходит желтизна с прожилок. Меня не обнаружишь на такой листве даже пронзительным вороньим глазом, но весной я, как и все мои сородичи, обретаю ярко-синюю окраску, бьющую на солнце в кобальт. Эта чрезмерная яркость не смущает и не пугает нас, хотя мы не любим привлекать к себе внимания, но внешней порой забываешь о страхе, даже о естественной осторожности: подруги должны узнавать нас издали своими близорукими глазами и слетаться на синюю красоту, как мотыльки на огонек.

Я не выделяю себя из сородичей, но у меня особые обстоятельства. Я продолжал любить Алису и был равнодушен к порывам болотных красавиц, хотя природа брала свое, и без вожделения, со стыдом и отвращением к самому себе, я уступал велению закона, требующего, чтобы всплыла под листья кувшинок и кубышек оплодотворенная прозрачно-бесцветная икра.

Лягушки беззащитны, самые беззащитные существа на свете, как будто созданные для повального истребления. Единственная наша оборона — воля к размножению. Оглушительные весенние концерты, цветовые превращения, бесстрашие, с каким мы рвемся к любимым сквозь все препятствия и смертельные опасности, неутомимость партнерш, способных день-деньской скакать под грузом зача-

рованного всадника, — все служит одной цели: не дать исчезнуть нашему кроткому роду. Но у меня, как уже сказано, особое положение: еще недавно я был человеком и все время помнил об этом. Только не надо думать о колдовских чарах, злом волшебстве: случившееся со мной вполне закономерно и естественно, как и те непознанные события в потоке сущего, которые мы условно называем рождением и смертью — прекраснейшие символы из всех придуманных людьми для обозначения недоступного разуму. Так вот, в моем превращении нет ничего от глуповатых сказок о принцессе-лягушке или обращенном в зверя лесном царевице и тому подобной галиматье, которой морочат холодное и трезвое сознание ребенка.

Так что же случилось со мной? Да то же, что рано или поздно случается с каждым гостем земли: я умер по изжитию довольно долгого и трудного, как у всех моих соотечественников, но не ужасного и трагичного, что тоже не редкость, существования, узнав много радостей и не меньше горестей, частично осуществив свое земное назначение, если я его правильно понимал, больной и сильно изношенный, но не истратившийся до конца, ибо мог сильно, все время помня об этом, любить. Я любил свою жену, с которой прожил последние тридцать лет жизни — самых важных и лучших. К поре нашей встречи во мне угасли низкие страсти затянувшейся молодости (справедливо, что не дает плодов то дерево, которое не цвело весной, но плохо, когда весна слишком затягивается и цветенье становится ложным — пустоцвет), и, уже не отягощенный ими, каждый Божий день, каждый Божий час жил своей любовью, что не мешало работе, радости от книг, музыки, живописи, новых мест, социальной заинтересованности и все обостряющемуся чувству природы. Это была жизнь без ущерба, моя старость не стала немощью, хворобы не застили солнца, мы были полно счастливы в кратере вулканической помойки, способной в любое мгновение излиться лавой крови и дерьма.

Но долгое мое умирание было омрачено обидой и болью — не надышался я дорогим человеком, не наговорился с ним всласть, я еще был способен на объятие, на восторг, на жестокую ссору — спектр наших отношений не потерял ни одной краски, напротив, все сильнее и сильнее чувствовал я ее жизнь рядом с собой. Нам даже путешествовать расхотелось, а мы так любили слоняться по миру. Куда увлекательнее оказалось непрекращающееся путешествие друг к другу. Нет, рано нас растащили, рано отправили меня в иное странствие.

А смерть так и начинается. Это все правда, то, что казалось пустой болтовней досужих и беспокойных умом людей: залитый слезами — покойники плачут внутренним, никому не видимым лицом, ты, уже испустивший последний вздох и отключенный от мира живых, но все сознающий, просквоженный страданием, вовлекаешься в долгий узкий тоннель со светлой точкой в конце. Ты летишь по нему, слезы обсыхают на щеках, и затухает музыка, о которой ты прежде не догадывался, тихая музыка мироздания, включающая и твою собственную ноту.

Она замолкла до того, как я достиг конца тоннеля. Дальше — провал. Не знаю, со всеми ли так бывает, возможно, исход каждого творится на свой особый лад, но я потерял себя раньше, чем вырвался в манящий свет.

Очнулся я и обрел новое место в мире, уже просуществовав в нем бессознательно то время, какое надо, чтобы из икринки вылупился головастик, вырос, оформился в хвостатое дитя, выбрался на берег, сбросил хвост, подрос и уже взрослой особью вдруг осознал свой новый образ. Я тщетно пытаюсь вспомнить хоть какой-то проблеск сознания на этом длинном пути развития. Но ведь и в человеческой моей жизни я ничего не знал о себе до четырехлетнего возраста. Близкие долго мучили меня в детстве, заставляя вспомнить, как бабушка играла на рояле “Турецкий марш”, чтобы я ел манную кашу. Оказывается, уже в три года я обладал четкими вкусами: обожал моцартовский марш и

ненавидел полезнейшую размазню. Не знаю, почему им так хотелось, чтобы я вспомнил то, чего для меня не было. И бабушка, и рояль, и манная каша ушли до пробуждения во мне памяти. А “Турецким маршем” озвучились мои школьные годы. Скорее всего моему беспамятству не верили, принимая его за тупое и злостное детское упрямство. А упрямство надо сломать для моего же блага. Они так мне надоели, что я вспомнил музыкальную кормежку, но перестарался, включив в нее фокстерьера Трильби, который обтягивал мое детство в еще более раннюю пору. Окружающие с грустью убедились, что я не только упрямец, но еще и врун, поскольку Трильби я действительно не мог помнить. Сейчас мне и самому странно, что я так поздно родился для себя. Ведь какой сложной физиологической и психической жизнью я уже жил, общался с близкими, даже сочинил, как мне потом говорили, какие-то idiotские стишки, и при этом словно не существовал.

Так и здесь. Кто-то, вполне вероятно, видел меня юрким головастиком, шустрым лягушонком — для меня там пустота. Все началось с того мгновения, когда надо мной закачался зеленый лес.

Этим лесом была трава, но прошло какое-то время, прежде чем я смог назвать густую поросль травой, а не лесом. В первые часы и дни после опаматования самое трудное было привыкнуть к невероятным размерам насельников мироздания — так пышно именую я опушку леса, поляну, шоссе и весеннее озерко, составившие отныне все мое жизненное пространство. Каким все стало огромным: травинки, цветы, крылатые чудовища, в которых так трудно признать знакомых воробьев, ласточек, трясогузок, малиновок, чибисов, ворон. Невероятно увеличилось количество бабочки, стрекозы, жуки, даже божьи коровки, и все лишь потому, что я стал таким маленьким. Даже некоторые мои сородичи оказались куда крупнее меня, а дальние родственники, серые пупырчатые жабы, обернулись бегемотами. Правда, я открыл для себя неведомый мир дробных су-

ществ, которых прежде не замечал в своем человеческом величии. Трава кишела прыгающими, ползающими, скачущими, летающими малышами, иные были очень красивы и утонченны.

Вначале я тяжело переживал свое умаление. Мне не удавалось доглянуть верхушки деревьев-небоскребов, каждая лужица стала прудом, налитые тальми водами колеи — реками, весенний болотный натек — озером. Особенно угнетала ширь асфальтового шоссе, отделявшего лес от озера, оно казалось бескрайним, и перейти эту ширь, это поле было труднее, чем прожить жизнь. По нему мчались раскаленные грузовики, смрадные мотоциклы, гоняли на велосипедах беспощадные ко всему живому мальчишки.

И все же моя мизерность угнетала меня не так сильно, как может показаться, а главное, не так долго: до усвоения новых соотношений тел и предметов. Начав играть по изменившимся правилам, я перестал мучиться, ибо — помимо всего прочего — осталось, а частично возникло, множество существ куда меньших, чем я сам. И наличие этой крошечной разнообразной и энергичной жизни бодрило, успокаивало.

В ином была непреходящая моя мука и мука тех, кто в новой жизни утратил человечье обличье. Об этом никогда не говорят на тайном языке бессловесных, но я угадывал среди прыгающих, плавающих, летающих, бегающих на четырех ногах таких, кто, подобно мне, был в прежнем существовании человеком, угадывал по страданию, какого не знают живущие впервые или возникшие из растения или зверя. Но я понятия не имею, с помощью какого внутреннего устройства возникало это постижение.

Меня всегда потрясали строчки поэта: “Над бездной мук сияют наши воды, над бездной горя высятся леса”. Но тут говорится о прямом взаимоистреблении живых существ, населяющих природу, ради выживания, а я — о другой, куда худшей муке. Не знаю, что чувствуют растения, когда-то бывшие людьми: деревья, кусты, травы, цветы, хотя о

чем-то догадываюсь. Вы слышали когда-нибудь ночные голоса леса? Не крики совы, сыча, не уханье филина, не предсмертный визг, взвой, хрип прокушенного более сильным врагом зверя, не начинающийся во тьме щелк соловья, а скрип деревьев, вздохи трав? Я не раз наблюдал, став лягушкой, как по-разному ведут себя деревья с наступлением ночного часа. Соседствуют две березы-однолетки с крепкой корой без раковых наплывов и здоровой сердцевиной ствола, с густо облиственной кроной, но приходит ночь, и одно дерево спокойно, тихо спит, а другое начинает скрипеть — в полное безветрие. И скрип этот — как стон, как бессильная жалоба, как сухой, бесслезный плач. У природы нет общего языка, как нет его у людей. И все-таки я знаю, о чем они скрипят и стонут, по оставшимся в прежней жизни. Пока ты человек, кажется, что мир стоит на ненависти, что им движут властолюбие, честолюбие и корысть, — это правда, но не вся правда. Зло заметнее, ярче в силу своей активности. Для тех, кто живет по злу, жизнь — предприятие, но для большинства людей она — состояние. И в нем главное — любовь. Эту любовь уносят с собой во все последующие превращения, безысходно тоскуя об утраченных. О них скрипят и стонут деревья, о них вздыхают, шепчут травы, называя далекие имена. Я все это знаю по себе: едва соприкоснувшись в новом своем облике с предназначенной мне средой обитания, я смертельно затосковал об Алисе.

Мой нынешний — ничтожный для человека, но вполне пристойный для пресмыкающегося — вид никак не отражался на силе и глубине переживания. При этом нельзя сказать, что дух остался нейтрален к изменившемуся существу, нет, в чем-то я соответствовал новой сути. Очнувшись в весне, я не остался глух к ее чарам и, словно не отягощенный тоской, борзо заскакал к озеру, откуда неслись гортанные призывные голоса.

Отдав весьма энергично дань природе, я потом долго торчал в зеленоватой воде, наполненной страстным шеве-

лением охваченных любовной жаждой синих существ. Пошел быстрый и светлый весенний дождик, в его нитях солнечный свет преломлялся и дробился многоцветно. Меня рассмешило, как поспешно скрылись под водой болотные Ромео и Джульетты. Они, видимо, боялись намокнуть. Я остался с чувством превосходства, но через минуту-другую тоже нырнул и устроился под листом кубышки — оказывается, капли дождя весьма чувствительны сквозь тонкую, хотя и крепкую кожу.

Дождь кончился довольно скоро, мы все опять высунули наружу мордки и заурчали, вздувая горловой пузырь. Ко мне, сильно рассекая воду, устремилась большая зеленая лягушка — ее сладострастие заряжало воду электричеством впереди нее. Я услышал сигнал, нырнул под корягу и спасся от ненужных ласк.

Разворачиваясь, она взмутила илистую воду задней лапой. Стало трудно дышать. Я поплыл к берегу и устроился в чистом мелководье на коряге, обтянутой мягким донным мхом. В плоской воде у берега я отчетливо видел свое отражение: огромный рот, выпученные глаза, бледное брюхо, начинающееся прямо подо ртом, — сколько мерзости в таком ничтожном комочке плоти! Но странно, это меня почти не тронуло. Опять навалившаяся тоска делала безразличным все на свете.

Будучи человеком, я заигрывал с идеей переселения душ, гарантирующей жизнь вечную. Казалось заманчивым примерить на себя другие личины. Разве знал я, что в это бессмертие втянется лютая тоска. Господи, спаси меня и помилуй от такой вечности, насколько желанней была бы полная и окончательная смерть. А если попробовать? Коли я не умру всерьез, то стану кем-то иным. Все равно кем: львом или пауком, пальмой или крысой. Тоска подчинит себе любой образ, даже самый прекрасный. А вдруг воплотиться в такую ничтожную зачаточную форму жизни — в полипа, моллюска, медузу, что в ней заглохнет сознание, а заодно и тоска?..

Я выполз на шоссе, прыгать не было энергии, и сторбился на асфальтовом, помягчавшем от жары закрайке. Несколько грузовиков пронесли мимо, обдав чудовищным грохотом, вонью и дымом. Я всякий раз терял сознание, а когда приходил в себя, не мог отплеваться от гари. Раз-другой меня накрывала тень большой птицы, и я невольно съеживался, ожидая удара стального носа цапли или аиста. Но тень сплывала, то были вороны или галки.

Какая-то опустошенность овладела мною. Так же неуклюже и медленно, по-жабьему отклячивая задние ноги, я пересек шоссе, пропустил над собой еще одну машину, побывал в коротком обмороке и, спустившись с насыпи по другую сторону, направился к лесу. Зачем я это делал, убей бог, не знаю, да и положено мне, пока длится брачная песня, находиться при воде. Лишь когда погаснет синяя расцветка, можно идти на все четыре стороны.

На опушке я обнаружил у подножия березы ямку, в которой копошились черные жуки. Я потрогал их языком, понял, что они съедобны, и поел немного. Потом нашел какой-то мягкий сладкий корешок и помусолил беззубым ртом. Зарылся в полную листву и заснул.

Проснулся я среди ночи и не сразу узнал звезды. Ночные светила расплывались в моих новых глазах, небо было в туманных круглых пятнах, завихрениях и кольцах. Наверное, это было красиво, но чувство сиротства усилилось, не под такими звездами текла наша жизнь с Алисой.

Тишину безветрия нарушали деревья, скрипевшие из своего нутра, — такие же сироты, как я. И я тихонько заурчал, будто полоща горло, присоединился к их жалобе.

Скрип деревьев, бормот кустов, шепот трав перебили и заглушили другие звуки — ухали, охали, скулили, взрыдывали животные, бывшие когда-то людьми. Те же, что не пили жизни из человеческой чаши, спали безмятежно, глухие к памяти своих былых превращений; среди этих тихонь находились и первенцы бытия. А ведь и они могут когда-нибудь очнуться в человеческую муку.

Так прошел год. Нет, не совсем так. Было пять блаженных месяцев зимней смерти, когда кровь застыла в жилах, остановилось сердце, и, примороженный к земле у корня старого дуба, я стал холоден и бесчувствен, как льдышка. И до чего же ненужным показалось апрельское опамятование!

Я понял, что вернулся в эту ненужную, небыносимую жизнь, по боли оттаивания. Казалось, меня раздирают на части крючьями — это распрямлялось и расширялось согретое солнцем тело. Когда боль подутихла, я хотел почиститься, но за долгую спячку сор искрошившихся листьев, сухих травинок, мертвых насекомых так ввелся в кожу, что отдирался с кровью. Пришлось отложить туалет до того дня, когда можно будет отмыться в озерке. Этот день наступил неожиданно скоро. Вдруг зашумели ручьи; снег прямо на глазах оседал, лопался, разваливался, тек, серые ноздреватые блины оставались лишь у подножий деревьев. Земля просыхала удивительно быстро. Появились белые чистенькие горностаи и заиграли вокруг берез.

А на меня опять навалилась тоска. Даже пищу отыскивать не хотелось. Я обхудал так, что косточки на задних ногах едва не прорывали кожу. И на озерко я потащился лишь потому, что все шли. Меня перегоняли даже старые жабы, которые и прыгать-то не могли, только ползли, волоча брюхо по земле.

Наши шли из леса, как партизаны. Валом валили. Внушительное зрелище. Кто прыжком, кто ползком, жестко сосредоточенные и необщительные. Дружба — весьма горячая — начнется там, в воде, а сейчас была одна цель — добраться до обетованного места. Уж очень всех изнурила зима, силенок почти не осталось. Но до чего мы, оказывается, разные: есть такие крошки, что издали примешь за кузнечика, а есть — чуть не с морскую черепаху, даже оторопь берет. Лучше и наряднее всех выглядели мы — синие лягушки. Я очнулся после спячки бурым, как прелый лист, и не заметил, когда засинился.

Еще издали мы услышали слитный гортанный хор. Обитатели окружающих озерко зарослей уже перебрались на весенние квартиры. На берегу стояли люди. По счастью, среди них не было детей, не то хилая наша рать могла бы сильно поредеть. Детей тянет к уничтожению беззащитных жителей земли: лягушек, ящериц, жуков, стрекоз, птиц, бродячих домашних животных. Но еще при моей жизни детвора все чаще стала обращать губительный и холодный взор на себе подобных. Ребенок куда страшнее взрослого, его задерживающие центры работают лишь на страхе и никогда — на этике.

Конечно, люди на берегу пришли не ради картового хора, а чтобы полюбоваться на нас — синеньких. Я и сам так делал, когда был человеком. Нельзя оторваться от синих таинственных огоньков, горящих в воде. На остальных и глядеть неохота: тусклые, пупырчатые, громоздко-неуклюжие. Я поймал себя на том, что испытываю гордость за свою породу. Этого еще не хватало! Неужели я становлюсь настоящей лягушкой? А ведь я не завидую этим людям, и нет чувства приниженности перед ними. Наверное, так и должно быть, иначе не состоится определенное Законом превращение. И хорошо бы оно поскорее стало полным, окончательным, убив память, которая после долгого беспробудного сна потускнела, но могла вернуться в прежней силе, чего я больше всего боялся.

Я гордо проскакал мимо голых загорелых ног какой-то барышни, показавшихся мне колоннами Большого театра, покрашенными в золотисто-шоколадный цвет, слегка потрескавшимися и облупившимися, — такой представилась гладкая молодая кожа телескопическому лупоглазью — и не без форса нырнул в воду. Прыжок получился не слишком изящным, я перекувырнулся в воздухе, блеснув своим белым брюшком, которое мне самому было противно — чем-то вульгарно-пресмыкающимся веяло от него, а ведь мы не ползающие и не стелющиеся по земле, мы прыгуны-летуны, мы ближе к птицам, чем к гадам ползучим.

Только не хватайте меня за лапку — жабы не из нашей команды, к тому же умеют прыгать, но ленятся.

— Лягушонок-акробат! — сказала обладательница облупившихся колонн. — Видали, какое он скрутил сальтомортале?

— Какой я тебе лягушонок, дура? — заорал я в бешенстве. — Я взрослый мужик. Попадись ты мне только!.. — Но для нее эта громкая тирада была пересыпанием гороха в стеклянной банке.

И я подумал, что лучше бы мне забыть человеческую речь. Раз общение невозможно, зачем мне знать, о чем говорят те, одним из которых и я недавно был. Куда важнее понять язык моих новых сородичей. Природа не знает бессмысленностей и бесцельностей, это удел людей, и коли картавая французистая речь так неутомимо обслуживает мокрую весну, значит, она служит чему-то важному. Надо ей научиться.

А затем был долгий, еще не занятый спариванием день, безмятежное блаженство меж прохладой воды и теплом солнца. Удивительно приятно, когда сверху припекает, а снизу поддает остудью, особенно если ты нашел место с пузырьками, всплывающими со дна и лопающимися у тебя под брюхом. Лежишь, слегка раскорячившись, и плялишься на Божий мир — вот проклюнулся цветок мать-и-мачехи, вот треснула коробочка одуванчика и полыхнуло желтым огоньком, взблеснул погнавшийся за мухой пескаррик, стрекоза опустила на бутон кубышки, и защипало глаза от слюдяного сверка ее крылышек. Пролетела еще неуверенными зигзагами милая бабочка, ондатра нырнула с кочки в воду, путив тугую волну, и закачало дурманно... Смотришь на весь заигравший мир и ни о чем не думаешь, это почти сон, но не зимний, глухой, бесчувственный, а легкий, вполглаза, животворящий. Мир ощущался как единый организм, в нем циркулировали соки, роднящие все живое на свете и создающие некое вселенское братство, которое, увы, не может быть столь истинным и полным, как на заре бытия, до пер-

вой пролитой крови. С ударом Каина в мире поселилась опасность, исчезло доверие, и лишь в весеннем коротком все промелькивает та любовность, которая некогда объединяла все сущее.

Когда я очнулся от своих грез, водоем опустел, наши попрятались, вода стала розовой, а водоросли бархатно потемнели. Пространство оцепенело — ни дуновения, ни шелоха, ни звука. Не знаю, зачем я выбрался на пустынный берег. Чувство внезапного одиночества обернулось лютой тоской, а тоска сразу нашла образ: взмах ресниц над темно-карими глазами. Кончики ресниц были так близко, что я мог дотянуться до них и уколоться. Если б мог!.. Вот я и получил ответ на вопрос, заданный себе утром: кто я? Со мной случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование: я был лягушкой с человеческой памятью и тоской.

...Я видел дачную террасу в дождливый день исхода августа. Очередной дождь только что прошел, в густом саду измокшие листья тихо шевелились от стекающих капель, показывая то темную рубашку, то светлый испод. Текло по стеклам террасы, капало с крыши, струйкой бежало с водостока. Заросший, в туманной влаге сад походил на морское дно. А застекленную террасу легко было представить себе подводной лабораторией Жак-Ива Кусто, — казалось, вот-вот сквозь боярышник, рябину и яблони поплывут большие рыбы с жалобными ртами.

Алиса лежала на тахте, к ней приставал щенок эрдель, требуя, чтобы его почесали. У них была такая игра: Алиса чесала его длинными ногтями по крестцу от шеи к обрубок хвоста, он изгибался, задира морду и часто-часто колотил левой лапой по полу. А потом она говорила, словно про себя: “Надо Проще бородку расчесать”, — и он тут же, жалко ссутулившись и поджимая свой обрубок, убегал и с грохотом забивался под стол, чтобы минуты через две-три появиться опять с великой опаской, тогда все начиналось сначала. Это был ежедневный, слегка надоевший мне своим однообрази-

ем ритуал, но почему-то в тот день, когда мы погрузились в морскую пучину, я сказал себе на слезном спазме: “Это и есть счастье. Когда-нибудь ты вспомнишь о нем”.

Мог ли я думать, что воспоминание придет к синему лягушонку, скорчившемуся у весенней воды?

В нашей долгой жизни с Алисой — мы и серебряную справили — было столько Берендеевых лесов, столько Средиземноморья, островов, лагун, столько храмов и старинных городов, дивной музыки и нетленной живописи, а образом счастья оказался мокрый сад, терраса и длинные пальцы, погруженные в жесткие завитки эрдельей шерсти.

Так я томился на берегу, маленький, жалкий комок плоти, выплювок, куда запихали слишком большую душу, а вокруг творилось вечное волшебство Божьего мира — ночь высебрилась из края в край и наполнилась тайными голосами...

Проснулся я с тем странным вздрогом, опадением сердца, когда чувствуешь, как отлетает от тебя жизнь. Однажды я так же вздрогнул во сне, вскрикнул, хотел вскочить, ухватиться за ускользящее, но не успел. И был тоннель... Очевидно, я и в новой жизни остался сердечником. Это меня не взволновало, как не волновало и в той, первой жизни. Там я не хотел страхом смерти отравлять свои дни, здесь я не хотел их длить. Коли уж я приговорен к вечности, пусть скорее наступит другое, пусть быстрее сменяются эти личины, мне все равно с ними не сжиться.

Существо человека ничуть не выше существа лягушки, крысы или вороны. Их структура куда совершеннее. Человек слишком рано оторвал передние лапы от земли и, выпрямившись, перегрузил позвоночник. К старости у всех мучительно болит спина, поясница, ноги и портится характер. Добавьте к больным ногам, лишаяющим высшего счастья — бродить по земле, еще непрерывно действующее сознание, и станет ясным: какая жалкая тварь человек. А лягушка, крыса, ворона достигают старости в отличной форме, к тому же не разведены рефлексией, как в школьных учебниках называют способностью к размышлению. Странно, лишь став

лягушкой, я принялся рефлексировать. Лягушка-резонер. Шутки в сторону: из всех ужасных игр Творца самая страшная — вечная жизнь души. Для души есть, увы, всего лишь одно местоположение — несовершенное, плохо приспособленное и незащищенное человеческое тело, во всех иных превращениях с душой нечего делать. Она мешает. И коли есть смерть тела, так должна быть и смерть души. И будь она благословенна!..

...Это случилось в разгаре весны. Я выбрался на берег и увидел небольшого безрогого оленя. Что-то подсказало мне — олениху. Она стояла на берегу и раздумывала: напиться ли из водоема, кишящего лягушками, или поискать не столь замутненный источник. Она не могла брезговать нами, самыми чистыми существами на свете. Недаром хозяйки кладут нас в молоко для охлаждения. Ведь мы обладаем замечательным свойством: чем теплее среда — вода или воздух, тем ниже у нас температура. От теплого парного молока мы холодеем и остужаем молоко. Но, гоняясь друг за дружкой, ныряя и безумствуя, поднимаем со дна ил.

Косуля — я вспомнил, как называется незнакомка, — нашла чистое место, вытянула шею и принялась пить. Мне понравилось, как ловко и деликатно лакает она воду узким, длинным нежно-розовым языком. Попив, она облизалась, змейкой пустив язык вправо-влево, затем по темному пятчку носа. У нее были удлинённые темно-карие глаза и длинные ресницы. Она мигала редко и старательно, словно пытаясь прихлопнуть спящий солнечный луч. Но он выскальзывал. Меня развеселила эта милая игра для самой себя. Удивительно приятно было смотреть на нее, хотя какое мне дело до таких больших и гордых животных, с которыми невозможен никакой контакт? А вот же, оторваться не мог. Пялился во все пучеглазье на ее изящную головку, которую она то и дело щегольски вскидывала, на крепкие ноги с красивыми острыми копытцами, на гибкую, с острым хребетиком спину. Тугая кожа оформляла в доброжелательную улыбку каждый ее отзыв на внешнее впечатле-

ние — от стрекозы, шмеля, камышевки. И так хотелось прикоснуться к гладкой черно-бурой шерстке! До чего же она мне нравилась — в разрыв души, и, бессильный выразить свое восхищение, я стал кувыркаться, ужасно неловко, неуклюже, мы вообще неловки во всех движениях, кроме прыжка, да и то, бывает, заваливаемся на спину. Но какое это имело значение? Она и внимания на меня не обращала. А я совсем зашелся и стал бить себя передними лапками в грудь, хотя они не приспособлены для таких движений, и тонкие косточки затрещали. Это было больно, но мне нужна стала такая боль, чтобы не пустить другую, куда худшую, — от надвигающейся угадки.

Косуля заметила гимнастику маленького синего гада, и в продолговатых глазах ее зажглось благожелательное удивление. Наверное, она приняла это за какие-то ритуальные движения весеннего обряда и, разумеется, не отнесла к себе. Я же становился все более неприличен: катался по земле, не стесняясь своего бледного глянцевого брюха, пытался встать на голову, но шлепнулся, сделав обратное сальто, чуть не выколов глаз о сухую былинку, а потом пополз к ней, волоча задние ноги, как параличный, припал широким беззубым ртом к копытцу и стал мусолить его, что самому мне казалось поцелуем. Она отдернула ногу — не то брезгливо, не то испуганно. Но я опять подполз, уткнулся в копытце, похожее на детский бумажный кораблик, и вдруг утратил окружающее. Я уже давно знал, что это Алиса, но только сейчас понял, что она тоже умерла, и от жалости к ней лишился чувств.

Я очнулся от прикосновения чего-то нежного и влажного. Она осторожно лизала меня своим узким язычком. Боже мой, неужели она поняла, что за смехотворными моими кривляниями — признание в любви? А что, если она поняла больше?.. Узнала меня?.. Узнал же я ее... Да что тут общего? Нам выпали разные превращения. Она осталась Алисой — те же милота и грация, узкое лицо, удлиненные глаза, долгая улыбка, даже щегольской вскид головы — все было от

прежней Алисы: прекрасная женщина стала прекрасным зверем. Косулю-Алису можно было высмотреть в Алисе-человеке, но даже мой злейший враг не углядел бы во мне прежнем болотного скакуна.

И чего я, как слабонервная девица, все время грохаюсь в обморок? Надо петь, сходить с ума от невероятного, невысказанного счастья, что тоннель из смерти в другую жизнь вынес Алису на берег лягушиного озера и дал мне уткнуться глупой башкой в ее копытце.

Почему она меня лижет? Могла она проглянуть какую-то загадку, тайну в иступленных ужимках синего лягушонка? Ведь она была из тех же несчастных, что сохранили память, и боль, и тоску о минувшем.

Не без усилия принял я сидячее положение. Ее лицо было совсем близко от меня, и я увидел, как из уголка глаза выкатилась и побежала, оставляя глянцевую полосу на темно-бурой шерсти, крупная, как виноградина, слеза. В ней, словно в выпуклом зеркальце, отразился раздувшийся в шар уродец — еще более отвратительный, чем на самом деле. Господи, можно ли поверить, что это я — я — я?! Почему же она плачет? Неужели ее вещая душа, вопреки разуму и очевидности, сказала ей правду?..

Ее большая, но не пугающая голова еще приблизилась, теперь пузатое чудило переместилось в рисинки зрачков, открылся розовый зев и бережно вобрал меня в себя. Я поместился в мягкой влажной ямке у нижней челюсти. Алиса оттопырила губу, чтобы поступал воздух и я мог дышать, и в таком блаженном экипаже отправился я в новое свадебное путешествие.

У нее в лесу был тайник, недалеко от опушки, но вовсе неприметный: ложбинка в густом кустарнике, сквозь который не пробраться, коли не знать лаза. Я-то проскользну в любую щель, но крупное существо, если сунется наугад, оставит всю свою шерсть на колючих сучьях.

Алиса выпустила меня на волю и легла, уютно свернувшись в кольцо. Я облюбовал для ночлега ее ухо, более

прохладное, чем остальное тело. Видимо, ей было щекотно, она некоторое время дергала ухом, потом смирилась. Мы уснули...

И началась наша совместная жизнь. Неожиданно мы оба оказались полуночниками. Я отправлялся на кормежку ночью, потому что моя пища — летучая, быстрая, верткая — доступна длинному языку лишь в сонном состоянии. Конечно, на озерке я мог иной раз слизнуть зазевавшуюся букашку и даже ловкую изумрудную муху, но этим сыт не будешь. Я ходил на промысел, когда все летуны и ползуны спали. Странно, что я, такой крошка, был мясоед, а Алиса, такая большая, — вегетарианка: щипала траву, объедала листву и молодые побеги. Свою еду она могла брать и днем, но дня она боялась и очень редко отправлялась на прогулку при солнечном свете. Особенно после того, как в просеках зазвучали выстрелы. Она забивалась в свою ямку и непрерывно дрожала. Это браконьеры стреляли вальдшнепов на тяге. Вообще-то тут была запретная для охоты зона, поэтому в небольших здешних лесах сохранились и лоси, и лисы, и зайцы, и горностаи, я их всех видел не раз, а вот другой косули не встречал.

Мне было мучительно жалко Алису, и, чтобы ее подбодрить, я демонстрировал великолепное бесстрашие — беспечно скакал, дурачился, к сожалению, это мое удалство пропадало втуне.

Насытившись, мы обычно играли. Алиса любила прятаться, я должен был ее искать. Это сохранилось в ней от наших человеческих дней: она вдруг пропадала, не уходя с дачи. Обычно я знал, где она находится, но вдруг возникало странное ощущение пустоты. Я звал ее, она не откликалась. И хотя это повторялось раз за разом, я путался и начинал поиски. Мотался, как последний дурак, вверх и вниз по даче, заглядывал на кухню, в ванную, на нижнюю террасу, на солярий, а она стояла под винтовой деревянной лестницей, зажав себе рот, чтобы не выдать себя смехом. А могла просто лежать на диване в гостиной, так ловко накинув сверху какую-нибудь

тряпку, что мне и в голову не приходило посмотреть там. Могла спуститься в погреб на кухне, делая вид, будто не слышала моего зова. Самое удивительное — я никогда не находил ее. В игре была своя, только нам доступная глубина. Мы жили вдвоем, практически никогда не разлучались, даже на короткое время, наверное, нам надо было чем-то освежать восприятие друг друга. Недаром мы оба так радовались, когда она вдруг объявлялась с громким радостным смехом — такая несмешливая в обычное время. Хоть это и жутковато звучит, но суть безобидной игры состояла в умирании и воскресении. Мы бессознательно наигрывали то, что нас ждало в будущем.

А сейчас мы играли в прятки из любви к нашему прошлому. Мы так мало могли взять из него в настоящее: совместную трапезу и сон да вот эти игрища. Впрочем, так ли уж это мало?..

Мы жили очень уединенно. Порой нас навещали соседи, чаще других заяц, которого Алиса любила и жалела за кротость, деликатность и всегдашнюю готовность к несчастью. Иногда он приходил вдвоем — с женой или подругой — не знаю, меня их отношения не касались. Заяц при всей своей симпатичности относился ко мне не сказать свысока, а как-то небрежно. Мне кажется, он не догадывался, какое место я занимаю в доме. Однажды появилась лиса с умильным видом, но была решительно прогнана Алисой. Вот не думал, что кроткие косули могут быть такими яростными. Оголодавшие лисы поедают лягушек. Алиса чуть не пришибла ее задними ногами. Больше мы рыжую не видели. Захаживали лосята-годовики — горбоносые, голенастые и удивительно застенчивые. Алиса была приветлива с ними, но держала дистанцию. Молодые люди, потоптавшись у нашего логовища и ободрав кору с осинок, отправлялись восвояси, шумя сквозь чащу, как ураган.

Все это были простодушные существа, то ли перворожденные, то ли уже посетившие мир в виде животных или растений, ни один не скрывал в себе грустной тайны чело-

века. Быть может, поэтому и не завязывалось отношений. Да нам никто не был нужен.

Нет большего счастья, чем быть с тем, кого любишь. Ощущение друг друга, когда оно такое сильное, как у нас, до краев заполняет время. К тому же теперь мы были погружены в природу; ее музыка, ее живопись, ее книга, которую не дочитать до конца, куда увлекательнее копий, создаваемых людьми. Чтобы по-настоящему оценить природу, надо беспрерывно находиться в ней, тогда ты не просто гость и наблюдатель, ты от нее зависишь. Ты обязан угадывать, что в ней зреет, иначе она застанет тебя врасплох. Тепло и холод, дождь и ведро, ветер и снег, град и утренник — даже для городских жителей это немало значит, а что же говорить о нас, не защищенных стенами и крышей, прикрытых лишь тем, что нам дала природа, а дала она кому теплый мех, кому тонкую кожицу, но в утешение — дар спасительной зимней смерти; впрочем, медведь в своей дохе тоже должен на зиму умирать, иначе станет шатуном и сойдет с ума от голода.

Это как бы деловая жизнь в природе, служащая самосохранению, а куда как огромно пространство бескорыстной радости от соучастия в суете естественного мира. Каждое живое существо — часть природы, лишь человек противопоставил себя ей, и в этом его проклятие. Мне трудно судить о качестве ощущения природы теми, у кого зачаточное сознание, во мне оставалось слишком много человеческого. Да все во мне было человеческое, кроме физической структуры, что, впрочем, немало. И это человеческое, с одной стороны, обостряло чувство естественной жизни, с другой — мешало слиться с ней. Наш — мой и Алисин — взгляд на окружающее был все-таки взглядом со стороны. Но с некоторых пор мне стало казаться, что мы дружно и благостно глупеем, и это делало нас более свойскими в мире, поющем песню без слов.

У нас были свои любимые цветы, травы и молодые деревца, за ростом и развитием которых мы следили, свои

заветные места в лесу, где собиралось много мелкой жизни и на пространстве с медный пятак творились шекспировские страсти. Нет ничего интереснее любовных утех насекомых. Тут все чудо. Ухаживание — галантный восемнадцатый век не создавал таких шедевров изящества, грациозности, жеманства и утонченности, какой являет пара флиртующих кузнечиков; а как изысканно-нервно соблазняет стрекозиный кавалер свою разборчивую даму! Но еще удивительнее — апофеоз любви. Японские эротические альбомы — вершина назидательной порнографии — ничему не могли бы научить этих специалистов. Признаюсь, меня порой шокировало, когда две одушевленные прочищалки для примуса или бельевые защелки начинали предаваться своим чудовищным ласкам на глазах у Алисы. По счастью, она только вдаль хорошо видела. Если брать природу за нравственный образец, кодекс приличий должен стать куда снисходительней. А ведь это мудро: естественный мир закономерно стремится извлечь максимум удовольствия из той премии, которая положена за продолжение рода.

Знаменитый натуралист Фабр сказал, что если у человека есть два акра пустыря, то счастья наблюдений ему хватит на всю жизнь. А у нас были не жалкие два акра, а лесное государство, в полное владение которым мы вступили с уходом браконьеров

Отсинели июльские ночи, отгремели августовские грозы, проплыла паутинка бабьего лета, и закружились в воздухе желтые листья. Минул сентябрьский березовый листопад, затем октябрьский — осиново-ольховый, жестким гребешком ветер дочесал рощи до полной голызы, а в нашем лесу сохранил лишь усталую зелень хвойных. Слишком сквозным, открытым и беззащитным стало наше государство, в нем опять поселился страх. Большие звери прятались и выходить стали только ночью.

Опять дрожала Алиса, свернувшись в своей ямке, и опять я пыжился вселить в нее бодрость своим ухарским видом. Но вскоре пал и этот жалчайший бастион — уда-

рили морозы, кровь застыла во мне, и я погрузился в зимнюю спячку. Перед этим я успел заметить, что пошел снег и Алиса нагребает на меня копытцем полную листву.

И начался тот невероятный сон, когда я понял таинственные строки Лермонтова:

Но не тем холодным сном могилы...  
Я б желал навеки так заснуть,  
Чтоб а груди дремали жизни силы,  
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;  
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,  
Про любовь мне сладкий голос пел.  
Надо мной чтоб, вечно зеленая,  
Темный дуб склонялся и шумел.

При своем тупо-реалистическом мышлении я никак не мог представить себе такого вот вечного сна. Мне казалось, о чем бы ни пел мне сладкий голос, у меня будет лишь одно желание — скорее проснуться. Наверное, во мне говорила клаустрофобия. Такой вот сознающий себя, но безвыходный сон страшнее любого замкнутого пространства, даже застрявшего лифта. И никакая песня любви, никакой вечнозеленый дуб, как бы он ни склонялся и ни шумел, не примирят меня с безвыходной околдованностью сознающего себя сна. А теперь я понял, что Лермонтов и тут угадал. Этому поэту было открыто то, чего не было, да и быть не могло, не только в его собственном опыте, но и в коллективном опыте его времени. В том же стихотворении он говорит:

В небесах торжественно и чудно!  
Спит земля в сиянье голубом.

Откуда он мог знать, что Земля отбрасывает голубой отблеск на мировое пространство? Он же не летал в космос. Но разве не космическим видением рождены эти строки:

На воздушном океане  
Без руля и без ветрил  
Тихо плавают в тумане  
Хоры стройные светил.

И он, оказывается, знал, изнутри знал анабиоз. Причем не простую остановку жизни в переохлажденном организме, а мой редкий случай — анабиоз под охраной любимого существа. Не проделал ли Михаил Юрьевич обратный путь: от лягушки к человеку? Пусть не пел мне сладкий голос — косуля лишена песенного дара, она может фыркать, ворчать, урчать, может закричать призывно и смертно, но Алиса безмолвствовала. Она просто была при мне, иногда обнюхивала мерзлый камушек и угадывала — живой. Она лежала рядом, но не слишком близко, ибо ее тепло могло меня разморозить, а наружный холод — убить. Откуда она все это знала? Но я слышал, слышал ее дыхание, стук ее сердца, я чувствовал ее любовь и видел, видел зазеленевшие побеги весны моего пробуждения.

Ни разу не шевельнулось во мне желание скинуть путы неподвижности, вырваться из пространства, равного моему оцепенению, в которое я был замурован, и не нужно было ни видеть любимую, ни прикасаться к ней, такая полнота счастья и покоя владела мною, такая надбытийная завершенность.

Я знал, когда она уходила, потому что замолкала неустанно звенящая нота, — и тогда мой сон становился провальным, избавляя от тоски и страха, она возвращалась — и опять звучала та высокая нота, а сон-смерть оборачивался дремой жизненных сил.

Так прошла зима. А весной я очнулся, подполз, скрипя негнушимися суставами, к спящей Алисе, приткнулся к ней и стал отогреваться.

То была на радость дружная, не капризная весна. Быстро растопила она снег даже в самых укромных местах, прогнала бурливые ручьи и принялась сушить землю и тащить из нее траву и цветы. Нас навестил полуоблезлый заяц, торопливая, неопрятная линька придавала ему, всегда такому аккуратному, вид бомжа. Забежала белочка, вся серая, а хвост и ушки огненно-рыжие. Лес налился птичьими голосами, и меня вдруг неудержимо потянуло на озерко.

А я-то думал, что покончил с этими глупостями. Алиса проводила меня до опушки. Дальше идти она побоялась, в просеках уже постреливали браконьеры, что-то рано началась тяга в этом году. Мне казалось, она чуть лукаво улыбалась, словно догадываясь о моих кавалерственных намерениях. Но может, я и придумываю.

Я благополучно перебрался через шоссе, где перламутрово сверкали под солнцем трупы наших, как всегда, брюшком вверх. Торопясь к обетованным водам, они пали под колесами грузовиков.

Меня встретил мощный хор, брачные торжества были в самом разгаре. До чего же приятно было погрузиться в холодную воду, сразу разогревшую кровь.

Ну и наповесничал я там! И хоть бы совесть заговорила. Нет, не совесть, а усталость погнала меня с озера.

Совсем уже без сил, где скоком, где ползком, тащился я домой. С бугра за шоссе я просто скатился, повредив тонкую кожу, кое-как дотрюхал до опушки, здесь сделал долгую остановку, после чего двинулся дальше. Было неприятно, что Алиса увидит меня в таком непрезентабельном виде, и я уже подумывал, не поспать ли часок-другой в теньке под лопухом, но сквозь усталость пробилась непонятная тревога. Что-то такое чувствовалось в воздухе. Гарь? Лесной пожар? Его дым пахнет лесом, а это был чужеродный запах. Забыв об усталости, я припустил к дому.

На краю ложбины я почти успокоился, поняв тем чувством, которое было во мне от зверя, что Алиса там, но успокоиться совсем помешало другое, смутное чувство, идущее от человека, что она там, но ее нет.

Я прыгнул вниз и уткнулся в нее, в ее мертвое, залитое кровью тело. Не пожарная гарь, а селитряная вонь пороха истаивала в воздухе на опушке.

Зачем она вышла из укрытия, когда в просеках стреляли? Возможно, ее встревожило мое долгое отсутствие. Только этого не хватало — думать, что из-за меня... Вся израненная, с простреленной головой, она дотащилась

сюда, до нашего обиталища. А я бесчинствовал на озерке, как японский бизнесмен в Хаммер-центре. Я засмеялся. И смеялся до изнеможения над ни с чем не сравнимой по нарочитости, вульгарности, бездарности и антихудожественности драматургией жизни. А потом я спросил себя: кому нужна жестокость без очищения? Чему это научит мировую душу? О чем думал Господь, помешивая поварешкой свой кипящий суп? Если ты не хочешь, не можешь повторить чуда Иова, Господи, то убери свои руки от мира, зверствовать здесь и без тебя умеют.

Я не задержался в логове. Мертвая косуля, холодная и твердая, с оскаленной пастью и пыльными глазами, уже не была Алисой. Я торопился на шоссе. И пока я туда добирался, меня не оставляло чувство, что я о чем-то забыл, о чем-то очень важном, не спасающем — какой там! — но необходимом...

Первый грузовик прогрохотал, не причинив мне никакого вреда, только оглушив и одурманив на время, хотя я выбрал место на самой колее, на черном подплаве разогретого солнцем и помятого шинами асфальта. И две легковые машины побрезговали моим ничтожеством. А затем надвинулся такой невероятный чудовищный грохот и жар, что я рванулся к нему, едва не умерев до смерти, но вся эта обвальная мощь обернулась раздавленной задней лапкой. Как могла такая махина ухватить эту малость?..

И тут послышались детские голоса, и чья-то рука подняла меня с земли. Я расслышал радостный возглас: "Ну, все! Хватит! Порядок!" И обрадовался. Не то чтобы я раздумал умирать, но мне так нужно было сочувственное слово, хоть чуточку участия.

Мальчик куда-то понес меня. Вскоре мы оказались на лужайке под старым засохшим дубом. Еще издали меня опажнуло неприятным жаром. Организм тут же ответил резким понижением температуры, но жар был слишком силен, и защита перестала действовать.

Горел костер. А возле него лежали нанизанные на деревянные вертела мои собраты. Мальчишки собирались жарить шашлык. Это увлечение занес к нам американский детский приключенческий фильм “Дик и Пэгги в лесах”, убедительно доказывающий, что смысленные и умелые нигде не пропадут. В целом это было назидательное и благолепное, как воскресная школа, зрелище, но наша детвора вынесла из него лишь пристрастие к лягушиному шашлыку. Заостренный прутик вонзился мне в зад и, порвав что-то внутри, вышел через рот. Я не был ни смысленным, ни умелым, мне надлежало пропасть.

По сторонам костра были вбиты рогатки, на эти рогатки уложили отягощенные мясом шампура. Мы все еще были живы и начали корчиться, когда пламя лизнуло кожу. О, это совсем не легкая смерть и не быстрая, даже для таких хрупких и незащищенных созданий, как мы. Корчась и задыхаясь, я сумел вспомнить о том, что толкалось мне в мозг и душу, когда я шел от мертвой Алисы: это не конец, будет еще тоннель... А раз так... То когда-нибудь, где-нибудь... Пусть через тысячи лет, через все превращения и муки... Господи, прости мне хулу на тебя... Господи, воля твоя!..

# СОДЕРЖАНИЕ

ЭХО

3

---

ЧЕЛОВЕК И ДОРОГА

21

---

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СЕДЫЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВОЛОСЫ

42

---

ПИК УДАЧИ

(Современная сказка)

73

---

ГДЕ-ТО ВОЗЛЕ КОНСЕРВАТОРИИ

126

---

ЧУЖАЯ

184

---

БЕРЕВДЕЕВ ЛЕС

228

---

ПЕРЕКУР

295

---

О ТЫ,  
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ!

376

---

ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ УТРО

400

---

ОТ ПИСЬМА ДО ПИСЬМА

413

---

У КРЕСТОВСКОГО ПЕРЕВОЗА

438

---

ТРОЕ И ОДНА И ЕЩЕ ОДИН

459

---

РАССКАЗ СИНЕГО ЛЯГУШОНКА

498

---

Юрий Маркович  
Нагибин

**О ЛЮБВИ**  
СЛЕЗЫ И ЖИЗНЬ...



---

Художественное оформление  
*Е.Селивановой*

Корректор  
*Н.Быкова*

Электронная подготовка оригинал-макета  
*С.Андрусенко*  
*А.Безуглый*  
*А.Федина*

Ответственный за выпуск  
*И.Смолин*

---

ЛР № 064584 от 14.05.96

Подписано в печать 03.02.97.

Формат 84x108/32. Гарнитура Лазурский.  
Бумага книжно-журнальная. Печать офсетная.

Усл.-печ. л. 27,72. Тираж 5000 экз.

Заказ № 26.

Издательский Дом «ПОДКОВА»  
113208, Москва, Сумской проезд, д. 2

Отпечатано с готовых оригинал-макетов  
на ИПП «Уральский рабочий»  
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

OCR Давид Титиевский, июль 2019 г. Хайфа